

А. А. Волков

ТЕОРИЯ  
РИТОРИЧЕСКОЙ  
АРГУМЕНТАЦИИ



Издательство Московского университета

А. А. Волков

ТЕОРИЯ  
РИТОРИЧЕСКОЙ  
АРГУМЕНТАЦИИ



Издательство Московского университета  
2009

УДК 801.6; 82.085  
ББК 81  
В67

*Публикуется по решению  
редакционно-издательского совета  
Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова*

Научный редактор  
*А.Ю. Овчинников*

**Волков А.А.**  
В67 Теория риторической аргументации. — М.: Изд-во Моск.  
ун-та, 2009. — 398 с.  
ISBN 978-5-211-05695-4

В монографии рассматривается аргументация в публичной речи как филологическая проблема.

Предмет филологии — язык и словесность. В составе словесности выделяются литература художественная, научная и риторическая — философская, историческая, богословская, публицистическая, ораторика. Предметом внимания литературоведения остается в основном художественная литература. Между тем, произведения риторической литературы имеют не меньшее содержательное, а часто и художественное достоинство, чем собственно художественные произведения. Содержание и художественная форма риторического произведения подчинены вполне определенной цели — убедить слушателя или читателя в приемлемости выдвигаемых автором идей. Риторическая проза содержит аргументацию. Но риторическая аргументация отличается от научного доказательства — убедительно слово. Поэтому изучение строения риторического аргумента значимо для понимания риторической литературы.

Книга адресована филологам, философам, юристам, культурологам, всем, кто интересуется проблемами организации речевых отношений в обществе и методологией гуманитарных наук.

УДК 801.6; 82.085  
ББК 81

ISBN 978-5-211-05695-4

© Издательство Московского  
университета, 2009  
© Волков А.А., 2009

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

---

<b>Оглавление</b> .....	3
<b>Предисловие</b> .....	7
<b>Глава 1. Исторический обзор риторических идей</b> .....	22
<b>Риторика Античности</b> .....	22
<b>Риторика Средних веков</b> .....	42
Византийская риторика .....	45
Западноевропейская средневековая риторика .....	52
<b>Риторика Возрождения и Нового времени</b> .....	54
<b>Русская риторика XVIII–XIX вв.</b> .....	61
<b>Риторика XX века</b> .....	68
Риторический анализ В. В. Виноградова .....	70
Неориторика .....	77
Теория риторики Ю. В. Рождественского .....	81
<b>Выводы и определения</b> .....	98
Научная и риторическая проза. ....	100
Художественная литература. ....	101
Массовая коммуникация .....	101
Риторическая этика и эристика. ....	102
<b>Глава 2. Предмет риторики</b> .....	107
<b>Проблемная ситуация</b> .....	107
<b>Проблема — предмет риторического высказывания</b> .	108
Содержание проблемы .....	108
Модальность проблемы .....	115
Теоретические и практические проблемы .....	119

Статус проблемы . . . . .	120
<i>Статус установления</i> . . . . .	122
<i>Статус определения</i> . . . . .	143
<i>Статус оценки</i> . . . . .	155
<b>Аудитория</b> . . . . .	162
Культурное состояние аудитории . . . . .	163
Численность аудитории . . . . .	168
Однородность и разнородность аудитории . . . . .	170
Конвенциональность аудитории . . . . .	171
<b>Ритор</b> . . . . .	171
Образ ратора . . . . .	171
Этос . . . . .	175
<i>Главная этическая проблема</i> . . . . .	175
<i>Ораторские нравы</i> . . . . .	178
Честность. . . . .	178
Скромность. . . . .	180
Доброжелательность. . . . .	188
Предусмотрительность. . . . .	194
<i>Стиль как проявление риторического этоса</i> . . . . .	198
<i>Риторический идеал</i> . . . . .	211
Пафос . . . . .	216
Логос . . . . .	219
<i>Антиномии риторической аргументации</i> . . . . .	221
<b>Глава 3. Риторический аргумент</b> . . . . .	227
<b>Строение риторического аргумента</b> . . . . .	227
Общее место, или топ, . . . . .	229
Словесный ряд (редукция) . . . . .	231
Соотношение схемы, топа и словесного ряда аргумента. . . . .	234
<b>Топика</b> . . . . .	235
Общие и частные топы. . . . .	235
Внешние (содержательные) и внутренние (логические) топы. . . . .	236
Внешние топы . . . . .	237
<i>Топ как посылка аргумента</i> . . . . .	237
<i>Топы и инстанции</i> . . . . .	238
<i>Иерархия топов</i> . . . . .	249
Внутренние топы . . . . .	258
<i>Описательные (обстоятельственные) топы</i> . . . . .	259
Признак . . . . .	259
Действие и претерпевание (субъект – действие – объект). . . . .	260
Лицо и поступок . . . . .	263
Предыдущее и последующее. . . . .	265

Состояние . . . . .	267
Положение . . . . .	269
Место . . . . .	270
Время . . . . .	271
Образ действия . . . . .	273
Внешние обстоятельства . . . . .	275
Причина и следствие. . . . .	277
Цель и средство . . . . .	281
<i>Топы определения</i> . . . . .	283
Присущее и притворное. . . . .	283
Отношение. . . . .	285
Род и вид. . . . .	288
Целое и часть. . . . .	290
Имя и вещь. . . . .	292
<i>Сравнительные топы</i> . . . . .	296
Тождество. . . . .	297
Сведение и разведение данных. . . . .	298
Определение . . . . .	299
Тавтология и антонимия . . . . .	301
Правило справедливости. . . . .	303
Правило обратимости. . . . .	305
Правило транзитивности. . . . .	305
Сравнение: большее – меньшее. . . . .	307
Подобие. . . . .	308
Противное. . . . .	309
<b>Глава 4. Классы риторических аргументов</b> . . . . .	311
<b>Инстанции и апелляции</b> . . . . .	311
<b>Аргументы к реальности</b> . . . . .	314
Аргументы к факту . . . . .	314
<i>Синхронические аргументы к факту</i> . . . . .	316
<i>Диакронические аргументы к факту</i> . . . . .	318
Аргументы к логике . . . . .	321
<i>Аргументы к логической необходимости</i> . . . . .	322
<i>Аргументы к логической возможности</i> . . . . .	326
<b>Аргументы к авторитету</b> . . . . .	329
Аргументы к безличному авторитету . . . . .	331
Аргументы к личному авторитету . . . . .	333
<b>Аргументы к аудитории</b> . . . . .	338
Аргумент к человеку . . . . .	338
Аргументы к цели . . . . .	339
Прагматические аргументы . . . . .	340
Аргументы долженствования . . . . .	343

Аргументы необходимости .....	344
<b>Глава 5. Система образов: строение словесного ряда</b> .....	<b>347</b>
Состав образов .....	349
Образ ратора .....	350
Образ аудитории .....	355
Образ оппонента .....	359
Образ предмета речи .....	365
<b>Образное пространство</b> .....	<b>368</b>
Образ инстанции .....	386
Оппозиции образов .....	387
Соотношение компонентов образного пространства .....	390
<b>Заключение</b> .....	<b>392</b>

# ПРЕДИСЛОВИЕ

---

---

Риторика – филологическая наука с необычной исторической судьбой. Судя по дошедшим до нас сведениям об истории образования в Древней Греции, риторика была первой учебной дисциплиной о речи<sup>1</sup>. Возникновение риторики стало началом развивающей педагогики. Обучение предполагает систематизацию предмета, и в рамках риторики речевая деятельность впервые предстала как предмет теоретической рефлексии. На протяжении двух с половиной тысячелетий идеи и открытия риторики стимулировали грамматику, лексикологию, стилистику, логику, поэтику и литературную критику, юриспруденцию и политологию; приемы преподавания риторики воспроизводились практически во всех образовательных системах. Но сама по себе риторика регулярно подвергалась критике, осмеивалась и отвергалась. И несмотря на всяческого рода отрицания и даже запреты, интерес к риторике периодически возрождался с удивительным постоянством. Если обратиться к истории таких возрождений, окажется, что каждый раз они были связаны со сложением нового стиля жизни и речи.

Риторика строит норму публичной аргументации, задает правила политической и судебной дискуссии. Всякая норма строится на основе эмпирического опыта и поэтому требует подражания образцам. Риторика как комплекс идей о слове своим материалом, оценками и предписаниями обращена к прошлому, а к будущему – содержанием идей, которые предлагает. Поэтому риторическая доктрина построения высказывания кажется традиционной и застывшей. Это впечатление обманчиво. Так, риторика Филиппа Меланхтона, полностью сохраняя традиционные очертания, как бы исподволь вводит

---

<sup>1</sup> *Адо И.* Свободные искусства и философия в античной мысли / Пер. Е. Ф. Шичалиной. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. С. 6–9.

фундаментальные для своего времени идеи дидактической речи как основного жанра ораторской прозы и опору на специально разработанную топику — систему посылок аргументов к авторитету Священного Писания. Эти, казалось бы, незначительные нововведения лежат в основании протестантской богословской полемики, проповеди, философской литературы, по крайней мере в ее этической части. Риторика М. В. Ломоносова, в которой филолог-литературовед может увидеть лишь подражание немецким или французским образцам предшествующего века, содержит неожиданную модель развертывания исходной мысли-пропозиции в текст, организованный системой семантических отношений ключевых слов. Реализованная в образовании второй половины XVIII в., эта система изобретения дала мощный импульс творческой мысли.

Поскольку риторика обращена не к психологии, а к культурной норме, она наталкивается на сопротивление: стремление к созданию нового стиля влечет за собой отвержение предшествующего. Со второй половины XVII в. писатель стремится не следовать образцам, но создать нечто новое. Однако в конце концов оказывается, что это новое, по крайней мере в своей основе, представляет собой воспроизведение культурной модели. И хотя Кант был прав, когда сетовал, что «нет ничего легче, как ко всему новому подыскать нечто старое, несколько на него похожее»<sup>1</sup>, тем не менее всякая новация, в частности отвержение риторики, осуществляется теми же инструментами риторики. Современный журналист или политик использует те же тропы, фигуры, словесные ходы убеждающей аргументации, что и Лисий или Цицерон, метафора остается метафорой, аргумент к человеку остается аргументом к человеку — меняются лишь их функция, словесная организация, массивность применения.

В кругу филологических дисциплин риторика занимает особое место: если предмет других филологических наук — слово как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные категории риторики: *этос* — требования получателя высказывания, общества в целом к публично говорящему или пишущему субъекту; *пафос* — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-волеие; *логос* — совокупность общих для создателя и получателя высказывания ресурсов языка, не просто слова, а норма словесной организации убеждающих аргументов. Никакая другая филологическая и вообще гуманитарная наука не знает этих или аналогичных категорий.

<sup>1</sup> Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // Соч.: В 6 т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 69.

В наше время проблемы риторики приобрели особую значимость. Всякая быстрая смена идеологии и системы общественных отношений — событие революционное. Революционные события имеют общую логику развития, которая приводит к более или менее глубоким и продолжительным последствиям в жизни общества и в его культуре. Однако сама по себе последовательность этапов развития революций при возможных частных рекомбинациях одна и та же: что в Английской революции XVII в., что во Французской революции XVIII–XIX вв., что в нашей Октябрьской революции или Китайской революции XX в. ... Перефразируя Ленина (или Маркса), можно сказать, что революции терпят поражение, даже когда они побеждают. Завершение, т. е. поражение, революции должно означать стабилизацию общества и начало его интенсивного развития. Общество представляет собой сложную информационную систему, основа которой — речевые отношения. Стабилизация общества начинается с организации речевых отношений, в первую очередь условий и правил принятия решений. Поскольку всякие решения принимаются в дискуссии, явной или неявной, складывается потребность в установлении норм убеждающей аргументации в идеологической, политической, судебной, деловой, бытовой сфере. И вот здесь-то риторика приобретает принципиальное значение.

Мировоззрение революционного времени обращается к массам, таков конструктивизм с его философией языка — лингвистическим структурализмом. Основа лингвистического структурализма состоит в абстрагировании от языковой индивидуальности, в первую очередь от личности. Поэтому говорящие подобны «экземплярам одного словаря», а само по себе понятие коммуникации, которое выступает в структурализме как ключевая телеологическая категория (язык есть система знаков для коммуникации), исключает основной смысл коммуникации, заключающийся в качественном различии информационного потенциала общающихся людей.

Исторически теория риторики формировалась не во время, а после, вследствие общественных потрясений: Аристотель создал свой великий труд, когда судьба демократических Афин и всей остальной Греции была уже решена его учеником Александром Македонским; «Воспитание оратора» Квинтилиана — вторая великая книга по риторике — было создано после столетия потрясений и переворотов от Цезаря до Гальбы. Это не случайно: если общество представляет собой систему коммуникации, в основе которой лежит язык, то нестроения в этой системе, какими бы ни были их внешние причи-

ны, приводят к бурному развитию речетворчества — публицистики, ораторской прозы, философии. Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых отношений и проводит ее в образовании. Поэтому ее задача заключается в первую очередь в формировании языковой личности профессионального публичного речедеятеля: система риторического построения включает последовательность реализации замысла в виде изобретения, расположения, элокуции, запоминания (или памяти), действия или произнесения. Каждый из этих этапов систематизирует операции со словом таким образом, что открывается возможность сопоставления мыслительно-речевых действий. Профессионализм в любой сфере деятельности предполагает рефлексию и целесообразность. Рефлексия мысли и слова означает самосознание человека в речи, целесообразность основана на рефлексии и означает готовность создавать высказывания по необходимости, а не как у дилетанта — по желанию. В результате становится возможной и объективная оценка речедеятелей в отношении к стандарту, определенному в этическом, логическом и содержательном аспектах. Тем самым центром риторики, и философии риторики в частности, оказывается учение о риторике. Поэтому неслучайным представляется и синтез грамматики, риторики и диалектики в общую систему тривиума, в котором грамматика и диалектика абстрагируются от личности и непосредственно связанного с ней пафоса, диалектика и отчасти риторика — от конкретной системы языка, поскольку они занимаются фактами речи, а грамматика и риторика — от формально-логической составляющей высказывания в той мере, в какой она представляется универсальной.

Основные категории риторики не выводимы из эмпирии речи. Риторика формулирует нормы, которые учитывают состояние речевых отношений и речевой практики, но обращается к фактам культуры слова. В текущей философской литературе, в парламентской полемике, в практике «публичных отношений», в массовой информации, в Интернете и т. д. содержится масса фактов речи, быть может статистически значимых, но неприемлемых с точки зрения того, что нужно для организации речевых отношений, которые обеспечивали бы продуктивное развитие общества, не вообще всякого, а российского общества в историко-культурных условиях его жизнедеятельности.

В новейшей литературе проблема предмета риторики как филологической дисциплины впервые рассматривалась В. В. Виноградо-

вым в работе «О языке художественной прозы»<sup>1</sup>. Вслед за А. А. Потебней В. В. Виноградов подразделяет словесность на прозу и поэзию, понимая под поэзией литературу художественного вымысла. При этом вся словесность по признаку значимости эстетической оценки подразделяется на художественную и нехудожественную. Предмет поэтики — художественная поэзия. Предмет риторики — художественная и нехудожественная проза. Граница между ними подвижна: не только риторико-поэтические формы, как литургический канон или исторический роман, но и эстетическая оценка одного и того же жанра риторической прозы, например судебной речи, в различные периоды истории литературы может быть значимой и незначимой; более того, высокие эстетические качества произведения могут рассматриваться как его отрицательная особенность.

В. В. Виноградов впервые последовательно рассмотрел такую принципиально важную категорию литературы, как образ писателя, в двух вариантах — образ ратора в прозе и образ автора в поэзии. Последний как особенность поэтической литературы складывается в начале XIX в. И если поэзия предстает как проявление экспрессивной функции языка, в которой авторское видение художественного пространства произведения определяет художественный стиль, то риторическая проза предстает как проявление оценочной функции языка, и образ ратора поэтому оказывается предметом оценки со стороны аудитории, получателя речи. Тем самым образ ратора находится в отношении с этикой общества и приобретает нормативный характер.

Художественность риторической прозы тесно связана с этосом речи и определяется этическими нормами и условиями, которые общество предъявляет пишущему или говорящему публично. Но как обусловленный в первую очередь этическими нормами, сам по себе образ ратора разворачивается в контексте риторической прозы. Он контрастирует и объединяется с целой системой образов, в окружении которых и в отношении к которым и предстает как вычленяемое и опознаваемое представление. Поэтому для изучения риторической прозы необходимо определить образное пространство как константу.

Однако художественность как таковая хотя и значима для изучения риторической прозы и особенно для преподавания риторики, отнюдь не является главной, определяющей стороной содержания и целей риторического произведения. Основная, если не единствен-

<sup>1</sup> См.: Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М.; Л.: Госиздат, 1930.

ная цель риторической прозы — убеждение, причем убеждение конкретного круга людей в приемлемости именно для него конкретной пропозиции, выдвинутой конкретным лицом или общественной группой. При этом и те, кто выдвигает и обосновывает идеи, и те, кто их обсуждает, и те, кто их принимает или не принимает, принадлежат одному культурному сообществу. Уровень организации и единства такого сообщества может быть различным, но оно обязательно должно объединяться признаваемыми ценностями, организованными в некоторую иерархию или сеть концептов и положений, которые признаются достаточно важными, чтобы конфликт мнения или пропозиции с ценностью мог привести к отказу от собственного мнения или интереса, а не от ценности. На этом принципе основана риторическая аргументация или, шире, риторический логос.

Возможность решения проблем путем обсуждения и нахождения оптимального решения определяется свойствами риторической аргументации и единством системы жанров публичной риторической прозы, которые объединены нормами национальных языков.

Риторика сложилась и длительное время развивалась в культурном пространстве, которое может быть обозначено как европейский культурный ареал. К европейскому культурному ареалу относятся все общества, культура которых исторически восходит к греко-римской Античности и далее к христианству в его вероучительном, этическом и аскетическом содержании, сложившемся к концу VIII в. Сам по себе европейский культурный ареал существует в двух исторических регионах, которые условно обозначаются как Восточный греческий и Западный латинский. Разумеется, на протяжении двухтысячелетней истории эти культурные регионы настолько тесно взаимодействовали, что традиция духовной и материальной культуры является для них общей. Однако целый ряд национальных культур, так или иначе восходящих к греко-римской Античности, относятся к европейскому культурному пространству в меньшей мере, чем другие. Мера этой общности определяется для каждой из них конкретными обстоятельствами, связанными с религией и с исторической жизнью в составе одной из европейских культур.

В той мере, в какой системы общих мест сходным образом иерархизированы, аргументация, например внешнеполитический дискурс, оказывается эффективной. Но там, где сами ценности совпадают, а их иерархии расходятся, такого рода диалог на деле затруднен даже в большей мере, чем при контактах собственно межкультурного характера, — возникает ложное взаимопонимание. Между тем

в пределах каждого общества, где в наличии состав и иерархия ценностей, – русского, французского или немецкого – такая аргументация эффективна, отчего оно и существует как общество.

Риторическая аргументация обладает рядом свойств, которые отличают ее от аргументации, например, научной. Риторический аргумент, как и всякий аргумент, представляет собой умозаключение, строение которого в целом соотносимо с формальной логикой. Риторические аргументы обычно представляют собой умозаключения, непосредственные посылки которых также оказываются выводами умозаключений, включенных в словесную ткань рассуждения, так что получается каскадная структура посылок – промежуточных и конечных.

При этом, во-первых, конечные посылки риторического умозаключения произвольны в том смысле, что представляют собой высказывания, которые признаются приемлемыми с точки зрения истинности, правильности, авторитетности, уместности или пользы теми, к кому обращена аргументация, причем в данное время и при данных обстоятельствах; посылки часто приемлемы просто постольку, поскольку их приводит авторитетное или симпатичное лицо.

Во-вторых, любое положение, в том числе и промежуточная посылка, может быть обосновано независимо от других. Поэтому риторический аргумент часто производит впечатление разнородности содержания. Но такая разнородность – почти закон.

В-третьих, риторические аргументы включают не только суждения констатирующие и достоверные, но и суждения побудительные, желательные, вопросительные, которые как таковые не могут быть истинными или ложными, возможными или невозможными, но могут быть желательными или нежелательными, правильными и неправильными, причем не просто с позиции желательности или правильности в отношении к какой-либо норме, но с позиции приемлемости для данного лица в данное время и в данных обстоятельствах.

В-четвертых, переменные риторических аргументов не термины в логическом смысле, а слова языка. Сила риторического аргумента определяется не только уместностью выбранного слова, но и его лексико-семантическими связями, коннотациями, синтаксической позицией или даже предпочтением одних слов другим.

В-пятых, риторические аргументы в принципе не доказывают и не манипулируют – они убеждают, т. е. побуждают добровольно принять предлагаемое решение или идею при наличии или принципиальной возможности иных решений, которые могут быть столь

же правильными. Риторическая аргументация не обладает принудительной силой доказательства.

По целям аргументацию можно подразделить на научную, философскую, дидактическую и публицистическую, а с точки зрения строения и оценки аргумента — на аксиоматическую, диалектическую, полемическую и софистическую. Полемика в «эристической» форме и софистика обычно признаются этически недопустимыми. Предметом риторики является дидактическая и диалектическая аргументация. Однако границы между научной и дидактической аргументацией, например между обоснованием положений в научной теории и в школьном учебнике; между дидактической и диалектической аргументацией, например между объяснением учителем исторической темы и ее обсуждением на уроке; между диалектическими и эристическими приемами полемики, например, в философском и политическом дискурсе и т. д., весьма подвижны и определяются не только строением аргументации как таковым, но и оценкой ходов аргументации и типов аргументов в конкретной культурной традиции. В особенности это относится к эристике и софистике, которые повсеместно запрещены риторическим этосом и повсеместно используются.

Культура общества содержит исторически сложившуюся систему родов, видов, жанров и жанровых форм словесности. Такие жанры словесности, как исторический роман, похвальная речь, используются в определенных уместных ситуациях и допускают также определенные формы строения и аргументации: в русской застольной речи говорится о несколько ином и иным образом, чем в грузинской, а итальянская речь в суде строится иначе, чем французская. Эффективность и влияние аргументации определяются уместностью использования жанра настолько же, насколько строением аргументов и лексико-семантической системой языка. Поэтому изучение и преподавание аргументации возможны в основном в рамках определенной культурной системы.

Начиная с XVII в., с сочинений А. Арно, К. Лансло, П. Николя, Б. Лами и ряда других авторов-рационалистов, западноевропейская риторика принимает концепцию универсальности мышления и сводит риторическую аргументацию к логическим формам, а обоснованность и убедительность аргументов — к психологической очевидности. Она отказывается от топики, полагая, что аудитория риторической аргументации также универсальна в силу «естественной» логики, «общечеловеческих» норм нравственности, рациональности

эстетики и универсальности семантико-грамматических категорий языка. Общие места обращают мысль к ценностям национальной культуры. Семантика языка равнозначна национальной специфике мышления. Когда система общих мест, характерная для определенной идеологической общности, и семантическая система, характерная для определенного языка в ограниченной сфере его использования, представляются как универсальные, возникает разрыв культурной традиции, искажение и забвение ценностей национальной культуры. Это обстоятельство оставалось бы только историческим фактом, если бы идея универсализма, характерная для французского классицизма, так и осталась в пределах французской культуры. Но идея универсализма — инструмент идеологической и политической экспансии, в особенности разрушительной для тех культурных систем, которые принимают для себя универсализм как условие прогресса. Идея универсализма, умственного и социального прогресса человечества в кадре западноевропейской или американской цивилизации жива и значительно более разрушительна, чем в XVII веке. Сегодня она реализуется в так называемой «межкультурной коммуникации», «политической корректности» и других подобных проектах организации культурной революции в глобальном масштабе. Примечательно, что они имеют своим предметом в первую очередь язык, речевые отношения в обществе и систему образования.

Научная риторика возможна как филологическая дисциплина, включенная в состав наук о языке и словесности и связанная с ними общей методологией, системой понятий, корпусом накопленных знаний о строении языка и произведениях слова. Там, где риторика выходит за пределы надежного филологического метода и обращается к психологическим или социологическим обоснованиям своей доктрины, она утрачивает культурную основу и, следовательно — достоверность и надежность выводов и рекомендаций. Риторика вне этики и филологического метода превращается в софистику в самом дурном смысле.

Научная риторика изучает культуру прозаического слова конкретного общества, составную часть литературного языка, который это общество использует как язык государственного управления, судебно-правовой практики, богословия, философии, истории, публицистики. Научная риторика содержит устойчивую систему понятий, категорий и методов, выработанную изучением материала.

Эта включенность риторики в систему знаний о культуре языка не означает ограниченности риторики собственной культурной тра-

дицией. Культурная традиция не существует изолированно: культура общества наследует свои основы из классической для нее культурной системы, развивается в составе ареала родственных по происхождению, включенных в это общество, и соседних культур, осваивая заимствования и в свою очередь создавая культурные радиации. Но заимствование, если оно становится фактом культуры, осваивается, преобразуется и включается в систему культурных ценностей.

Проповеди св. Кирилла Туровского изобилуют фигурами и конструкциями византийской риторической прозы, но, будучи воплощены в древнерусском языковом материале, приобретают особую словесную форму, которая оказывается фактом русской культуры языка. Однако понять и оценить древнерусскую духовную прозу без обращения к классической греческой риторической прозе невозможно. Духовная проза Иоанна Скотта Эруригены сходным образом воспроизводит византийские риторико-поэтические формы, но на латинском языке, погруженном в речевую среду складывающихся новоевропейских языков, и создает тем самым факт средневековой латинской и в целом романо-германской культуры языка. Риторика М. В. Ломоносова, элокутивная часть которой исходит из новоевропейской риторической доктрины XVII–XVIII вв., как и его грамматика, построена на искусственных авторских примерах, которые М. В. Ломоносов предлагает как образцы. Но это – образцы русской литературной прозы, как оды Ломоносова – образцы не немецкого, а русского стихосложения. Риторико-стилистические идеи И.-К. Готшеда, старшего современника и учителя Ломоносова, воспроизводят идеи французской риторики того же времени, но сознательно противопоставляются французской риторической прозе как национальные немецкие.

Современная культурная и языковая ситуация требует особого внимания к различного рода заимствованиям, характерным для речевой стихии массовой информации. Их разумные осмысление и оценка возможны в отношении, с одной стороны, целесообразности и продуктивности того или иного словоупотребления или словесного хода в русской риторической прозе, а с другой – их места и функции в системе средств американской публичной речи.

Массовая коммуникация как особая фактура языка складывается с начала XX в. сначала в виде газетной, затем радио-, кино-, телевизионной, наконец, компьютерной речи Интернета, обобщающей и объединяющей в себе массовую информацию, информатику и рекламу и создающей внутри сети диалоговые и монологические

речевые формы и особый тип высказываний – гипертекст. Отличительной характеристикой массовой коммуникации как речевой фактуры является коллективное конструирование периодического текста, содержащего разнородные и тематически не связанные материалы рассредоточенной аудитории, пределы которой определяются знанием языка. В массовой коммуникации выделяются как составляющие массовая информация, информатика и массовая реклама. Поскольку дискурс массовой коммуникации конструируется коллективом, стратегия информирования планируется в целях управления общественным сознанием. Поскольку аудитория оказывается рассредоточенной и разнородной в культурном отношении, стиль и содержание материалов в целом ориентируются на минимальный образовательный уровень получателей текста. Первоначально массовая коммуникация развивалась как выражение нового типа информационной организации общества – идеократии, по выражению Н. С. Трубецкого. Массовая информация в силу своей массовости, связи с маркетингом и целенаправленным формированием общественного мнения и создает собственно тоталитарную идеологию.

С точки зрения организации речевых отношений в обществе можно назвать два типа тоталитарных идеологий – философские и лингвистические, или демократические.

В основе философских идеологий лежит корпус авторитетных текстов, содержащих обязательную для усвоения каждым членом общества философскую доктрину, которая распространяется средствами массовой коммуникации и воспроизводится в системе образования, общественно-политической, философской, научной литературы и является нормой, определяющей цели и форму деятельности общества. В философских тоталитарных системах действия массовой коммуникации являются служебными и подчинены идеологическому руководству общества.

Существенными недостатками философской тоталитарной системы оказывается формализация и догматизация идеологии, лежащей в ее основании: идеологические догмы распространяются на всю сферу жизненных и социальных ситуаций, в результате чего складываются жесткие нормы умственной и практической деятельности. Научное и философское мышление регламентируются нормативной терминологией. Поскольку тоталитарная философия стремится охватить все без исключения сферы жизнедеятельности личности и общества, она закономерно отрицает религию, в первую очередь религии, обращенные к личности и открывающие перспективу ду-

ховной жизни человека, постулирующие вечные категории духовной морали и ставящие личность вне социально-исторического контекста, как христианство.

Тоталитарная философская система характеризуется иерархией канонических текстов: текст, определяющий идеологию, представляется как научно-философский, и в качестве такового по внутренним правилам речи он предполагает не только интерпретацию и развертывание, но и критику. А критика запрещена.

В результате возникают неизбежные напряжения тройного рода:

- 1) связанные с движением научной, в первую очередь общественно-научной и философской, а следовательно, естественно-научной и технической мысли;
- 2) связанные с неизбежной релятивизацией моральных установлений и норм, которая приводит к разрушению семейных отношений, социальной и профессиональной этики;
- 3) связанные с неизбежным внутренним размыванием самой философской системы, поскольку ее критика осуществляется в рамках и в терминологии самой этой системы.

Вследствие этого возникают диссидентские софистические движения, стремящиеся под маской нормативной идеологии выдвигать иные философские доктрины и часто использующие привычную для системы эристическую репрессивную технику их утверждения.

В основе лингвистических тоталитарных идеологий лежит доктрина, содержащая правила речевого и, шире, коммуникативного поведения, которые базируются на основных законодательных текстах и на специфически организованной системе наук о языке и мышлении — психологии, социологии, когнитологии. Само по себе наименование «лингвистические» или «демократические» основывается на том, что язык рассматривается лингвистикой как система знаков или семиотических моделей, которые обеспечивают коммуникацию и являются тем самым общими и обязательными для всех ее участников, которые в свою очередь, по Ф. де Соссюру, принципиально равны в отношении к языку и не способны произвольно изменить его систему. Поскольку общество — информационная система, именно это свойство языка лежит в основании такого рода тоталитарных идеологий. Правила речевого поведения, включающие тематику, словесно-понятийный состав — правила именования людей и фактов, мотивацию публичных высказываний, право на публичную речь, речевой этикет, нормы ведения диалога и монолога, — создают идеологическое единство общества через произведения массовой коммуникации как образцовые тексты. В лингвистических тоталитарных

системах деятельность массовой информации, безусловно, регулируется так называемыми «элитами», но нормативным остается дискурс массовой коммуникации. Массовая информация является вторичным текстом, производным от культуры, но противостоящим ей. Поэтому массовое сознание есть сознание потребителя, запрограммированного в своей деятельности и располагающего весьма ограниченными умственными ресурсами, которые допускают лишь исполнительскую, хотя, может быть, и весьма квалифицированную деятельность. Для продуктивного развития общества, однако, нужна высокообразованная культурная среда, которая лишь частично подчинена тотальным нормам массовой коммуникации, неважно, философским или языковым. Поэтому «элита» рекрутируется на идеологической основе — на признании комплекса речемыслительных норм демократического образа речи как инструмента управления остальным обществом.

Проблемы и задачи современной русской риторики состоят, разумеется, не в устранении тоталитарной организации общества, которая неизбежна, но, во-первых, в придании ей культурно самостоятельной и по мере возможности мягкой формы; во-вторых, в выработке перспективных форм организации общества в целях его продуктивного развития.

Риторическая система в виде последовательности операций конструирования высказывания — изобретения, расположения, элокуции — рефлексия слова и мысли. Эта рефлексия специфична для риторики и обращает создателя высказывания к содержанию духовной культуры в широком смысле слова — не просто к культуре слова, а к культурной информации самого широкого плана, которая также осмысливается применительно к предмету речи. В этом смысле риторика является персоналистической теорией языка. При систематическом применении риторической техники формируется культурная языковая личность, которая и проявляется в индивидуальном стиле речи. Личные творческие способности человека в области теоретического мышления, управления в самом широком смысле, права и т. д. проявляются в слове и оцениваются через слово. Поскольку риторика дает инструмент оценки публичных высказываний, становятся возможными упорядоченные и обоснованные сравнение и отбор перспективных «речедеятелей» в различных сферах социальной жизни. Критерии такого отбора — вопрос технический. Они могут относиться к самым различным областям речевой деятельности — к документу, научно-технической, ораторской, публицистической,

педагогической речи. Эффективность и устойчивость любой общественной системы прямо зависит от качества языковой личности.

Умение объективно оценивать качество прозаического произведения — очень важный момент использования культуры. А в России риторика всегда, даже в наиболее продуктивные периоды развития русской культуры, усваивалась с напряжением. Говорить о национальном языковом сознании или языковой картине мира трудно, потому что на самом деле эта языковая картина мира многообразна, любые обобщения поверхностны и легко опровергаются конкретными фактами. Однако представляется, что русскому языковому сознанию традиционно претит техничность слова и мысли, которая ограничивает его вольнолюбивые устремления. Русское сознание одновременно анархично и авторитарно, поэтому мы, русские, всегда думаем и говорим, что хотим и как хотим, и никакой цензуре не справиться с нашим свободомыслием и речевым вольнолюбием. Именно поэтому нам нужна риторика. Как справедливо отметил С. С. Аверинцев,

«если Платон — первый утопист, Аристотель — первый мыслитель, который посмотрел в глаза духу утопии и преодолел его. <...> Аристотель не ставит вопроса, оправдывает ли наша абстрактная мысль риторику; он пишет „Риторику” в трех книгах, рассматривая внутреннюю логику самого феномена. Он не обсуждает, не изгнать ли поэтов из идеального государства; он пишет „Поэтику”. Вопрос не в том, быть или не быть феномену, а в том, каковы объективные законы этого феномена, и как, ориентируясь по этим законам, извлечь максимум блага и минимум зла. <...> Возьмем на себя смелость сказать, что с Платоном русская культура встретилась, и не раз. В Древней Руси эта встреча происходила при посредстве платонизирующих Отцов Церкви. В России XIX–XX столетий посредниками были Шеллинг и русские шеллингианцы, включая великого Тютчева, затем Владимир Соловьев, Владимир Эрн, отец Павел Флоренский, Вячеслав Иванов. Античной философией занимались оппоненты позитивизма и материализма, более или менее романтически настроенные; и естественным образом они брались не за скучные трактаты Аристотеля, а за поэтические диалоги Платона. Но встреча с Аристотелем так и не произошла. Несмотря на деятельность упомянутых специалистов, Аристотель не прочитан образованным обществом России до сих пор»<sup>1</sup>.

Сохранив наиболее значимое и продуктивное, история культуры властно указала нам источники мысли: как вся философия восходит

---

<sup>1</sup> Аверинцев С. С. Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России // Собр. соч. София: Логос; Словарь. Киев: Дух і Літера, 2006. С. 730–738.

к своему исходному тексту — диалогам Платона, так и вся риторика восходит к тексту «Риторики» Аристотеля. «Риторика», очевидно, последнее произведение Стагирита. В известном смысле «Риторика» — завещание Аристотеля, в котором сконцентрирован пафос его социальной мысли:

«Риторика полезна, потому что истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей, а если решения поставятся не должным образом, то истина и справедливость побеждаются своими противоположностями, что достойно порицания»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1355а, 21–39 // Античные риторика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 17–18.

<b>Глава 1. Исторический обзор риторических идей</b> .....	22
<b>Риторика Античности</b> .....	22
<b>Риторика Средних веков</b> .....	42
Византийская риторика .....	45
Западноевропейская средневековая риторика .....	52
<b>Риторика Возрождения и Нового времени</b> .....	54
<b>Русская риторика XVIII–XIX вв.</b> .....	61
<b>Риторика XX века</b> .....	68
Риторический анализ В. В. Виноградова .....	70
Неориторика .....	77
Теория риторики Ю. В. Рождественского .....	81
<b>Выводы и определения</b> .....	98
Научная и риторическая проза. ....	100
Художественная литература. ....	101
Массовая коммуникация .....	101
Риторическая этика и эристика. ....	102

# Глава 1

## ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РИТОРИЧЕСКИХ ИДЕЙ

---

---

### Риторика Античности

Слово *риторика* (греч. *ρητορική* от глагола *ρῆω* — «говорю»), первоначально означало *ораторское искусство*. Многие греческие города-государства, как Афины, управлялись демократически. Политические и судебные решения принимались на сходке голосованием, результаты которого определялись убедительностью публичных речей и впечатлением, которое оратор производил на собравшихся граждан. В V–IV в.х до Р. Х. сложилась профессия *софиста* — «знатоки, мастера», учителя философии и ораторского искусства, которые обучали молодых людей технике аргументации и приемам воздействия словом.

Изобретателем риторики древние называют философа Эмпедокла (495–435 до Р. Х.), который «достиг великой силы слога, пользуясь и метафорами и прочими поэтическими приемами»<sup>1</sup> и, согласно легенде, прославился тем, что якобы бросился в кратер вулкана Этны, — «этим он хотел укрепить молву, будто он сделался богом»<sup>2</sup>. Но, очевидно, первую конструкцию риторики разработал ученик Эмпедокла, «искуснейший в науке красноречия и составивший ее учебник, а проживший (по словам Аполлодора в „Хронологии“) целых сто лет»<sup>3</sup> софист Горгий Леонтинский (485–380 до Р. Х.). Горгий

---

<sup>1</sup> Диоген Лазертский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII, 57. М.: Мысль, 1986. С. 322.

<sup>2</sup> Там же. С. 325.

<sup>3</sup> Там же. С. 322.

построил первый свод топики (учения об основаниях аргументов), предложил учение об аргументации, выделил и обозначил риторические фигуры и создал школу риториков<sup>1</sup>.

Вернер Йегер следующим образом характеризует историко-культурное значение образовательной деятельности софистов:

«Цель образовательного движения, осуществленного софистами, изначально заключалась не в народном образовании, а в формировании вождя. В основе своей это была старая проблема знати в новой форме. Конечно, нигде не было так много возможностей овладеть основами элементарных познаний для каждого, даже и для простого гражданина, как в Афинах, даже и без того, чтобы государство взяло школу в свои руки. Но софисты изначально обращаются только к избранным. К ним приходит лишь тот, кто хочет сформироваться как политик и когда-то повести за собой свой город. Чтобы удовлетворять требованиям времени, такой человек должен не только, как Аристид, соответствовать древнему политическому идеалу справедливости, чего можно потребовать от любого гражданина. Ему недостаточно соблюдать законы; от него требуется управлять государством через законы, для чего, кроме обязательного во всяком случае опыта, приобрести который позволяет только вхождение в процесс политической жизни, ему необходим еще и общий взгляд на сущность человеческих вещей. Впрочем, основные качества государственного деятеля невозможно усвоить. Энергия, присутствие духа и дар предвидения, которые Фукидид прежде всего хвалит у Фемистокла, — врожденный дар. Но дар меткой убедительной речи может быть воспитан. Уже у благородных геронтов, которые составляли государственный совет в гомеровском эпосе, это отличительная доблесть властителя, и этот ранг она сохранит во все последующее время. Гесиод видит в ней силу, которую Музы сообщают царю и благодаря которой последний руководит любым собранием с помощью мягкого принуждения. Таким образом, красноречие приобретает одинаковый статус с поэтическим вдохновением, также ниспосылаемым Музами. Вероятно, в первую очередь Гесиод имел в виду судейскую способность к решительному и обоснованному слову. В демократическом государстве народных собраний и свободы слова дар красноречия впервые становится действительно необходимым, — он, собственно, делается кормчим веслом в руках государственного человека. Классическая эпоха просто называет политика ритором. У этого слова еще нет чисто формального значения, свойственного позднейшим временам, — напротив, оно включает в себя и содержательный элемент. Тогда было самоочевидным, что единственным содержанием всякого публичного красноречия является государство и его дела.

<sup>1</sup> См.: *Магаффи Дж.* История классического периода греческой литературы. Т. 2. М., 1883. С. 73–74.

Отсюда должно было начинаться любое политическое воспитание вождя. Оно с необходимостью становится формированием оратора, причем, в соответствии с греческим словом *λόγος* и его значением, здесь мыслимы совершенно различные степени взаимопроникновения формального и содержательного элементов. Отныне становится понятным и осмысленным, что образуется целое сословие воспитателей, публично заявляющих о себе, что они берутся учить „добродетели” — как переводили раньше — за деньги. Эта ложная модернизация греческого понятия *αρετε* в основном и ответственна за то, что притязания софистов, или учителей знания, как называли их профессию современники, а вскоре и они сами, изначально кажется современному человеку наивной и бессмысленной самонадеянностью. Это глупое недоразумение исчезает, как только мы придаем слову *αρετε* значение, само собой разумеющееся для классической эпохи, — значение политической *αρετε*, имея в виду при этом в первую очередь интеллектуальные и ораторские способности, которые в новой ситуации V в. должны были казаться ее решающим элементом. Для нас естественно, что мы ретроспективно с самого начала глядим на софистов скептическим взглядом Платона, для которого сократовское сомнение в том, что „добродетели можно научить”, было началом любого философского познания. Но исторически неоправданным и препятствующим реальному пониманию этой в высшей степени важной для истории человеческого образования эпохи является навязывание ей результатов более высокого этапа философского самосознания. С точки зрения истории культуры софисты — столь же необходимое явление, как и Сократ с Платоном, — да и вообще последние без первых немыслимы»<sup>1</sup>.

Упомянутая В. Йегером критика софистов и риторики Платоном (427–347 г. до Р. Х.), создавшая в последующей философской традиции отрицательное и во многом несправедливое о них мнение, имела тем не менее исключительное значение. Платон определил этические границы публичной аргументации и отношение риторики к религии и философии. В диалоге Платона «Горгий», участники которого представлены как реальные люди, взгляды Горгия на риторику представлены, очевидно, в утрированном и схематическом виде, но при этом Платон удачно сформулировал важнейшую проблему риторики:

«Сократ. ...Объясни, что ты имеешь в виду, говоря о величайшем благе и называя себя его создателем.

<sup>1</sup> Йегер В. *Пайдейя*. Воспитание античного грека. Т. 1 / Перевод с немецкого А. И. Любжина. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2001. С. 206–207.

*Горгий.* То, что поистине составляет величайшее благо и дает людям как свободу, так равно и власть над другими людьми, каждому в своем городе.

*Сократ.* Что же это, наконец?

*Горгий.* Способность убеждать словом и судей в суде, и советников в совете, и народ в народном собрании, да и во всяком ином собрании граждан. Владея такою силой, ты и врача будешь держать в рабстве, и учителя гимнастики, а что до нашего дельца, окажется, что он не для себя наживает деньги, а для другого — для тебя, владеющего словом и умением убеждать толпу»<sup>1</sup>.

Платон критикует софистику в первую очередь за хаотические последствия публичной речи, лишенной нравственного и предметного основания:

«Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что — зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла, выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое, какие, по-твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?»<sup>2</sup>

По мысли Платона, Горгий и другие софисты, обучая технике эристической диалектики, разрушают общество, поскольку ловкая речь *создает в неподготовленной аудитории иллюзию компетентности*, в результате чего ответственные посты в государстве занимают безнравственные и неподготовленные люди:

«Знать существо дела красноречию нет никакой нужды, надо только отыскать какое-то средство убеждения, чтобы казаться невеждам большим знатоком, чем истинные знатоки»<sup>3</sup>.

Поэтому ответственность учителя риторики за содержание его риторического учения и последствия преподавания<sup>4</sup> определяется уровнем нравственной подготовки учеников.

Основная задача ратора и преподавателя риторики состоит, по Платону, в повышении компетентности общества:

«А если мы проявим заботу о своем государстве и согражданах, не должны ли мы стремиться к тому же — чтобы сделать сограждан как можно лучше? Ведь без этого, как мы установили раньше, любая иная услуга окажется им не впрок, если образ мыслей тех, кому предстоит

<sup>1</sup> Платон. Горгий. 452d–e // Соч. Т. 1. М.: Мысль, 1968. С. 264–265.

<sup>2</sup> Платон. Федр. 260d // Соч. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 198.

<sup>3</sup> Платон. Горгий. 459c // Соч. Т. 1. С. 273.

<sup>4</sup> Там же. 458d, 519d // Соч. Т. 1. С. 273–274, 355.

разбогатеть, или встать у власти, или вообще войти в силу, не будет честным и достойным»<sup>1</sup>.

Цель риторики — подготовка компетентного гражданина, в первую очередь государственного деятеля и судьи, ораторское искусство которого совершенствует нравы общества<sup>2</sup>.

Истинное искусство риторики, по мысли Платона, выходит далеко за пределы техники аргументации, а истинный ритор предстает как философ<sup>3</sup>.

Платон прекрасно владел риторической техникой и искусно использовал ее в своих произведениях, не пренебрегая и формами аргументации, которые можно назвать эристическими или софистическими. Проблема познавательной ценности аргументации правдоподобного, поставленная Платоном, непосредственно связана с проблемой места риторики в системе знания. Предмет риторической аргументации — «промежуточная область между существующим и несуществующим, область становящегося и возможного»<sup>4</sup>. Суждение о правдоподобном, различным образом соединяя в себе ощущение и фантазию, может содержать истинное и ложное мнение.

Этическая проблема риторики состоит в следующем: если риторика занимается словесной техникой аргументации в публичной речи и такая аргументация может оказаться не только диалектической, но и эристической, а в риторике исследуется и даже преподается всякая техника словесной аргументации, то ответственна ли риторика как знание за возможные последствия ее применения в безнравственных целях? На самом деле это проблема практического применения любого знания, но впервые она была поставлена именно в отношении риторики, поскольку отрицательные последствия безнравственного использования словесной техники были в то время наиболее очевидными. И хотя различного рода угрозы, вызываемые современным ростом научного знания, представляются неизмеримо более значительными, этические проблемы риторики продолжают обсуждаться и само слово *риторика* до сих пор ассоциируется с духовно-нравственной опасностью целенаправленного обмана и манипуляции сознанием словесных средств убеждения.

<sup>1</sup> Платон. Горгий. 458d, 519d // Там же. Т. 1. С. 348.

<sup>2</sup> Там же. С. 352–353.

<sup>3</sup> Платон. Федр. 278c // Соч. Т. 2. С. 221.

<sup>4</sup> Платон. Софист. 256e // Там же. С. 381.

Задача превращения риторики в научную дисциплину решена Аристотелем (384–322 до Р. Х.). Критика Платона привела к разумному сочетанию рецептивного и развивающего принципов образования, что осуществилось в системе образовательных дисциплин, разработанных Аристотелем. В основе этой системы лежат «Тописка» и «Риторика» как языковое, техническое основание философского и научного знания и методологии решения проблем научно-философского и практического характера, которое, «будучи способом исследования, <...> прокладывает путь к началам всех учений»<sup>1</sup>.

«Риторика» Аристотеля – первая систематическая монография, описывающая «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета»<sup>2</sup>, – представляет собой, по выражению А. Ф. Лосева, *логику иррациональности*.

Эстетическое учение Аристотеля «всю художественную область трактует именно не как абсолютную достоверность и реальное бытие, но только как возможность, как такое бытие, которое может быть, а может и не быть и которое, собственно говоря, *нейтрально* к обычно понимаемой действительности и оценивается не с точки зрения своего абсолютного наличия или отсутствия, но с точки зрения того среднего, что находится между „быть” и „не быть”... Теперь Аристотель и привлекает ту логическую область, которая не основана на чистом разуме и абсолютной достоверности, но которая основана как раз на этой бытийно-нейтральной области искусства. Таковую логику он и называет *диалектикой*. И это является диалектикой уже в смысле чисто аристотелевском. Диалектика, по Аристотелю, есть логика чистой возможности или вероятности, а не абсолютной достоверности. Именно этой логикой пользуемся мы, когда хотим друг друга в чем-нибудь убедить. И это – та подлинная логика, которой пользуются и художники и все, кто воспринимает и переживает их художественные произведения. Этой логикой и пользуется риторика вообще, то есть искусство кого-нибудь в чем-нибудь убеждать. Искусство, построенное на диалектической логике, то есть на логике бытийно-нейтральной, и есть риторика»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Аристотель. Тописка. 101b // Соч.: В 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 351.

<sup>2</sup> Аристотель. Риторика. 1355b, 25 // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 19.

<sup>3</sup> Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т. IV. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. С. 529–531.

Аристотелевское понимание риторики как теории аргументации, так же как и у Платона, связано с этической критикой софистов:

«Риторика полезна, потому что истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей, а если решения постановляются не должным образом, то истина и справедливость необходимо побеждаются своими противоположностями, что достойно порицания»<sup>1</sup>.

Поэтому и владеть средствами риторической аргументации может и должен человек воспитанный и образованный. Если «способ убеждения есть некоторого рода доказательство»<sup>2</sup>, то содержание риторической аргументации подлежит сознательной оценке и критике с позиций знания и нравственности:

«Находчивым в деле отыскания правдоподобного должен быть тот, кто так же находчив в деле отыскания самой истины»<sup>3</sup>.

По мысли Аристотеля, риторика, хотя она может рассматриваться и иногда рассматривается как отрасль политики<sup>4</sup>, на самом деле «есть некоторая часть и подобие диалектики: и та и другая не есть наука о каком-либо определенном предмете, о том, какова его природа, но обе они — лишь методы для нахождения доказательств»<sup>5</sup>.

В теории Аристотеля мышление неразрывно связано со словом: речь, высказывание («логос») содержит утверждение чего-то о чем-то, т. е. предикативность. Высказывание может быть простым и составным: «Высказывание едино, но в двух различных смыслах: или как обозначение чего-то одного, или как соединение многого — так, „Илиада“ едина как соединение, а определение человека — как обозначение одного»<sup>6</sup>.

Такая «высказывающая речь» может содержать аргументацию, т. е. словесно выраженные и обоснованные мысли, которые предстанут как истинные или ложные, а обоснование которых убедительно или неубедительно. Поэтому риторика и выступает у Аристотеля как наука «о речи и о мысли», об отношении мышления к слову:

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1355а, 21–24. С. 17.

<sup>2</sup> Там же. 1355а, 5–10.

<sup>3</sup> Там же. 1355а, 17–18. С. 17.

<sup>4</sup> Этот политологический аспект риторики и связь риторики с политическим учением Аристотеля рассматривается в работе: Рождественский Ю. В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1999. С. 11–20.

<sup>5</sup> Аристотель. Риторика. 1356а, 25–34. С. 20.

<sup>6</sup> Аристотель. Поэтика. 1457а, 28–30 // Соч. Т. 4. С. 668.

«...о том, что касается мысли, следует говорить в риторике, так как это принадлежность ее учения. К области мысли относится все, что должно быть достигнуто словом; части же этой задачи — доказывать и опровергать, возбуждать страсти (такие, как сострадание, страх, гнев и тому подобные), а также возвеличивать и умалять»<sup>1</sup>.

Что же касается диалектики, то она представляет собой «способ, при помощи которого мы в состоянии будем из правдоподобного делать заключения о всякой предлагаемой проблеме и не впадать в противоречие, когда мы сами отстаиваем какое-нибудь положение»<sup>2</sup>.

Если диалектика является наукой о правдоподобных умозаклучениях, исходящих из посылок, которые представляются правильными всем, или большинству, или компетентным людям, но одновременно инструментом образования и *методологией решения спорных проблем*, то, будучи «способом исследования, она прокладывает путь к основам всех учений»<sup>3</sup>. В этом методологическом смысле риторика предстает как часть диалектики. Действительно, диалектическая аргументация, по Аристотелю, — основа риторики.

Но риторика не сводится к диалектике: аргументы — диалектические, дидактические, испытующие, эристические<sup>4</sup> — рассматриваются в риторике как словесные поступки, совершаемые определенными людьми в определенных культурно-языковых и исторических обстоятельствах и с определенной целью.

«Риторика» Аристотеля состоит из трех частей (книг). В первой книге дается определение риторики, рассматривается ее отношение к диалектике и другим наукам. Главное свойство риторической аргументации в ее принципиальной спорности: имеет смысл совещаться лишь о таких предметах, о которых существуют и могут существовать различные мнения. По мысли Аристотеля, риторическая аргументация может быть двух типов — *техническая*, основанная на умозаклучениях, и *нетехническая*, основанная на фактах. Аристотель уточняет природу риторической аргументации, отделяя субъективную (психологическую) убедительность речи как доверие конкретного человека к ее содержанию от объективной убедительности речи, вытекающей из отношения ее содержания к культурно значимой форме словесного воплощения замысла:

<sup>1</sup> Аристотель. Поэтика. 1456a, 35–1456b, 2 // Соч. М.: Мысль, 1984. С. 666.

<sup>2</sup> Аристотель. Топаика. 101a, 18–20 // Соч. Т. 2. С. 349.

<sup>3</sup> Там же. 101b. С. 351.

<sup>4</sup> Аристотель. О софистических опровержениях / 165a, 38 — 165b, 10 // Соч. Т. 2. С. 537.

«Риторика не рассматривает того, что является правдоподобным для отдельного лица... но имеет в виду то, что убедительно для всех людей, каковы они есть»<sup>1</sup>.

Речи (риторические высказывания) разделяются на три вида – совещательные, показательные (эпидейктические) и судебные. Аргументация в каждом из этих видов речей может быть положительной и отрицательной. Содержание совещательных речей – будущее, задача – склонять к решению или отклонять от решения, а цель – польза или вред. Содержание судебных (судительных) речей – прошлое, задача – обвинять или оправдывать, а цель – справедливое и несправедливое. Содержание эпидейктических речей – настоящее, задача – похвала или порицание, цель – прекрасное или постыдное.

Совещательный ритор говорит о финансах, о войне и мире, о безопасности, о внешнеторговых отношениях и о законодательстве. Польза и вред связаны с представлениями людей о счастье. Поэтому ритор должен хорошо знать политику, экономику, военное дело, международные отношения и нравственные установления общества. Эпидейктический ритор говорит о прекрасном и безобразном. Поэтому он должен хорошо знать философию, искусство, обычаи того общества, к которому обращается. Судебный ритор говорит о справедливых и несправедливых поступках. Поэтому он должен владеть антропологическими знаниями, чтобы уметь отличать намеренные поступки от непреднамеренных действий, а также понимать психологические мотивы поступков. Он должен также хорошо знать философию и право естественное и позитивное, т. е. всеобщие принципы права (неписанные законы) и конкретное законодательство (писанные законы).

Во второй книге «Риторики» рассматриваются условия убедительности речи:

- (1) страсти и нравы аудитории;
- (2) приемы доказательства положений. Нравы аудитории и ратора называются *эмосом*, страсти (риторические эмоции) – *пафосом*, приемы доказательства – *логосом*.

Аристотель называет основные пафосы: гнев – милость, страх – мужество, стыд – наглость или бесстыдство, благодарность – неблагодарность, негодование – сострадание, зависть, соревнование – и указывает приемы возбуждения этих страстей. Учение о нравах (эмос) связывается с возрастом (юность, зрелость, старость), соци-

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1356b. С. 21.

альным происхождением, материальным положением, общественной влиятельностью.

К основным приемам доказательства (логос) относятся пример и энтимема (риторическое умозаключение). Примеры подразделяются на фактические и вымышленные (модели) — басню и притчу. Энтимемы представляют собой умозаключения, посылки которых — положения, содержащие знаки или представляющие собой вероятностные суждения. В таком случае энтимемы содержат прогностические высказывания, надежность которых определяется типом знака (обязательного или факультативного признака), который в них используется, или установленной степенью достоверности<sup>1</sup>. Кроме того, посылки энтимем могут быть опущены и подразумеваются. Посылки риторических аргументов могут исходить либо из данных частных наук, либо из положений, которые принимаются как достоверные или правильные либо представляются общими для всех людей. Такие общие положения или общие места (топы) выступают как основа риторической аргументации в области общественных отношений («боги ненавидят несправедливость») или мироустройства<sup>2</sup> («целое больше части»).

В третьей книге «Риторики» рассматриваются вопросы стиля и композиции речи. Аристотель называет достоинства стиля — ясность, правильность, краткость, выразительность, этичность, уместность, благозвучие. С точки зрения характера связи между предложениями речь может быть непрерывной и периодической. Завершенность непрерывной речи определяется ее содержанием. Периодическая речь состоит из логически и ритмически организованных фраз (периодов), строение которых обозримо и отражает структуру отдельной мысли.

С точки зрения отношения отдельной мысли к ее словесному выражению Аристотель использует понятие выражения; к выражениям относятся метафоры (слова в переносном значении) и обороты речи. В композиционном отношении речь состоит из четырех основных частей — вступления, изложения, доказательства и заключения.

---

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1357а, 1357в, 20. С. 22–23.

<sup>2</sup> Там же. 1358а, 1–35. С. 23–24.

«Риторика» Аристотеля — не первое руководство по ораторскому искусству<sup>1</sup>, но первый дошедший до нас научный трактат, в котором систематически изложена теория публичной аргументации.

Науки о слове, в частности риторика, активно разрабатывались в эллинистический период Античности. Особая заслуга в этом отношении принадлежит философским и научным школам стоиков — последователей Зенона (335–262 до Р. Х.) и Хрисиппа (280–204 до Р. Х.), перипатетиков — последователей Аристотеля и академиков — последователей Платона.

В учении стоиков разработана следующая классификация знаний и учебного предмета<sup>2</sup>: все знание (философия) подразделяется на три части — физику, этику и логику. В состав логики входят диалектика и риторика. Диалектика включает общее учение о языке, которое в наше время называется языкознанием, учения о видах высказываний и о строении высказывания, которые в настоящее время относятся к общей филологии (теории словесности), литературоведению и логике.

Из диалектики выделяется предмет грамматики как «искусства понимать поэтов и историков, руководящее главным образом формой речи в соответствии с аналогией и обиходом»<sup>3</sup>. В задачи учебного предмета грамматики входили умение читать и писать, объяснение переносных значений слов, толкование трудных слов, нахождение этимологии, т. е. смысловых связей слов по их звуковому составу, отбор аналогий, т. е. парадигм склонения и спряжения, стилистическая оценка произведений, «что является самым прекрасным в этом искусстве»<sup>4</sup>. В задачи собственно диалектики входили учения о строении системы языка, о представлении, высказывании и умозаключении.

Риторика как «наука хорошо говорить при помощи связных рассуждений»<sup>5</sup> выстраивается стоиками как последовательность создания целесообразного высказывания и подразделяется на нахож-

<sup>1</sup> Ошибка считать «Риторику» Аристотеля первым руководством по риторике, а самого Аристотеля ее основоположником, к сожалению, весьма распространена среди авторов, пользующихся при рассмотрении вопросов риторики вторичными источниками. Ср., например, фактически неверное и содержательно искаженное изображение предмета и истории риторики в статье: Баранов М. Т. От риторики к развитию речи в школе России // Русский язык в школе. 1998. № 4. С. 50–55.

<sup>2</sup> Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. С. 259–272.

<sup>3</sup> Цит. по: Античные теории языка и стиля // Под ред. О. М. Фрейденберг. М.; Л.: ОГИЗ, 1936. С. 106.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. С. 260.

дение (изобретение), изложение, построение и исполнение речи<sup>1</sup>; впоследствии строение учебного предмета риторики принимает следующий вид: изобретение, расположение, выражение, запоминание, исполнение или действие<sup>2</sup>.

Таким образом, складывается система общего образования, впоследствии названная тривиумом (*trivium* — «трехпутье»): грамматика, диалектика, риторика<sup>3</sup>.

В риторических сочинениях римских авторов нет принципиально новых идей: понятийный аппарат и содержание риторики в основном разработаны греками. Латинские риторики существовали еще в начале I в. до Р. Х.<sup>4</sup> В римской традиции риторика утверждается и систематизируется как словесная наука о человеке в его отношении к обществу, она становится своего рода государственной идеологией и охватывает основное содержание научно-философской, юридической и художественной культуры<sup>5</sup>.

Самым знаменитым римским оратором и теоретиком риторики считается Марк Туллий Цицерон (106–43 г. до Р. Х.), писатель, государственный деятель, адвокат конца республиканской эпохи, сочетавший высокую эллинистическую литературную и философскую образованность с римским практицизмом и юридизмом. Речи и письма Цицерона, в значительной части дошедшие до нас, являются непревзойденным образцом латинской прозы.

Несомненное значение риторических идей Цицерона в том, что они, не претендуя на оригинальность<sup>6</sup>, отражают опыт этого великого мастера слова и содержат авторитетные оценки положений

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Квинтилиан указывает обычный общепринятый порядок частей риторики: «*Omnibus autem orandi ratio, ut plurimum maxime auctores tradiderunt, quinque partibus constant: inventione, dispositione, elocutione, memoria, pronuntiatione sive actione*» (*Oeuvres complètes de Quintilien*. Т. 1. Р.: Garnier. Р. 218).

<sup>3</sup> См.: *Адо И.* Свободные искусства и философия в античной мысли. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002.

<sup>4</sup> Например, «Риторика к Гереннию» — анонимное сочинение, одно время приписывавшееся Цицерону, но написанное в начале I в. до Р. Х.

<sup>5</sup> *Аверинцев С. С.* Античный риторический идеал и культура Возрождения // *Античное наследие в культуре Возрождения*. М.: Наука, 1984. С. 145–147.

<sup>6</sup> Старшим современником Цицерона был прославленный энциклопедическими знаниями и многочисленными сочинениями филолог, юрист и историк Марк Теренций Варрон (116–27 г. до Р. Х.), разработавший весь комплекс наук о слове, в том числе, очевидно, и основные вопросы риторики. Но от творчества Варрона сохранились лишь трактат по сельскому хозяйству, работа «О латинском языке» и несколько поэтических фрагментов.

риторики. Цицерон рассматривает риторику как *эмпирическую науку, задача которой состоит в осмыслении и обобщении реального опыта аргументации*:

«В самом деле, если определять науку, как только что сделал Антоний, — „наука покоится на основах вполне достоверных, глубоко исследованных, от произвола личного мнения независимых и в полном своем составе усвоенных знанием“, — то, думается, никакой ораторской науки не существует. Ведь сколько ни есть родов нашего судебного красноречия, все они зыбки и все приноровлены к обыкновенным ходячим понятиям. Но если умелые и опытные люди взяли и обратились к тем простым навыкам, которые сами собой выработались и соблюдались в ораторской практике, осмыслили их и отметили, дали им определения, привели в ясный порядок, расчленили по частям, — и все это, как мы видим, оказалось вполне возможным, — в таком случае я не понимаю, почему бы нам нельзя было называть это наукой, если и не в смысле того самого точного определения, то, по крайней мере, согласно с обыкновенным взглядом на вещи»<sup>1</sup>.

Как представляется, понимание Цицероном природы науки риторики имеет широкое значение: по существу дела все гуманитарные науки изучают и обобщают эмпирический опыт того, что может быть названо искусством, — публичной речи, управления, хозяйственной деятельности, разрешения имущественных конфликтов, художественного творчества.

Римская ораторская практика времени Цицерона была в основном судебной и политической. Судебная речь содержит наиболее сложную и острую аргументацию, поскольку она предполагает соревнование сторон в судебном процессе, а решение принимается на основе взвешенной оценки компетентным судьей доказательств, исходящих из анализа обстоятельств дела, системы позитивного права и моральных норм, принятых в обществе. Поэтому именно судебная речь рассматривается Цицероном как основная форма публичной аргументации: при овладении судебной риторикой всякая иная речь — совещательная или показательная — представляется относительно нетрудной задачей<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Об ораторе. Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994. С. 343–344.

<sup>2</sup> Там же. С. 241.

По мысли Цицерона, оратор – государственный деятель, который средствами публичного слова организует общественную жизнь, обеспечивает регулярное правосудие, поддерживает высокий уровень общественной нравственности и единства общества и «всему государству в целом приносит счастье и благополучие»<sup>1</sup>. Поэтому «оратором, достойным такого многозначительного названия, будет тот, кто любой представившийся ему вопрос, требующий словесной разработки, сумеет изложить толково, стройно, красиво, памятно и в достойном исполнении»<sup>2</sup>. Ораторская профессия требует природного дарования – хорошего голоса и внешних данных, способности к связной, плавной, свободной речи, смелости, чувства ответственности, находчивости и памяти, природного ума: «Оратор должен обладать остроумием диалектика, мыслями философа, словами чуть ли не поэта, памятью законоведа, голосом трагика, игрою такую, как у лучших лицедеев. Вот почему в роде человеческом никто не попадает так редко, как совершенный оратор»<sup>3</sup>. Но качества эти могут быть развиты воспитанием и обучением у всякого, кто обладает ими в той или иной мере, при должном «рвении и восторженной любви к делу»<sup>4</sup>. Поэтому профессия оратора в не меньшей мере требует глубокой и всесторонней подготовки не только в смысле овладения техникой речи, но и в содержательном плане, поскольку «никто не может говорить хорошо о том, чего он не знает»<sup>5</sup>.

В курс риторики входят изучение теории, правила которой «явились как свод наблюдений над приемами, которыми красноречивые люди ранее пользовались бессознательно»<sup>6</sup>; упражнения: постановку голоса и жеста, подражание образцам; письменное изложение и письменные сочинения, в которых отрабатывается стиль; переводы, заучивание наизусть ораторских и художественных текстов; аналитическое чтение произведений художественной литературы; специальные упражнения на изобретение аргументов и произнесение учебных речей, а впоследствии индивидуальная практика под руководством опытного юриста или политика.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 169.

<sup>2</sup> Там же. С. 176.

<sup>3</sup> Там же. С. 190.

<sup>4</sup> Там же. С. 191.

<sup>5</sup> Там же. С. 176.

<sup>6</sup> Там же. С. 194.

Общее образование ценится Цицероном как осведомленность в изящной словесности — философии, истории и науках, в греческой и латинской эпической, драматической и лирической поэзии. Такое общее образование является, по мысли Цицерона, украшением речи: «...так как ораторское искусство не должно быть убогим и бледным, а должно быть приятно разубрано и расцвечено самыми разнообразными предметами, то хорошему оратору следует многое услышать, многое увидеть, многое обдумать и усвоить и многое перечитать, однако не присваивать это себе, а только пользоваться из чужих запасов»<sup>1</sup>.

Оратор — блестящий дилетант в философии, истории и литературе — использует их по мере необходимости, *но не основывается на них*. Поскольку практический результат — выигрыш дела — является реальной задачей, существенно не то, что считает истинным или правильным сам оратор, а то, что считает истинным или правильным аудитория. Поэтому если цель греческого ратора, по Платону и Аристотелю, состоит в воспитании общества, в распространении истинного знания и духовной нравственности, то римский оратор, по Цицерону, говорит то, что угодно римскому народу: «Широту и глубину их науки и мысли я не только не презираю, — я ими от души восхищаюсь; однако для нас, среди нашего народа на нашем форуме, достаточно знать и говорить о людских обычаях то, что не расходится с людскими обычаями»<sup>2</sup>.

Высказываясь в пределах обыденного здравого смысла римского народа, который, само собой разумеется, «выше всех народов государственной мудростью»<sup>3</sup>, оратор опирается в первую очередь на позитивное право, всегда остающееся для него единственным критерием приемлемости суждений. Общепринятая практическая мораль и римское право становятся основой мировоззрения: религия и духовная мораль, философия, наука, искусства подчинены правовой норме, регулирующей столкновение практических интересов, — «ведь наше-то слово должно доходить до ушей толпы, должно пленять и увлекать сердца, должно предлагать такие доказательства, которые взвешиваются не на весах золотых дел мастера, а как бы на рыночном безмене»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Об ораторе. Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. С. 212.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 206.

<sup>4</sup> Там же. С. 263.

Итак, по Цицерону, «ритор — дилетант в самом широком смысле этого слова; его дело — не „единое“, но „все“, не самососредоточение, но саморазвертывание личности, не ее систола, но ее диастола»<sup>1</sup>. Но дилетант — лишь в плане мировоззрения. Что же касается практического интереса, то здесь ритор выступает самым настоящим профессионалом, который всегда хорошо «знает, сколько есть средств, чтобы вызвать требуемое впечатление, в чем они состоят и какой род речи для этого нужен»<sup>2</sup>.

Цицероновский взгляд на ритора и на риторику оказал могущественное влияние на всю последующую западноевропейскую культуру вплоть до нашего времени. Однако, по выражению биографа Цицерона Гастона Буассье, «причины, сделавшие из него неподражаемого писателя, мешали ему быть хорошим политиком»<sup>3</sup>.

Цицерон был убит 7 декабря 43 г. по распоряжению Марка Антония, который в 30 г., после поражения в гражданской войне против Октавия Цезаря, покончил в Александрии жизнь самоубийством. Власть полностью перешла в руки Октавия Цезаря, и начался новый этап истории Рима — эпоха принципата. Состояние дел в государстве, успешно предсказанное еще Платоном, сменилось устойчивым монархическим порядком после того, как Сервий Сульпиций Гальба в 68 г. н. э. сверг Нерона и был провозглашен императором.

Среди друзей нового императора был уроженец Испании Марк Фабий Квинтилиан, который, несмотря на свою молодость, — он родился в 42 г. — уже приобрел известность как талантливый адвокат, литератор и преподаватель риторики. В том же 68 г. Гальба учредил в Риме государственную кафедру римской риторики, которую и поручил Квинтилиану, впервые в истории образования присвоив ему звание профессора.

Свое главное сочинение — «*Institutio oratoria*»<sup>4</sup> — в 12 книгах Квинтилиан начал писать, имея двадцатилетний стаж преподавания. Уже первые три книги имели значительный успех, и император Домициан, которому Квинтилиан посвятил свой труд, поручил ему воспитание своих внучатых племянников.

<sup>1</sup> Аверинцев С. С. Античный риторический идеал и культура Возрождения. С. 151

<sup>2</sup> Цицерон. Эстетика: трактаты, речи, письма. М.: Искусство, 1994. С. 181.

<sup>3</sup> Буассье Г. Цицерон и его друзья (Очерк римского общества времен Цезаря). М., 1880. С. 32.

<sup>4</sup> Здесь и далее «Двенадцать книг об ораторском искусстве» Квинтилиана цит. по параллельному парижскому изданию: *Oeuvres complètes de Quintilien*. Т. 1–4. P.: Garnier.

Главная мысль всего сочинения, которое иногда и переводят не «Двенадцать книг риторических наставлений», а «Воспитание оратора», состоит в том, что образование оратора должно начинаться с детства<sup>1</sup>. Рассматривая причины упадка элоквенции, Квинтилиан указывает, что не падение нравов приводит к плохой риторике, а упадок красноречия и падение нравов имеют общую причину — невнимание родителей к детям, неправильное воспитание и обучение. Поэтому, когда будущий оратор приступает к занятиям риторикой, именно недостатки предварительного образования препятствуют ему освоить ораторское искусство: «*latent fundamenta*» — скрыты основы.

Риторика преподается на возделанной почве: постоянные занятия, чтение, письмо, упражнения в устной речи, в особенности заучивание и декламация, создают способность к свободной и выразительной речи.

Воспитание оратора начинается с выбора кормилицы, которая должна не только владеть правильной народной речью, но и с младенчества привить ребенку начала нравственного и достойного поведения, которые содержатся в песнях, сказках, народных пословицах и поговорках, играх. Когда придет время отдать ребенка в начальную школу, то государственную школу следует по возможности предпочесть частной, но в особенности нужно тщательно следить за качеством преподавания и при первых признаках некомпетентности учителя немедленно сменить школу.

В начальной школе формируются основные положительные качества, но и пороки речи, поэтому необходимо следить за тем, как ребенок осваивает грамматическую систему языка, как развивается его словарный запас, насколько он умеет использовать лексику в прямом и переносном значении. Серьезное внимание следует уделить навыкам письма, правописанию и выбору круга чтения.

Занятия музыкой и изобразительным искусством развивают речевые способности, поэтому ими не следует пренебрегать. Изучение математики, в особенности геометрии, дисциплинирует разум, создает навык устойчивого внимания и сосредоточенности. Театр — прекрасная школа декламации и жеста, поэтому подростка полезно водить в театр, чтобы он освоил четкое и выразительное произношение и ритм публичной речи, контролируя репертуар представлений, на которых может присутствовать подросток. Но при этом важно

---

<sup>1</sup> Oeuvres complètes de Quintilien. T. 1. P. 3–198. P.: Garnier.

не упускать из виду, что многопредметность создает опасную иллюзию знания и приводит к верхоглядству.

Отдавая подростка в риторическую школу, следует удостовериться в надежности преподавателя, в его нравственности и профессиональной компетентности. Преподаватель риторики должен быть хорошо подготовлен в методическом отношении, он должен понимать основные принципы дидактики и в упражнениях двигаться от простого к сложному. Тщательный и правильный отбор ораторов и историков, произведения которых проходятся в классе, умение при изучении классиков развивать память учащихся свидетельствуют о профессиональном уровне учителя. Не менее важным считает Квинтилиан индивидуальный подход к ученику, позволяющий развивать его способности до максимально возможного уровня. Но учитель должен быть строгим и требовательным, именно эти качества не только являются условием результативного обучения, но и развивают в ученике ответственность и чувство долга. Цель учителя — систематическое образование учащихся, но образованность означает продуманность и ответственность суждений и понимание ограниченности собственных знаний, поэтому часто кажется, что необразованные люди более сообразительны, чем образованные: они готовы высказываться о чем угодно.

Что же такое риторика, каково ее образовательное и общественное значение? Существует несколько видов искусств. Одни из них являются умозрительными и имеют целью познание и оценку вещей. Умозрительные искусства предполагают не действия, а интеллектуальное рассмотрение предмета. Практические искусства имеют целью действие, после которого ничего не остается. Таков танец. Творческие искусства, как живопись, состоят в создании произведения, чего-то завершенного и видимого.

Риторика сочетает в себе элементы всех видов искусств: мышление, действие, продукт в виде произведения слова. Но она «назовется искусством деятельным или управляющим (*dicatur activa vel administrativa*), таково имя ее предмета»<sup>1</sup>. Как всякое искусство, элоквенция требует природного таланта, который развивается размышлением и упражнением, но помимо таланта ритор должен быть образован в культуре — обладать не только обширной эрудицией в философии, истории, науках и литературе, но и фундаментальными познаниями в области права и государственного управления.

---

<sup>1</sup> Ibid. P. 119.

Квинтилиан следует за греческими авторами, мысли которых, очевидно, не просто излагает<sup>1</sup>, а творчески перерабатывает. Риторика разделяется на пять частей: изобретение (*inventio*), расположение (*dispositio*), выражение (*elocutio*), память (*memoria*), произнесение или действие (*pronuntiatio sive actio*), «к которым некоторые прибавляли шестую – суждение (*judicare*)»<sup>2</sup>, т. е. оценку аргументации, которую в новейшей риторике можно отождествить с риторической критикой.

Под речью (*oratio*) Квинтилиан понимает завершенное по цели и содержанию устное или письменное высказывание, которое «состоит из того, что обозначено, и из того, что обозначает, то есть из вещей и слов»<sup>3</sup>. Слово «вещь» (*res*) в латинском языке имеет множество значений; применительно к риторической терминологии это слово может быть передано как рассматриваемое дело или *предмет мысли*<sup>4</sup> с его содержанием и обстоятельствами. Важнейшее отношение мысли к слову – определенность и точность. Всякая речь, обозначающая некую «вещь», предстает ответом на вопрос и задается содержанием и строением вопроса, который, таким образом, лежит в ее основании.

Рассматривая важнейшую часть теории вопроса-ответа, учение о статусах, Квинтилиан не связывает их исключительно с частными вопросами практического характера. Статусы независимы от семантики переменных – значений слов, а определяются отношением значения вопросительного слова к «совокупности ответов, допускаемых этим вопросом»<sup>5</sup>: любая из приведенных выше тем римской учебной риторики соотносима с каким-либо статусом.

Если рассматривать логический порядок статусов по умозрительным вопросам, то первым будет **статус установления** (*status coniecturalis*), за ним следует **статус определения** (*status finitionis*) и **статус оценки** (*status qualitatis*).

Статус установления предполагает вопрос о наличии и составе обсуждаемого факта. Здесь рассматриваются вопросы возможности и действительности деяния и обстоятельств дела. При обсуждении

<sup>1</sup> Подробный разбор системы риторических категорий Квинтилиана см.: *Гаспаров М. Л.* Античная риторика как система // Античная поэтика. М.: Наука, 1991. С. 27–59.

<sup>2</sup> *Oeuvres complètes de Quintilien*. P. 218.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 226.

<sup>4</sup> Этот термин, «предмет», мы будем использовать в дальнейшем, в частности, при изложении топики.

<sup>5</sup> *Белман Н., Стил Т.* Логика вопросов и ответов. М.: Прогресс, 1981. С. 13.

этих вопросов «ум направляется к истине», которая предстает как реальность, а задача ратора — добиться соответствия слов вещам, чтобы речь стала истинной.

Статус определения заключается в нахождении отношения отдельного факта (случая) к виду, правилу или норме. Здесь обсуждается вопрос о том, чем является данный факт, и о том, как соотносятся между собой общие виды, к которым он может быть отнесен. В статусе определения Квинтилиан выделяет пять основных проблем: письменные и мыслимые законы, противоречие законов, нормы, выводимые умозрительно, двусмысленные нормы, отводимые нормы.

Третий статус — оценки — заключается в отношении правила и факта к особым обстоятельствам дела или проблемы: оценивается индивидуальность деятеля и особенности ситуации, мотивы и конкретные последствия действия.

В вопросах собственно юридических Квинтилиан дает иной порядок статусов: установления, оценки, определения, **отвода** (*status praescriptionis*), в последнем решается вопрос о правомочности суда или законности обвинения<sup>1</sup>.

«Мы видим, — отмечает М. Л. Гаспаров, — что при переходе от статуса к статусу поле зрения постепенно расширяется: при статусе установления в поле зрения находится только поступок; при статусе определения — поступок и закон; при статусе оценки — поступок, закон и другие законы; при статусе отвода — поступок, закон, другие законы и обвинитель. В первом случае вопрос стоит о применимости общей нормы к конкретному случаю, во втором — о понимании этой нормы, в третьем — о сравнительной силе этой нормы, в четвертом — вновь о применимости нормы. В области философии первая постановка уводит нас (выражаясь современными терминами) в область онтологии, вторая — в область гносеологии, третья — в область аксиологии. Такая последовательность рассмотрения применима не только к таким конкретным вопросам, с которыми приходится иметь дело суду, но и к любым самым отвлеченным»<sup>2</sup>.

Кто бы ни был действительным автором учения о статусах — Квинтилиан, Цицерон, Гермагор или кто-либо иной, — это учение имеет громадное значение не только для риторики или юриспруденции, что вполне очевидно из их истории, но и для всей логики и методологии гуманитарного знания: ибо именно таким образом,

<sup>1</sup> Oeuvres complètes de Quintilien. P. 251.

<sup>2</sup> Гаспаров М. Л. Античная риторика как система. С. 30.

хотя и не всегда осознанно, рассматривается научная проблема в языкознании и других областях филологии, в исторической науке, экономической науке и т. д.

В связи с риторикой античность выдвинула ряд философских проблем, которые находят различное решение на протяжении истории мысли.

1. Допустимо ли, а если допустимо, то каким образом и в какой мере, использование средств убеждения и эмоционально-образного воздействия словом при обсуждении значимых для общества вопросов и принятии ответственных решений?
2. Ответственна ли философия (в античном смысле слова) за социальные и нравственные последствия создаваемого ею знания?
3. В какой мере общество, состоящее в основном из людей некомпетентных в философии, науке, праве и не имеющих специального опыта управления, способно самостоятельно выдвигать из своей среды и наделять властными полномочиями лиц, управляющих деятельностью этого общества и в какой мере такие лица несут ответственность за свои действия перед обществом?
4. Возможно ли рациональными методами установить и доказать истину там, где она связана с несовместимыми целями и интересами людей (например, в религии, праве, истории)?

## Риторика Средних веков

После работ Квинтилиана, а позже византийских и римских ученых Гермогена Тарсийского (160–225), Либания (314–393), бл. Августина (354–430), Афтония Антиохийского (IV–V вв.) и др. риторика сложилась как устойчивая система научных понятий. Средневековая риторическая проза предстает в основном в виде проповеди — гомилетики. Гомилетика представляет собой принципиально новое явление в истории культуры. Гомилетика отличается от оратории строением речи и образом ратора.

Проповедь разворачивается как тематически однородная продолжающаяся речь, представленная в формах монолога и диалога в устных и письменных текстах перед постоянной, динамически развивающейся аудиторией.

Главная цель гомилетики — формирование личности нового человека, христианина, и организация христианского общества как духовно-нравственного единства людей различной этнической, культурной и социальной принадлежности, членов единой Вселенской

Церкви. Поэтому в задачи гомилетики входят образование в виде воспитания и обучения истинам и догматам религии, постоянное попечение о духовно-нравственном состоянии и нуждах паствы.

Гомилетика тесно связана с богослужением, и формы гомилетической речи тематически организованы содержанием годового и суточного богослужбного цикла, в состав которого входят чтения Св. Писания, в основном Евангелия и Апостола. Для нужд богослужения в тексте Евангелия, Деяний апостолов и Посланий выделяются особо значимые фрагменты, которые распределяются по особой последовательности церковных чтений, и евангельские тексты совместно образуют так называемое апрактическое Евангелие, состав которого отличается от Четвероевангелия. По мере развития богослужения создается особый жанр поэтико-риторической литературы — канон.

Проповедь, которая обычно произносится священником в конце литургии (хотя может произноситься дьяконом, а в отдельных случаях церковнослужителями и даже мирянами), представляет собой монологическую устную публичную речь, сходную по построению с ораторской речью, но отличающуюся рядом характерных особенностей.

Во-первых, церковная проповедь (слово) произносится обычно на тему евангельского чтения данного дня, хотя в принципе она может произноситься и на тему апостольского послания, иногда эти темы могут объединяться в содержании проповеди.

Во-вторых, в содержание проповеди может включаться изъяснение какого-либо догмата, но обычно проповедь связывает содержание Евангелия с текущими духовными нуждами или особенностями духовного состояния и жизни паствы: таким образом, общее положение Св. Писания (норма) раскрывается в связи с частной ситуацией (казус), что продолжает историческую традицию античной риторики.

В-третьих, проповедь содержательно связана с такой диалогической формой речи, как исповедь, в ходе которой священник, объясняясь с верующим, наставляет его во внутренней духовной жизни и внешнем поведении.

В-четвертых, проповедь произносится регулярно, по крайней мере раз в неделю по воскресеньям, поэтому общий и частный содержательные компоненты последовательно развертываются в проповеднических речах, что организует осознанную духовную жизнь

и повседневную деятельность как отдельного верующего, так и всего церковного сообщества.

Правила подготовки проповеди указывают на две ее основные формы – непосредственно подготовленную по правилам риторики, написанную и выученную наизусть, как это делалось в Античности (гр. *ὁμιλία* – гомилия, поучение), и более или менее импровизированную речь, произносимую без специальной предварительной проработки (лат. *sermo* – беседа); если первая в западной латинской традиции произносилась по-латыни, то вторая могла произноситься на народном языке.

Кроме собственно церковной проповеди в состав гомилетической словесности входит катехизация – обучение догматам, правилам веры, церковным обычаям людей, вступающих в Церковь и готовящихся к крещению, а также детей и тех, кто чувствует себя недостаточно подготовленным к церковной жизни. Катехизация представляет собой последовательный курс, в котором в виде огласительных поучений, чтения Св. Писания, сочинений церковных писателей, обсуждений последовательно осваивается христианское вероучение. В состав катехизации позже входит и изучение литургического языка, который по ряду причин отличается от обыденного литературного языка. Поэтому с раннего времени в Церкви создаются катехизисы – сочинения в виде вопросов-ответов, в которых в доступной форме излагается христианское вероучение в основном в последовательности Символа веры – установленного Вселенскими соборами текста из двенадцати частей (членов), признание которого является условием принадлежности к христианству.

К гомилетике прилегают различные жанры апологетической словесности – письменные сочинения, послания, ораторские речи, содержанием которых является защита истин христианской веры и полемика с иноверными, еретическими и раскольническими мнениями.

Таким образом, гомилетика представляет собой развитую систему устных и письменных литературных жанров, в которой в организованной последовательности сочетаются монологические и диалогические формы речи.

В этот период искусство убеждающего слова достигает небывалых высот. В произведениях великих Отцов Церкви христианского Востока Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, западных богословов и проповедников Амвросия Медиоланского, Августина

Гиппонийского, Григория Великого (Двоеслова) высочайшее литературное искусство, творчески развитое наследие античной риторики органически сочетается с глубокой религиозно-философской мыслью и мощным нравственным пафосом, что делает произведения этих авторов непревзойденными образцами риторической прозы.

## Византийская риторика

Византийская риторика сохраняет классическое строение и систему категорий позднеантичной риторики. Византийская система общего образования, в отличие от западноевропейской была светской: византийские университеты (в Константинополе, в Фессалониках, до арабского завоевания — в Бейруте) были государственными учебными заведениями, а частные общеобразовательные школы (мужские и женские) давали солидную подготовку в Законе Божиим, классической литературе, теоретических науках. Тривиум грамматики, логики и риторики; квадравиум арифметики, геометрии, музыки (гармонии), астрономии; физические науки: физика, механика, оптика, география, зоология, ботаника, минералогия; философия (метафизика) и практические светские науки: домоводство, медицина, косметика, право и, разумеется, богословие составляли общее образование<sup>1</sup>.

Поскольку средневековое православное богословие четко разграничивает предметы духовные и светские<sup>2</sup>, в Византии принципиальная для западной школьной науки проблема единой системы исходных положений всего комплекса знаний<sup>3</sup> была не столь актуальной, как на Западе. Это различие и даже противопоставление подчеркивается наиболее авторитетными Отцами Церкви: «Эллинские мудрецы много рассуждали о природе — и ни одно их учение не осталось твердым и непоколебимым, потому что последующим учением всегда ниспровергалось предшествующее. Посему нам нет

<sup>1</sup> См.: Самодурова З. Г. Школы и образование. Культура Византии. Вторая половина VI—XII в. М.: Наука, 1989. С. 366–400.

<sup>2</sup> Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. 1. М., 1845. С. 3–20.

<sup>3</sup> См., например: Бонавентура. Путеводитель души к Богу. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1993. С. 59–67; а также: Анастасий Синаит преп. Три слова об устройении человека по образу и подобию Божию // Пер. А. И. Сидорова // Альфа и Омега. 1998–1999, № 18–20.

и нужды обличать их учения: их самих достаточно друг для друга к собственному низложению»<sup>1</sup>.

В систему образования входила вся классическая греческая литература (поэтическая, ораторская, научно-философская, историческая) наряду с литературой христианской. Оценка литературного произведения осуществлялась в единой системе отработанных категорий риторики. Разработке проблемы литературных жанров, индивидуального стиля, сопоставительно-стилистического изучения классической античной и христианской литературы посвящены сочинения византийского государственного деятеля, богослова, философа, логика, историка, главы Константинопольского университета Михаила (Константина) Пселла (1018–1078).

Риторическое учение о стиле технично, ибо задача состоит в объяснении того, какими средствами оптимально достигается реализация замысла. Поэтому основное содержание элокуции – словесный инструментарий, который соответствует замыслу, цели и содержанию речи. В эллинистической риторике, в отличие от софистов и Платона, центральной категорией риторического стиля и, соответственно, риторического анализа была *уместность* (*πρῆπιον*):

«Мне остается еще один вопрос – об уместном. Действительно, уместность должна присутствовать и во всех остальных формах; и если какое-нибудь произведение несовершенно в этом отношении, то оно несовершенно если не во всем, то в самом главном. Здесь не место рассматривать это понятие в целом, ибо такое рассмотрение глубоко и требует многих рассуждений. Однако надо сказать, сколько возможно, пусть не обо всем и даже не о большей части, но хотя бы о том, о чем зашла речь.

Если общепризнано, что уместность – это то, что соответствует данным лицам или предметам, тогда, подобно тому как один выбор слов будет уместен для данного содержания, а другой неуместен, точно так же и соединение слов. Примером тому может служить сама действительность. Я имею в виду то, что ведь не одни и те же употребляем мы соединения слов, когда сердимся и когда радуемся, когда сетуем и когда страшимся, когда постигнуты каким-нибудь горем и несчастьем и когда предаемся размышлению, не смущаемые и не печалимые ничем. Я говорю это ради пояснения и примера, немного о многом: ведь если захотеть перечислить все виды уместности, то причин их окажется бесчисленное множество. Из них я назову лишь одну, самую обычную: одни и те же люди, в одном и том же состоянии духа, рассказывая о событиях, которых они были свидетелями, не обо всем говорят оди-

<sup>1</sup> *Василий Великий. Беседы на Шестоднев. С. 3.*

наковыми соединениями слов, а невольно подчиняются естественному стремлению и подражательно передают рассказываемое даже самым соединением слов. Присматриваясь к этому, должен и хороший поэт, так же как и хороший оратор, подражать тому, о чем он говорит, не только подбором слов, но и их соединением»<sup>1</sup>.

Прекрасное – модель, норма соотношения общепризнанного приема с соответствующим общепризнанным типом содержания. Норма прекрасного устанавливается сопоставительным изучением и оценкой компетентными критиками классических авторов, стиль которых обладает неодинаковым достоинством в различных составляющих: один лучше повествует, другой лучше возбуждает сострадание. Достоинство стиля конкретного произведения или автора определяется правильным выбором классических образцов для подражания и искусством уместного воспроизведения выработанных ими технических приемов речи<sup>2</sup>.

По Михаилу Пселлу («О сочетании частей речи»<sup>3</sup>), стилистическая задача писателя – сочетание красоты и наслаждения, потому что существуют произведения красивые, но «лишенные приятности», приятные, но лишенные красоты. Черты стиля, дающие сочетание красоты с приятностью, – лад, ритм (изменение) и «сопутствующая всем уместность»:

«Ведь слух услаждается, во-первых, красивыми ладами, затем – ритмами, в-третьих, изменениями, а во всем этом – уместностью»<sup>4</sup>.

Уместность сохраняется как ведущая категория, определяющая качество стиля, но само понятие уместности переводится Пселлом в план экспрессивной функции речи:

«Хороший ритор должен для всякого душевного состояния находить то, что в этом состоянии уместно: если его волнует одна какая-то страсть, то речь должна быть однообразна, если же он во власти нескольких страстей, то и речь его должна придерживаться одного какого-то порядка и сочетания слов»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Дионисий Галикарнасский. О соединении слов. XX, 135–137 // Античные риторика. С. 200–201.

<sup>2</sup> См.: Миллер Т. А. Михаил Пселл и Дионисий Галикарнасский // Античность и Византия. М.: Наука, 1975. С. 146.

<sup>3</sup> Михаил Пселл. О сочетании частей речи // Античность и Византия. М.: Наука, 1975. С. 156–157.

<sup>4</sup> Там же. С. 156.

<sup>5</sup> Там же. С. 157.

Если у Дионисия выбор слов определяется содержанием речи и ожиданиями аудитории («одни и те же люди, в одном и том же состоянии») — *этичностью*, то у Пселла — отношением говорящего к содержанию речи, *выразительностью*. В этой связи понятно, что лад — мелодия как своего рода константа дополняется разнообразием — «перестановкой». Поэтому главным конструктивным принципом стиля является не отбор имеющихся языковых средств, а их сочетание.

Слова, по Пселлу, различаются качеством:

«Одни из них крупны, застревают в челюсти; сильно бьют они окружающий воздух, скопом проталкиваются в уши слушателей, шумят в лабиринтовых проходах и потрясают душу (описываю наглядно, чтобы ты лучше представлял их силу); другие слова гладки от природы и ровны, не слишком благозвучны и не увлекают слуха, иные же лежат посредине и удовлетворяют требованиям гармонии, так что не будоражат и не услаждают. Одни из них можно сравнить с зелеными камнями, другие — с огненными, третьи — со светящимися, а иные — с едва зримыми. Не вместе, а повсюду лежат эти слова. Собирают же их обычно души самые предприимчивые»<sup>1</sup>.

Для построения речи необходим отбор слов, но в речи соединяются слова разного эстетического достоинства, различной формы и различного происхождения — высокие, низкие, обычные, красивые, некрасивые.

Отбор слов из лексикона языка и дает как бы ведущую мелодию: св. Григорий Богослов «ввел в свою речь слова, по форме своей округлые, шарообразные, не очень удлинённые, по внешнему виду приятные и милые, по прочности крепкие и легкие»<sup>2</sup>. Но сама по себе совокупность слов еще не создает стиль:

«Ведь кто собрал самые красивые слова, еще не получил нужное для хорошей речи соединение, равно как строитель дома, собрав для постройки бревна, не думает, что этого уже достаточно, чтобы дом получил красивейшую форму»<sup>3</sup>.

Соединение слов разного достоинства предполагает такое их размещение и построение, при котором речь как целое образуется уместностью (в указанном выше смысле) соединяемых частей, поскольку слово имеет ту или иную эстетическую ценность само по

<sup>1</sup> Михаил Пселл. Ипертима Пселла слово, составленное для вестарха Пофоса, попросившего написать о богословском стиле / Пер. Т. А. Миллер // Античность и Византия. С. 162.

<sup>2</sup> Там же. С. 163.

<sup>3</sup> Там же. С. 164.

себе, но приобретает новое качество только при уместном сочетании: «Отобранные слова нужно соединить наилучшим способом, если правда, что красота не в отборе, а в слаженности». Достоинство отдельного слова в речи зависит от окружения, в котором слово становится частью гармоничного целого, поэтому автор создал прекрасную речь, если использовал те ресурсы языка, которые создают эстетический эффект в сочетании и порядке, определенных уместностью и вкусом:

«Если же этот человек знал, как надо соединять, то он брал разные части, в большинстве своем сами по себе малоценные, затем складывал их как следует, чтобы они были соразмерны, легко смешивал одно с другим, иногда увеличивал размеры с помощью малых частиц, иногда самым крохотным с помощью самых больших придавал какую-то красу, оставляя между ними пустое место, делал непохожее похожим и при несходстве материалов добивался наилучшей гармонии»<sup>1</sup>.

Создание целого не ограничивается соединением как таковым, но требует обработки, создания ритмической и синтаксической структуры текста путем «подгонки» синтаксической и композиционной организации высказывания для достижения точности, выразительности и ритмо-мелодической уравновешенности речи:

«Мастер же, занятый обработкой частей своей речи, одно уменьшает и обламывает, прибегая к сокращениям, другое увеличивает, внося добавления, а иное переделывает с помощью аллегорий и разных фигур»<sup>2</sup>.

По мысли Михаила Пселла, изучение стиля отдельного автора, в отличие от сопоставления различных авторских стилей, не может быть до конца рациональным, но предполагает интуитивное и на основе собственного литературного опыта проникновение в стиль произведения:

«Великий же сей отец (св. Григорий Богослов. — А. В.), по сравнению с другими, был особенно внимателен к соединению слов, так что в его речах слова простые, ничем не выдающиеся в разных сочетаниях получают такую яркость, какой никому не удавалось достичь с помощью новых слов. Приемов, от которых у него обычно зависит неопишуемая красота, я не могу уловить и только по неосознанному опыту сужу об этом»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же. С. 165.

<sup>3</sup> Там же. С. 165.

Однако Пселл указывает на ряд существенных внутренних источников авторского стиля св. Григория Богослова. Во-первых, это характерное для всей речи св. отца Церкви гармоничное чередование статических и динамических фрагментов речи, ритмизованных и прозаических фрагментов текста, постоянство ритмических конструкций и ритмическая уравновешенность фразы, что позволяет св. Григорию Богослову легко строить импровизацию и создает характерный для всего его творчества образ импровизированной речи: «И потому, что бы ни произносил он, в этом сразу уже есть готовая риторика, хотя бы и без его намерения»<sup>1</sup>.

«Спонтанность» на деле оказывается продуктом глубоко проработанного систематического и иерархического мировоззрения, которое позволяет определить уместность каждой темы, объем и содержание аргументации, соразмерность компонентов высказывания, исходя из целого:

«Он строит свои речи не так, как большинство, которые не предрекают темы рассуждениями, а так, как, по словам Платона, его бог установил для себя идеи. Ведь Григорий приступает к высказыванию, предварительно расчленив и доведя до конца основную мысль своей речи, так что из-за этого даже импровизация у него бывает заранее продумана. Ведь он быстро заглядывает вперед, и ум его, пробежавшись почти мгновенно, одно опускает, другое принимает, после чего язык, как слуга, разъясняет слушателям то, что было таким путем отобрано»<sup>2</sup>.

Таким образом, риторическая эстетика, прекрасное в риторической прозе определяется гармоническим соотношением общего замысла, конкретного замысла, авторского стиля, словесной ткани отдельного произведения.

Цельность мировоззрения, богословская, философская, литературная эрудиция, отказ от классического противопоставления «обыденного» «возвышенному»<sup>3</sup> в тематике и стиле речи, глубина и сложность содержания при простоте изложения создают то качество прекрасного, которое и обнаруживает Михаил Пселл в творчестве св. Григория Богослова, — *авторскую оригинальность*<sup>4</sup>, стилевую новацию. С утверждения оригинальности как важнейшей категории стиля и начинается свой разбор Михаил Пселл:

<sup>1</sup> Михаил Пселл. Ипертима Пселла слово... С. 166.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> См.: Аверинцев С. С. На перекрестке литературных традиций // Другой Рим. СПб.: Амфора, 2005. С. 17–58.

<sup>4</sup> Миллер Т. А. Михаил Пселл и Дионисий Галикарнасский // Античность и Византия. С. 150–151.

«Мне же, по сравнению с ними (другими „бывшими до него риторамии”. — А. В.) посчастливилось взять одного из всех, я говорю о Григории, соименнике богословия, который с таким тщанием объединил в своих речах достоинство каждого из упомянутых лиц, что кажется, будто он не у них отыскал и собрал это, а сам собой стал первообразом словесной прелести».

И далее:

«Он же древним не подражал, а изливал все вместе из собственного источника; устремляясь к единой словесной сиринге<sup>1</sup>, сделав многое единым, соединив середину с низом, а с серединой верх, ударив потом по ней мысленно и запев такую песнь жизни, какую, говорят, не поет и лебедь, когда, по мифу, собирается переселиться к своему богу. Григорий затмил своим голосом природу»<sup>2</sup>.

Стилистический персонализм византийской риторики, открытие языковой личности повлекли за собой значительные последствия в мышлении и методе наук о человеке: само по себе понимание истории связано с идеей новации, оригинального решения, основанного на опыте культуры.

Можно сказать, что если для западной науки о языке, и в частности риторики, проблема состояла в обеспечении содержательного единства философско-теологической доктрины, то для византийской науки проблема состояла в обеспечении единства стиля всей греческой литературы при наличии индивидуально-авторского творчества. При сохранении полной системы античной теории языка и корпуса текстов действительно научной проблемой была оценка развития литературы:

«Попробуем взглянуть с этой точки зрения на византийскую культуру. Когда ей начали заниматься сразу после времен Гиббона, она с непривычки показалась „неподвижной” — и это было, конечно, обманом зрения. Когда к ней пригляделись, она оказалась прямо-таки на редкость подвижной, на редкость разнообразной и переменчивой; один современный специалист усматривает в „страсти к новшествам” одну из кардинальных черт византийского эстетического темперамента. Но, не будучи ни „неподвижной”, ни „нетворческой”, византийская культура представляется уже с самого начала в некотором смысле существенно „готовой”; ей предстоит тончайшее варьирование и всесторонняя реализация изначально данных возможностей, но не выбор себя самой. Она подвержена тончайшим дуновениям моды и являет весьма динамичную смену „периодов”, но не эпох, которые отличались бы по своей

<sup>1</sup> Сиринга — флейта, составленная из нескольких трубок различной длины.

<sup>2</sup> Михаил Пселл. Обзор риторических идей // Античность и Византия. С. 161–162.

глубинной идее, как романская и готическая эпохи; а если мы будем рассматривать все византийское тысячелетие в целом как одну великую эпоху развития культуры, нас должно поразить полное отсутствие чего-либо похожего на плавную траекторию, идущую от зарождения стиля к его расцвету и затем упадку»<sup>1</sup>.

В Западной Европе к этой проблематике наука сумела обратиться в эпоху Возрождения и на основе византийских образцов, ставших известными на Западе после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 г.

## Западноевропейская средневековая риторика

Западноевропейская риторическая традиция, из которой выросла риторика эпохи Возрождения и рационалистическая риторика Нового времени, неоднородна как в смысле исторической преемственности, так и в смысле отношения учебной дисциплины и реальности публичной речи.

В качестве предмета риторика прочно входит в систему научно-богословского знания в составе тривиума — основания всей образовательной системы.

«Философия ведь на самом деле подразделяется на естественную, рациональную и моральную. Первая занимается причиной бытия и поэтому ведет к всемогуществу Отца; вторая занимается законом мышления и поэтому ведет к мудрости Слова; третья занимается порядком жизни и поэтому ведет к благу Святого Духа.

В свою очередь естественная философия подразделяется на метафизику, математику и физику. Первая изучает сущность вещей, вторая изучает числа и фигуры, а третья — природу, силу и действие процесса распространения. Поэтому первая ведет к Первоисточнику — Отцу, вторая ведет к Его образу Сыну, третья ведет к Их Дару — Святому Духу.

Рациональная философия подразделяется на грамматику, обучающую искусству выражения; логику, обучающую аргументации; и риторика, обучающую искусству убеждать и трогать (*persuadendum siue mouendum*). Подобным образом и они открывают тайну Святой Троицы. Моральная философия подразделяется на мораль индивидуальную, семейную и социальную (*monasticam, oeconomicam et politicam*). Поэтому первая открывает нерожденность Первоисточника, вторая — рожденность Сына, третья — свободу Святого Духа.

Итак, все три науки основаны на надежных и непогрешимых правилах, которые словно лучезарный свет из вечного закона нисходят

<sup>1</sup> Аверинцев С. С. На перекрестке литературных традиций. С. 20–21.

в нашу душу. И поэтому озаренная и переполненная таким сиянием наша душа, если, конечно, она не слепа, может сама вести себя к созерцанию вечного света, что приводит мудрых в восхищение и, наоборот, безумных, неверующих от разумения приводит в смятение, таким образом исполняются слова пророчества: Свет Твой чудный на вершинах гор вечных — в смятении все безумные сердцем (Пс. 75, 5–6)»<sup>1</sup>.

Но с изменением характера средневековой науки изменяется и содержание риторики, причем в разных странах средневековой Европы статус и содержание риторики различны.

Что касается отношения риторики к реальности публичной речи, ситуация представляется крайне запутанной. Риторика была жестко включена в систему дисциплин, и поэтому ее догматическое изложение было систематизировано и формализовано, как изложение грамматики и логики. В этом качестве риторика соотносилась с латинской проповедью, которая представляла собой достаточно искусственное построение богословского характера, предназначенное для ученых людей, очевидно, с университетской богословской дискуссией и другими жанрами ученой латинской речи. Но Средние века — время бурного развития духовного и политического красноречия на народных языках. Публичное слово народных проповедников было исключительно влиятельным на всем протяжении западноевропейского Средневековья и отчасти Нового времени. И здесь отношение риторики как изучаемой дисциплины к практике сложно. При том, что эта народная практика вряд ли следовала рецептам ученой риторики, не следует забывать о риторических обществах в Нидерландах и Германии, из которых впоследствии родилась протестантская риторика. Но протестантская риторика носит достаточно ученый традиционный характер. Кроме того, граница ученой и народной риторики и в схоластический период была вполне проницаемой, и целый ряд ученых тем, которыми были заняты университетские богословы, становился предметом самого широкого и эмоционального народного обсуждения.

Западноевропейская средневековая так называемая схоластическая (школьная) риторика и логика обращаются в основном к проблеме инвенции<sup>2</sup>. Техника богословской и философской аргументации (они практически неразличимы в западном схоластическом богословии) была топической: средневековые теолог и юрист доказывали выдвинутые положения, используя не аксиоматический

<sup>1</sup> Бонавентура. Путеводитель души к Богу. С. 195–196.

<sup>2</sup> См.: Жильсон Э. Философия в средние века (1922). М.: Республика, 2004. С. 302–311.

метод, а подбирая посылки к умозаключениям по диалектическому принципу.

Риторическая инвенция стремится систематизировать как логические, так и содержательные общие и частные (в основном юридические) топы, представляя их как единую систему антитетических (П. Абеляр) или совместимых (М. Грибальдус, Р. Луллий) положений, используемых в качестве посылок аргументации. В качестве основы такой топической системы вырабатывается учение об именовании (импозиции) и подстановках имен или высказываний (суппозиции), а грамматика, диалектика и риторика выстраиваются в единой системе категорий как некая аксиоматическая теория (П. Абеляр, В. Оккам, Боэций Дакийский и др.), в соответствии с которой «глубинная структура» языка представляется универсальной. Следует, однако, отметить, что основания этих логических теорий скорее всего были заимствованы из Византии<sup>1</sup>.

## Риторика Возрождения и Нового времени

Развитие византийской науки было насильственно прервано сначала вторжением крестоносцев (1204), а потом турецким погромом (1453). Но стилистические идеи византийской риторики через посредство греков – учителей Петрарки и других гуманистов не просто проникают в ученую среду гуманистов, но противопоставляются университетской логико-риторической теории и на долгое время вытесняют ее.

Синтез этих двух подходов к наукам тривиума начинается с Реформацией, когда на основе усвоения греческого языка и изучения Библии, античной и святоотеческой литературы (Иоганн Рейхлин, Эразм Роттердамский и др.), научных переводов Св. Писания и научной библеистики, богословской полемики оказываются в одинаковой мере необходимыми и эвристическая (изобретение), и стилистическая (расположение, элокуция) теория речи как на классических, так и на новых языках. В творчестве германских гуманистов предреформации и Реформации соединяются византийская и западная традиции филологического знания. Система учения

---

<sup>1</sup> См.: Успенский Ф. И. История византийской образованности. М.: Мысль, 2003. С. 134–141.

о слове такого рода и представлена в педагогических, богословских, герменевтических и риторических работах Филиппа Меланхтона (1497–1560). В «Риторике» Меланхтона<sup>1</sup>, опирающейся на Квинтилиана как на нормативную основу, содержится развитое учение о статусах и топике, видах риторической речи (показательной, судебной, совещательной), тропах и фигурах речи. «Риторика» Меланхтона наряду с его сочинениями по богословию и логике была одним из идейных источников протестантизма, так как представляла собой инструмент полемики с римокатоликами<sup>2</sup>. К этому же времени относится и появление первых риторик на новых языках<sup>3</sup>.

В 60–70 гг. XVII в. складывается новая рационалистическая система учения о слове – картезианский тривиум в виде «Всеобщей рациональной грамматики» К. Арно и А. Лансло (1660), «Логики, или Искусства мыслить» А. Арно и П. Николя (1662), и несколько позже, в 1775 г., вышедшего первого издания «Риторики, или Искусства говорить» Бернара Лами. Эти работы были теоретическими исследованиями, хотя использовались главным образом, очевидно, в самообразовании в силу отрицательного отношения римско-католической иерархии к учению Р. Декарта и янсенистов. И именно в этом качестве они оказали и оказывают серьезное влияние на весь комплекс наук о языке<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> См.: *Аннушкин В. А.* Первая русская риторика. М.: Добросвет; ЧеРо, 1999. С. 95–207.

<sup>2</sup> См.: *Гадамер Г. Г.* Риторика и логика // Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 194–197.

<sup>3</sup> См.: *Безменова Н. А.* Очерки по теории и истории риторики. М., 1991.

<sup>4</sup> Достаточно сказать, что крупнейший американский теоретик языка второй половины XX в. Наум Хомский (Noam Chomsky) прямо называет свою теорию «картезианской лингвистикой» и опирается на философию языка Р. Декарта и его школы, строя теорию языка как дедуктивную аксиоматическую конструкцию:

«Картезианцы старались показать, что, когда теория человеческого тела как материального объекта будет уточнена, прояснена и доведена до своего логического завершения, она все равно не сможет объяснить факты, которые очевидны при интроспекции и которые подтверждаются также путем наблюдений над действиями других индивидов. В частности, она не может объяснить нормальное использование человеческого языка, точно так же как она не может дать объяснения основным свойствам мысли. Следовательно, возникает необходимость обратиться к некоторому совершенно новому принципу, – в картезианских терминах, постулировать, наряду с телом, некоторую вторую субстанцию, сущность которой есть мысль с ее неотъемлемыми свойствами: обладанием протяженностью и движением. Этот новый принцип имеет „творческий аспект“, который яснее всего наблюдается в том, что может быть названо „творческим аспектом использования языка“, т. е. специфическая человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на

Вслед за схоластической наукой картезианская теория языка принимает принцип, согласно которому внутренняя, глубинная структура языка как системы именовании мысли и ее элементов универсальна<sup>1</sup> в виде частей речи, но проявляется в языках по-разному, как различные акциденции единой субстанции: они «различны по числу, но тождественны по виду». Это же можно сказать о строении доказательной мысли и о приемах убедительного выражения мысли, основанного на тех же «благородных положениях» — топах, способах переноса значений (тропах — метафоре, метонимии, синекдохе) и словесных конструкциях мысли (фигурах речи), а также на принципах построения отдельных высказываний (периодов).

Если для средневековой науки о языке предметом исследования было универсальное в языках, то для рационалистической теории языка таким предметом изучения было отношение общих, субстанциональных форм языка к акцидентальным, частным способам выражения общего в конкретных языках. Решительным отличием картезианского подхода к риторике от схоластического было отвержение топики как эмпирически сложившейся в культурной традиции совокупности общепринятых положений<sup>2</sup>, из которых исходит аргументация. Такие положения мыслились психологически ясными, достоверными и поэтому универсальными<sup>3</sup>.

Примерно то же можно сказать и об эстетической стороне речи: рационалистам представлялось, что эстетические каноны классицизма, будь то словесность, музыка, архитектура или живопись, суть всеобщие законы красоты и хорошего вкуса и столь же значимы для «китайца» или «гурона», как и для француза XVII–XVIII в., поскольку

«творения французов суть самые совершенные среди всех, когда-либо созданных на народных языках. Если человек толковый, беспристрастный и рассудительный подвергнет сии творения своему суду, он тотчас согласится, что приемы наших поэтов, слывающих — во мнении лучших знатоков — подлинными мастерами, несравненно более совершенны,

---

основе „установленного языка”, языка, который является продуктом культуры и подчиняется законам и принципам, частью характерным именно для него, а частью являющимся отражением общих свойств мышления». (*Хомский Н. Язык и мышление. (Language and Mind, 1968) / Пер. Б. Ю. Городецкого. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 17.*)

<sup>1</sup> См., например: *Бозций Дакийский. Сочинения. М.: УРСС, 2001. С. 13.*

<sup>2</sup> См.: *Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991. С. 235–245.*

<sup>3</sup> Там же. С. 328–333.

правильны и основательны, короче, более близки духу великих поэтов древности, чем у всех остальных народов»<sup>1</sup>.

«Риторика» Б. Лами<sup>2</sup>, очевидно, представляет собой первый систематический курс теории языка.

Автор начинает с изложения основных свойств языка — строения органов речи, возможности создания неограниченного числа высказываний из ограниченного набора минимальных элементов — «букв», знаковой природы языка<sup>3</sup> — произвольности, условности, «двусторонности» слова, способности высказывания быть «картинной мыслью». Красота речи проявляется в ее соразмерности мысли и в правильном порядке частей изложения, а обильные лексические ресурсы речи являются результатом развития языка<sup>4</sup>.

Затем Б. Лами переходит к изложению смысловых и выразительных возможностей основных частей речи и, сопоставляя различные языки (латинский, еврейский, монгольский, китайский), устанавливает, что фиксированный порядок слов в предложении может заменить систему флексий, а потому языки типа китайского оказываются более экономными, чем языки типа латинского<sup>5</sup>.

Рассматривая проблему полноты выражения основных грамматических и лексических значений в предложении в связи с порядком слов, Б. Лами устанавливает принцип грамматической и лексической полноты, недостаточности и избыточности в синтаксисе. В этой связи обсуждается и так называемый естественный порядок слов в предложении, который, как выясняется, наиболее совершенным образом представлен во французском языке:

«Во французском языке существительное, обозначающее подлежащее, идет первым, за ним глагол и затем имя, обозначающее атрибут.

---

<sup>1</sup> Менардьеф Ипполит Жюль Пиле де ла (1610–1663). Рассуждение. (Из кн. *La Poetique*. 1640) // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 316. Эта поэтика была, очевидно, написана по прямому заказу кардинала Ришелье и использовалась как инструмент пропаганды французской культуры как «универсальной» или «общечеловеческой», пропаганды, выдвигавшей «*bon goût français*» в качестве основы политического влияния Франции и продвижения на рынки Европы французских товаров и услуг.

<sup>2</sup> См.: Лами Б.. Риторика, или Искусство речи / Пер. Е. Л. Пастернак // Пастернак Е. Л. «Риторика» Лами в истории французской филологии. М.: Языки славянской культуры, 2002.

<sup>3</sup> Там же. С. 59–61.

<sup>4</sup> Там же. С. 62–72.

<sup>5</sup> Там же. С. 73–87.

Этот порядок естествен, и одно из преимуществ нашего языка состоит в том, что он почти не страдает от удаления от этого порядка»<sup>1</sup>.

Исторические звуковые изменения, по мысли Б. Лами, необходимое свойство языка. Поэтому он настаивает на необходимости исторического изучения способов постепенного изменения различных «букв» в языках для установления их реального родства. Б. Лами подчеркивает, что звуковые изменения приводят к тому, что родство языков перестает опознаваться, поэтому для установления родства языков нужны специальные научные исследования. Он строит своеобразное «генеалогическое» древо языков: древнееврейский, греческий, латинский, романские. Но образование новых языков, как и родство языков, представляется Б. Лами продуктом как диалектного дробления, так и смешения<sup>2</sup>.

Причина изменения в языке — употребление (*usage*), которое может быть хорошим и плохим, но как употребление коллективом оно предстает отдельному человеку в качестве обязательной нормы. Поэтому языки следует изучать через употребление, т. е. воспроизводя речь их носителей. Однако правильное образование приводит к хорошему употреблению и тем самым направляет развитие языка в надлежащее русло. Поэтому следует следить за чистотой, изяществом, выразительностью речи. Поскольку же количество слов языка всегда меньше количества идей, необходимо прибегать к тропам, которые оказываются главным инструментом развития смысла слов, но использовать их со вкусом и умеренно: ясно и соразмерно с мыслями. Страсти выражаются фигурами речи, и Б. Лами дает перечисление тропов и риторических фигур<sup>3</sup>.

Подробно рассматривая «материальную сторону слова», непосредственно связанную со стилем, Б. Лами классифицирует гласные по степени раствора и силе экспирации, по ряду и положению губ при произнесении звука и по долготе, а согласные по месту и способу образования, сопоставляя в этом плане древнееврейский и французский языки<sup>4</sup>. Далее Лами переходит от звуков и слогов к благозвучию порядка слов и паузации, отбору слов по степени звучности, длины, звукового разнообразия и к строению периода. Затем излагаются правила версификации. Рассматривая вопросы стиля, Лами называет исторические, жанровые, индивидуальные стили и вводит обычное

<sup>1</sup> Там же. С. 92.

<sup>2</sup> Лами Б.. Риторика, или Искусство речи. С. 102–104.

<sup>3</sup> Там же. Кн. 2. Гл. 3–14. С. 122–159.

<sup>4</sup> Там же. С. 163–172.

разделение на возвышенный и средний стили речи (без низкого). Даются характеристики ораторского, исторического, догматического, поэтического стилей<sup>1</sup>.

Наконец, в пятой книге своего сочинения Лами кратко излагает собственно систему риторики. «Риторика есть не только искусство красноречия, но и искусство убеждения»<sup>2</sup>.

В разделе инвенции Лами кратко рассматривает общие места<sup>3</sup> в весьма несистематическом и произвольном виде и указывает, что правильное применение общих мест предполагает знание предмета, но при недостаточном знании предмета использовать общие места опасно, поскольку легко впасть в беспредметное многословие<sup>4</sup>.

Топическому методу изобретения Лами противопоставляет «логический»<sup>5</sup>. Однако изложение «логического метода» сводится к ясности: «Ясность есть знак истины, то есть всякое очевидное знание соответствует предмету, хорошо известному»<sup>6</sup>, отчетливости сознания истины ритором и вниманию к посылкам аргументации оппонентов. По совету Лами, оратор должен воздействовать на разум слушателя пылкостью речи, лаской и постепенностью, а воздействие на сердце предполагает этичность речи как ясность, добропорядочность, мудрость, дружелюбность: «...оратор должен относиться к людям, которых нужно освободить от заблуждений, так же, как принято относиться к безумным, от которых скрывают предписанные им лекарства»<sup>7</sup>. Сходным образом рассматриваются приемы вызывания страстей. Этические качества, необходимые оратору, — ясность, сдержанность, доброжелательность, скромность, поскольку необходимо, чтобы слушатели относились к оратору «с почтением»<sup>8</sup>. Расположение речи в учении Лами остается классическим: вступление, предложение, включающее изложение, подтверждение, опровержение и заключение<sup>9</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 225–242.

<sup>2</sup> Там же. С. 252.

<sup>3</sup> Там же. С. 256.

<sup>4</sup> Там же. С. 257–269.

<sup>5</sup> Там же. С. 261.

<sup>6</sup> Там же. С. 262.

<sup>7</sup> Там же. С. 269.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же. С. 286–290.

Собственно риторическая часть «Риторики» Лами самая слабая и неоригинальная, что неслучайно. Большая часть риторической проблематики изобретения обсуждается в упомянутой «Логике» А. Арно и П. Николя.

Особенность картезианского подхода к риторической аргументации состоит в том, что, по существу, отвергая топику, авторы-картезианцы разносят ее изложение по различным разделам своего сочинения и представляют как «естественные принципы» построения аргументации.

Именно с этого времени начинается, по меткому замечанию Я. Лукасевича, упадок логики:

«...неверно думать, что логика — наука о законах мышления. Исследовать, как мы действительно мыслим или как мы должны мыслить, — не предмет логики. Первая задача принадлежит психологии, вторая относится к области практического искусства наподобие мнемоники. Логика имеет дело с мышлением не более чем математика. Вы, конечно, должны думать, когда вам нужно сделать вывод или построить дедуктивное доказательство, так же, как вы должны думать, когда вам надо решить математическую проблему. Но при этом законы логики к вашим мыслям имеют отношение не в большей мере, чем законы математики. То, что называется „психологизмом“ в логике, — признак упадка логики в современной философии»<sup>1</sup>.

К этому можно добавить, что с психологизма картезианской методологии начинается и упадок риторики. В «Риторике» Б. Лами аргументация как убеждение подменяется по существу дела софистическими приемами психологического воздействия на аудиторию, к которой относятся как к собранию умственно неполноценных людей: аргументация исходит из интуитивного убеждения говорящего в «истинности» своего мнения и в навязывании его аудитории путем инсинуаций.

Но далеко не вся риторическая традиция этого времени была картезианской. Риторика преподается как одна из основных нормативных наук о языке во всех странах Европы по единому стандарту, и количество опубликованных в XVII–XVIII вв. рукописных риторик очень велико: преподаватели многочисленных коллегий и гимназий сочиняли такие риторики для своих учеников. Рассматривать историю риторики исходя из этих руководств примерно то же, что

<sup>1</sup> Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. С. 48.

рассматривать историю математики на основе учебников арифметики.

В XVII–XIX вв. риторику стали понимать как науку об аргументации преимущественно в письменной речи: общественное значение ораторской речи в это время снижается, а значение письменной литературы – богословия, религиозной и политической публицистики, философии, исторической прозы, документа – возрастает. В результате постепенно развивается частная риторика, в которой формулируются правила создания конкретных видов произведений.

## Русская риторика XVIII–XIX вв.

Первая русская риторика, так называемая «риторика архиепископа Макария»<sup>1</sup>, появилась, очевидно, в Москве не позже первой четверти XVII в. Она представляет собой свободный перевод риторики Филиппа Меланхтона.

После польской интервенции, с приходом к власти династии Романовых была ясно осознана необходимость систематического образования. В то время в качестве руководства по диалектике использовались «Философские главы» св. Иоанна Дамаскина, перевод которых неоднократно поновлялся в течение XVI и XVII вв. В 1618–1619 гг. выходит «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Почти одновременно (1620) переводится «Риторика» Меланхтона: борьба с римской экспансией требовала специальной подготовки, в основу которой положили проверенное на практике руководство. Так была заложена содержательная основа тривиума, на основе которого стало возможным систематическое школьное образование.

Следующим важным этапом развития русской риторики стали грамматические и риторические сочинения М. В. Ломоносова (1711–1765). Главная особенность филологических работ М. В. Ломоносова в том, что он сознательно и целенаправленно создавал норму русского литературного языка, ориентируя ее на речь науки, деловой прозы, исторических сочинений, академической и политической оратории, проповеди. Филологические труды М. В. Ломоносова оказали значительное влияние на русскую словесность.

Если в XVIII и в первой половине XIX в. филологические труды и поэтические произведения представлялись главной заслугой

<sup>1</sup> См.: Аннушкин В. А. Первая русская риторика.

М. В. Ломоносова перед отечественной культурой, то со второй половины XIX в., когда научное образование в России сделало значительные успехи и у нас появились свои научные школы, положение вещей изменилось: литературные и филологические произведения Ломоносова отошли на второй план, но зато он предстал как великий естествоиспытатель и технолог. И хотя связь между филологическим творчеством Ломоносова, создавшего нормы русского национального литературного языка, и в частности разработавшего научную и философскую терминологию и ключевые жанры научной прозы, и его естественно-научным творчеством, положившим основание национальной научной школы, всегда была очевидной, исследовалась она недостаточно и не рассматривалась как *главное содержание жизненного труда* основателя Московского университета.

Из филологических трудов М. В. Ломоносова риторические — «Краткое руководство к риторике в пользу любителей сладкоречия» и «Краткое руководство к красноречию» — были созданы первыми, соответственно в 1743 и 1747 г. Они предшествуют «Российской грамматике» (1755), «Предисловию о пользе книг церковных и славянских» (1758), а также публикации «Письма о правилах российского стихотворства» (1778), написанного, правда, еще в 1739 г.

Очевидно, последовательность этих трудов<sup>1</sup> отражает замысел Ломоносова создать на русском языке и применительно к формировавшейся системе национального образования комплекс наук тривиума<sup>2</sup>. Тривиум (грамматика, риторика, диалектика) дает полную, основанную на единых методологических принципах систематическую картину норм литературного языка, оформляющих основные виды речевой деятельности:

- (1) представленные грамматикой общие нормы литературной речи, высшим образцом которых в эстетическом плане является художественная речь;
- (2) нормы научной речи и аргументации, задаваемые диалектикой;
- (3) нормы деловой речи, связанные с решением общественных задач и управлением, задаваемые риторикой.

Сложившаяся в поздней Античности, система «семи свободных искусств»<sup>3</sup> пронизывает всю историю европейской культуры. Мы

<sup>1</sup> Исторически комплекс наук тривиума и квадравиума формируется именно в такой последовательности: сначала диалектика, поэтика и риторика, а затем грамматика.

<sup>2</sup> См.: Гаврюшин Н. К. «Риторика» М. В. Ломоносова и «Логика» Макария Петровича. Памятники науки и техники. М., 1986. С. 131–154.

<sup>3</sup> Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли / Пер. Е. Ф. Шичалиной. С. 117–161.

видим новые разработки этой фундаментальной идеи не только в «Опыте о человеческом разуме» Д. Локка<sup>1</sup>, но и у основателя современной американской философской семиотики Чарльза Пирса<sup>2</sup>, который обосновывает идею тривиума из самой идеи знака; сходным образом эта идея развивается и Ч. Моррисом<sup>3</sup>.

В XVIII в. риторика была центром общей дидактики языка, а грамматика, поэтика и диалектика строились применительно к общим задачам риторики.

«Тончайшие философские воображения и рассуждения, — указывает Ломоносов в предисловии к „Российской грамматике“, — многообразные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписать должны (курсив мой. — А. В.). Кто отчасу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы имеющее море»<sup>4</sup>.

Освоение и осмысление системы языка исходит из задач словесного творчества, которое требует для себя норм построения речи, основанных в свою очередь на умении строить замысел и разрабатывать содержание высказывания. Риторика М. В. Ломоносова является конструктивным учением о слове: она раскрывает метод создания целесообразных высказываний и осмысливает индивидуальный стиль. Другие дисциплины тривиума выстраиваются применительно к тем задачам, которые решает риторика.

Поскольку риторика формирует норму языковой личности (образ ратора) в категориях этоса, логоса и пафоса и предлагает метод словесного воплощения замысла высказывания в виде изобретения, выражения, расположения и словесного действия, она требует для себя четкой проработки антропологической, гносеологической, этической и эстетической сторон мировоззрения, что и позволяет через учебный предмет прогнозировать развитие культуры и определять

<sup>1</sup> См.: Локк Д. Опыт о человеческом разуме. Избр. филос. произв. / Пер. А. Н. Савина. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. С. 694–696.

<sup>2</sup> См.: Пирс Ч. Логические основания теории знаков / Пер. В. В. Кирющенко и М. В. Колопотина. СПб.: Алетейа, 2000. С. 48–49.

<sup>3</sup> См.: Моррис Ч. Основания теории знаков / Пер. В. П. Мурат // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 39–66.

<sup>4</sup> Ломоносов М. В. Российская грамматика // Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 292.

основные направления деятельности общества. Все это было вполне ясно М. В. Ломоносову, получившему основательное схоластическое образование в московских духовных школах.

Подобно авторам предшествующих руководств по риторике, М. В. Ломоносов строит теорию изобретения – определяющий раздел риторики – на основе понятия *предложения*, представляющего собой оформленную в виде грамматически завершённой фразы мысль, из которой по определённым правилам говорящий развертывает высказывание, например ораторскую речь. Обыкновенно в руководствах по риторике в качестве основы изобретения рассматривается предложение в целом. Так, по классическому, восходящему ещё к византийским логическим и риторическим руководствам учению о хрии, основные типы аргументов: причина, аргумент от противоположного, сравнение, индукция (пример), аргумент к авторитету – последовательно выводятся из суждения, содержащегося в предложении, и образуют единую конструкцию, задаваемую правилом расположения аргументов.

Ломоносов поступает иначе. Он предлагает последовательно применять аналитическую и синтетическую техники разработки предложения<sup>1</sup>. Предложение, например «Неусыпный труд все препятствия преодолевает» разделяется на термины-концепты *неусыпность, труд, препятствия, преодоление*. Для каждого из терминов исходя из задачи речи и её конкретного содержания по внутренним топам (время, место, действие, претерпевание, причина, противное и др.) ритор *находит* семантически соотносимые производные термины, например:

*труд* ⇒ (предыдущее – последующее): *начало, середина, конец*;

*труд* ⇒ (признак): *пот*;

*труд* ⇒ (противное): *упокоение*;

*труд* ⇒ (пример): *пчелы*.

Термины второго уровня в свою очередь (*пчелы* ⇒ (свойство) *летание по цветам*) дают третий уровень и т. д. В результате содержание высказывания, выраженное словами-концептами, приобретает вид графа-дерева, ветви которого соответствуют смысловым отношениям (топам), а вершины – концептам. Но ход генерации мыслится не как формальное исчисление (в отличие от замысла «Универсальной характеристики» Лейбница), а как творческий процесс

<sup>1</sup> Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Полн. собр. соч. С. 114–115.

развития конкретного замысла, в котором каждый отдельный ход изобретения соотнесен с другими (если пчелы «летают по цветам», то и препятствия, которые преодолеваются, будут соответствовать этому образу).

Правила образования терминов неформальны: открытие каждого термина предполагает уместность и соотнесенность с содержанием предложения и замыслом. Каждая пара терминов, соединенная топом, рассматривается как предмет содержательного анализа, и если производный термин примышлен случайно или неправильно, он отвергается. Соединение терминов в смысловую цепочку видоизменяет их значения: производные термины образуют парадигматические классы, а ветви дерева – синтагматические классы. В результате содержание высказывания, представленное в виде организованной системы слов-концептов, образует сложную семантическую сеть в смысле, близком к тому, который в XX в. был обозначен термином *поле аргументации*<sup>1</sup>.

Синтез в хрию осуществляется на основе полученных терминов и их отношений путем построения периодов, структура которых соответствует, с одной стороны, правилам формальной логики, а с другой – нормам хорошего стиля (правильность, ясность, выразительность, благозвучие и пр.).

Эта новация Ломоносова вряд ли восходит к Лейбницу или Готшеду, поскольку Лейбниц стремится соединить мотивированную форму знака с правилами логического синтаксиса<sup>2</sup>, чего нет у Ломоносова, но обнаруживает явную связь со святоотеческой традицией и византийской риторикой и диалектикой. У св. Василия Великого в «Опровержении на защитительную речь злочестивого Евномия» читаем:

«Примышлением <...> называется подробнейшее и точнейшее обдумывание представленного, которое следует за первым чувственным представлением; почему в общем употреблении называется оно размышлением, хотя и не собственно. Например, у всякого есть простое представление о хлебном зерне, по которому узнаем видимое нами. Но при тщательном исследовании сего зерна входит в рассмотрение многое, и даются зерну различные именованья, обозначающие представляемое. Ибо одно и то же зерно называем то плодом, то семенем, то еще пищею – плодом как цель предшествующего земледелия, семенем – как начало будущего, пищею как нечто пригодное к приращению

<sup>1</sup> Pérélsman Ch., Olbrechts-Tyteca L. Traité de l'argumentation. T. 1. P., 1958. P. 175–176.

<sup>2</sup> См.: Лейбниц Г. Основы исчисления рассуждений // Соч. Т. 3. М.: Мысль, 1984. С. 501–505.

тела у вкушающего. Каждое из двух сказуемых и по примышлению умопредставляется, и не исчезает вместе с гортанным звуком (т. е. звуком голоса: слово не есть только звук — *А. В.*), но представления сии укореняются в душе помыслившего. Одним словом, обо всем, что познается чувством и в подлежащем кажется чем-то простым, но по умозрению принимает различные понятия, говорится, что оно умопредставляется по примышлению»<sup>1</sup>.

Тот же принцип построения мы видим и в грамматике Ломоносова, восходящей в конечном счете к Присциану: если имена выражают простые идеи и суть «изображения вещей», глаголы «изображают деяния», имена глагольные, местоимения и наречия — «сложенные идеи», а предлоги и союзы — отношения, то «сложенные по логически идеи называются рассуждениями, а когда словесно или письменно сообщаются, тогда их предложениями называют»<sup>2</sup>. Таким образом, на уровне плана содержания риторика изоморфна грамматике: одни и те же фундаментальные топические (семантические) отношения организуют парадигматические связи классов слов в системе, порождение предложения, отношения термов в замысле высказывания и порождение текста.

Смысл всей этой теоретической конструкции состоит, очевидно, в следующем: язык, по Ломоносову, основа общества и условие организации общества в систему. Развитие общества предполагает продуктивное научное, художественное и иное творчество, т. е. способность к созданию новых идей. Поэтому учение о языке, нормы грамматики, диалектики и риторики должны стимулировать методически дисциплинированное творческое мышление, основа которого — изобретение, не формальное исчисление, как у Лейбница, а процесс открытия и конструирования нового знания.

Если учение о языке М. В. Ломоносова ориентируется на творческий аспект языка и мышления, то развитие русской филологии в XIX в. по необходимости ориентировано на культуру — освоение достигнутого и сохраняемого обществом в виде образцов и моделей<sup>3</sup>.

Среди русских филологов — теоретиков словесности этого времени в первую очередь следует назвать профессора Московского университета (кафедра красноречия и поэзии с 1804 по 1830 гг.) А. Ф. Мерзлякова, которому, по-видимому, и принадлежит идея тео-

<sup>1</sup> *Св. Василий Великий*. Творения. Ч. III. Репринт. М., 1993. С. 23.

<sup>2</sup> *Ломоносов М. В.* Собр. соч. Т. 8. М.; Л.: Наука, 1953. С. 394.

<sup>3</sup> *Рождественский Ю. В.* Введение в культуроведение. М., 1996. С. 11–14.

рии словесности; Н. Ф. Кошанского, выпускника Московского университета, преподававшего классические языки в университетской гимназии и риторику в Московском университетском пансионе, а с 1811 г. в Царскосельском лицее<sup>1</sup>, и И. И. Давыдова, филолога и философа, читавшего первый систематический курс философии в Московском университете и с 1831 по 1847 гг. занимавшего кафедру русской словесности.

Речь в теории словесности представляет собой не просто процесс говорения и слушания, но систему форм произведений слова, отложившихся в ходе развития культуры, в первую очередь эстетической – поэзию и красноречие. Поэзия и красноречие в ходе развития вырабатывают более дробные формы произведений, «эпос и историю, лиру и философию, драму и ораторскую речь, или витийство». Эти формы, представленные классическими образцами, характеризуются дифференциацией собственно языковых средств выражения (лексикой, синтаксисом), содержанием, композицией, коммуникативным заданием. Развитие форм родов и видов словесности связано с развитием духовной культуры от Античности до настоящего времени, поэтому в истории словесности наблюдается преемственность.

Среди руководств по риторике особое место занимают учебники Н. Ф. Кошанского (1781–1831), филолога-классика, переводчика, преподавателя словесности в Царскосельском лицее. Н. Ф. Кошанскому принадлежат две замечательные работы – «Общая риторика» (1829) и «Частная риторика» (1832).

Руководства Н. Ф. Кошанского были ориентированы на классические образцы изящной словесности и давали весьма солидное образование. Изучая риторику, ученик русской гимназии осваивал навыки понимания классических произведений и самостоятельного литературного творчества. Картина родов и видов словесности в «Частной риторике» Н. Ф. Кошанского, связывая русскую словесность с классической и церковнославянской, раскрывала широкую перспективу культуры слова. Учебники словесности Н. Ф. Кошанского, А. Ф. Мерзлякова, А. И. Галича, И. И. Давыдова и других авторов сформировали несколько поколений талантливых и образованных русских людей, которым мы обязаны расцветом национальной культуры в XIX в.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> См.: *Аннушкин В. И.* История русской риторики. М.: Наука, 2002. С. 298–319.

<sup>2</sup> Подробное изложение истории русской риторики см.: *Аннушкин В. И.* Русская риторика: исторический аспект. М.: Высшая школа, 2003.

Так, в частной риторике Н. Ф. Кошанского<sup>1</sup> выделяются разделы:

- (1) история словесности в целом как развитие способов выражения мысли, которые первоначально складываются в классических языках, а затем осваиваются и далее развиваются на новых литературных языках;
- (2) письма по предметам общежития, деловые и литературные;
- (3) диалоги в различных формах;
- (4) повествовательная литература в формах исторических, географических и др. сочинений;
- (5) ораторская проза в ораторике и гомилетике;
- (6) научная литература, в которую включены (7) периодические издания, критика (т. е. журналистика).

Поэзия (т. е. художественная литература) Н. Ф. Кошанским специально не рассматривается<sup>2</sup>. Таким образом, язык и речь понимаются как две системы, относительно самостоятельные, но взаимосвязанные.

Во второй половине XIX в. риторика была исключена из системы образования, а ее место заняло обязательное изучение художественных сочинений и мнений литературных критиков по различным вопросам общественной жизни<sup>3</sup>.

## Риторика XX века

Возникновение в начале XX в. и развитие массовой информации, сформировавшей тоталитарные идеологии, поставило перед наукой проблему манипулирования сознанием. Развитие функциональных стилей, в первую очередь научно-технического, документально-делового и общественно-публицистического, повлекло за собой изменение системы речевых и литературных жанров и наряду с собственно массовой информацией существенно изменило состав литературного языка.

Складывающиеся формы идеократии<sup>4</sup>, стиль модернизма и конструктивизма остро поставили проблему отношения языка

<sup>1</sup> См.: Кошанский Н. Частная риторика. 7-е изд. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1849.

<sup>2</sup> Кошанский Н. Ф. Частная риторика. С. 1.

<sup>3</sup> См., например: Айхенвальд Ю. Белинский. Силуэты русских писателей. Т. 2. М., 1998. С. 199–207.

<sup>4</sup> См.: Трубецкой Н. С. О государственном строе и форме правления // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс-Универс, 1995. С. 406–416.

и мышления: литературные жанры прозаических видов литературно-письменной речи — массовой коммуникации, философии, науки, публицистики, ораторской речи и т. п. — создают определенные формы и способы мышления, которые требуют для себя филологического описания, поскольку мысль организуется нормами построения текста. Но отечественная филологическая традиция и литературная критика начиная со второй половины XIX в., понимают художественную литературу в ограничительном смысле, редуцируя понятие художественности к поэтическому в широком смысле творчеству и приписывая художественной литературе в таком ее редуцированном понимании функции и значение, несвойственные искусству как таковому:

«„Главная цель ученых сочинений, — писал он (Н. Г. Чернышевский — А. В.), — та, чтобы сообщить точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности — в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе благородные понятия и чувства. Другое различие состоит в том, что в ученых сочинениях излагаются события, происходившие на самом деле, и описываются предметы, также на самом деле существующие или существовавшие; а произведения изящной словесности описывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти большею частью создаются воображением самого писателя. Коротко можно выразить это различие в следующих словах: ученое сочинение рассказывает, что именно было или есть, а произведение изящной словесности рассказывает, как всегда или обыкновенно бывает на свете...

Поэты — руководители людей к благородному понятию о жизни и благородному образу чувств: читая их произведения, мы приучаемся отвращаться от всего пошлого и дурного, понимать очаровательность всего доброго и прекрасного, любить все благородное; читая их, мы сами делаемся лучше, добрее, благороднее”.

В приведенных строках Н. Г. Чернышевским указаны отличительные признаки литературно-художественных произведений, имеющих свой предмет изображения, свое содержание, свою форму и свои задачи»<sup>1</sup>.

Это ограничение предмета отечественного литературоведения привело, по крайней мере, к трем специфическим последствиям: филологическая наука стала сводиться к лингвистике и литературоведению, само литературоведение стало сводиться к изучению литературы художественного вымысла, а художественная литература стала инструментом тоталитарной идеологии:

<sup>1</sup> Абрамович Г. А. Введение в литературоведение. М.: Учпедгиз, 1953. С. 13–14.

«Художественная литература разрешает две неразрывно связанные друг с другом задачи: она, во-первых, знакомит с закономерностями и различными проявлениями общественной жизни и, во-вторых, участвует в воспитании человеческих характеров.

Все явления жизни и все факты деятельности людей могут быть предметом литературного изображения, но лишь в том мере, в какой они важны для решения вопроса о нужном типе человеческого поведения. Таким образом, в художественной литературе воспроизведение жизни служит воспитанию людей. Писатели осуществляют свою великую миссию инженеров человеческих душ»<sup>1</sup>.

Понятия художественности и изящной словесности не могут быть ограничены поэтическим творчеством ни с точки зрения истории литературы, ни с точки зрения эстетики, в особенности если принять во внимание особенности эстетики XX в., того же модернизма и конструктивизма, в связи с которыми принципы художественного творчества распространяются на широкую область промышленного дизайна, массовой информации, архитектуры и даже государственного строительства.

## Риторический анализ В. В. Виноградова

В ряде своих ранних работ, в особенности в книге «О языке художественной прозы» (1930)<sup>2</sup>, В. В. Виноградов сделал попытку восстановить предметную область филологии, используя идеи русской науки о языке, высказанные до появления так называемой «натуральной школы». Эту работу отличает сознательно языковедческий подход к теории литературного языка и к теории литературы. К сожалению, идеи В. В. Виноградова при всей их значимости не были в свое время продолжены ни развитием самой по себе научной филологической критической литературы, ни серьезным научным разбором и оценкой.

«Опыты риторического анализа» В. В. Виноградова ориентированы на разбор приемов манипуляции общественным сознанием, что особенно контрастирует с литературоведением того времени.

«Поэтика стиха и прозы, — по мысли В. В. Виноградова, — находились всегда в тесной связи с традициями риторики»<sup>3</sup>. Действительно, определяющей стилистической категорией литературы оказывается

<sup>1</sup> *Абрамович Г. А.* Введение в литературоведение. С. 15.

<sup>2</sup> *Виноградов В. В.* О языке художественной прозы. М.; Л., Госиздат, 1930. С. 75

<sup>3</sup> Там же. С. 98.

образ писателя, который с отделением собственно «поэзии» как художественного творчества от «прозы» соответственно выделяет из себя «образ автора» и «образ риторика», при этом образ риторика исторически предшествует образу автора:

«Такая постановка проблемы красноречия, при которой это понятие определяется через структуру образа писателя, тесно связывает эволюцию красноречия с меняющимися формами понимания самой „словесности“, взаимоотношений „прозы“ и „поэзии“ в ее пределах. Можно даже сказать, что проблема „красноречия“ в литературном аспекте целиком сводится к вопросу о соотношении понятий „поэзии“ и „прозы“ как основных категорий „литературы“»<sup>1</sup>.

Поэтому выделение категории *образ автора* через отграничение ее от *образа риторика* в рамках общего представления *об образе писателя* оказывается первостепенной теоретической задачей.

Изучение литературы вплоть до романтизма определяется категориями риторики, а не поэтики: в старинные классические и рационалистические риторики естественным образом включались приемы анализа и оценки художественного в современной классификации произведения. Более того, поскольку риторика рассматривает произведение слова не как результат, текст, а как задачу писателя, «прецепты» риторики носили не столько нормативный, сколько рекомендательный характер «хорошего вкуса»<sup>2</sup>.

«Понятие риторики, как и основные категории ее пользования — „красноречие“ и „проза“, исторически менялись (соотносительно с эволюцией понятий „поэзии“ и „пиитики“), но при всех этих изменениях в литературе оставался, как особый тип структурных форм, ряд приемов построения, рассчитанных на „убеждение“ читателя, на экспрессивную его „обработку“»<sup>3</sup>.

Эту задачу разграничения поэзии и прозы в современной литературе и решает В. В. Виноградов в своих риторических разборах:

«Роман, повесть, сказка, анекдот были, так сказать, адаптированы риторикой к своей практике (так как генезис этих жанров выводит их в русской литературе за пределы риторики и, следовательно, „литературы“) и образовали „переходную“, „смешанную“ полосу полупиитических, полу-риторических жанров»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 84.

<sup>2</sup> См., например: *Martinier M. de la. Conseils pour former une bibliothèque peu nombreuse mais choisie.* Berlin, 1756. P. 4–8.

<sup>3</sup> Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 84.

<sup>4</sup> Там же. С. 98.

Состав «смешанных» риторико-поэтических жанров существенно расширился в XX в., отчасти и за счет романа, но во французской филологической литературе вплоть до конца XIX в. такие прозаические формы хотя и в несколько консервативных, но нормативных учебных руководствах рассматриваются еще в риторических терминах.

Поскольку, по мысли В. В. Виноградова, риторика начала XIX в., «захватив в сферу своей компетенции художественную прозу», не сумела выработать приемы анализа художественно-литературных форм как таковых, она утрачивает свое значение: «Новые формы литературы требуют новой интерпретации», — и риторика постепенно выводится из состава учебных дисциплин. Но, «поскольку быт в своих средних и низких социальных кругах не имел твердо очерченной теории красноречия», литература смогла лишь «свергнуть под именем риторики теорию красноречия», причем эта «смерть риторики... не обозначала отказа литературы от риторических форм», поэтому теория прозы «натуралистической эпохи непонятна без ее риторических основ»<sup>1</sup>.

Риторика и поэтика «рассматривают разные типы литературных структур» и разные «формы бытия» литературного произведения: если поэтика обращается к литературному произведению «отрешенно» от его «убеждающей и внушающей тенденции», то риторика обращена к получателю речи, а риторическая методология связана с анализом образа ратора и «исследует литературное произведение по законам читателя». Кроме того, риторика рассматривает действенное слово «не только в сфере литературы, но и далеко за ее пределами»<sup>2</sup>.

Риторика и поэтика частично перекрещиваются в области жанрового состава литературы, но вместе с тем в область компетенции риторики входят внелитературные сферы словесного творчества, которые становятся объектом литературоведческого изучения в той мере, в какой они изображаются в художественном произведении.

Таким образом, В. В. Виноградов ставит задачу риторического анализа в общем теоретическом плане как «определение тех форм слова, принципов построения, на которых основано языковое „внушение“, „убеждение“ слушателя», как специфических, по его мысли, особенностей риторики, чтобы затем «выделить в особые круги ис-

<sup>1</sup> Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 98–100.

<sup>2</sup> Слова «объект» и «предмет» понимаются здесь как равнозначные.

следования социально-языковых форм в быту и риторические формы в литературе»<sup>1</sup>.

В системе риторического анализа В. В. Виноградова есть несколько принципиально важных моментов.

1. Изучается не изолированное произведение, а так называемая аргументативная ситуация, т. е. совокупность произведений, авторы которых дискутируют или полемизируют между собой. В. В. Виноградов исследует знаменитую защитительную речь адвоката В. Д. Спасовича по делу С. Кроненберга (Кронеберга в текстах публикаций) 23 января 1876 г., обвиняемого в истязании семилетней дочери<sup>2</sup>. В качестве критических высказываний, в которых содержится критика речи В. Д. Спасовича, рассматривается вторая глава «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за 1876 г. и «Беседа» М. Е. Салтыкова-Щедрина «О „деле” Кронеберга и Спасовича». Учитывая широкий резонанс дела Кроненберга в прессе, следует особо отметить ограниченный выбор В. В. Виноградовым полемических высказываний: в «Риторических анализах» рассматривается не вся аргументативная ситуация, а лишь оценки риторической формы с позиций художников слова, в основном Ф. М. Достоевского, так как щедринскому тексту В. В. Виноградов уделяет значительно меньше внимания и места. Такой выбор обусловлен общей задачей исследования — определением отношения поэтики и риторики, и в частности образа автора и образа ратора, т. е. рассмотрением образа ратора с позиции образа автора.

2. В риторическом исследовании В. В. Виноградова принципиально разделяются анализ ораторской речи как произведения исполнительского искусства, которому посвящен отдельный раздел исследования, и речи как литературного произведения:

«...вопрос об „образе оратора” лежит на границе между теорией звучащей речи и общей теории ораторского искусства, как одной из форм театральной „игры”, гражданского „актерства”»<sup>3</sup>,

но сама по себе речь изучается как литературное произведение. В. В. Виноградов предполагает даже, что изучение оратории и риторический анализ произведения как таковой могут относиться к разным дисциплинам<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Там же. С. 100.

<sup>2</sup> См.: Спасович В. Д. Сочинения. Т. VI. Судебные речи (1875–1882). СПб., 1894. С. 49–71.

<sup>3</sup> Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 109.

<sup>4</sup> Там же. С. 109.

Это положение следует специально прокомментировать. Речь В. Д. Спасовича подверглась критике в целом ряде изданий, но текст ее был опубликован, как намекает Достоевский, не без участия самого Спасовича, более того, в издании собрания сочинений В. Д. Спасовича некоторые фрагменты речи были опущены или отредактированы автором. Но более значимо, что полемика развернулась вокруг газетного текста: так, Ф. М. Достоевский не был в судебном заседании и прочитал только печатный текст, а о речи В. Д. Спасовича в суде он расспросил А. Ф. Кони. Очевидно, учитывая эту ситуацию и соображения В. В. Виноградова, Ю. В. Рождественский впоследствии и сформулировал понятия *эффективности* речи, как ее непосредственного воздействия на аудиторию, и *влиятельности* — как продуктивности литературного произведения, воспроизводимости высказанных в нем идей в других произведениях слова, даже если мысли автора подвергаются критике, но оказываются основой иных идей, выдвигаемых в ходе дискуссии. Аналогичной оказалась литературная судьба «Пушкинской речи» самого Достоевского, которая сначала вызвала восторженную реакцию аудитории, затем была резко раскритикована как печатное произведение, но впоследствии оставила глубокий след в русской публицистической, философской и художественной литературе.

3. В. В. Виноградов исследует в речи В. Д. Спасовича и в критике Ф. М. Достоевского образ ратора, но, по существу, систему образов, которые характерны для любой риторической формы:

- (1) образ ратора в его отношении к речи как соответствие реально сложившегося представления об авторе речи к норме, идеальному образу ратора, структура которого характерна для русской в данном случае культуры;
- (2) образ аудитории (читателя) в том виде, как он строится в речи Спасовича и в «Дневнике писателя»; образ оппонента, в основном образ В. Д. Спасовича в «Дневнике писателя»;
- (3) фактически В. В. Виноградов исследует также образ предмета речи, который он не обозначает специально, но который оказывается существенным компонентом его риторического анализа и который распадается на образы фигурантов дела (Кронеберга, его дочери, любовницы, прислуги) и самого деяния как такового.

В. В. Виноградов показывает, что в ходе полемики все эти образы конструируются как Спасовичем, так и Достоевским, причем приемы и характер конструирования в основном одни и те же и у Спасовича, и у Достоевского. Это последнее обстоятельство вновь

ставит классическую проблему риторики о этической допустимости использования тех или иных речевых приемов в ходе аргументации.

Итак, анализ риторической формы предполагает изучение четырех основных типов образов: *ритора, аудитории, оппонента, предмета*, которые составляют постоянную часть образной структуры произведения и взаимодействие которых и оказывается объектом риторико-критического исследования.

4. Важной особенностью риторического анализа В. В. Виноградова является именно аналитический разбор риторической формы не по композиции произведения (расположению в риторических терминах), а по композиционно-речевым формам, представленным в произведении. В. В. Виноградов специально выделяет:

- а) «*тематику выступления*» по основным ключевым словам текста и системе образов и риторических приемов — «линий словесного движения», проходящих через весь текст речи;
- б) «языковые формы исследования» (т. е. рассуждения, лежащего в основе аргументации), где специально рассматривается движение ключевых слов-характеристик (в риторике они рассматриваются как контекстные фигуры — тропы и эналагги);
- в) «структуру риторического повествования», в которой находит место анализ образов, включенных в общий образ предмета (Кронеберга, ребенка, прислуги): «Все повествование komponируется как мозаика намеков, образующих некое сложное единство, центром которого является контрастная семейная пара — отца и дочери»<sup>1</sup>;
- г) «символические формы внушения», где рассматривается основная топика, используемая Спасовичем: семья и государство, отец и ребенок; воспитание и нравственность; деяние и наказание.

Существенная особенность анализа В. В. Виноградова — отсутствие единой схемы разбора, состав и последовательность которого определяются (в отличие, например, от американских схем) жанром и индивидуальными особенностями произведения: термины «тема», «исследование», «повествование» относятся к судебной речи, термины «образы» и «символические формы» философские или авторские и обусловлены особенностями произведения.

Действительно, произведение в изображении В. В. Виноградова предстает как «матрешка» жанровых форм, которые вставляются одна в другую, следуют в линейном порядке или образуют параллельную структуру. Такой подход хорошо объясняет реальное построение

<sup>1</sup> Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 131.

произведения, которое, впрочем, В. В. Виноградов специально не выделяет в особую тему анализа.

5. Анализ риторического произведения в основном ограничен его элокутивной составляющей. Критик сосредоточил внимание на лексических средствах создания образа, экспрессивном синтаксисе и фигурах речи. «Стилистический анализ речи, — пишет В. В. Виноградов, анализируя статью Ф. М. Достоевского, — направлен на обнажение приемов риторической подмены действительности подменой формы действительности мнимой»<sup>1</sup>, но самим Достоевским «внушается иллюзия, что происходит акт не построения новой действительности, но восстановления той, которая „разрушена“, вырвана с корнем „искусством адвоката“»<sup>2</sup>, и поэтому «отрицание риторичности делается особой формой риторического построения»<sup>3</sup>. Хотя по необходимости говорится об аргументации как таковой, например, об «игре логическими формами», критик фактически отказывается от анализа аргументации.

В результате получается, что приемы, которые использует Ф. М. Достоевский, по существу, не отличаются от приемов манипуляции сознанием В. Д. Спасовича, и создается впечатление этического релятивизма риторического анализа. Кто же прав в этой драматической ситуации: В. Д. Спасович, который стремится любыми средствами, в том числе и клеветой на ребенка, уберечь своего подзащитного от чрезмерно строгого наказания, или Ф. М. Достоевский, который, защищая «невинное дитя», «ангела» и «святую человеческую действительность» от своры безнравственных адвокатов, применяет те же эристические уловки, что и его противник?

Риторическая критика или риторический анализ, как представляется, обязательно предполагают оценку риторического произведения по крайней мере с точки зрения «функциональной истинности» высказывания, но эта оценка, в отличие от просто критической полемической оценки, должна быть доказательной. Главным инструментом такой доказательности является анализ аргументации. Во время написания В. В. Виноградовым рассматриваемой работы никакой теории риторической аргументации не было: лучшей работой такого рода была книга С. И. Поварнина «Спор»<sup>4</sup>. Но и С. И. Поварнин рассматривает аргументацию с логической точки зрения

<sup>1</sup> Виноградов В. В. О языке художественной прозы. С. 155.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Поварнин С. И. Спор (1918). М.: Флинта, 2002.

и трактует вслед за классической формальной логикой приемы убеждения (которые на самом деле решительно отличаются от приемов «внушения») как не соответствующие представлениям о логически правильном доказательстве и потому «запрещенные». Это же относится и к анализу «диспозиции»: только определив состав частей высказывания, взаимное расположение доводов, можно обоснованно установить слабые места технической аргументации и указать не только «софизмы слов», но и «софизмы мысли», которые также выражены словом.

## Неориторика

После Второй мировой войны стала очевидной необходимость возвращения к идее риторики. Но развитие риторики тормозилось отсутствием риторической теории аргументации. Поэтому значение «Трактата об аргументации» Х. Перельмана и Л. Ольбрехтс-Титека трудно переоценить. Даже если не принимать понимание риторики как методологии аргументации в гуманитарных науках, которое, впрочем, имеет весьма серьезные основания, сама постановка проблемы универсальности публичной аргументации, которая является *словесной техникой*, направленной на реальную и ограниченную, *частную* аудиторию, открывает принципиально новую перспективу риторического исследования.

Х. Перельман и Л. Ольбрехтс-Титека следующим образом формулируют принципы риторической теории аргументации:

«Публикация трактата, посвященного аргументации и ее связи с древней традицией греческой риторики и диалектики, является разрывом с исходящей от Декарта концепцией рационализма и рационального доказательства, наложившей свою печать на западную философию трех последних веков<sup>1</sup>.

Действительно, в то время как никому не придет на ум отрицать, что способность обсуждать и аргументировать — отличительный признак разумного существа, изучение средств обоснования, которые используются для присоединения (*adhésion*), в течение трех столетий было в полном пренебрежении у логиков и теоретиков познания. Этот факт определяется тем, что есть нечто необязательное в аргументах, которые используются для обоснования тезиса. Сама природа обсуждения и аргументации противостоит обязательности и очевидности, ибо

<sup>1</sup> Cf. Ch. Péreelman. Raison éternelle, raison historique. Actes du Vie Congrès des Sociétés de Philosophie et langue française. P., 1952. P. 347–354.

не обсуждают там, где решение необходимо, и не аргументируют против очевидности. Область аргументации — правдоподобное, приемлемое, возможное в той мере, в какой это последнее не поддается удостоверению подсчетом. Итак, концепция, ясно высказанная Декартом в первой части „Рассуждения о методе”, — принимать „почти как ложное все, что является лишь правдоподобным”. Именно он, сделав очевидность признаком доказательности, пожелал рассматривать как рациональные лишь демонстрации, которые, исходя из ясных и отчетливых идей, распространяют посредством аподиктических доказательств очевидность аксиом на все теоремы.

Рассуждение *more geometrico* стало образцом, который был предложен философам, желающим сконструировать систему мысли, способной обрести достоинство науки. Рациональная наука, действительно, не может удовлетвориться более или менее правдоподобными мнениями, но вырабатывает систему необходимых пропозиций, которая была бы обязательной для всех разумных существ и согласие с которой неизбежно. Из этого следует, что несогласие — признак заблуждения.

„Каждый раз, как два человека выносят об одном и том же предмете противные суждения, очевидно, — говорит Декарт, — что один из них ошибается. Более того, возможно, что никто из них не обладает истинной; потому что если имеется ясный и точный взгляд, его можно представить противнику таким образом, что он будет вынужден убедиться”<sup>1</sup>.

Для приверженцев экспериментальной и индуктивной науки необходимость пропозиций менее значима, чем их истинность, их соответствие фактам. Эмпирик рассматривает как доказательство не „силу, которой разум уступает и оказывается вынужденным уступить, но силу, которой он должен был бы уступить, силу, которая не может быть отвергнута и потому согласует его веру с фактом”<sup>2</sup>. Если очевидность, которую он признает, является очевидностью не рациональной, а скорее чувственной интуиции, если метод, который он предписывает, является методом не дедуктивных, а экспериментальных наук, он в не меньшей мере принужден к тому, чтобы значимыми были только доводы, признаваемые естественными науками.

Рационально в широком смысле слова то, что соответствует научным методам, и работы по логике, посвященные исследованию средств доказательства, ограничены в основном изучением дедукции и обычно дополняются указаниями не индуктивные обоснования, сводимые, впрочем, к средствам не конструирования, а верификации гипотез, и очень редко отваживаются на изучение средств доказательства, которые используются в гуманитарных науках. Действительно, логик, вдохновленный картезианским идеалом, чувствует себя уверенно лишь

<sup>1</sup> Descartes, Oeuvres. T. XI: Regles pour la direction de l'esprit. P. 205–206.

<sup>2</sup> Mill J. St. Système de logique déductive et inductive. Liv. III, XXI, § 1, vol. II, p. 24.

в изучении доказательств, которые Аристотель определял как аналитические, все другие средства не имеют того же характера необходимости. И эта тенденция еще более проявилась в течение века, когда под влиянием логиков-математиков логика была ограничена формальной логикой, т. е. изучением средств доказательства, которые используются в математических науках. Из этого следует, что рассуждения, чуждые чисто формальной области, ускользают от логики и, следовательно, также и от разума. Этот разум, который, как надеялся Декарт, позволит, по крайней мере в принципе, решить все проблемы, которые стоят перед человеком и решением которых уже обладает Божественный Разум, все более и более ограничивался в своей компетенции, вплоть до того, что все, что ускользает от формальной редукции, представляет для него непреодолимые трудности.

Следует ли из этой эволюции логики и из ее несомненных достижений сделать вывод, что разум полностью некомпетентен в областях, которые ускользают от вычисления и в которых ни эксперимент, ни логическая дедукция не могут дать нам решения проблемы и мы вынуждены предать себя иррациональным силам, нашим инстинктам, подсознанию и насилию?

Противопоставляя волю пониманию, дух проникательности духу геометрии, сердце рассудку и искусство убеждения искусству принуждения, Паскаль пытался даже избежать признания недостаточности геометрического метода выводом о том, что падший человек более не является полностью разумным существом.

В аналогичных целях строятся соотносящиеся кантовская оппозиция веры и науки и бергсоновская антитеза интуиции и разума. Но идет ли речь о философах-рационалистах или о тех, кого считают антирационалистами, все они этим ограничением, навязанным идее разума, продолжают картезианскую традицию.

Нам представляется, напротив, что именно здесь неправомерное и совершенно необоснованное ограничение области, на которую распространяется наша способность рассуждения и доказательства. Действительно, хотя еще Аристотель анализировал диалектические доводы наряду с аналитическими — те, что относятся к правдоподобному наряду с необходимым, те, что служат для обсуждения и аргументации, наряду с теми, которые используются для демонстрации, — посткартезианская концепция разума обязывает нас привносить элементы иррационального каждый раз, как объект познания не очевиден. Поскольку эти элементы содержатся в трудностях, которые следует преодолеть, как воображение, страсть, суггестия, или в подсознательных источниках, как сердце, милость, *Einfühlung* (внутренняя близость. — А. В.) или бергсоновская интуиция, эта концепция вводит дихотомию, совершенно искусственное и противоречащее действительному движению мысли разделение человеческих способностей.

Именно *идею очевидности* как характеризующую доказательство следует отвергнуть, если мы хотим дать место теории аргументации, которая допускает применение разума в руководстве нашими действиями и во влиянии на действия других. Очевидность понимается одновременно как сила, которой всякий нормальный разум обязан уступить, и как знак истинности того, что принудительно поскольку, очевидно<sup>1</sup>. Очевидность объединяет психологию и логику и позволяет перейти от одной из этих плоскостей к другой. Всякое доказательство сводится к очевидности, и то, что очевидно, совершенно не нуждается в доказательстве: это непосредственное применение Паскалем картезианской теории очевидности<sup>2</sup>.

Уже Лейбниц восстал против этого ограничения, которое пытались навязать логике. Он действительно хотел, чтобы „демонстрировали или давали средство демонстрации всех аксиом, которые не первоначальны, не придавая значения мнениям, которые имеют о них люди, и не заботясь, одобряют они их или нет”<sup>3</sup>.

Итак, логическая теория доказательства развивалась, следуя Лейбницу, а не Паскалю, и не приняла положения о том, что очевидное не нуждается в доказательстве; равным образом теория аргументации не может развиваться, если всякое доказательство рассматривается как редукция к очевидности. Действительно, предмет этой теории — *изучение дискурсивных техник, позволяющих, побудить или усилить присоединение умов к положениям, которые представляются на их усмотрение* (assentiment). Присоединение умов характеризуется тем, что его интенсивность различна: ничто не обязывает нас ограничивать наше исследование частной степенью присоединения, определяемой очевидностью, ничто не позволяет нам рассматривать а priori как пропорциональные степень присоединения к положению и его вероятность и отождествлять очевидность с истинностью. Хороший метод — не смешивать в начале аспекты рассуждения, относящиеся к истине, с аспектами, относящимися к присоединению, но изучать их в отдельности, чтобы далее свободно заняться их возможными взаимодействием и соотношением. Только при этом условии возможно развитие теории аргументации, имеющей философское значение.

Если в течение трех последних веков появились церковные исследования, которые занимаются проблемами, поставленными верой и проповедью<sup>4</sup>, если XX в. можно определить как век массовой рекламы и пропаганды и если многочисленные работы были посвящены

<sup>1</sup> *Pérelman Cf. Ch. De la preuve en philosophie, dans Rhétorique et philosophie. P. 123 et suiv.*

<sup>2</sup> *Pascal. Bibl. de la Pleiade, De l'art de persuader, Regles pour la démonstration. P. 380.*

<sup>3</sup> *Leibnitz. Ed. Gerhardt, 5<sup>e</sup> vol. Nouveaux essais sur entendement, p.67.*

<sup>4</sup> Cf. notamment Richard D. D. Whately, *Elements of Rhetoric*, 1828; cardinal Newman, *Grammar of Assent*, 1870.

этой теме<sup>1</sup>, то современные логики и философы совершенно не интересуются нашим предметом. По этой причине наш трактат обращается главным образом к умственным интересам Ренессанса и, еще далее, к интересам греческих и латинских авторов, которые изучали искусство убеждения и воздействия, технику обоснования и дискуссии. Это также основание для представления нашего предмета как *новой риторики*.

Наш анализ касается доводов, которые Аристотель называет диалектическими, которые он исследует в „Топике” и пользу которых он показывает в своей „Риторике”. Это обращение к терминологии Аристотеля оправдано близостью теории аргументации к диалектике, понимаемой вслед за самим Аристотелем как искусство обосновывать исходя из общепринятых мнений (*εὐλόγος*)<sup>2</sup>. Но некоторые соображения побудили нас предпочесть сближение с риторикой.

Первая — возможность смешения, которое может принести это возвращение к Аристотелю. Ибо слово *диалектика* служило в течение веков для обозначения логики как таковой; со времен Гегеля и под влиянием доктрин, которые он инспирировал, это слово приобрело смысл, весьма далекий от первоначального и также широко распространенный в современной философской терминологии. Иначе обстоит дело со словом *риторика*, философское употребление которого настолько впало в забвение, что оно даже не упомянуто в философском словаре А. Лаланда: мы надеемся, что наша попытка оживит эту славную вековую традицию»<sup>3</sup>.

## Теория риторики Ю. В. Рождественского

Начало нового, современного периода развития отечественной риторики можно отнести к началу 70-х гг. Именно в 70-х — начале 80-х гг. складывается школа риторических исследований, созданная Ю. В. Рождественским<sup>4</sup>. Впервые Ю. В. Рождественский публично высказался о риторике и ее значении в истории культуры, в обществен-

<sup>1</sup> Pour la bibliographie voir H. D. Lasswell, R. D. Casey and B. L. Smith, *Propaganda and Promotional Activities*; B. L. Smith, H. D. Lasswell, and R. D. Casey, *Propaganda, Communication and Public Opinion*, 1946.

<sup>2</sup> *Aristote. Topiques. Liv. I. Ch. I, 100a.*

<sup>3</sup> *Pérelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation. T. I. P., 1958. P. 1–6.* (в цитате воспроизведены сноски авторов. — А. В.)

<sup>4</sup> Публикации проф. Ю. В. Рождественского и его учеников, положившие основание риторическим исследованиям в СССР и России, см.: *Хазанова О. Э. Школа общей филологии акад. Ю. В. Рождественского. (Избранная библиография): К 80-летию Ю. В. Рождественского. М.: Добросвет, 2007. С. 279–297.*

ной жизни и в науке о языке в 1970 или в 1971 г. на семинаре Проблемной группы по семиотике филологического факультета МГУ. Первые диссертации по риторике были защищены Л. П. Олдыревой (1978) и О. П. Брынской (1979)<sup>1</sup>. Для определения значения риторических идей Ю. В. Рождественского следует обратиться к его последним монографическим работам по риторике, «Теории риторики» (1997) и «Проблемам современной риторики» (1999), не останавливаясь даже на таких основополагающих статьях, как «О семантических особенностях текстов массовой коммуникации»<sup>2</sup> или «Проблемы влияния и эффективности средств массовой информации»<sup>3</sup>.

В «Теории риторики»<sup>4</sup> обобщаются идеи Ю. В. Рождественского, высказанные в его предшествующих работах, и дается изложение системы риторики, в рамках которой автор представляет предмет и состав категорий риторики. Следует отметить некоторые особенности этой работы, в которых отразился характер научного и философского мышления Ю. В. Рождественского.

1. Выражение «система риторики» фактически используется Ю. В. Рождественским в смысле, который придавался слову «система» в науке и философии XVIII–XIX вв.:

«Система — соединение однородного знания в одно целое на основании какого-либо принципа, с целью познания предмета. Система дана в отношениях подчинения и разделения понятий и в замечаемом порядке мира явлений, необходимость ее — в единстве мышления»<sup>5</sup>.

Ю. В. Рождественский организует материал своих работ на основе принципа «дистрибутивного различения» — тернарной классификации категорий, который был разработан и представлен в монографии «Типология слова»<sup>6</sup>. Этот аппарат дистрибутивного различения использовался Ю. В. Рождественским во всех последующих работах по языкознанию, риторике, семиотике, общей филологии и культуроведению и рассматривался им в качестве гносеологической основы

<sup>1</sup> Там же. С. 285.

<sup>2</sup> См.: Рождественский Ю. В. О семантических особенностях текстов массовой коммуникации // Материалы научного семинара «Семиотика средств массовой коммуникации». Ч. 1. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. С. 290–296.

<sup>3</sup> См.: Рождественский Ю. В. Проблемы влияния и эффективности средств массовой информации // Роль языка в средствах массовой информации. М.: ИНИОН, 1986.

<sup>4</sup> См.: Рождественский Ю. В. Теория риторики. 2-е изд., испр. М.: Добросвет, 1999. 482 с. Далее «Теория риторики» цитируется по этому изданию Моск. ун-та.

<sup>5</sup> Философский словарь логики, психологии, этики эстетики и истории философии / Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1911. С. 236.

<sup>6</sup> См.: Рождественский Ю. В. Типология слова. М.: Высшая школа, 1969. С. 67–167.

гуманитарного знания. Тем самым весь комплекс работ Ю. В. Рождественского можно понимать как единую систему аксиоматического характера, представляющую семиотическую модель гуманитарного знания. Ю. В. Рождественский не успел построить полную единую картину гуманитарного предмета на основе тернарной модели, но смысловой образ этой картины усматривается практически во всех его крупных работах.

Тернарная модель представляет собой формульное выражение правила посылок силлогизма. Силлогизм содержит три высказывания: большую, меньшую посылки и вывод – и три термина – больший, средний и меньший. Большая посылка содержит средний и больший термины, меньшая посылка – меньший и средний термины, вывод – меньший и больший термины.

Так, если мы имеем конструкцию умозаключения:

(1 – большая посылка 1)

все разумные (В) добродетельны (С);

(2 – меньшая посылка)

все философы (А) разумны (В);

(3 – вывод)

следовательно, все философы (А) добродетельны (С);

то, представив соотношение посылок и вывода – умозаключения в виде матрицы, получаем:

	В	А	С
1	+	–	+
2	+	+	–
3	–	+	+

Переменные, которые могут включаться в эту матрицу, при данном соотношении столбцов и строк дают дедуктивное умозаключение.

Но если мы переставим местами суждения умозаключения следующим образом:

- (2) все философы разумны;
- (3) все философы добродетельны;
- (1) следовательно, все добродетельные разумны,

то получим индуктивное умозаключение, схема которого будет следующей:

	В	А	С
2	+	+	–
3	–	+	+
1	+	–	+

Если же выводом оказывается меньшая посылка дедуктивного умозаключения, то, по Ч. Пирсу, мы имеем дело с гипотезой<sup>1</sup>:

- (1) все разумные добродетельны;
- (3) все философы добродетельны;
- (2) следовательно, *все философы разумны.*

В табличном виде получаем:

	В	А	С
1	+	–	+
3	–	+	+
2	+	+	–

Система дистрибутивного различения представляет собой схему разведения терминов умозаключения, которые при соответствующей постановке в состав суждений и трансформации их позиций дают дедуктивные, индуктивные и гипотетические умозаключения.

При таком догматическом построении системы категорий научной дисциплины корректность включения данных в систему зависит от значения терминов, например *разумность, добродетель, философ.*

<sup>1</sup> Пирс Ч. Начала прагматизма. С. 18–19.

Чтобы построить правильное умозаключение, в особенности индуктивное, нужно уже иметь представление о том, каково будет дедуктивное умозаключение, исходное для теоретического замысла<sup>1</sup>, т. е. предложить для терминов *разумность*, *добродетель* и *философ* определения, которые позволят включить философов в круг добродетельных, а добродетельных — в круг разумных. Для этого нужно задать признаки, которые различали бы термины, допустим: *предусмотрительность*, *скромность*, *справедливость*. В таком случае можно получить матрицу:

	Предусмотрительность	Скромность	Справедливость
Разумность	+	+	–
Добродетель	–	+	+
Философ	+	–	+

Из матрицы можно видеть, что как содержание признаков (*предусмотрительность*, *скромность*, *справедливость*), так и значения признаков (+/–) могут оказаться искусственными. Как всякий разделительный аргумент, матрица будет выглядеть правдоподобно. Но если мы имеем дело с научной теорией, вопрос будет состоять как в том, действительно ли все философы предусмотрительны, так и в том, что из этого следует.

Наглядный пример можно видеть во «Введении в культуроведение». Ю. В. Рождественский в разделе о духовной культуре строит тернарную матрицу, посредством которой стремится утвердить принцип «совместной и отдельной встречаемости», свойственный, по его мнению, «мудрости» как форме духовной культуры. Для этого используется ни много ни мало учение Церкви о триипостасности Божества<sup>2</sup>. Поскольку же соотношение контрастных и дополнительных позиций признаков в матрице должно, по определению, давать их дистрибутивное различие, а признаки берутся произвольно, выходит, что якобы Третья Ипостась не единсущна с другими. При этом смело утверждается, будто таково учение Православной Церкви<sup>3</sup>. Все христианские церкви, признающие Никео-Цареградский Символ веры, — православная, римско-католическая, армяно-григорианская, англиканская — признают единсущность Святого Духа Отцу и Сы-

<sup>1</sup> Ср.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 54–60.

<sup>2</sup> См.: Рождественский Ю. В. Введение в культуроведение. М.: ЧеРо, 1996. С. 105–106.

<sup>3</sup> Там же. С. 106.

ну, т. е. Троическое единство Божества, а отрицание единсущности Третьей Ипостаси рассматривают как заблуждение пневматомахии. Это — факт культуры, реальность, независимая от личного мнения культуролога, которое, разумеется, может быть каким угодно.

2. Научные взгляды Ю. В. Рождественского сложились под сильным влиянием историко-типологической концепции культуры Н. И. Конрада<sup>1</sup>, рассмотрение и оценка которой были бы здесь неуместны. Однако значима важная особенность сопоставлений культур Н. И. Конрадом и Ю. В. Рождественским — редукция фактов и особенностей европейской культуры к культурам восточным, а самой по себе культуры как «надстройки» к «базису» производительных сил и производственных отношений в соответствии с представлениями марксизма.

Этот редукционизм по-разному проявляется в работах Ю. В. Рождественского. Так, в «Теории риторики», сопоставляя «китайскую, индийскую и греко-римскую» традиции описания речевой деятельности, Ю. В. Рождественский пишет:

«С типологической точки зрения, очень обобщенно, можно поделить теорию речевой деятельности на три основных школы: китайскую (словарную), индийскую и греко-римскую. Каждая из этих школ отличается своеобразием построения. Однако все школы, сообразуясь с развитием общественно-языковой практики, построили гомиетику (теорию и практику проповеднической и учебной речи). Греко-римская традиция, благодаря развитию книжной печати и деления литературы на научную и художественную (что связано с развитием книгопечатания), последовательно создала рациональную риторику и поэтику как учения о стиле и воплощении мысли в слове. В XX в. развитие массовой коммуникации заставило строить научную теорию речевой деятельности.

Индийская и китайская филологические традиции не выработали и не развивали риторики. Это связано с тем, что публичная ораторская речь, как было показано выше, отсутствовала в этих культурах (курсив мой. — А. В.). Но учения о речи развивались в границах потребностей, связанных с нормализацией речи»<sup>2</sup>.

Несколько выше греко-римская риторика в ее педагогическом воплощении, т. е. в риторической теории Квинтилиана и реальной практике, предстает в изображении Ю. В. Рождественского следующим образом:

«Эмпиризм воспитания и обучения риторов, как правило, платного, во время которого ученик или его родители требовали практиче-

<sup>1</sup> См.: Конрад Н. И. Запад и Восток. М.: Наука, 1972.

<sup>2</sup> Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 36–37.

ского результата – ораторских навыков для судебной или гражданской карьеры – ориентировал педагогическую деятельность не на понимание и анализ места речи в обществе и его характер, а на содержание и формы, т. е. не на научное выявление характера феномена речи, а на сиюминутный практический результат (курсив мой. – А. В.). Секст показал все эти пороки педагогической практики, не освещенной фундаментальной теорией. Но и после трактата Секста жизненная потребность все же удержала ораторскую педагогику как необходимую часть общества. Но эта прагматическая потребность унижала риторiku, делала ее служанкой политических и имущественных интересов на правах технического руководства по речевой борьбе»<sup>1</sup>.

Характеризуя особенности китайского учения о речи и, главное, его цели и результаты, Ю. В. Рождественский указывает, что

*«все части, характеризующие феномен речевой деятельности, отмеченные у античных греков, даны в Древнем Китае (курсив мой. – А. В.). Поскольку принятие решений происходит в ученом аристократическом кругу, требование к речам – предельный лаконизм, умственная и эмоциональная напряженность, сдержанная страсть и ответственность за каждое слово. Такая речь требовала высочайшей умственной подготовки и ощущения возможных перемен. Отсюда прогностика занимает первое место (курсив мой. – А. В.). Кто прозорливый в своих прогнозах, тот лучше угадывает развитие стиля и, следовательно, подает лучший совет в согласовании будущих интересов монархии и народа, а значит, установлении меры справедливости в будущем. Отсюда силы государства в его противостоянии внешним вызовам возрастают. Важнейшим инструментом управления и благополучия государства, монарха и его аристократического окружения являются поддержка и развитие новых стилевых течений (курсив мой. – А. В.)»<sup>2</sup>.*

Стало быть, китайская традиция как бы содержит все ценное, что имеется в греко-римской, кроме ораторики, а важнейшая отличительная особенность китайской традиции – прогностика речи и развитие стиля речи и деятельности.

Достижения индийской традиции в организации и нормировании речевой культуры состоят, по Ю. В. Рождественскому, в следующем:

*«Школьная и ученая речь, поскольку она организована кастой, эзотерична. Эзотерическая речь школы и литургии направлена на воспитание способностей человека. Отсюда практика различных психофизических тренировок в йоге. Эти тренировки имеют целью улавливание*

<sup>1</sup> Там же. С. 28–29.

<sup>2</sup> Там же. С. 30–31.

*через живое наблюдение движений мира и выведение свойств этих движений. Так развивается прозорливость силы души для цельного осознания картины мира и для систематического рассмотрения частей этой картины (курсив мой. — А. В.)»<sup>1</sup>.*

Получается, что греко-римская риторика, основанием которой представляется ораторская проза — судебная и политическая речь (эпидейктической речи и ее значению Ю. В. Рождественский не уделяет особого места), — основана в основном на практической, а не на духовной морали<sup>2</sup> и ненаучна. Основываются на духовной морали и научны китайская и индийская традиции теории речевой деятельности.

«Задача теории риторики, — указывает Ю. В. Рождественский, — видеть развитие речи в контексте общества как основной фактор общественной жизни»<sup>3</sup>.

Подробно задачи научной теории риторики формулируются следующим образом:

«Так обнаруживаются функции риторики: общественное управление, формирование морали, нравственности и этики, формирование стиля, исследование психологии речетворчества. Эти функции риторики могут быть поняты как ее задачи.

Современная научная риторика не отменяет искусства риторики в ее задачах педагогических (моральных), стилистических, психологических, но, напротив, служит осознанию и научному анализу этих задач. Так новая область риторического исследования средствами теоретической науки (а не только из прецедентов) позволяет глубже уяснить суть феномена речи и тем, в частности, помочь риторическому искусству»<sup>4</sup>.

Нисколько не умаляя достоинств Древнего Китая и трактата «Резной дракон литературной мудрости», индийской логики навьянья и шести систем индийской философии, приходится, однако, сделать некоторые замечания.

По дальнейшему изложению истории риторики самим Ю. В. Рождественским оказывается, что Квинтилиан был «основателем педагогики»<sup>5</sup>, что его педагогическая теория, которая была основана именно на практике преподавания риторики как самим Квинтилианом, так и его предшественниками — греческими риториками, большинство

<sup>1</sup> Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 34.

<sup>2</sup> Там же. С. 25 и др.

<sup>3</sup> Там же. С. 36.

<sup>4</sup> Там же. С. 69.

<sup>5</sup> Там же. С. 39.

которых, как, кстати, и Цицерон, были в большей или меньшей степени последователями философии Платона, была частью общего образования. В общее образование наряду с нравственным воспитанием входили обширные философские и литературные знания, поэтому система образования, безусловно, включала то, что Ю. В. Рождественский называет духовной моралью. Оказывается, что теория Квинтилиана включала и «воспитание языкового творчества»<sup>1</sup>.

Христианская гомилетика как раз занималась и занимается воспитанием духовной морали. Но христианская гомилетика, которая и является гомилетикой в строгом смысле слова, основана на опыте классической ораторской прозы, политической судебной и показательной:

«Христианство заимствует технику проповеди у позднеантичного морализма (Сенека, Эпиктет) и одновременно у восточной религиозной пропаганды (преимущественно у иудаистской). К проповеди близки по своей структуре и функциям раннехристианские эпистолярные тексты (послания апостола Павла, Игнатия Богоносца, Климента и др.). В IV в. созревает жанр церковной проповеди, окрашенный эллинистической традицией (характерно, что церковный обиход перенимает термин позднеантичной философии „гомилия”, русск. „гомилетика”). Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский – церковные ораторы античного склада. На грани IV и V вв. греческое церковное красноречие доводит до высшей точки Иоанн Златоуст (ок. 347–407), возродивший на новой основе демосфеновскую патетику; его проповеди остаются идеальным образцом для Византии, России и других стран православного круга»<sup>2</sup>.

Оказывается, что система христианского образования в виде системы свободных искусств, сложившаяся не после<sup>3</sup> Торжества Православия (11 марта 843 г.), а несколькими веками ранее<sup>4</sup>, была развитием на основе христианства опыта античной философии, науки и педагогики, включая, разумеется, риторику, предмет которой к тому времени выходит далеко за пределы ораторской прозы. И так называемая «протестантская риторика», и так называемая «рациональная риторика» были продолжением традиции, идущей от софистов к стоикам, платоникам, через бл. Августина к христианской

<sup>1</sup> Рождественский Ю. В. Теория риторики.

<sup>2</sup> Аверинцев С. С. Проповедь: Собр. соч. / Под ред. Н. П. Аверинцевой и К. Б. Сигова. София: Логос; Словарь. Киев: ДУХ І ЛИТЕРА, 1006. С. 363.

<sup>3</sup> Ср.: Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 45.

<sup>4</sup> Ср. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. С. 117–161.

гомилетике, но они также основаны на опыте ораторской прозы, хотя и не ограничивались им.

Что же касается развития в Греции ораторской прозы как причины возникновения риторики и вообще места ораторской прозы в системе античной и более поздней европейской словесности, то здесь культурная ситуация обстоит, как представляется, значительно сложнее, чем она представлена в «Теории риторики».

Аристотель в первых строках «Риторики» весьма решительно настаивает на том, что риторика — «искусство, соответствующее диалектике, так как обе они касаются предметов, знакомство с которыми может некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки»<sup>1</sup>. Все остальные элементы содержания риторики в этом смысле второстепенны и определяются частными обстоятельствами. Столь же решительно он настаивает на том, что риторика «полезна, потому что истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей, если решения постановляются не должным образом, то истина и справедливость необходимо побеждаются своими противоположностями, что достойно порицания»<sup>2</sup>.

По Аристотелю, справедливость не сводится к функции регулятора товарно-денежного обмена, как изображает его риторическую этику Ю. В. Рождественский<sup>3</sup>:

«Справедливое бывает двух родов. Один из них — соответствие закону: справедливым называют то, что приказывает закон. Закон велит поступать мужественно, благоразумно и вообще вести себя в согласии с тем, что зовется добродетелями. Вот почему, как говорят, справедливость — это, по-видимому, некая совершенная добродетель»<sup>4</sup>.

Однако в «Большой этике» Аристотель рассматривает «второй род справедливого — справедливое по отношению к другому человеку»<sup>5</sup>, т. е. справедливость в социальном смысле. «Социальная» справедливость предстает как «равенство обязательств» (*συμβόλαιον* — соглашение, сделка, контракт, деловая операция).

Далее Аристотель действительно выстраивает пропорцию на примерах трудовых и денежных отношений и утверждает, что «справедливость, которую мы исследуем, — это гражданская справедли-

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1354а, 1355б, 35 // Античные риторики. С. 15–19.

<sup>2</sup> Там же. 1355а, 22–25. С. 17.

<sup>3</sup> Ср. Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 15–17.

<sup>4</sup> Аристотель. Большая этика. 1193б // Собр. соч. Т. 4. С. 324.

<sup>5</sup> Там же.

вость, то есть она больше всего относится к равенству...»<sup>1</sup>. Аристотель указывает на свободный выбор и гражданское равенство как условия применения понятия справедливости и поясняет: «Люди несправедливы, когда не отдают залога, развратничают, воруют или делают какое-нибудь другое несправедливое дело»<sup>2</sup>. По примерам Аристотеля, могут быть несправедливыми пьяницы, судьи на состязаниях, убийцы и т. д., не только если они действуют сознательно, но и если они могли и должны были знать, что совершают несправедливое деяние, но по небрежности или по невежеству совершили его.

Аристотель в «Большой этике» обсуждает не столько вопрос о товарно-денежных отношениях, сколько вопрос о свободе воли, обязательности знания закона и добросовестности намерения. И справедливость включается им в состав добродетелей, которые называются философскими и цель которых — прекрасное: мужество, благоразумие, щедрость, благородство, уравновешенность, негодование, чувство собственного достоинства, скромность, чувство юмора, дружелюбие, правдивость, справедливость<sup>3</sup>. Таким образом, получается, что и в понимании Аристотелевой риторической этики, и в понимании Аристотелевой этики в целом Ю. В. Рождественский принимает пояснительный пример за содержание понятия. Из этого, впрочем, не следует, что Аристотель не принимал во внимание значение и товарно-денежных отношений в риторической аргументации о справедливом и несправедливом, но следует, что понятие справедливости, по Аристотелю, значительно шире «экономической» справедливости. Применительно к риторике эта категория ограничена кругом проблем судебной аргументации<sup>4</sup>; использование термина «справедливость» в «Политике» и трактатах по этике Аристотеля, с одной стороны, и в «Риторике» — с другой, различно, что можно видеть и из двоякого определения справедливости в вышеприведенном фрагменте из «Большой этики». В «Риторике» специальное понятие справедливости как цели судебной аргументации сопоставляется с понятиями пользы как цели совещательной аргументации и прекрасного как цели показательной аргументации. Там же, где Аристотель говорит о справедливости вообще<sup>5</sup>, он явно имеет в ви-

<sup>1</sup> Аристотель. Большая этика. 1194b, 5–10. С. 327.

<sup>2</sup> Там же. 1196a, 20. С. 331.

<sup>3</sup> Там же. 1196a, 20; 1190b–1193b. С. 316–332.

<sup>4</sup> Аристотель. Риторика. 1358b, 20–28. С. 25.

<sup>5</sup> Там же. 1355a, 21–24. С. 17.

ду общее нравственное значение слова, поскольку ставит в один ряд категории истины и справедливости.

В действительности риторика, по Аристотелю, не сводится к учению об ораторском искусстве, а представляет собой в соответствии с его собственным определением эмпирическую теорию убеждающей аргументации в условиях публичного обсуждения проблем. Выводы этой теории строятся на основе анализа и обобщения конкретного материала, что характерно для методологии Аристотеля, но они простираются на область отношений речи к мысли, что было показано выше.

Соответственно и причиной возникновения и развития риторики как исторически первой *научной теории языка* стало, скорее, специфическое для культур, основой которых были индоевропейские языки, отношение духовной морали к практической. Для греческой, индийской, кельтской, германской, славянской культурных традиций характерен примат устного слова перед письменным и, как следствие, отсутствие или поздняя письменная фиксация религиозного канона, который передавался в устной форме, в особенности в своей мистериальной части. Развитие философской мысли, в особенности начиная с Сократа и Платона, представляет собой обсуждение религиозно-философской проблематики. Диалектическая техника в том виде, в каком она в это же время разрабатывается софистами, лишь частично подходит для философского диалога. Поэтому задачей философии и оказывается разработка различных форм логики – аналитики и топики, а также установление допустимых в философской дискуссии приемов аргументации. Задача риторики и состоит в проекции техники диалектической аргументации на область реальной речи, поскольку к области реального мышления относится все, что «должно быть достигнуто словом». Поэтому замысел риторики у Аристотеля связан в большей мере с задачами воспитания в обществе духовной морали путем представления ее положений в виде норм публичной речи, чем с задачами описания ораторской прозы как таковой.

Что же касается научности «донаучной» риторики и ее отношения к «научной», то и здесь дело обстоит, очевидно, более сложным образом, чем оно представляется в «Теории риторики»<sup>1</sup>. Вопрос может быть поставлен двояким образом: является ли «донаучная» риторика научной и является ли «научная» риторика риторикой?

<sup>1</sup> Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 67–68, 75–77.

Ответы на эти вопросы связаны с двумя сильными утверждениями Ю. В. Рождественского.

1. «Рассматривать написанную и выслушивать произнесенную речь, анализировать ее или усматривать в ней только прецедент – значит различать детали, не видя целого. Так можно делать в частной риторике, но не в общей риторической теории»<sup>1</sup>.

2. «Сводить риторiku к какому-либо частному виду речи – ораторике, гомилетике, научной прозе и пр. – нельзя, так как это тоже разновидности речи. Отсюда можно определить поэтику как частную риторiku художественной речи, видоспецифической особенностью которой является мимесис»<sup>2</sup>.

Эти два утверждения взаимосвязаны, хотя сделаны как бы по разным поводам и включены в различные смысловые контексты. Взаимосвязь их состоит в следующем.

Если риторика предстает как эмпирическое знание, в котором вывод получается путем гипотезы и индукции, то надежность научных выводов неизбежно связана с представительностью и однородностью эмпирического материала, на основании которого они делаются. Разнородный материал произведений слова, на основе которого строится обобщение, неизбежно будет давать противоречивые данные, в особенности если это будет материал, например, судебной ораторики и художественной литературы. Это связано с различными функциями произведений. Если диалог Порфирия Петровича с Раскольниковым в «Преступлении и наказании» включается в художественное пространство произведения, а его ход и результаты изображаются в связи с художественной задачей диалога в романе, то в диалоге реального следователя с реальным подозреваемым сходные вопросо-ответные конструкции могут привести (и приведут) к совершенно иным результатам. Ф. М. Достоевский писал роман, а не руководство по методике раскрытия особо тяжких преступлений против личности, и ему как художнику нужно было изобразить определенную реакцию Раскольникова на определенные и значимые в художественном отношении вопросы Порфирия Петровича.

Если риторическая теория строится на основе ряда исходных определений конвенционального характера, например логоса, этоса и пафоса, которые на деле задаются вне связи с традицией понима-

---

<sup>1</sup> Там же. С. 36.

<sup>2</sup> Там же. С. 77.

ния этих понятий в истории риторики, но доктринально<sup>1</sup>, то путем исчисления категорий с посредством жесткого метода диерезы получается сетка соподчиненных понятий, которая дает систематическую картину предмета. Такая картина будет соответствовать некоторой реальности при условии, что переменные вводятся корректно. Если же переменные вводятся некорректно, то сетка, очевидно, останется сеткой, а реальность — реальностью. Примеры не вполне корректного включения переменных были представлены выше.

Данные, которые, по Ю. В. Рождественскому, должны использоваться в научной теоретической риторике, представлены в «риторических научных дисциплинах», связанных с текстами массовой коммуникации: это контент-анализ, социологический анализ в теории коммуникаций и японская теория языкового существования нации<sup>2</sup>. Все эти дисциплины основаны на статистических методах, так как изучают массовые факты речи. Но на массовых данных можно построить только выводы массового характера. Выводы массового характера нивелируют индивидуальное активное начало деятельности, которое и создает новации, использование статистического метода предполагает принципиальную обратимость анализа в синтез.

Между тем в «Общей филологии» читаем:

«Гуманитарные (общественные) науки исходят из принципиальной неоднородности мира, в котором активное начало, связанное с человеком и обществом, противостоит всему остальному, рассматриваемому как начало инертное. Объединение активного и инертного начал происходит в деятельности. Деятельность есть совокупность действий, направляемых на образование новой действительности и организованных определенными правилами. Становление новой действительности через деятельность составляет историю.

В истории все последующее основано на предыдущем, без предыдущего не может быть последующего. Отсюда — произвести синтез как обращенный анализ возможно только в теории. Так, копия шапки Мономаха не сделает ее реликвией, а копия картины не заменит художника»<sup>3</sup>.

Задача же научной риторики, по Ю. В. Рождественскому, состоит в общественном управлении, в формировании морали, в формировании стиля, в исследовании психологии речетворчества<sup>4</sup>. Как все эти свойства гуманитарной науки и задачи научной риторики могут быть

<sup>1</sup> Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 69–71.

<sup>2</sup> Там же. С. 59–67.

<sup>3</sup> Рождественский Ю. В. Общая филология. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996. С. 221.

<sup>4</sup> См.: Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 68.

согласованы со статистическими методами анализа и представления данных в контент-анализе, — остается загадкой.

Методы филологических наук основаны на изучении прецедентов. Прецеденты — произведения слова — высказывания, которые и наблюдаются филологом. Ни язык, ни речь не могут наблюдаться непосредственно. Понятия «язык» и «речь» являются результатом научной абстракции, равно как и понятия «художественная литература», «историко-литературный процесс», «художественный метод» и т. д. В основании любой теории лежат два момента — цель и задачи исследования и отбор прецедентов — эмпирического материала, на котором осуществляется исследование.

Вопрос о «деталях и целом» относится не к эмпирической базе исследования, а к системе категорий (например, категорий структурного описания языка, предложенных Ф. де Соссюром), исходя из которой определяется характер эмпирической базы. Так, в упрощенном виде эмпирическая база исследования, если она строго выполняет требования, которые предъявляются антиномиями «язык—речь», «означающее—означаемое», «форма—субстанция», «парадигма—синтагма» и т. д., должна быть ограничена корпусом препарированных в виде фонетической транскрипции предложений, объединяемых общим составом входящих в них повторяющихся сегментов — морфем и слов, независимо от того, из какой — устной, письменной, печатной, электронной — совокупности источников берутся эти предложения. Состав этих предложений образует «речь». Сопоставление фрагментов предложений по определенным правилам и моделям и генерализация их отношений дают картину «языка».

Только при условии достаточно строгого следования принципам отбора эмпирического материала строению категориальной системы и техническим приемам анализа возможны построение научных гипотез, их критика и верификация. Понятно, что лингвистика в целом не может исчерпываться каким-либо частным типом теоретической конструкции категорий — по Соссюру, по Бюлеру, по Хомскому: в науке представлено множество таких теоретических конструкций, каждая из которых, как например московская или пражская фонологические школы, основана на особом теоретическом замысле и ограничена его прогностическим потенциалом: она может «предсказывать», т. е. объяснять ограниченный круг фактов языка.

Так обстоит дело и в риторике. Подобно системе категорий грамматики, система категорий риторики была разработана еще

в Античности. Категории риторики тесно связаны с методологией построения высказывания. Они строятся в последовательности движения мысли от замысла к реализации завершеного целесообразного высказывания: «изобретение», «расположение», «элокуция», «действие».

С развитием риторики содержание этих категорий изменялось, поскольку изменялась языковая ситуация: развитие общественно-языковой практики определяет содержание эмпирической базы риторики. В современном состоянии общественно-языковой практики эта модель, безусловно, ограничена, как например ограничена модель частей речи и членов предложения в грамматике. Но и та и другая модели работают, т. е. остаются базовыми, и на их основе создаются новые теоретические построения, которые при разумном их понимании представляются как дополнительные к генеративным теориям морфологии и синтаксиса. Но риторические модели в силу сложившихся «экстралингвистических» обстоятельств разработаны в XX в. значительно менее подробно, чем грамматические. Это, однако, не может быть основанием для отрицания «научности» классической риторики, подобно тому как в годы «бури и натиска» компаративистики все, что не входило в парадигму теоретических идей младограмматиков, представлялось как донаучное, а в годы «бури и натиска» структурной лингвистики все, что не входило в парадигму научных представлений Ф. де Соссюра или Н. Хомского, отрицалась как ненаучное.

Оценивая в целом «Теорию риторики» Ю. В. Рождественского, следует подчеркнуть следующие принципиально важные обстоятельства.

1. В «Теории риторики» дается обоснование системы категорий риторики применительно к современному состоянию общественно-языковой практики. Здесь особенно значима логически организованная сеть понятий риторики – система в сформулированном выше смысле. Такая единая система категорий риторики является научной картиной современной речи в условиях развития массовой коммуникации и связывает факты массовой коммуникации с культурой, что представляется особенно значимым в условиях современного развития стилей.

Кроме того, организованная категориальная система, предложенная Ю. В. Рождественским, как представляется, выгодно отличает теорию риторики от теоретических построений в большинстве

филологических дисциплин, терминологические системы которых носят во многом случайный характер.

2. «Теория риторики» является фундаментальным исследованием, в котором предмет риторики определяется как система речевых отношений в обществе. Такое широкое понимание предмета риторики дает систематизированную картину объекта исследований и открывает широкую перспективу дальнейших исследований и преподавания риторики. Широкое понимание предмета риторики допускает различные частные концепции и исследования с позиций риторики объективной убеждающей, научной, бытовой, художественной и т. д. речи.

3. Система риторики, разработанная Ю. В. Рождественским, в силу жесткости и связности категорий и фиксации ключевых связей объектов, очевидно, открывает возможность прогнозирования речевых отношений в научном смысле, т. е. установления нетривиальных зависимостей составляющих повторяющихся коммуникативных ситуаций и тем самым конструирования конкретных систем речевых коммуникаций.

Приведенная выше критика относится скорее к философским основаниям и историческому обоснованию теории Ю. В. Рождественского, чем к ее собственно научному содержанию. Сомнительно, чтобы глубокая и продуктивная теория не заслуживала критики. Между тем никто из учеников и последователей Ю. В. Рождественского до сих пор такой критики не представил. Настоящая книга и является критикой концепции Ю. В. Рождественского в том смысле, что предмет и границы риторики, содержание риторической аргументации, образ ратора понимаются иначе, чем в «Теории риторики» и в «Принципах современной риторики» Ю. В. Рождественского. Это различие в понимании ключевых понятий риторики состоит в том, что Ю. В. Рождественский исходил в основном из массовых данных и рассматривал отношения между различными аспектами речевой деятельности. В результате и его теория описывает стандартные задачи и стандартные ситуации.

Стилистическая новация предполагает индивидуальное и нетривиальное решение. Понятно, что новация как таковая является единичным событием и не может быть описана в категориях, связанных с типичными речевыми отношениями. Но может существовать *речевая техника принятия нестандартного решения*, поскольку нестандартные решения принимаются уже имеющимися средствами и в повторяющихся ситуациях.

Так, русская государственная мысль стремилась «в Европу прорубить окно» начиная, по крайней мере, с XVI в. Ни Иван Грозный, ни Борис Годунов, ни Алексей Михайлович в этом не преуспели. Независимо от того, стоило ли вообще прорубать окно в Европу, удалось это сделать только Петру Великому. Средства, которые применил для этой цели Петр Великий, в основном были те же, что и у его предшественников, но оценка обстоятельств, последовательность, искусность и степень решительности оказались предпосылками успеха замысла и создали новую культурную и геополитическую ситуацию.

Классическая риторическая модель, собственно говоря, и предназначена для описания условий и техники создания новой ситуации посредством убеждающего слова. Но эта модель, безусловно, нуждается в серьезном дополнении — в теоретической модели фона новации, которой не располагала классическая риторика и которая предложена в работах Ю. В. Рождественского. Рациональная риторика и теоретическая риторика поэтому представляются не последовательными этапами развития знания, но дополнительными конструкциями и предполагают одна другую.

## Выводы и определения

Итак, для отчетливого разведения рассмотренных подходов к риторике следует предложить ряд рабочих определений ее ключевых категорий.

Под **предметным высказыванием** (произведением слова) понимается высказывание, цель которого состоит в выдвигании и обосновании пропозиции (предложения), предполагающей принятие адресатом также обоснованного решения о ее истинности, правильности, уместности и продуктивности. Обосновать пропозицию или решение для создателя высказывания значит найти рациональные доводы, убедительные для адресата, а для адресата — найти доводы, достаточные для оценки замысла создателя и степени приемлемости пропозиции.

Под **аудиторией** понимается лицо или совокупность реальных или потенциально возможных адресатов высказывания, которые выносят суждение о его приемлемости и реальный или предполагаемый создателем высказывания характер мышления которых определяет содержание и строение высказывания. Аудитория может быть **универсальной** и **частной**. Универсальная аудитория — потенциальный,

не ограниченный в своем составе круг разумных существ, способных понять и компетентно оценить содержание высказывания. Частная аудитория – реальный или потенциальный конкретный круг лиц, оценивающих обращенное к ним высказывание с позиции своих собственных ценностей, целей и интересов.

Речь может быть диалогической и монологической.

**Диалог** – такая завершенная совокупность объединенных содержанием и целью высказываний, создаваемых различными отправителями в едином канале общения, в которой состав отправителей является в то же время аудиторией.

**Монолог** – высказывание, создаваемое единым индивидуальным или коллективным отправителем, не предполагающее непосредственного ответа в том же канале общения.

Различаются понятия диалога и **диалогизма**. Под диалогизмом понимается совокупность приемов монологической речи, которые изображают диалог или представляют собой особые конструкции, цель которых – вызвать определенную ответную реакцию аудитории<sup>1</sup>.

Под **дискурсом** понимается последовательный ряд высказываний монологического и диалогического характера, организованный в жанровом отношении и объединенный общей проблемой.

Под **убеждением** понимается использование словесных средств, с помощью которых могут быть достигнуты согласие аудитории с пропозицией или присоединение к ней. **Согласие** означает, что адресат в состоянии понять содержание и цель высказывания, по своему усмотрению, и оценить его как разумное, обоснованное и правдоподобное применительно к *создателю* высказывания: «*автор высказался разумно*». **Присоединение** означает, что адресат рассматривает высказывание как приемлемое *для себя* и готов действовать в соответствии с пропозицией: «*я принимаю позицию автора*».

**Аргументация** – система приемов убеждения частной аудитории.

**Объект риторики** – речевая техника аргументации, построения текста и оценки аудиторией убеждающего предметного монологического или диалогического произведения слова.

Метод построения высказывания представляет собой модель последовательных операций со словом, необходимых и достаточных

<sup>1</sup> См.: Волков А. А. Основы русской риторики. М.: Филол. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. С. 308–312.

для синтеза составляющих его строения, воспроизводимых в других подобных по целям высказываниях.

Приведенные определения ограничивают область произведений слова, которую можно назвать риторической прозой. Это ограничения:

- 1) со стороны научной аргументации;
- 2) со стороны литературы вымысла — художественной и нехудожественной;
- 3) со стороны массовой коммуникации;
- 4) со стороны софистики и/или эристики, которые недопустимы в риторической аргументации.

Ограничения, очевидно, касаются не тех или иных видов или жанров словесности, а целей и содержания конкретного произведения.

**Научная и риторическая проза.** Если риторика изучает словесные процедуры убеждения и убеждение предполагает частную аудиторию, для которой характерно различие согласия и присоединения, то выводы риторической аргументации не являются *принудительными*. Это означает, что пропозиция риторической аргументации предназначена для ограниченного круга адресатов, за пределами которого она не значима, а адресат может согласиться с истинностью или основательностью выдвигаемой пропозиции, или предпочесть иное, по каким-либо причинам приемлемое для него решение проблемы.

Научная аргументация носит принципиально иной характер. Положения, доказанные в пределах данного научного метода с его конвенциями, должны быть приняты научным сообществом независимо от того, устраивают они кого-либо лично или нет. Однако в реальном научном дискурсе «чистое» научное доказательство тесно связано с философскими убеждениями и личными интересами реальных людей, которые делают реальную науку. Даже выдвижение той или иной исследовательской стратегии<sup>1</sup>, определение понятий, истолкование общенаучных слов и выражений (как *исследование, процесс, развитие* и т. п.), не говоря уже о внешних обстоятельствах, связанных с вопросами организации науки, связаны с убеждением, поскольку затрагивают предположения.

Поэтому научный дискурс как факт словесности может быть предметом риторического исследования, но собственно научное доказательство, как доказательство теоремы или решение математической задачи, очевидно, выходит за пределы компетенции риторики.

<sup>1</sup> См., например: *Лакатос И.* Доказательства и опровержения. М.: Наука, 1967. С. 24–36.

**Художественная литература.** Представления о художественности и о художественной литературе, очевидно, неправомерно ограничивать видами и жанрами литературы, связанными с вымыслом. Во-первых, существует литература вымысла, которую с трудом можно было бы назвать художественной; во-вторых, неправомерно отрицать художественность риторической словесности, которая может быть художественной, как творчество Цицерона или М. Н. Карамзина. Но поэтическая и риторическая художественность различны. Художественность риторической прозы функциональна — подчинена задаче убедительности. Художественность далеко не всегда может рассматриваться как положительное явление с точки зрения целей убеждения, даже если мы обращаемся к античным или средневековым произведениям. Художественно совершенная ораторская речь, публицистическое произведение или философское эссе могут оказаться неубедительными именно в силу своей художественности. Здесь дело обстоит несколько иначе, чем в научной словесности. Там, где произведение поэтической словесности решает определенную задачу убеждения, например государственный гимн или «Бесы» Ф. М. Достоевского, оно может быть рассмотрено и в категориях поэтики, и в категориях риторики. Там же, где такая задача не может быть определена, очевидно, следует говорить о *чистой художественной форме*<sup>1</sup>, которая и является предметом поэтики.

Поэтому художественно-литературный дискурс как факт словесности не является предметом риторического исследования, поскольку он может быть понят именно как художественный в категориях поэтики. Но такое утверждение было бы слишком сильным для историко-литературного процесса в целом, поскольку чистые художественные формы, риторические художественные и нехудожественные формы и нехудожественная литература вымысла взаимосвязаны.

**Массовая коммуникация** — «это общезначимый современный текст, в создании и распространении которого принимают участие новейшие технические средства и устройства: мощные печатные машины, магнитофонная запись, компьютеры и т. п. Причем это преимущественно текст серьезного характера, служащий, главным образом, нуждам общественного управления, связанный с развитием, регулированием и устройством современного массового произ-

---

<sup>1</sup> Сознаюсь в том, что придерживаюсь формалистического, идеалистического, реакционного, декадентского и т. п. взгляда на художественную литературу, который был гневно заклеямен лучшими представителями прогрессивной революционно-демократической критики и теоретиками социалистического реализма.

водства, а также сферы потребления. Тексты массовой коммуникации отличаются от других видов текстов тем, что в них используются, систематизируются, перерабатываются и особым образом оформляются все другие виды текстов, которые считаются „первичными”. В результате возникает новый вид текста со своими законами построения и оформления смысла»<sup>1</sup>. Аргументация в массовой информации по определению является риторической, но она вступает в противоречие с принципами риторической этики.

Массовая коммуникация систематически прибегает к манипуляции сознанием. Эта манипуляция выражается во множестве приемов софистических (подмены послышки, подмены имени, подмены цели<sup>2</sup> и др.) и приемов, которые было бы не вполне правильно назвать софистическими, поскольку они повсеместно применялись и применяются вполне добросовестными авторами.

Манипулятивность массовой коммуникации вытекает из ее природы. Прием, который в классической риторической прозе применен однократно, аудиторией может быть понят, оценен и признан приемлемым или неприемлемым с этической точки зрения, если эта аудитория достаточно подготовлена и может принимать действенные решения о высказывании. Но если тот же прием с определенным замыслом систематически применяется в ходе пропагандистской кампании многими источниками массовой информации и падает в массовую рассредоточенную аудиторию, которая как целое неспособна ни к анализу, ни к совместному решению, то он действует по законам статистики и формирует общественное мнение, искажающее реальность. Пример – война в Ираке. В таком случае имеет место манипуляция сознанием, которая и характерна для массовой информации как фактуры речи. Если рассматриваются массовые действия и их результаты, вполне могут применяться категории «Теории риторики» Ю. В. Рождественского. Если рассматриваются действия отдельного журналиста, то более целесообразно и продуктивно применение методов риторической критики и категорий классической риторики.

**Риторическая этика и эристика.** Риторическая этика (этос) представляет собой совокупность норм, соответствие которым делает возможным применение категорий риторики к произведению. Этос является главным критерием оценки риторической прозы. Ри-

<sup>1</sup> Рождественский Ю. В. Общая филология. С. 239.

<sup>2</sup> См., например: Волков А. А. Основы русской риторики. С. 167–172.

торический этос отличается от этики как религиозного или философского учения о нравственности тем, что имеет дело не с нравственной рефлексией помысла и поступка человеческой личности, а с образом ратора, т. е. субъекта публичной речи в том виде, в каком он представляется аудитории *в результате* своей речевой деятельности.

Высоконравственная личность вследствие нарушения норм риторического этоса может предстать в глазах аудитории как аморальный субъект, который стремится навязать обществу свои корыстные и вредоносные замыслы. Такая самокомпрометация случается чаще, чем может показаться на первый взгляд.

Этическая позиция, с которой аудитория оценивает субъекта речи – ратора, на самом деле также не является нравственным содержанием жизни самой этой аудитории. Аудитория может быть, как современное российское общество, разболтанной в нравственном отношении, и ей могут даже нравиться цинизм, откровенная ложь, всяческое ниспровержение элементарных норм «традиционной морали». Но здесь значима завершающая оценка, которая складывается не сразу и обычно проявляется неожиданно для автора.

Мы предъявляем к публичному деятелю, индивидуальному или коллективному – источнику массовой информации или правительству – иные требования, чем к себе самим: публичный деятель должен соответствовать неким нормам хотя бы постольку, поскольку является публичным деятелем. И эти нормы остаются нормами этической культуры, которая не тождественна с образом поведения людей здесь и теперь. Люди тем решительнее осуждают ближних, чем больше их собственное поведение отличается от образа правильного поведения, характерного для данной культурно-языковой общности. Поэтому несоответствие содержания и формы публичных высказываний культурным нормам этики и оказывается причиной компрометации субъекта речи, которому недостает такта, искусства слова и отчетливой рефлексии этих норм.

Риторическая этика не берет на себя задачи проповедника духовной морали, а лишь указывает возможные последствия нарушения риторического этоса. Допустим следующий случай из американского кинофильма. Разъяренная толпа собирается линчевать человека, которого, быть может, небезосновательно заподозрили в гнусном преступлении. Оратор обращается к толпе с речью, в которой убеждает ее отвести преступника к судье, который находится в ближайшем городе и непременно осудит негодя, и негодяй будет публично пове-

шен в острастку другим и в полном соответствии с законом. Однако в ближайшем городе нет судьи. Пока толпа ведет злодея к судье, страсти потихоньку затихают, и в конце пути уже никто не склонен быть добровольным палачом.

Прав ли оратор с позиции нравственности? Нравственна ли ложь во спасение? Это вопросы не риторической этики, а духовной морали.

Риторическая этика жестко заявит, что *ложь создает проблемы*. В частности, это может означать, что толпа заодно с обвиненным линчует и его красноречивого защитника, хотя и необязательно. *Риторическая этика лишь указывает на опасности, которые могут возникнуть при нарушении этоса речи.*

С эристикой и софистикой в строгом смысле, т. е. с использованием определенных приемов вроде аргумента к незнанию или аргумента к человеку, инсинуаций, наклеивания ярлыков, намеренной подмены терминов, *petitio principii* и т. п., дело обстоит несколько иначе, чем с ложью во спасение.

Рассмотрим пример:

[1.1.]<sup>1</sup> «*Альфа*. Дельта, я поражен. Вы ничего не говорите? Вы не можете этот новый контрпример *выопределить* из существования? Я думал, что на свете не существует гипотез, которые вы не смогли бы спасти от уничтожения при помощи подходящей лингвистической хитрости. Сдаетесь вы теперь? Наконец, соглашаетесь, что существуют неэйлеровы многогранники? Не поверю!

*Дельта*. Нашли бы лучше более подходящее имя для ваших неэйлеровых чудовищ и не путали нас, называя их многогранниками. Но я постепенно теряю интерес к вашим монстрам. Меня берет отвращение от ваших несчастных „многогранников“, для которых неверна прекрасная теорема Эйлера. Я ищу порядка и гармонии в математике, а вы только распространяете анархию и хаос. Наши положения непримиримы.

*Альфа*. Вы настоящий консерватор! Вы браните скверных анархистов, портящих ваш „порядок“ и „гармонию“ и вы „решаете“ затруднения словесными рекомендациями»<sup>2</sup>.

Что это, как не эристика? — Аргумент к человеку и наклеивание ярлыков активно используются спорщиками, которые явно не проявляют особого уважения друг к другу и не отрицают, что добиваются

<sup>1</sup> Здесь и в дальнейшем примеры заключаются в квадратные скобки; в нумерации примеров первая цифра указывает номер главы, а вторая — порядковый номер примера в данной главе.

<sup>2</sup> *Лакатос И.* Доказательства и опровержения. С. 31.

победы в споре. Однако обсуждается теорема Эйлера о соотношении числа вершин и граней многогранника, причем И. Лакатос изображает реальную полемику в математической литературе. Он даже приводит в сноске фразу из письма: «Я с дрожью отворачиваюсь от ваших несчастных проклятых функций, у которых нет производных»<sup>1</sup>.

Всякому, кто участвовал в научных конференциях, эта ситуация должна быть близко знакома. Альфа и Дельта безусловно ищут истину, они не согласны в принципах и стратегии исследования. Если обратиться к предмету спора в целом, нетрудно увидеть, что он представляет собой дискуссию, т. е. исследование, в ходе которого обнаруживаются философские разногласия, определяющие его содержание и ход. И эти философские разногласия на деле также обсуждаются и исследуются, так что участники спора могут убедить друг друга и принять обоснованные решения, осмыслив содержание разногласия и его научные последствия.

Эристика заключается не в тех или иных полемических приемах, которые отвергаются формальной логикой, и не в «неуважении» к оппоненту. Риторический аргумент как мыслительный ход может быть оценен лишь применительно к цели высказывания. Если цель высказывания — установление истины, обсуждение позиций или добросовестный поиск приемлемого решения проблемы, то аргумент к человеку, т. е. включение данных об источнике высказывания в состав посылок, содержащих информацию о предмете высказывания («вы только распространяете анархию и хаос»), лишь условно может быть назван эристическим аргументом<sup>2</sup>. Иное дело софизмы вроде счетверения термина, которые всегда представляют собой намеренное или ненамеренное введение в заблуждение.

Итак, в современной риторике можно выделить две подобласти исследований. Первая и основная представляет собой изучение произведений риторической прозы, т. е. предметной убеждающей художественной и нехудожественной публичной речи и ее описание в основном в пределах модели риторического построения, которая опирается на длительную традицию, включающую риторику в состав

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Из этого не следует, что приемы такого рода допустимы в учебной риторике. Необходимо помнить, что школьник не имеет опыта и знаний, необходимых для обсуждения реальных проблем, и если обучить его приемам, применяемым в эристической полемике, он и станет использовать их в обычных взаимоотношениях с окружающими. Поэтому в педагогическом отношении описание таких приемов в школьных учебниках безответственно и безнравственно.

культуры мышления и языка. Вторая, вспомогательная, сложилась во второй половине XX в. и отражает специфику массовой коммуникации как современного влиятельного текста и представляет собой изучение речевых приемов массового убеждения неограниченных и рассредоточенных аудиторий. Эти два направления взаимосвязаны, поскольку автор отдельного риторического произведения действует в условиях массовой коммуникации, которые необходимо учитывать при создании и критике публичной аргументации и при ее исследовании; со своей стороны, массовые факты воздействия словом создаются конкретными авторами и складываются из конкретных произведений, вне изучения строения которых вряд ли могут быть поняты.

<b>Глава 2. Предмет риторики</b> .....	107
<b>Проблемная ситуация</b> .....	107
<b>Проблема — предмет риторического высказывания</b> .	108
Содержание проблемы .....	108
Модальность проблемы .....	115
Теоретические и практические проблемы .....	119
Статус проблемы .....	120
<i>Статус установления</i> .....	122
<i>Статус определения</i> .....	143
<i>Статус оценки</i> .....	155
<b>Аудитория</b> .....	162
Культурное состояние аудитории .....	163
Численность аудитории .....	168
Однородность и разнородность аудитории .....	170
Конвенциональность аудитории .....	171
<b>Ритор</b> .....	171
Образ ратора .....	171
Этос .....	175
<i>Главная этическая проблема</i> .....	175
<i>Ораторские нравы</i> .....	178
Честность .....	178
Скромность .....	180
Доброжелательность .....	188
Предусмотрительность .....	194
<i>Стиль как проявление риторического этоса</i> .....	198
<i>Риторический идеал</i> .....	211
Пафос .....	216
Логос .....	219
<i>Антиномии риторической аргументации</i> .....	221

# Глава 2

## ПРЕДМЕТ РИТОРИКИ

---

---

### Проблемная ситуация

Проблемной ситуацией мы будем называть совокупность обстоятельств, являющихся основанием для вступления членов ограниченного сообщества в речевые отношения, например: выборы главы государства; обсуждение закона в законодательном собрании; столкновение общественных интересов, побуждающее публициста к написанию статьи или книги; сама такая статья или книга, интересующая читателей и стимулирующая публичное обсуждение; судебное заседание; курс лекций в университете; богослужение, в ходе которого произносится проповедь на определенную тему, и т. д.

Проблемная ситуация включает:

- (1) содержание проблемы;
- (2) аудиторию;
- (3) ратора.

Каждый из этих трех компонентов проблемной ситуации в свою очередь обычно оказывается сложным: содержание проблемы разворачивается из предшествующих действий, высказываний и принятых решений; аудитория имеет свою историю, в которой данная проблема является одной из многих, уже решенных или ждущих своего решения; высказываются о проблеме несколько лиц, представляющих различные группы в аудитории, а в составе аудитории имеются группы, в которых проблема обсуждается различным образом.

# Проблема – предмет риторического высказывания

Существенной особенностью риторической проблемы является ее принципиальная разрешимость силами или по крайней мере участием аудитории. Задача ратора состоит в том, чтобы усмотреть существующую проблему, выделить и сформулировать ее, оценить ее значение, предложить и обосновать путь ее решения. Точная постановка проблемы – условие успешного ее решения и правильного убедительного обоснования.

## Содержание проблемы

Предмет риторической прозы – фактическая реальность. Это сильное утверждение нуждается в объяснении. Вопрос о реальности риторической прозы состоит не в том, что такое реальность как таковая, что именно и в каком смысле «имеет место»<sup>1</sup>, – это вопрос метафизики и логики, а не теории риторической аргументации, – а в том, что участники обсуждения согласны обсуждать как реальные факты. Факт может быть единичным, частным и общим: Юлий Цезарь совершил государственный переворот; многие Птолемеи покровительствовали наукам; римские императоры были свободны от соблюдения законов<sup>2</sup>, право есть искусство справедливого. Факт может быть представлен как имевший место в прошлом и завершённый, как возможный или предполагаемый в будущем, как существующий вне времени.

Риторическое слово, художественное и нехудожественное, противостоит поэтическому принципиальным отношением к вымыслу. Художественный вымысел – основа поэтики, даже если это вымысел о реальных фактах, как в историческом романе, он определяет отношение к тексту читателя, для которого воображаемое содержательное пространство текста произведения несравненно более значимо, чем фактическая достоверность содержащихся в нем сообщений. Поэтому литературная критика, если она является действительно художественной критикой, оценивает художественность вымысла, лежащего в основании произведения, а не его фактическую достовер-

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностр. лит. 1958. С. 31.

<sup>2</sup> Дигесты Юстиниана. М.: Наука, 1984. С. 33.

ность. Правдоподобность художественного вымысла представляется требованием определенного, но не всякого художественного метода: критическая оценка того места из «Анны Карениной», где Вронский неправильным движением ломает хребет Фру-Фру, что неправдоподобно, относится к художественному методу «натуральной школы», но никто не станет критиковать П. П. Ершова за то, что лошади в «Коньке-горбунке» говорят и летают.

Предмет риторической прозы – реально существующие с точки зрения создателя и получателя высказывания или условно принимаемые как реально существующие события и факты, относительно которых имеются различные мнения и ведется дискуссия.

Здесь существенны два обстоятельства – реальность событий и фактов и отношение к утверждениям о них получателя высказывания – аудитории. Реальное существование или несуществование, возможность или невозможность предмета речи – события – предстает как положительный или отрицательный факт, который нуждается в обсуждении. Целесообразность обсуждения определяется отношением получателя высказывания к автору и к содержанию сообщения.

В отношении к автору основная пресуппозиция состоит в спорности фактической истинности или приемлемости высказывания для аудитории. Это включение участников обсуждения и их высказываний в предмет обсуждения и является характерной особенностью риторической аргументации.

В отношении к содержанию сообщения, напротив, основная пресуппозиция состоит в реальности или возможности предмета речи – обсуждаемого факта. В этом отношении показательна классическая речь Горгия «Похвала Елене»<sup>1</sup>. Елена, дочь Зевса и Леды и жена Менелая, рассматривается как причина и виновница Троянской войны. Фактическое существование Елены, Зевса, Леды, Тиндарея и Менелая в определенное время не подлежало обсуждению: миф, по крайней мере для мифологического сознания, есть «жизненно ощутимая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность»<sup>2</sup>. Именно в этом смысле предмет риторической прозы понимается как реально существующий для участников обсуждения.

Но для Горгия дело могло обстоять иначе: «Похвала Елене» представляет собой показательное риторическое упражнение, а отношение к мифу в эпоху Горгия и Платона уже не было столь

<sup>1</sup> Ораторы Греции. М.: Художественная литература, 1985. С. 27–31.

<sup>2</sup> Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. С. 41.

непосредственным, как в прежние времена. Горгий условно принимает троянский миф как фактически истинный и строит образцовую аргументацию, основанную на топике свободы воли, убеждая в правильности тезиса о невиновности Елены. Презумпция реальности предмета речи в риторической прозе может приниматься как условная, но в контексте произведения она выступает как реальный факт, относительно которого ведется аргументация.

Однако предмет обсуждения, «фактическая реальность», в «Похвале Елене» предстает не просто как историческое существование персонажей мифа о Троянской войне: рассматриваются непреодолимость судьбы, насильственные действия Париса, принудительная сила словесного убеждения и волхования, овладевающая человеком страсть, и все это включается в состав фактической реальности. Обсуждению подлежит факт сознательного деяния, которое могло или не могло быть иным в данных обстоятельствах.

В риторической аргументации имеет смысл различать три рода фактов — *факт бытийный*, *факт-деяние* и *факт-высказывание*.

Бытийный факт — то, что имеет место, произошло, происходит или может произойти, например, знание, свобода воли, извержение вулкана. Понятие бытийного факта связано с идеей ценности, а сам по себе бытийный факт может быть предметом риторической аргументации лишь постольку, поскольку ему придается ценностное, символическое значение и он как таковой связывается с действиями или мировоззрением.

Факт-деяние — поступок разумного существа, который совершается в определенных условиях, с определенной целью, определенными средствами, влечет за собой последствия, происходит в определенном месте, в определенное время и при определенных обстоятельствах, например переход войсками Юлия Цезаря реки под названием Рубикон 10 января 49 г. до Р. Х. Понятие факта-деяния связано с понятиями свободы воли, реальности, завершенности, замысла. Свобода воли — обязательное условие обсуждения деяния. Основная презумпция риторики состоит в принципиальной спорности обсуждаемой пропозиции: вопрос о том, ответственна ли Елена за свои поступки, в конечном счете упирается в вопрос: может ли вообще человек сделать выбор?

Если каждое наше действие полностью обусловлено внешними обстоятельствами или предшествующим состоянием нашего организма, то, следовательно, совершить какое-либо иное действие мы были бы не в состоянии. Поэтому понятия поступка и ответственности

утрачивают силу. Более того, любая оценка деяния как целесообразного или нецелесообразного, разумного или неразумного, значимого или незначимого, хорошего или плохого не имеет смысла. Мы поступаем таким образом, потому что не можем поступить иначе, и никакие логические ухищрения, никакие ссылки на социальную статистику, общественную необходимость морали, права и т. п. помочь делу не могут. Если мы в состоянии хотя бы в некоторых случаях и хотя бы в некоторой мере принимать свободное решение, которое зависит только от нас самих и может быть иным, то только в таком случае понятия поступка и ответственности обретают смысл и становится возможной оценка деяния. Более того, на презумпции свободной воли основаны филология, история, правоведение, искусствоведение, социология и другие общественные науки, поскольку они изучают единичные факты и на основании их изучения и оценки строят обобщения, в том числе и статистические. Вопрос, стало быть, состоит в границах свободы воли человека, задаваемых состоянием его организма, внешними физическими условиями, образованием, верованиями и убеждениями, положением в обществе, социальной ситуацией, которые могут быть определены лишь в конкретных обстоятельствах. Проблематика риторической прозы и риторическая аргументация в основном ориентированы на обсуждение факта-деяния.

Факт-высказывание – пропозиция, содержащая обычно условное суждение. Так, в «Обличительном слове на царя Юлиана», перечислив многочисленные похождения Зевса, Ареса, Афродиты и других олимпийцев, св. Григорий Богослов пишет:

«И если все сие истинно, то пусть же не краснея смотрят на то, пусть величаются тем; или пусть докажут, что все это не постыдно»<sup>1</sup>.

Св. Григорий не утверждает, что олимпийские боги существовали в действительности, а строит условное суждение, которое и отражает существо обсуждаемого факта-высказывания, который состоит в мифе как высказывании и который эллины принимают как общее место – нравственную норму. Факт-высказывание может рассматриваться как разновидность факта-деяния, как словесный поступок, что и является этической основой аргумента к человеку. Но вместе с тем факт-высказывание имеет специфические особенности, которые позволяют рассматривать его в качестве основы опреде-

<sup>1</sup> Григорий Богослов. Первое обличительное слово на царя Юлиана // Творения. Т. 1. М.: Сибирская благовонница, 2007. С. 103.

ленного вида риторической аргументации — критики. Предметная соотнесенность или истинность факта-высказывания в логическом смысле конвенциональна. Так, с логической точки зрения высказывания «Все смешалось в доме Облонских» или «Король Франции лыс» не могут быть истинным или ложными, поскольку их отрицание также не является истинным или ложным высказыванием. Но характер обсуждения факта-высказывания может определяться его функцией и внутренним строением, как например в художественной критике. Действия и слова персонажа рассматриваются как условно имевшие место, отчего становится возможным рассматривать их как истинные или ложные, утверждая, например, что Стива Облонский лгал своей жене, и оценивать поступки персонажей. Таким образом, если литература художественного вымысла не является предметом риторики, то литературная и в целом художественная критика — разновидность риторической аргументации.

Фактическая основа является лишь одним из аспектов риторической проблемы и определяется постановкой проблемы и особенностями жанра риторической прозы, в пределах которого ставится и обсуждается проблема. Что является предметом «Парменида» Платона? Философ ответит: «Диалектика единого и иного»<sup>1</sup>, что будет безусловно верно с точки зрения предмета обсуждения в «Пармениде». Но с точки зрения литературной формы дело обстоит сложнее: «Парменид» представляет собой литературный диалог, в котором изображена беседа Парменида, Зенона, Сократа и Аристотеля. Действующие лица диалога предстают как живые люди в конкретной ситуации, взаимные отношения которых непосредственного отношения к предмету обсуждения не имеют. Очевидно, композиция диалога, речи его участников, как и сама ситуация, составляют художественный вымысел. Но задача этого художественного вымысла, очевидно, иная, нежели в «Золотом осле» Апулея, в «Сатириконе» Петрония Арбитра или в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого, и сходна с задачей романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского или «Бесов» Ф. М. Достоевского, хотя и существенно отличается от них. Образы Зенона, Сократа, Парменида и Аристотеля не являются инструментом убеждения читателя в правильности решения проблемы единого и иного как таковой: эта проблема решается содержанием и строением аргументации Парменида, с которой соглашаются или на

<sup>1</sup> Лосев А. Ф. Комментарий к диалогу «Парменид» // Платон. Соч. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 588.

которую возражают Сократ и Аристотель. Вымысел и сюжет в «Пармениде» создают занимательность и правдоподобие изложения, но также служат изображением авторитетной инстанции – атмосферы философской мысли, в которую включается читатель диалога. В «Бесах» же сами образы являются средством воздействия на мировоззрение читателя. И там и здесь мы имеем дело с переходными, мозаичными формами – поэтическими и риторическими, но тем не менее «Парменид» остается риторическим произведением, а «Бесы» – поэтическим. «Парменид» представляет собой риторическое произведение как потому, что Платон использует художественные приемы в аргументации, так и потому, что художественный вымысел включен в аргументацию, но не заменяет ее как средство убеждения, в то время как в литературе художественного вымысла аргументация является лишь средством создания художественного образа. При этом примечательно, что в «Пармениде», как и в других подобного рода произведениях, в качестве предмета выступает дискуссия философских школ – факт-высказывание, в который Платоном художественно преобразован бытийный факт – диалектика единого и иного. В этом преобразовании, собственно, и состоит художественный метод диалогов Платона: до разработки Аристотелем логической аналитической техники философская аргументация могла быть только риторической.

Из этого следует, что в понятие фактической реальности, т. е. в предмет риторической прозы, могут быть включены наряду с фактами-деяниями бытийные факты и факты-высказывания – модели в виде мифов, иносказаний, вымышленных примеров-иллюстраций.

Предметное содержание проблемы представляет собой совокупность обстоятельств, которая представляется достаточным основанием для публичного обсуждения. Предметное содержание проблемы определяется ее постановкой: ситуация или факт может обсуждаться в различных аспектах.

[2.1.] «В 1885 году крестьянин Сергей Киселев женился на крестьянке девице Прасковье Ошаниной. Сначала они жили между собой хорошо, но затем, спустя несколько лет, между ними возникли неприятности, обусловленные тем, что Прасковья, пристрастившись к спиртным напиткам, стала сильно пить. Последнее, видимо, сильно огорчало и тяготило Киселева, который постоянно уговаривал свою жену не пьянствовать, а иногда даже бил ее за пьянство. Но ни уговоры мужа, ни его побои не действовали на Прасковью, и она продолжала пьянствовать. 21 июня 1898 года Киселев, ведший, между прочим, торговлю красным товаром, уехал по делам из дома. Прасковья, по отъезде его, стала

пьянствовать, так что, вернувшись домой около 7 часов вечера, муж застал ее совершенно пьяной. В его присутствии Прасковья пришла из омшаника, где перед тем спала, и улеглась в углу сеней. Немного спустя Киселев сошел в находящуюся при его доме лавку с красным товаром, продал там несколько аршин ситца крестьянке Тальниковой, а затем поднялся опять к себе. Вскоре после того работница Киселевых крестьянка Рыжова, сидевшая под окном соседнего дома, услышала внезапно какой-то стук в сенях хозяйского дома. Не успела она встать, чтобы пойти узнать, что это за стук, как Киселев вышел из дома и, направившись к ней и другим, бывшим тут крестьянкам, сказал с плачем: „Бабы, вяжите меня! Я жену насмерть топором ссек”. Рыжова бросилась в дом и нашла Прасковью в сенях истекающей кровью и уже мертвой. Судебно-медицинский осмотр констатировал на теле Прасковьи три раны, нанесенные топором, из которых одна на шее, сопровождавшаяся перерезом сонной артерии, была признана не только безусловно смертельной, но и влекущей моментальную смерть. Киселев на предварительном следствии признал себя виновным в убийстве жены»<sup>1</sup>.

В примере [2.1] проблема ставится как юридическая: виновность или невиновность, а в случае виновности — степень ответственности Киселева. Но при тех же обстоятельствах дела можно обнаружить и иные проблемы, например, духовно-нравственные, социальные и т. д. Все такие проблемы при общем предметном содержании будут различаться характером постановки и способом решения. Если проблема поставлена, то она получит соответствующее оформление: Киселеву предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве жены. Защита не отрицает факта деяния, но отрицает виновность Киселева, утверждая, что он убил жену в невменяемом состоянии. Суд должен решить проблему виновности обвиняемого.

Проблема ставится и формулируется на определенном основании и таким образом, что выдвигаемый тезис может быть оспорен, и также с определенной позиции ему может быть противопоставлен контртезис. Тезис: «Киселев виновен в том-то потому-то и потому-то и заслуживает такого-то наказания на основании такого-то закона». Контртезис: «Утверждение, что Киселев виновен в том-то и заслуживает такого-то наказания, неверно на таком-то основании». В зависимости от обстоятельств дела контртезис может быть построен различным образом:

- (1) Киселев не совершил деяние, которое ему приписывают;
- (2) Киселев совершил данное деяние, но оно не является тем, в чем его обвиняют;

<sup>1</sup> Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т. VI. М., 1902. С. 398–399.

- (3) Киселев совершил деяние, в котором его обвиняют, но заслуживает снисхождения;
- (4) судебная власть не в праве предъявлять Киселеву данное обвинение.

## Модальность проблемы

Суждения могут быть определенными (*Катону следует жениться*) и неопределенными (*Следует жениться*). Определенные суждения могут быть общими, частными и единичными. Если в вопросе содержится неопределенное суждение, то в ответе также содержится неопределенное суждение: *следует ли жениться?* Неясно, обо всех, о некоторых или о конкретных лицах задан вопрос. Поэтому и ответить на него можно только общим образом: *жениться следует* или *жениться не следует*.

- Если вопрос определен, то он содержит либо общее, либо частное, либо единичное суждение: *всем ли следует жениться? следует ли жениться некоторым? следует ли жениться конкретному лицу (или лицам), например Катону?*
- Если вопрос содержит общее суждение, то ответом на него могут быть суждения общие, частные и единичные (ограничительные): *следует жениться всем; не следует жениться никому; следует жениться некоторым; следует жениться лишь некоторым*. Эти частные ответы могут быть конкретизированы: *следует жениться всем, кроме Катона; не следует жениться никому, кроме Катона (или следует/не следует жениться только Катону)*.
- Если вопрос содержит частное суждение (*следует ли жениться некоторым?*), то ответом на него может быть частное суждение: *следует жениться некоторым; следует жениться лишь некоторым, а некоторым (лишь некоторым) жениться не следует*.
- Если вопрос содержит единичное суждение (*следует ли жениться Катону?*), то ответами могут быть только: *Катону следует жениться* и *Катону не следует жениться*.

Однако определенность и неопределенность поставленной проблемы зависит и от формы постановки и развертывания вопроса, который может содержать внутреннее противоречие. В таком случае возникает *скрытая проблема*.

Так, сюжет романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» построен на пародировании различных литературных и деловых жанров и классических риторических учебных упражнений, в частности контроверзы, которая состоит в постановке альтернативного

вопроса и последовательном обосновании и опровержении учащими-ся сторон альтернативы. В третьей книге второй части «Пантагрюэль — король дипсодов» сюжет разворачивается вокруг контroversы «следует ли жениться Панургу?»

[2.2.] «...Панург с глубоким вздохом продолжал свою речь:

— Вы знаете, государь, что я решил жениться, если только на мою беду все щели не будут заткнуты, забиты и заделаны. Во имя вашей давней любви ко мне скажите, какого вы на сей предмет мнения?

— Раз уж вы бросили жребий, — сказал Пантагрюэль, — поставили это своей задачей и приняли твердое решение, то разговор окончен, остается только привести намерение в исполнение.

— Да, но мне не хотелось бы приводить его в исполнение без вашего совета и согласия, — возразил Панург.

— Согласие я свое даю и советую вам жениться, — сказал Пантагрюэль.

— Да, но если вы считаете, — возразил Панург, — что мне лучше остаться на прежнем положении и перемен не искать, то я предпочел бы не вступать в брак.

— Коли так — не женитесь, — сказал Пантагрюэль.

— Да, но разве вы хотите, чтобы я влачил свои дни в один-единешенек, без подруги жизни? — возразил Панург. — Вы же знаете, что сказано в Писании: *vae soli*<sup>1</sup>. У холостяка нет той отрады, как у человека, нашедшего себе жену.

— Ну, ну, женитесь с Богом! — сказал Пантагрюэль.

— Но если жена наставит мне рога, — а вы сами знаете: нынче год урожайный, я же тогда из себя вон выйду, — возразил Панург. — Я люблю рогоносцев, почитаю их за людей порядочных, вожу с ними дружбу, но я скорее соглашусь умереть, чем попасть в их число. Вот что у меня из головы не выходит.

— Выходит, не женитесь, — сказал Пантагрюэль, — ибо изречение Сенеки справедливо и исключений не допускает: как ты сам поступал с другими, так, будь уверен, поступят с тобой.

— Так вы говорите, — спросил Панург, — исключений не бывает?

— Исключений Сенека не допускает, — отвечал Пантагрюэль.

— Ах, шут бы его взял! — воскликнул Панург. — Не поймешь, какой же свет он имеет в виду: этот или тот. Да, но если я все-таки не могу обойтись без жены, как слепой без палки (буравчик должен действовать, а иначе что же это за жизнь?), то не лучше ли мне связать свою судьбу с какой-нибудь честной и скромной женщиной, чем менять каждый день и бояться, как бы тебя не вздули, или, еще того хуже, как бы не подцепить дурную болезнь? С порядочными женщинами я, да простят мне их мужья, пока еще не знался.

<sup>1</sup> Лат. горе одинокому. (Эккл, IV, 10.

– Значит, женитесь себе с Богом, сказал Пантагрюэль.

– Но если попущением Божиим случится так, что я женюсь на порядочной женщине, а она станет меня колотить, то ведь мне придется быть смиреннее Иова, разве только я тут же не взбешусь от злости. Я слышал, что женщины порядочные сварливы, что в семейной жизни они – сущий перец. А уж я ее перещеголяю, уж я ей закачу выволочку: и по рукам, и по ногам, и по голове, и в легкие, и в печеньку, все, что на ней, изорву в клочья, – нечистый дух будет стеречь ее грешную душу прямо у порога. Хоть бы годик прожить без таких раздоров, а еще лучше не знать из совсем.

– Со всем тем не женитесь, – сказал Пантагрюэль.

– Да, но если, – возразил Панург, – я останусь в том же состоянии, без долгов и без жены (имейте в виду, что я расквитался себе же на горе, ибо кредиторы мои не успокоились бы до тех пор, пока у меня не появилось бы потомство), если у меня не будет ни долгов, ни жены, то никто обо мне не позаботится и не создаст мне так называемого домашнего уюта. А случись заболеть, так мне все станут делать шиворот-навыворот. Мудрец сказал: „Где нет женщины, я разумею мать семейства, законную супругу, – там больной находится в весьма затруднительном положении”. В этом я убедился на примере пап, легатов, кардиналов, епископов, аббатов, настоятелей, священников и монахов. Нет, уж я...

– В мужья записывайтесь с Богом, в мужья! – сказал Пантагрюэль.

– Да, но если я заболею и не смогу исполнять супружеские обязанности, – возразил Панург, – а жена, возмущенная моим бессилием, спутается с кем-нибудь еще и не только не будет за мной ухаживать, но еще и посмеется над моей бедой и, что хуже всего, обберет меня, как это мне не раз приходилось наблюдать, то уж пиши пропало, беги из дому в чем мать родила.

– Ну и дела! Уж лучше не женитесь, – сказал Пантагрюэль.

– Да, но в таком случае, возразил Панург, – у меня никогда не будет законных сыновей и дочерей, которым я имел бы возможность передать мое имя и герб, которым я мог бы завещать свое состояние, и наследственное и благоприобретенное (а что я в один прекрасный день его приобрету, за то я вам ручаюсь, да еще и немалую ренту буду получать), и с которыми я мог бы развлечься, если я чем-нибудь озабочен, как ежедневно развлекается с вами ваш милый, добрый отец и как развлекаются все порядочные люди в семейном кругу. И вот если я, будучи свободен от долгов и не будучи женат, буду чем-либо удручен, то, вместо того чтобы меня утешить, вы же еще станете трунить над моим злополучием.

– В таком случае женитесь себе с Богом! – сказал Пантагрюэль.

<...>

– Вы меня извините, но ваши советы напоминают песенку о Рикшете, – заметил Панург. – Сплошь одни сарказмы, насмешки и бесконечные противоречия. Одно исключает другое. Не знаешь, чего держаться.

— Равным образом и вопросы ваши содержат в себе столько „если” и столько „но”, что ничего нельзя обосновать, нельзя прийти ни к какому определенному решению, — возразил Пантагрюэль. — Ведь намерение ваше остается непоколебимым? А это же и есть самое важное, остальное зависит от стечения обстоятельств и от того, как судило Небо»<sup>1</sup>.

В примере [2.2] Панург подменяет постановку проблемы, которая первоначально ставится как вопрос об одобрении Пантагрюэлем намерения Панурга: *осуществить принятое решение*. Стало быть, проблема в постановке Панурга и с точки зрения Пантагрюэля состоит вовсе не в том, чтобы жениться или не жениться. Комизм ситуации в несовместимости ответа Пантагрюэля («Коли так — не женитесь») на реплику Панурга с последующей репликой Панурга, содержащей аргумент к человеку («но разве вы хотите, чтобы я влачил свои дни в один-одинешенек, без подруги жизни?»). Такого рода *софистические подстановки* Панург использует постоянно, в особенности они заметны во фрагменте, где упоминается Сенека. Эта софистическая игра, в которой участвуют оба персонажа, в конце фрагмента приводит к комическому конфликту, в ходе которого, однако, выясняется логическая сторона дела: условные суждения долженствования (*если вы приняли твердое решение, то следует привести намерение в исполнение*) подменяются условными проблематическими суждениями («но если жена наставит мне рога, я же тогда из себя вон выйду»), а проблема, на самом деле, состоит не в том, следует ли жениться Панургу, а в том, принял ли он твердое решение жениться.

Замысел Панурга — *переложение ответственности* на короля, причем Панург строит основание так называемого «рогатого аргумента»: если Пантагрюэль советует ему жениться, то оказывается целый ряд отрицательных последствий, любое из которых будет основанием для требования от советчика компенсации; если Пантагрюэль советует не жениться, то также открывается ряд отрицательных последствий, которые в равной мере могут послужить основанием для требования компенсации. Но Пантагрюэль твердо держится своей позиции — он настаивает на ответственности за решение самого Панурга, не возбраняя любое из двух решений, т. е. готовит основания для «рогатого аргумента» в положительном модусе. Последняя фраза Пантагрюэля завершает это словесное состязание, и оба они переходят к вопросам о гадании, о мнениях специалистов — философов, богословов, вра-

<sup>1</sup> Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с французского Н. Любимова. М., Гос. изд-во худ. лит., 1961. С. 286–289.

чей, юристов, каждый из которых в конечном счете также откажется нести ответственность за последствия своих советов.

По строению вопрос может быть простым (*следует ли жениться?*), содержать условие (*следует ли жениться до достижения совершеннолетия?*) или разделительным (*следует ли жениться или воздержаться от брака?*). Сложный вопрос предполагает сложный ответ. Однако, как видно из примера [4.2], простой по форме вопрос *следует ли жениться Панургу?* на деле оказывается сложным, поскольку он предполагает предварительный ответ, по крайней мере, на два вопроса: «*следует ли жениться?*» и «*действительно ли Панург намерен жениться?*» Поэтому решение конкретного частного вопроса (частный случай – *casus*) всегда требует внимания к общему вопросу (основанию, правилу или норме – *causa*) и к ситуации, в которой формулируется проблема.

## Теоретические и практические проблемы

С точки зрения содержания (т. е. отношения спрашивающего к предмету мысли) вопрос может быть теоретическим и практическим. К теоретическим относятся вопросы о содержании предмета мысли, ответы на которые могут быть истинными или ложными, например: *способна ли демократия обеспечить реальные права человека?* (два ответа: *да/нет*); *возможно ли, чтобы демократия была способна обеспечить реальные права человека?* (четыре ответа: *необходимо/вероятно/маловероятно/невозможно*). К практическим относятся вопросы о действиях и поступках, ответы на которые могут быть не истинными или ложными, а правильными и неправильными, например: *следует ли любить демократию?*

Теоретические вопросы связаны с бытийными фактами, практические вопросы – с фактами деяниями. Когда спрашивается: «*Следует ли любить демократию?*», – то нахождение ответа повлечет за собой вопросы: *существует ли демократия? что представляет собой демократия? какова демократия? за что следует любить демократию?* Только ответы на эти вопросы дадут основание для решения проблемы. Поэтому здесь возможны ответы: *демократия существует, и ее следует любить; демократия не существует, но ее следует любить; демократия существует, но ее не следует любить; демократия не существует, и ее не следует любить.* По существу своего содержания практические вопросы являются сложными, так как предполагают постановку соответствующих теоретических вопросов.

Итак, с точки зрения постановки и формулировки вопроса проблема может быть определенной или неопределенной; общей, частной или единичной; простой или сложной; явной или скрытой; теоретической или практической.

Как видно из примера [2.2], формулировка и анализ формулировки проблемы имеют большое значение, потому что всякая софистика начинается с неточной или двусмысленной постановки проблемы, которая ведет к ее подмене в ходе дискуссии. Проблемы, которые ставятся в реальной практике, сплошь и рядом оказываются софистическими и содержат более или менее сознательно поставленные ловушки.

## Статус проблемы

Формулировка проблемы представляет собой вопрос или ряд последовательных вопросов. Решение проблемы является точным ответом на поставленный вопрос. Поэтому не только характер, но и сама возможность обсуждения и решения проблемы зависит от формы вопроса. Соотношение статуса и пропозиции или тезиса *является поэтому вопросом-ответом*, т. е. связанной диалогической конструкцией, которая и является основанием развертывания аргументации.

Существуют три основные формы вопроса, к которым могут быть сведены многочисленные варианты, различающиеся конкретными модальностями и содержанием: общий, или «*ли-вопрос*», предметный, или «*что-вопрос*», качественный, или «*какой-вопрос*». Порядок этих основных вопросов не произволен. Мы имеем право задать «*что-вопрос*», только если мы знаем ответ на соответствующий ему «*ли-вопрос*», и мы имеем право задать «*какой-вопрос*», только если мы имеем ответ на соответствующий «*что-вопрос*». Независимо от того, как строится та или иная интеррогативная логика и какие аксиомы позволяют выделить иные типы вопросов (сколько-вопрос, почему-вопрос и т. д.) или свести число основных вопросов, например, к двум (ли- и какой-вопросы)<sup>1</sup>, существует определенная предметная логика, если угодно, логика здравого смысла, которая вводит как бы избыточные правила типа «закона противоречия» или операции импликации, принципиально сводимые к более фундаментальным отношениям, но необходимые для реального мышления.

<sup>1</sup> См.: Белман Т., Стил Т. Логика вопросов и ответов / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1981.

Альтернативные вопросы с констатацией фактов (*основал ли Петр Великий Петербург?*) и предполагают закрытые формулы ответов.

- *Ли-вопрос* формирует вокруг себя определенное закрытое поле смысловых отношений, которое грамматически реализуется в двусоставном предложении с глаголом в финитной форме с полным составом членов предложения, выраженных частями речи в их первичных функциях.
- *Что-вопросы* предполагают открытые формулы ответов и также образуют закрытое поле смысловых отношений, но реализуются в грамматических предложениях с именным сказуемым (Петр Великий – основатель Петербурга). Они не развертывают обязательный состав членов предложения, но связи между подлежащим и сказуемым образуют комплекс отношений включения и отношения (Иван – брат Петра), который является основой именования и категоризации реальности.
- *Какой-вопросы* предполагают открытые формулы ответов, не образуют закрытое поле смысловых отношений и как таковые не реализуются в специфических конструкциях грамматических предложений. Дело в том, что *какой-вопросы* семантически зависимы от *что-вопросов*. Чтобы корректно задать вопрос: «Каков Петр Великий?», – нужно знать, кто такой Петр Великий – человек, царь, основатель Петербурга, создатель русского флота и т. д.

Фундаментальное значение этих трех основных типов вопроса и последовательности их постановки состоит не только в том, что они являются основой любого правильно организованного риторического дискурса, но и в том, что они представляют собой принцип построения гуманитарного знания.

Гуманитарное знание основано на анализе источников и на синтезе фактов, которые выстраиваются в последовательный порядок, соотносимый с идеей линейного времени. Для включения отдельного факта в последовательность необходимо его назвать и осмыслить в составе класса фактов, которому дано определение как классу («события октября 1917 г. – революция», «события октября 1917 г. – государственный переворот»). Определение устанавливает место факта в принятой иерархии ценностей и задает для него универсальную категорию-концепт, которой он приписывается. Только в зависимости от того, к какой универсальной категории-концепту отнесен данный факт, он может быть оценен. Оценка с необходимостью входит в состав гуманитарного исследования, но требует обратного хода мысли – возвращения к смысловому полю *ли-вопроса* и *что-вопроса*.

Однако характер этого обращения определяется конкретными обстоятельствами единичного факта. Октябрьская революция может быть оценена как хорошая или плохая. Но само по себе определение октябрьских событий 1917 г. как революции задает семантические рамки оценки этого факта, уже включенного в историко-хронологический и иерархический ряды. Наконец, процесс гуманитарного исследования предполагает теоретическую рефлексию, требующую метаязыковых операций: кто, в каких категориях, какими техническими методами, с каких позиций, в какой точке исторической последовательности произвел исследование? Для этого и существует специальная дисциплина — историография.

*Статус* представляет собой формулировку проблемы, постановку и выяснение вопроса о несогласии относительно ее решения и в этой связи определение поля аргументации — возможных аргументов за и против каждого из возможных решений.

Вопрос, определяющий статус, — *в чем состоит разногласие?* В зависимости от предмета несогласия различаются *статус установления*, *статус определения* и *статус оценки*.

### *Статус установления*

Вопросом статуса установления является общий вопрос, или ли-вопрос (лат. *an sit?*). В статусе установления могут ставиться теоретические и практические проблемы, связанные с событиями, деяниями или высказываниями, с фактами, имеющими место, вне-временными, возможными в конкретном времени или в общем виде. Но в любом случае предметом статуса установления является факт. Существенно, что в риторической аргументации работает только приведенное выше понимание факта как события или деяния, реальность которого признают участники обсуждения: убедить судей в том, что Катарина — ведьма, можно, только если существование ведьм рассматривается судьями как реальный факт.

В категориях риторики факт имеет сложное строение. В состав факта включаются:

- 1) деятель,
- 2) действие,
- 3) объект действия,
- 4) образ или способ действия,
- 5) состояние деятеля и объекта,
- 6) инструмент или орудие действия,
- (7) состав или порядок действия,

- 8) время действия,
- 9) место действия,
- 10) внешние обстоятельства действия,
- 11) причина или основание действия,
- 12) признаки или качества, характеризующие перечисленные составляющие факта.

Соотношения пар этих категорий представляют собой топы (общие места), характерные для статуса установления: пара категорий – субъект и предикат – образует модель суждения, например «полный человек не может пролезть в узкое отверстие»: качество/действие. Поскольку задача статуса установления состоит в аргументации относительно наличия положительного или отрицательного факта, каждая из перечисленных составляющих может оказаться спорной. Соответственно и наличие факта, о котором делается утверждение, может быть не просто принято или отвергнуто, но и обосновано полностью или частично. Соответственно относительно каждого соотношения составляющих может быть задан ли-вопрос: способно ли данное лицо в данных обстоятельствах, или в данное время, или в данном состоянии совершить данное действие? является ли данное действие причиной данного состояния объекта? могло ли оно быть совершено в данной последовательности и в данное время? и т. д.

В нижеследующем примере [2.3] проблема рассматривается в статусе установления. Убийство очевидно, и вопрос состоит в том, убил или не убил обвиняемый.

[2.3.] «Господа судьи, господа присяжные заседатели!

Заканчивая свою речь, почтенный представитель обвинительной власти относительно мотива убийства выразился так: „Это чисто мое предположение, а как вы к нему отнесетесь – дело вашей совести”. Вся речь заключала в себе несколько предположений: может быть, Савицкий успел утром 23 марта зайти домой, но заходил ли – неизвестно; может быть, супруги жили вместе нехорошо, хотя свидетели утверждают противное; может быть, Александров умер не своею смертью; не странен ли разговор Савицкого с Галкиным в канцелярии лесничего? и т. д. Но, господа, сущность обвинительного процесса заключается в том, что обвинитель требует положительно, доказывает свое требование, как истец доказывает свой иск. Ведь обвинение предъявляет к вам, к обществу, своего рода иск. Оно требует у вас Савицкого. Где доказательства этого иска? Предположения – не доказательства. Отдавая полную справедливость беспристрастию обвинения, я все-таки нахожу, что обвинение не доказало даже своей уверенности в том, что Савицкий совершил убийство. Обвинение и не пыталось разъяснить непримиримое противоречие, лежащее в основе предположения, будто Савицкий и Галкин

действовали по предварительному согласию, когда Савицкий все время обвинял и обвиняет одного Галкина. Какое же это соглашение? Такое противоречие молчанием обойти невозможно. А так как невозможно себе представить, чтобы Савицкий мог уличить Галкина, этот мог бы в течение шести лет молчать об участии Савицкого в преступлении, то представляется наиболее вероятным предположение, что соглашения между ними не было и что преступление совершено не ими. Это предположение – простое и логическое – обвинение даже не пытались опровергнуть. Что же представило обвинение в качестве доказательств? Какие оно выдвинуло улики?

Потребовалось сначала установить время убийства Савицкой. „23 марта 1889 года, – говорит обвинитель, – Савицкий ушел из дому в 8 часов утра, – а в 9 калитка уже была заперта всяким замком, значит, убийство совершено между 8 и 9”. Но Савицкий мог уйти и раньше 8-ми часов. Когда калитка была заперта, никем не установлено. Не показанием же мальчика Седова? Мы его не видели и не слышали. Его не вызывало обвинение. Свидетельница Варвара Порошина показала сегодня на суде, что „с точностью не могу установить время возвращения мальчика: вернулся ли мальчик в 10-м часу или в 11-м”. По показанию Горячева, пришедшего к Савицкой в 8-м часу или в 9-м утра, Галкин уже был там в это время. Через полчаса, говорит Горячев, Галкин пришел в трактир, а в 10-м часу неизвестный убийца запер калитку на замок и скрылся. Для совершения преступления достаточно было нескольких минут, поспешность убийцы доказана тем, что он перерыл впопыхах сундук и комод, бежал, не сумев ничего похитить, а деньги между тем лежали в ягдташе на стене. Время смерти Савицкой можно было бы установить медицинским осмотром содержимого кишечника, но это сделано не было. Вообще, точное установление времени события представляет большие трудности, в особенности в такой среде, где не употребляют карманных часов и вообще мало обращают внимания на время. Здесь же вопрос в нескольких минутах, а свидетели даже часы определяют только приблизительно: не то восьмой час, не то девятый, а может быть, и десятый...

Итак, время события не установлено, а пока не установлено это первое, главное обстоятельство, не установлено ничего. Еще темнее цель преступления. Обвинитель говорит: „Цель, очевидно, не ограбление, потому что ничего не похищено – это сказал сам Савицкий”. Но если бы Савицкий был убийцей, то он, конечно, сказал бы, что деньги похищены, и доказать противное было бы невозможно. Ограбление не удалось. Убийца не нашел денег. Что же из этого? Разве неудача изменяет характер преступления? Но цель ограбления доказана: во-первых, тем, что, как значится в обвинительном акте, Савицкая слыла зажиточной женщиной; во-вторых, тем, что у Савицкого действительно оказалось на 500 рублей серий в этом ягдташе; в-третьих, тем, что жалованье лесовщикам одно время выдавал Савицкий: значит, все знали, что

деньги в этом доме водятся. Наконец, все обвинение Галкина зиждется на предположении, что он нуждался в деньгах для постройки своего дома.

Итак, цель ограбления, подтверждаемая перерытым сундуком и комодом, ясно доказана, а другую цель – желание отделаться от жены – сам обвинитель считает только своим предположением.

Далее, господин товарищ прокурора утверждает, что убийство не могло быть совершено посторонним, так как убийца знал и обстановку, и то, что есть топор. Но и это неверно. Первоначально и Савицкий, и следователь приняли топор за орудие преступления, даже кровавые следы на нем видели, но впоследствии, как вы слышали, самое тщательное исследование не обнаружило на топоре следов крови. Следовательно, остается совершенно неизвестным, этим ли именно топором совершено убийство, а потому падает и предположение, будто убийца – непременно знакомый с домом человек. Орудия убийства налицо нет.

Итак, главное, что необходимо для обвинения, – время, цель и способ совершения убийства – не установлены. Какая же возможность обвинять в таком преступлении Савицкого и Галкина по предварительному соглашению? Это, очевидно, невозможно. Не подумайте, что это говорит вам защитник, у которого взгляд на вещи может быть односторонним. Нет. К такому же выводу пришла и сама обвинительная власть. Следствие в 1889 году было приостановлено: виновный не обнаружен, Галкин был освобожден. Таким образом, ясно, что до доноса Овчинникова улики против Галкина и Савицкого не было.

6 мая 1895 года приблизительно ко времени истечения погасительной давности (сокращенной Всемилоостивейшим Манифестом) является Овчинников и дает у судебного следователя свое показание. Это краеугольный камень обвинения. Посмотрим, что это за камень.

По словам Овчинникова, 23 марта 1889 года, в день убийства, утром, в 8 часов, он нес фельдшеру Рисковскому почтовую книгу для расписки в получении лошади для командировки по распоряжению земской управы. Книга эта была вам предъявлена. Оказалось, что расписка фельдшера Рисковского в ней есть, но что помечена она не 23-м, а 22 марта, а 23-го никакой записи нет. Эта книга, господа, есть документ, а все рассказы Овчинникова о возможности ошибки в числе остаются рассказами, которые нужно принимать на веру. Но можно ли вообще верить Овчинникову?

Он рассказывает, что, приближаясь к дому Савицкого, не доходя саженой 50 или 60, т. е. 150 или 180 шагов, он услышал три глухих удара „как в худой черепок”, женский крик и слова „плут, мошенник, убил, скажу, скажу!” Слова эти доносились как будто из печной трубы. Кажется, трудно представить себе более слепую несообразность: три глухих удара слышать за 180 шагов в зимнее время, когда окна и двери заперты, слышать слова сквозь трубу, удары по черепу

называть ударами в худой черепок... Ведь это такие несообразности, что и обвинитель им, по-видимому, теперь плохо верит, предоставляя вам самим разобраться в показании Овчинникова.

Мальчик, по словам Овчинникова, стучал рукой в окно. Свидетели Соловейчик и Шумилов удостоверили здесь, что в окно дома Савицкого не только одиннадцатилетний мальчик, но и взрослый рукой достать не мог. К тому же перед домом запертый палисадник. Наконец, мальчик Седов, допрошенный два раза, положительно заявил, что никто к нему в тот день не подходил, ни с кем он не говорил, никого он не видел.

Ложь Овчинникова обнаружилась во всей своей красе. Прокурор говорит, что у Овчинникова нет никаких причин лгать: у него не было вражды с обвиняемым. Но люди лгут вовсе не потому, что имеют к тому какую-нибудь особенную причину. Ложь сама по себе заключает известную привлекательность. Во-первых, это род творчества, где действует вдохновение. Потом, это удовольствие для самолюбия; господство над тем, кто верит. Ложь дает временное значение, блеск, чуть ли не власть лжецу. Что такое был Овчинников? Кто знал Овчинникова? А теперь Овчинников прославился. Я готов был бы допустить самое выгодное для него предположение, что лгал добросовестно, смешал, как безграмотный, 22 марта с 23-м и стал жертвой самообмана, но должен сказать, что все его выдумки о мальчике, о разбитом черепке и прочем носят на себе характер крайне бездарной, аляповатой, но и злостной лжи.

И вот благодаря этому изумительному вздору двое людей полтора года томятся в остроге, угнетены ужасающим обвинением, основанным на предположениях!

Что же еще, кроме бредней Овчинникова, представило нам обвинение против Савицкого? Оно вызвало свидетелей, имевших с ним личные ссоры, — и свидетели говорили нам о его дурном, по их мнению, характере. Целый ряд других свидетелей, напротив, показал, что Савицкий очень добрый муж и отлично жил с женой. Обвинитель находит странным разговор Савицкого с Галкиным, Зачем ему было спрашивать: „Что делает жена?"; такой вопрос приличен был бы, по мнению обвинителя, только новобрачному. По-моему, ни в разговоре, ни в вопросе нет ничего странного. Самый обыкновенный разговор. Далее обвинитель говорит: „Савицкий был слишком спокоен, бросился к лошади". Но свидетель Соловейчик показал, что Савицкий плакал, всплеснул руками... Каким же еще способом должен был он выражать отчаяние? А что он пошел смотреть, не уведена ли лошадь, опять-таки вполне естественно. Ведь лошадь — это, господа, капитал для бедного человека... Савицкая, по словам Смирнова, будто бы жаловалась ему, мяснику, что муж ее дня за два до происшествия чуть не убил ее утюгом. Рассказ этот опровергается целой массой свидетельских показаний, Смирнов здесь под присягой ничего не показал и только с величайшими усилиями сказал, что подтверждает свое показание, данное на предварительном следствии. Я этому рассказу не придаю никакой веры.

Когда случается происшествие, о котором все говорят, всегда находятся люди, желающие отличиться какой-нибудь новостью, хотя бы и в ущерб истине. Обвинитель даже в смерти Александра, первого мужа Натальи Ильиной, желает видеть что-то странное: а тот объелся сырой рыбой и умер. Самая прозаическая смерть, без романтических прикрас. „20-летний Савицкий, – говорится в обвинительном акте, – женился на 60-летней Наталье Ильиной”. Но ему было 23 года, а ей – 43. Наконец, обвинение все время старалось подчеркнуть, что Савицкий скоро после смерти своей жены женился на другой. Но и это обстоятельство оказалось лишенным всякого романтизма: женился Савицкий на вдове потому, что нужна в доме хозяйка. Никакого знакомства до того с вдовой не имел, никто об этом и намек не высказал. Теперь у него двое маленьких детей, младшему 8-й год, и живется им без отца очень плохо. Горемычная семья ждет не дождется вашего приговора. Неужели слезы и молитвы их могут быть напрасны? Нет, господа присяжные заседатели! Не защита, а ваш собственный разум и сердце давно разъяснили это дело. Савицкого нельзя обвинить, и я уже слышу ваш приговор: „Нет, не виновен!”»<sup>1</sup>.

Защитник признает факт убийства, но отрицает, что обвиняемые являются убийцами. Для обоснования этого тезиса он указывает на противоречия места, времени, орудия действия, внешних обстоятельств, оснований, препятствующие утверждению о связи конкретных лиц с конкретным действием.

Так, реальность или возможность представления обвиняемого в роли субъекта действия *в данном случае* [2.3] определяется отношением свойств субъекта действия ко времени, цели, способу совершения деяния и к качеству свидетельских показаний. Остальные обстоятельства оказываются незначимыми применительно к постановке вопроса о виновности Савицкого. В посылках аргументов использованы практически все перечисленные выше категории – составляющие факта: время совершения преступления, цель, последовательность действий, способ, особенности убийцы; обоснование недостоверности показаний основано на тех же категориях времени, места, личности свидетеля, обстоятельств.

Связь составляющих факта может оказаться иной. Например, пунктом несогласия могут оказаться наличие самого действия, цель, способ и т. д., что даст иное соотношение связей между составляющими. В факте выделяются *проблемное ядро*, которое является основным предметом аргументации и определяет содержание высказывания,

<sup>1</sup> Урусов А. И. Дело Савицкого и Галкина // Урусов А. И. Первосоздатель русской защиты. Тула: Автограф, 2001. С. 204–208.

и смысловая периферия в виде словесных образов, характеристик фигурантов и обстоятельств дела и участников его обсуждения, которая создает общее этическое и эмоциональное отношение к проблеме.

Факт как положительный или отрицательный аргументируется в статусе установления в содержании, ограниченном постановкой вопроса, но обстоятельства, не включенные в проблемное ядро аргументации статуса установления, могут использоваться как материал для дополнительных аргументов. Так, для обоснования невиновности Савицкого защитнику в принципе было достаточно установить противоречия обвинения по месту, времени, цели, несостоятельность показаний свидетелей, но в конце речи он приводит дополнительную аргументацию, опровергающую утверждения об отрицательных качествах Савицкого. Этими дополнительными аргументами создается этический и эмоциональный образ проблемы.

Приведенный пример судебной речи дает представление об основных свойствах аргументации в статусе установления: в судебной ораторике особенности статусов проявляются с максимальной очевидностью. Но, разумеется, материал судебной ораторской прозы не исчерпывает всех вопросов, связанных со статусами, в частности со статусом установления. В философской аргументации структура статуса установления значительно более сложна и проблематична.

Наиболее известна в истории философии проблема так называемых доказательств бытия Божия: «космологического», «нравственного», «антропологического», «онтологического»<sup>1</sup>.

С точки зрения классификации аргументов по основанию космологические доказательства являются аргументами к реальности, антропологические и нравственные доказательства — аргументами к авторитету, онтологические доказательства — аргументами к аудитории. Дело действительно обстоит таким образом, если следовать воззрениям И. Канта, который в ряде своих произведений разбирает эти доказательства<sup>2</sup>. Однако И. Кант преследовал цель — показать несостоятельность всех этих доказательств и поэтому разбирал их, искусственно разделяя и произвольно группируя в соответствии

<sup>1</sup> Зеньковский В. Апологетика. Рига, 1992. С. 46–48.

<sup>2</sup> См.: Кант И. Единственно возможное доказательство бытия Бога // Соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1963. С. 391–510; Критика чистого разума // Соч. Т. 3. С. 511–551; Метафизика нравов // Соч. Т. 4, п/т 2. С. 431–437; Критика способности суждения // Соч. Т. 5. С. 462–514; Какие действительные успехи сделала метафизика в Германии со времен Лейбница и Вольфа // Соч. Т. 6. С. 228–239; и др.

с удобством опровержения. При этом требования, которые предъявлялись И. Кантом к доказательности аргументов о бытии Божиим (не только в «Критике чистого разума»), выходят далеко за пределы требований к доказательности индуктивных аргументов в науке, философии и юриспруденции.

Действительно, возьмем простой случай доказательства от следствия к причине в науке. Русские слова *драться* (неопределенная форма глагола) и *пяться* (2-е лицо ед. числа повелительного наклонения от глагола *пялиться*) произносятся различно: [драц'ь] и [п'ат'с'ь] несмотря на то, что в завершениях слов одни и те же фонемы: <т'>, <с'>, <а>. Причина этого различия состоит в том, что в слове *пяться* имеется так называемый морфологический нуль: морфема *и/∅*, которая в словах *неси*, *иди* проявляется как *-и* и является элементом парадигмы спряжения глагола в повелительном наклонении, а в слове *драться* такого нуля нет, поэтому в нем, как в словах *бороться*, *пытаться*, *готовиться*, происходит ассимиляция (уподобление звуков), которая и проявляется в звуке [ц:]. Хотя нулевой морфемы никто никогда не видел, морфологический нуль и значимое отсутствие показателя рассматриваются на основе этого и других подобных явлений как реальные факты системы языка и как причина звукового различия в рядах слов.

Весь объем научного понятия «языка» конструируется в лингвистике именно таким образом, поскольку факты языка не наблюдаемы по определению, а представляются *идеальными объектами* и реконструируются из фактов речи; и лингвисту решительно безразлично, где язык обретается, — в головном мозге человека или где-нибудь еще, как безразлично математику, где обретается число  $\pi$ , в реальности которого он нисколько не сомневается. Так построена весьма солидная научная теория, которая умеет предсказывать и объяснять громадное количество сложных фактов многих тысяч известных языков и вообще любого мыслимого языка человека. И никто не упрекает лингвистику за недостаточно доказательные умозаключения от следствия к причине, как не упрекают и другие теоретические науки вроде социологии, физики или астрономии, или даже науки, вовсе не имеющие аксиоматической теории, вроде психологии и биологии.

Если обратиться к аргументации бытия Бога, то обнаружится, что дело здесь обстоит иначе и значительно сложнее, чем представил его И. Кант: характер всех этих доказательств определяется тем, в чем применяющий их автор — св. Василий Великий, св. Григорий

Богослов, св. Иоанн Дамаскин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Николай Кузанский, Р. Декарт, Б. Паскаль, В. Лейбниц, Ф. Брэдли, Клайв Льюис и др. — усматривает реальное основание аргумента, — топом, на который он опирается.

Так, понимание причинно-следственной связи в знаменитом аристотелевом доказательстве перводвигателя<sup>1</sup> и понимание причинно-следственной связи в обосновании бытия Божия св. Григорием Богословом<sup>2</sup> различны: если для Аристотеля эта причина ничем существенным не отличается от упомянутого выше морфологического нуля как формы, определяющей материю и содержащейся в материальных вещах, то св. Григорий умеет видеть, что «Бог — творческая и содержательная причина всего»<sup>3</sup>. Поэтому во втором случае мы имеем дело с определенно выраженной телеологической аргументацией к реальности: сама (начальная, конечная, действующая или условная) причина понимается как творческий акт — телеологически. И структура реальности (которая рассматривается ниже) как следствие будет представлена по-разному в зависимости от того, как определяется причина ее возникновения и существования. Поэтому «доказательства бытия Божия», по существу, основаны на следующей схеме: «Если сам мир, космос, имеет такую-то структуру, которая так-то соответствует положению в нем, жизни и мышлению человека и в условиях которой человеку надлежит на основе такого-то опыта действовать таким-то образом, то Бог — Творец и Зиждитель мира», что аналогично приведенному выше умозаключению о морфологическом нуле. Именно эти необходимые связи, которые осмысливают всю систему «доказательств бытия Божия», и разорваны в аргументации Канта.

Если рассматривать эту связь в новоевропейском истолковании, то истоки ее обнаруживаются, очевидно, у Р. Декарта. Рассмотрим его аргументацию.

[2.4.] *«В каком смысле можно сказать, что, не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чем.»*

Но когда душа, познав сама себя и продолжая еще сомневаться во всем остальном, осмотрительно стремится распространить свое познание все дальше, то прежде всего она находит в себе идеи о некоторых вещах; пока она их просто созерцает, не утверждая и не отрицая су-

<sup>1</sup> Аристотель. Метафизика // Соч. Т. 1. С. 302–319.

<sup>2</sup> Григорий Богослов. Слово 28, о богословии второе // Собр. творений. Т. 1, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. С. 394 и далее.

<sup>3</sup> Там же. С. 394.

существования вне себя чего-либо подобного этим идеям, ошибиться она не может. Она встречает также некоторые общие понятия и создает из них различные доказательства, столь убедительные для нее, что, занимаясь ими, она не может сомневаться в их истинности. Так, например, душа имеет в себе, идеи чисел и фигур, имеет также среди общих понятий и то, что „если к равным величинам прибавить равные, то получаемые при этом итоги будут равны между собой”, она имеет еще и другие, столь же очевидные понятия, благодаря которым легко доказать, что сумма трех углов треугольника равна двум прямым и т. д. Пока душа видит эти понятия и порядок, каким она выводит подобные заключения, она вполне убеждена в их истинности; так как душа не может на них постоянно сосредоточиваться, то, когда она вспоминает о каком-либо заключении, не заботясь о пути, каким оно может быть выведено, и притом полагает, что Творец мог бы создать ее такой, чтобы ей свойственно было ошибаться во всем, что ей кажется вполне очевидным, она ясно видит, что по праву сомневается в истинности всего того, что не видит отчетливо, и считает невозможным иметь какое-либо достоверное знание прежде, чем познает, кто ее создал.

*О том, что существование Бога доказуемо одним тем, что необходимость бытия, или существования, заключена в понятии, какое мы имеем о нем.*

Далее, когда душа, рассматривая различные идеи и понятия, существующие в ней, обнаруживает среди них идею о Существе всеведущем, всемогущем и высшего совершенства, то по тому, что она видит в этой идее, она легко заключает о существовании Бога, который есть это всесовершенное Существо; ибо, хотя она и имеет отчетливое представление о некоторых других вещах, она не замечает в них ничего, что убеждало бы ее в существовании их предмета, тогда как в этой идее она видит существование не только возможное, но и совершенно необходимое и вечное. Например, воспринимая в идее треугольника как нечто необходимо в ней заключающееся то, что три угла равны двум прямым, душа вполне убеждается, что треугольник имеет три угла, равные двум прямым; подобным же образом из одного того, что в идее Существа высочайшего совершенства содержится необходимое и вечное бытие, она должна заключить, что такое Существо высочайшего совершенства есть или существует.

*О том, что в понятиях, какие мы имеем о прочих вещах, включается не необходимость бытия, а лишь его возможность.*

В истинности этого заключения душа убеждается еще больше, если заметит, что у нее нет идеи, или понятия, о какой-либо иной вещи, относительно которой она столь же совершенно могла бы отметить необходимое существование. По одному этому она поймет, что идея Существа высочайшего совершенства не возникла в ней путем фикции, подобно представлению о некоей химере, но что, наоборот, в ней запечатлена незыблемая и истинная природа, которая должна существовать

с необходимостью, так как не может быть постигнута иначе, чем как необходимо существующая.

*О предрассудках, препятствующих иным ясно осознать присущую Богу необходимость существования.*

В этой истине легко убедилась бы наша душа или наша мысль, если бы она была свободна от предрассудков. Но так как мы привыкли во всех прочих вещах различать сущность от существования, а также можем произвольно измышлять разные представления о вещах, которые, может быть, никогда не существовали, или которые, может быть, никогда существовать не будут, то может случиться, что, если мы надлежащим образом не поднимем наш дух до созерцания Существа высочайшего совершенства, мы усомнимся, не является ли идея о Нем одною из тех, которые мы произвольно образуем или которые возможны, хотя существование не обязательно входит в их природу.

Чем больше совершенства мы постигаем в чем-либо, тем более совершенной мы должны полагать его причину.

Далее, размышляя о различных идеях, имеющихсся у нас, мы без труда видим, что они немногим отличаются одна от другой, поскольку мы их рассматриваем просто как некоторые модусы нашего мышления или нашей души; но мы видим, что их много, поскольку одна идея представляет одну вещь, а другая другую; и мы видим также, что чем больше объективного совершенства содержат идеи, тем совершеннее должна быть их причина. Подобно тому как если нам скажут, что кто-нибудь имеет идею о какой-либо искусно сделанной машине, мы с полным основанием станем спрашивать, в силу чего он имеет такую идею. А именно, не видел ли он где-нибудь подобной машины, сделанной другими? Или постиг в совершенстве технические знания? Или обладает таким живым умом, что, не видев нигде ничего подобного, мог сам придумать ее? Все искусство, представленное в идее этого человека, как в образе, должно по первой своей и основной причине не только быть подражательным, но и действительно быть того же рода или еще более выдающимся, чем оно представлено.

*Что отсюда опять-таки можно вывести доказательство существования Бога.*

Подобным же образом, находя в себе идею Бога, или всесовершенного Существа, мы вправе допытываться, по какой именно причине имеем ее. Но внимательно рассмотрев, сколь безмерны представленные в ней совершенства, мы вынуждены признать, что она не могла быть вложена в нас иначе, чем Всесовершенным Существом, т. е. никем иным, как Богом, подлинно сущим или существующим, ибо при естественном свете очевидно не только то, что ничто не может произойти из ничего, но и то, что более совершенное не может быть следствием или модусом менее совершенного, а также потому, что при том же свете мы видим, что в нас не могла бы существовать идея или образ какой-

либо вещи, первообраза которой не существовало бы в нас самих или вне нас, первообраза, действительно содержащего все изображенные в нашей идее совершенства. А так как мы знаем, что нам присущи многие недостатки и что мы не обладаем высшими совершенствами, идею которых имеем, то отсюда мы должны заключить, что совершенства эти находятся в чем-то от нас отличном и действительно всесовершенном, которое есть Бог, или что по меньшей мере они в нем некогда были, а из того, что эти совершенства бесконечны, следует, что они и ныне там существуют.

Я тут не вижу затруднений для тех, кто приучил свою мысль к созерцанию Божества и кто обратил свое внимание на Его бесконечные совершенства. Ибо хотя мы последних и не постигаем, потому что конечными мыслями бесконечное по природе не может быть охвачено, тем не менее мы можем понять их яснее и отчетливее, чем какие-либо телесные вещи, так как эти совершенства более просты и не имеют границ; поэтому то, что мы в них постигаем, значительно более смутно. Отчего и нет умозрения, которое было бы значительнее и могло бы более способствовать усовершенствованию нашего разума, тем более что созерцание предмета, не имеющего границ своему совершенству, наполняет нас удовлетворением и бодростью.

*О том, что не мы первопричина нас самих, а Бог, и что, следовательно, Бог есть.*

Но не все обращают на это надлежащее внимание; и так как относительно искусно сделанной машины мы достаточно знаем, каким образом мы получили о ней понятие, а относительно нашей идеи о Боге мы не можем припомнить, когда она была сообщена нам Богом, — по той причине, что она в нас была всегда, — то поэтому мы должны рассмотреть и этот вопрос, должны разыскать, кто Творец нашей души или мысли, включающей идею о бесконечных совершенствах, присущих Богу. Ибо очевидно, что нечто, знающее более совершенное, чем оно само, не само создало свое бытие, так как оно при этом придало бы себе самому все те совершенства, сознание о которых оно имеет, и поэтому оно не могло произойти ни от кого, кто не имел бы этих совершенств, т. е. не был бы Богом.

*Одной длительности нашей жизни достаточно для доказательства существования Бога.*

Не думаю, что можно усомниться в истинности этого доказательства, если только обратить внимание на природу времени или длительности нашей жизни; ввиду того что ее части друг от друга не зависят и никогда вместе не существуют, из того, что мы существуем теперь, еще не следует с необходимостью, что мы будем существовать в ближайшее время, если только какая-нибудь причина, — а именно та, которая нас произвела, — не станет продолжать нас воспроизводить, то есть сохранять. И легко понять, что нет в нас никакой силы, посредством которой

мы сами могли бы существовать или хотя бы мгновение сохранить себя, и что тот, Кто обладает такой мощью, что дает нам существовать вне Его и сохраняет нас, тем более сохранит самого Себя; вернее, Он вовсе не нуждается в сохранении кем бы то ни было; словом, он есть Бог»<sup>1</sup>.

Рассматривая эти доказательства бытия Божия, выдвинутые Р. Декартом, следует обратить внимание на следующие особенности его аргументации.

Аргументация основана на положении «*cogito ergo sum* — мыслю, следовательно существую», поэтому все аргументы относятся к реальности: врожденные идеи, на которых настаивает Декарт, являются основой адекватного научного познания реальности и нравственности, поэтому они соответствуют принципам строения этой реальности; принцип универсального сомнения необходим Декарту для отделения ясных и отчетливых идей от смутных, и тем самым прояснение мысли о предмете знания представляется также исходным критерием его правильности: «Истинно все, с что мы ясно постигаем как истинное, что и освобождает нас от вышеизложенных сомнений»<sup>2</sup>; цель всей аргументации состоит в обосновании познаваемости мира и установления этических норм поведения с помощью универсального логического метода мышления; доказательства бытия Божия в этом смысле используются Декартом как утверждение критерия и гаранта способности человека познавать мир и правильно действовать в нем; обоснование Декартом логического рационализма, сильно повлиявшее на развитие науки, философии, богословия в течение XVII–XIX вв., имеет явно выраженный аксиоматический характер; приводимые Декартом аргументы жестко встроены в систему, их убедительность и правильность в значительной мере определяются приемлемостью исходных положений философской теории, в рамках которой они используются; система доказательств строится Декартом не в виде прямого рассуждения, а в виде описания того, как познающий субъект, душа, приходит к утверждению научной познаваемости мира; Декарт применяет кроме известных доказательств бытия Божия доводы, которые впоследствии были оценены с развитием науки и применялись особенно в апологетике и полемике XIX и XX вв.

Рассмотрим эти аргументы в том порядке и в том виде, как они представлены в «Началах философии».

<sup>1</sup> Декарт Р. Начала философии // Избр. произв. М., 1950. С. 431–433.

<sup>2</sup> Там же. С. 439.

Первый аргумент Декарта содержит «онтологическое доказательство».

(1)

Посылка: *Идеи, которые мы видим ясно и отчетливо, возможно истинны.*

Посылка: *Идея всемогущего и всесовершенного Существа является ясной и отчетливой.*

Вывод: *Следовательно, эта идея возможно истинна.*

(2)

Посылка: *Душа обнаруживает в себе идею всемогущего, всеведущего и всесовершенного Существа.*

Посылка: *Бог есть всемогущее, всеведущее и всесовершенное Существо.*

Вывод: *Следовательно, душа обнаруживает в себе идею Бога.*

(3)

Посылка: *Идея Бога возможно истинна.*

Посылка: *Душа обнаруживает в себе идею Бога.*

Вывод: *Следовательно, душа обнаруживает в себе возможно истинную идею Бога.*

(4)

Посылка: *Все, что может быть доказано из идеи предмета, истинно.*

Посылка: *Существование Бога может быть доказано из самой идеи предмета.*

Вывод: *Следовательно, идея о существовании Бога истинна.*

Посылка: *То, идея чего истинна, необходимо существует.*

Вывод: *Бог необходимо существует.*

Вспомогательный подразумеваемый довод (доказательство меньшей посылки) состоит в следующем.

(5)

Посылка: *Идея, содержащая необходимое существование, сама существует необходимо.*

Посылка (подразумеваемая): *Существование есть совершенство, так как существовать есть нечто большее, чем не существовать.*

Вывод (меньшая посылка предшествующего силлогизма): *В идее существа высочайшего совершенства необходимо содержится вечное и необходимое существование.*

(6)

Посылка: *Идея, которая существует необходимо, истинна.*

Посылка: *Идея Существа высочайшего совершенства существует необходимо.*

Вывод: Следовательно, идея Существа высочайшего совершенства истинна.

И. Кант видел в этом рассуждении софизм. Рассуждения о значении глагола «быть» только как обозначения связки и его якобы неспособности быть предикатом синтетического суждения, т. е. о несуществовании экзистенциальных суждений, просто неверно, потому что в суждениях «*Иван есть разумное существо*» и «*Иван есть*» глагол *быть* имеет различное значение: в первом случае он является связочным глаголом, а во втором — бытийным, причем значение бытийности допускает значение интенсивности: «Иван наличествует», т. е. имеется в некотором количественном отношении, которое в принципе может быть большим или меньшим. Оба этих суждения являются синтетическими, отчего суждение «*Иван существует*» неравнозначно суждению «*Иван есть Иван*»<sup>1</sup>. И далее:

«Если, далее, я мыслю некую сущность как высшую реальность (без недостатка), то все еще остается вопрос, существует оно или нет. Действительно, хотя в моем понятии о возможном реальном содержании вещи вообще ничего не упущено, тем не менее в отношении ко всему моему состоянию мышления чего-то еще недостает, а именно, что знание этого объекта возможно также *a posteriori*. Здесь именно обнаруживается источник нашего основного затруднения. Если бы речь шла о предмете чувств, то я не мог бы смешать существование вещи просто с понятием вещи... Если же мы хотим мыслить существование только посредством чистой категории, то неудивительно, что мы не можем указать никакого признака, чтобы отличить его от простой возможности»<sup>2</sup>.

Дело, однако, в том, что и Ансельм Кентерберийский, который, видимо, впервые выдвинул этот тип аргумента<sup>3</sup>, и Декарт основываются на определенном положении о языке, которое может быть принято или отвергнуто только эмпирически, а именно что мысль или внутреннее слово *по природе отражает объект*.

Так, по Вильяму Оккаму, номиналисту, который из всех средневековых богословов дальше всего отстоит от взглядов Декарта, явно зависимого от реалиста Фомы Аквинского и потому наиболее

<sup>1</sup> Кант И. Критика чистого разума. С. 521.

<sup>2</sup> Там же. С. 522–523.

<sup>3</sup> «Бог не может существовать только в разуме, так как Он есть максимально возможный объект мысли, если Он не существует, то Он меньше некоторого другого существующего объекта мысли, который в таком случае и должен быть наибольшим, но поскольку любой из других мыслимых объектов не является наибольшим, то существует именно Бог».

показательного в смысле понимания философской традицией природы знака, существует три вида терминов – ментальные (*concepta*), устные и письменные.

«*Terminus conceptus*, – указывает Оккам, – *est intentio seu passio animae* (интенция, или *претерпевание* души) *aliquid naturaliter signi cans vel consigni cans* (по природе означает или соозначает), *nata esse pars propositionis mentalis et pro eodem nata supponere* (букв. Будучи *порожденным* быть частью мысленной пропозиции и в силу этого *будучи порожденным или прирожденным* подразумевать)»<sup>1</sup>.

В отличие от звучащего или письменного терминов, значение которых конвенционально и которые принадлежат определенному языку, концепт не принадлежит никакому языку и не может быть выражен, хотя слова – «как будто» (*tamquam*) подчиненные концептам произносимые знаки<sup>2</sup>. Слова связаны с вещами и концептами условным отношением, а концепты с вещами – природным. Это различие отношений в треугольнике *вещь* (*res*) – *концепт* – *слово* предполагает подстановки (суппозиции) составляющих треугольника определенным образом и в определенных позициях, которые зависят от типа значения слова и от правил подстановок как таковых.

Соответственно, суппозиция может быть *персональной*, «*quando terminus supponit pro suo signi cato, sive illud signi catum est res extra animam, sive sid vox, sive intentio animae, sive est scriptum, sive quodcumque imaginabile*»<sup>3</sup>, или когда «*„nomen“ non supponit nisi pro vocibus*»<sup>4</sup> (не подразумевает ничего кроме звуков слов), например: «Всякое звучащее имя есть часть высказывания».

Суппозиция может быть *простой*, когда «термин подразумевает интенцию души, но не берется как обозначающий»<sup>5</sup>, поскольку его интенция – вид. И термин не обозначает интенцию как таковую, «*sed illa vox et illa intention animae sunt tantum signa subordinate in signi cando idem*» (но этот звук слова и эта интенция суть лишь обозначающее одно и то же), например: «„Человек” есть вид».

<sup>1</sup> Оккам Уильям. Избранное. М.: УРСС, 2002. С. 4–5. Здесь и далее наряду с переводом А. В. Аполлонова дается перевод, отличный от перевода в цитируемом издании Оккама, вполне точном по смыслу, но упускающем более современную специфику таких, например, терминов, как «понятие», «часть речи», «слово». Так, Оккам употребляет не слово «*verbum*», но слово «*vox*», т. е. имеет в виду «звуковую оболочку слова», что в некоторых случаях целесообразно подчеркнуть.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 30.

<sup>4</sup> Там же. С. 30–31.

<sup>5</sup> Там же. С. 33.

Суппозиция может быть *материальной*, «когда термин не подразумевает как обозначающий, но подразумевает слово произнесенное либо слово написанное», например. «„Человек” есть имя», где слово «человек подразумевает самого себя, но тем не менее не обозначает самого себя»<sup>1</sup>.

Таким образом,

«если написаны такие четыре высказывания: „‘Человек’ есть животное”, „‘Человек’ есть вид”, „‘Человек’ есть трехсложное слово”, „‘Человек’ есть написанное речение”, то любое из них сможет быть истинным (*poterit veri cari*), но тем не менее не иначе, кроме как в отношении различных объектов»<sup>2</sup>.

Все это означает, что правильное использование языка в принципе может давать аналогию высказывания предмету, и хотя Оккам указывает на некоторые сигнификаты в персональной суппозиции как воображаемые, но утверждает, что

«можно доказать, что Бог существует, при понимании Бога во втором вышеуказанном смысле („Бог есть то, лучше и благороднее чего нет ничего”): иначе если среди сущих нет некоего [сущего], первичнее и совершеннее которого нет ничего, то будет уход в бесконечность»<sup>3</sup>.

Идеи Декарта и Лейбница об универсальном языке философии и науки, в котором достигается строгое соответствие слов концептам, как и семиотика Чарльза Пирса, как и современная когнитология, основаны на схоластической теории знака, в отличие от Канта, которому, по-видимому, был ближе взгляд на язык Кондильяка с его «*esprit de la langue*» — духом языка, предполагающим полную произвольность языкового знака. Поэтому умозаключение от некоторых мысленных предметов к реальности, по Декарту, правомерно. Эта мысль содержится и в *cogito* Декарта, и в его теории языка математики как иконически отражающего идеальные объекты — числа и отношения. Кант же понимает отношения знака к означаемому в естественном языке и в математике как чисто условные<sup>4</sup>. Для Декарта отношение между понятием (или словом) и объектом было разновидностью причинно-следственной связи, и мы здесь имеем дело с вариантом аргументации от следствия к причине (как у Ок-

<sup>1</sup> Оккам Уильям. Избранное.

<sup>2</sup> Там же. С. 33–34.

<sup>3</sup> Там же. С. 191.

<sup>4</sup> См. весьма произвольную классификацию знаков И. Кантом в работе: «Антропология с дидактической точки зрения» (Соч. Т. 6. С. 430), где знаки языков науки относятся к разряду условных.

кама): некоторые знаки, обозначающие абсолютные категории, при правильном построении умозаключений необходимо выражают реальность. Таким образом, софизма в приведенном аргументе Декарта, по-видимому, нет: «Это не паралогизм, а неполное доказательство, предполагающее нечто, что еще следовало доказать»<sup>1</sup>. Декарт может ошибаться, но он основывается в своем методе на личном опыте<sup>2</sup>, в данном случае на опыте причинной связи высказывания с объектом, которая ему, как создателю языка математики, была, быть может, более очевидна, чем Канту.

Второй аргумент Декарта, который представляется Лейбницу<sup>3</sup> и Канту еще более сомнительным, чем первый<sup>4</sup>, также является по форме «онтологическим» в силу того, что исходит из истинности идеи Бога, но в системе аргументации Декарта также предстает как аргумент к причине.

Основание аргумента, как видно из текста, состоит в том, что идея устройства как системы определенного уровня сложности может принадлежать только существу более совершенному по уровню организации, чем само это устройство: система с более низкой организацией не может быть причиной (действующей или конечной) системы с более высокой организацией.

Если в систему с более низкой организацией встроены или заложены принципы или элементы системы с более высокой организацией, то это означает, что такая система с более высокой организацией должна существовать, потому что сами по себе такие принципы или элементы возникнуть не могут.

Когда мы имеем дело с человеком, то обнаруживаем, что человеку свойственны телеологические принципы деятельности – замысел и его исполнение, которые могут у человека быть собственными или заимствованными.

Идея Бога, врожденно существующая в человеке, т. е. встроенная в него, не может быть собственной, так как она предполагает субъект этой идеи, неизмеримо более совершенный, чем сам человек<sup>5</sup>. Идея Бога есть идея максимально возможного совершенства. Поэтому:

<sup>1</sup> Цит. по: Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме // Соч.: В 4-х т. Т. 2. М., 1983. С. 448.

<sup>2</sup> Декарт Р. Рассуждение о методе. С. 260–261.

<sup>3</sup> См.: Лейбниц Г. Есть совершеннейшее существо // Соч.: В 4-х т. Т. 4. С. 116–117.

<sup>4</sup> См.: Лейбниц Г. Замечания к общей части Декартовых начал... // Соч. Т. 3. С. 178.

<sup>5</sup> Ср.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. С. 229–231.

*«она не могла быть вложена в нас иначе, чем всесовершенным Существом, то есть никем иным, как Богом».*

Этот аргумент затрагивает не только «идею Бога» саму по себе, но всю совокупность тех этических, логических, технических норм и представлений, которые Декарт называет врожденными и которые в любом случае не вытекают из биологического уровня организации человека.

Третий аргумент Декарта еще меньше нравится Лейбницу и Канту, чем первые два, но он также содержит предвидение развития науки и техники – материальной культуры. Сущность аргумента состоит в следующем.

Чем сложнее материальное техническое устройство, тем оно более хрупко и менее надежно и тем более, следовательно, оно требует постороннего вмешательства и контроля для правильного функционирования: если относительно простой автомобиль нуждается в постоянной технической профилактике, то тем более – космический корабль или компьютер. Человек является сверхсложной динамической системой, самой сложной из известных науке: только мозг человека содержит более 15 миллиардов нейронов – нервных клеток, в которых хранится информация и связи между которыми образуют различные функциональные системы высшей нервной деятельности; число таких связей возрастает соответственно с возможными комбинациями из этих 15 миллиардов. Более того, современный человек живет и действует в сложной и враждебной техногенной среде, которая содержит постоянные, не контролируемые человеком и все возрастающие угрозы и вызовы: каждую минуту мы серьезно рискуем жизнью.

Сохранение столь сложной и хрупкой системы требует постоянного вмешательства силы, которая с необходимостью должна неизмеримо превосходить человека, так как такое вмешательство требует учета невероятного, практически бесконечного числа составляющих, как миллиардов людей, так и среды, в которой они существуют, с определением оптимальной стратегии поведения для каждого отдельного человека и для каждого человеческого сообщества.

Но эта сила должна обладать и свойствами, которые обеспечивают ее собственную устойчивость, т. е. не нуждаться «в сохранении кем бы то ни было». В последующем изложении Декарт и пытается дедуктивно вывести такие «атрибуты».

Итак, философская аргументация в статусе установления, как это было показано еще схоластической философией, определяется,

во-первых, конвенцией о языке, которая может приниматься или не приниматься в ходе дискуссии; во-вторых, предпосылками, или топами, которые, как и значения слов, принимаются или не принимаются в качестве истинных.

Поскольку всякая философская традиция стремится создать собственный язык в виде словоупотребления – терминологии и в виде логики, как это делали, например, Оккам, Декарт и его последователи Арно и Николь, Лейбниц с его, по существу, риторическими взглядами на аргументацию или Кант, философская аргументация принимает вид риторической прозы, убедительность которой не имеет принудительной силы, в отличие от научной аргументации, принудительной также в силу конвенции.

Аргументация в судебной речи обладает относительной принудительностью и в этом смысле может быть уподоблена научной и противопоставлена философской. Но дело в том, что судебная аргументация основана на топике здравого смысла, принудительной в силу своей общепринятости и всеобщей очевидности, что нехарактерно для топки науки и богословия, стоящих на принципе «credo, quia absurdum sit», ибо с позиции здравого смысла абсурдна, например, идея существования знака, не имеющего материального выражения, а с точки зрения научной теории такие знаки существуют и, по крайней мере, не менее реальны, чем любые другие знаки.

Аргументация в «доказательствах бытия Божия» примечательна и в отношении теории риторической аргументации как таковой. Если богословие с осторожностью относится к этим доказательствам, по существу утверждая, что доказать или опровергнуть бытие Божие в строгом смысле невозможно<sup>1</sup>, то такая позиция, собственно, основана на первых словах Символа веры. Поэтому эта аргументация по определению носит риторический характер – является вспомогательным средством убеждения.

В приведенном рассуждении Декарта [2.4] обращает на себя внимание форма построения посылок – описание действий души. И в этом описании легко обнаруживаются как содержание посылок категории места, порядка, действия и претерпевания, деятеля и действия, причины и следствия. Более того, можно видеть, что у Декарта сам по себе характер аргументации как *расследования обстоятельств* весьма напоминает ход мысли адвоката А. И. Урусова, который также

<sup>1</sup> Зеньковский В. Апологетика. С. 46.

по имеющимся неполным данным реконструирует факт, но только отрицательный — невиновность подсудимого.

Фома Аквинский<sup>1</sup>, Дунс Скотт<sup>2</sup> или Вильям Оккам<sup>3</sup> в соответствующих местах обсуждают логические возможности пропозиций и семантику высказываний, но Декарт совершенно определенно выстраивает риторическую форму — убеждающий дискурс, который предполагает непосредственное сопереживание в усвоении мысли читателем. Действительно, очевидно, именно с Декарта начинается философия Нового времени, отличная по содержанию и как литературная форма и от богословия, и от позитивной науки.

Поскольку в статусе установления в проблемах, относящихся к «обычным» фактам тварного мира, используются рассмотренные выше категории места, времени, образа действия и т. п., то естественная теология пользуется как бы иной топикой, поскольку Бог вне пределов места и времени. Этот вопрос о топике следует рассмотреть особо.

В аргументации Декарта используются посылки, которые и содержат общие места:

- (1) *Идеи, которые мы видим ясно и отчетливо, возможно истинны;*
- (2) *То, идея чего истинна, необходимо существует.*

Эти посылки аргументации Декарта являются топами высокой степени общности, на них имплицитно основываются посылки аргументов судебной риторики — общие места меньшей степени общности. Действительно, когда в примере [2.3] защитник утверждает, что положения обвинения неочевидны для самого обвинения, когда он утверждает, что доказательство факта предполагает точное указание на место, время и обстоятельства, он основывается на положении (1); когда защитник утверждает, что целью убийства было ограбление, он основывается на положении (2). Это значит, что такие категории, как место, время, порядок, причина, как логическое следствие и т. д., по существу, характеризуют любой тип аргументации в статусе установления, но в зависимости от характера обсуждаемой проблемы выступают в различной степени абстракции: они трактуются конкретно в судебной или политической аргументации и абстрактно — в богословской или философской.

<sup>1</sup> *Фома Аквинский. Сумма теологии. М.; Киев, 2002. С. 20–27.*

<sup>2</sup> *Дунс Скотт блаженный. Избранное. М.: Изд-во францисканцев, 2001. С. 167–191.*

<sup>3</sup> *Оккам Уильям. Избранное. С. 152 и далее.*

### Статус определения

Если факты установлены и *о них достигнуто согласие*, но спорным остается вопрос о том, что они собой представляют: *к какой смысловой области будет правильным их отнести*, то мы имеем дело со статусом определения и отвечаем на вопрос «*quid sit?*» – «что это?»

Задача аргументации в статусе определения состоит в нахождении и обосновании отношения факта к классу фактов или к норме. Но и класс фактов, и норма выражены словами языка, в значении которых выделяются языковое, лексическое, предметное, понятийное содержание. Предметом и целью обсуждения является формулировка определения: если «данное деяние есть необходимая самооборона», то понятия *самооборона* и *необходимость*, даже если им дана правовая квалификация, нуждаются в истолковании и обсуждении применительно к данному действию со всеми его частными особенностями, обозначенными конкретными словами конкретного языка, которые в совокупности должны быть приведены в соответствие со словами, использованными в формулировке нормы и в юридических истолкованиях этой формулировки. Определение как операция представляет собой конструирование понятия. Для конструирования понятия значения слов сводятся (определяемое и определяющее слова) и разводятся (определяющее слово и слово, ограничивающее его значение, – синоним, антоним, пароним и т. д.). Операции сведения и разведения значений слов и являются материалом обсуждения в статусе определения. В статусе определения, по существу, обсуждается не проблема истинности высказывания, а проблема *правильности именованного установленного факта*.

[2.5.] «Господа присяжные заседатели!

Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что всем нам равно присущее чувство правды, простое и бесхитростное, давно уже подсказало вам разгадку этого несложного дела. Но в делах судебных, по-видимому, одного простого чувства правды мало. Каждое явление живой действительности, носящее на себе хотя бы только внешние признаки нарушения писанного закона, становится достоянием юристов, подобно тому как мертвое тело, найденное при сомнительных условиях, – достоянием полицейских врачей и хирургов. Нет нужды доказывать, что смерть явно последовала от удара камнем в голову, хирург вскроет и грудную полость, распотрошит все внутренности, чтобы убедиться, что легкие, сердце и печень на своем месте. Его нож, пила и скальпель не угомонятся до тех пор, пока не кончится вся эта круговая печальная, нередко совершенно бесцельная работа. Мы, юристы, от хирургов отличаемся разве только тем, что оперируем не над трупом, а над живым организмом, в котором бьется и трепещет еще живое сердце.

Мои почтенные противники – прокурор и поверенный гражданского истца, в качестве заправских юристов проявили беспощадность хирургов при анализе события, имевшего место 2 февраля 1896 года в клубе общественного собрания г. Елизаветграда. В поведении Александра Шишкина, вызванном тяжким оскорблением, полученным от отставного корнета Павловского, они не видят и не хотят видеть ничего другого, кроме умышленного покушения на убийство, хотя и совершенного в запальчивости и раздражении, но все же совершенного сознательно, с целью лишить жизни человека.

Забывая на минуту все перипетии, все предшествующие моменту выстрелов отношения Павловского к Шишкину, я остановлюсь пока только на строго юридической точке зрения.

Но и с этой формальной стороны в действиях Шишкина невозможно усмотреть покушение на убийство. Имеется налицо только самозащита человека, потрясенного тяжким ударом, неизвестно как и откуда исходящим, неизвестно чем еще впереди угрожающим.

Наш закон знает „необходимую оборону“, он позволяет с оружием в руках защищать свою жизнь, здоровье, свободу. Правда, в законе нет, к сожалению, специального указания на право защиты таким же путем своей чести. Но вы, вероятно, согласитесь со мной, что удар, сбивающий вас с ног, удар, за которым вы не знаете, последует ли тотчас же другой, еще более сильный, и притом со стороны человека, заведомо для вас обладающего феноменальной физической силой и вдобавок носящего всегда в кармане револьвер, – такой удар, нанесенный вам притом изменнически, когда вы еще не разглядели противника, заключает в себе элементы не простого оскорбления и насилия, а явной, реальной угрозы не только вашей чести, но и вашей телесной неприкосновенности, вашему здоровью, если не самой жизни. На такой удар, как на нападение дикого зверя, законный ответ – пуля, если, по счастью, имеется при себе револьвер.

Но, возразят мне, закон говорит о необходимой обороне, когда „нельзя ожидать защиты от ближайшего начальства“, когда человек одинок в своем бессилии, когда он застигнут в уединенном месте, например, в лесу... В лесу?!

Но разве здесь был не живой лес безучастных и равнодушных людей, для которых нравственные интересы и опасения ближнего совершенно чужды? Разве не около двух лет на глазах всего города господин Павловский безнаказанно занимался выслеживанием и травлей мирного, скромного и душевно измученного Шишкина? Разве этот последний не обращался и к „ближайшему“ и к более высокому начальству с ходатайствами и просьбами обуздать господина Павловского, отобрать у него оружие, защитить от его посягательств? Разве не всему городу были ведомы, а может быть, и „любезны“, безнаказанные буйные выходки господина Павловского? Разве терпимо в сколько-нибудь культурной стране, чтобы нравственная распущенность своеобразного трактирно-

го бретера могла держать в осаде целый Елизаветградский уезд? В клуб проникает господин, не снабженный даже входным билетом; он врывается почти насильно. В толпе все знают, что он пробирается с явно враждебными намерениями по отношению к Шишкину, и никому до этого нет дела, никто не отрезвляет, не останавливает, не выпроваживает его. Обстановки какого дремучего леса вам еще надобно для наличности всех условий необходимой самообороны? Предупреждены и власти, предупреждено и общество. Если они бессильны оградить и защитить безопасность моей личности, тем хуже для них – я вынужден защищаться сам. Я только в своем праве.

Как усугубляющее вину Шишкина обстоятельство выдвигают то, что он стрелял в многочисленном собрании, стрелял в клубе, что это угрожало опасностью многим, за исключением нескольких капель воистину невинно пролитой крови почтенного господина Дунина-Жуковского, которого шальная пуля легко ранила в ногу и который, как человек рассудительный, никакой претензии к Шишкину не имеет, выстрелы эти, по счастью, никому вреда не причинили. Но если Шишкин стрелял в клубе, в многолюдном собрании, то ведь тут же, на глазах этих самых людей и нападали на него, тут же сшибли его с ног. Если это – клуб, который нельзя иначе посещать как с заряженным револьвером в кармане, то пусть же господа члены пеняют и гости пеняют на самих себя. Они жнут то, что посеяли. Во всякой другой, более культурной стране такой факт, как нанесение удара кулаком в клубе, в публичном месте, вызвал бы общий протест, общее негодование, он был бы квалифицирован как грубое насилие, автор которого навсегда был бы отвергнут обществом. Но здесь все „дело” получило, наоборот, интерес пикантного скандала, заполнившего собой на многие дни безнадежную плоскость и пустоту общественных интересов.

Но есть и другие соображения, исключительно юридического свойства, в силу которых вы должны отвергнуть наличность сознательного покушения на жизнь Павловского.

Еще не поднявшись с пола, оглушенный, ошеломленный жестоким ударом, Шишкин стал стрелять, он выпустил три заряда. Легко понять то взбаламученное душевное состояние, в котором он находился. В подобном положении люди иногда и сами на себя от стыда и позора за незаслуженное оскорбление способны наложить руки. Чего же бы вы хотели: чтобы этот молодой человек, симпатичный, полный жизни и светлых надежд, и притом человек семейный, убил бы себя тут же на месте? Это более бы удовлетворило вас? Но оставаться спокойным, бездействовать, не реагировать на полученное публично оскорбление он был не в силах. Он стал стрелять. Зачем? Куда? Разве он мог дать себе в эту минуту надлежащий ответ! Предположение, что он мог желать убить своего обидчика, конечно, более или менее правдоподобно. Оно напрашивается само собой. Но столь же естественно мог он желать только ранить его, только напугать, только оградить себя от дальнейшего

нападения. Он стрелял, а господин Павловский в это время, закрывши голову руками, спотыкаясь, падая, чуть ли не на четвереньках, „благородно” отступал и ретировался. Из трех пуль, выпущенных Шишкиным, ни одна не пролетела даже близко от господина Павловского. Какое же основание имеем мы заявлять о цели лишить жизни Павловского и признавать наличность такого умысла доказанной?

С достоверностью мы можем сказать одно: Шишкин стрелял в ответ на оскорбление, дабы реабилитировать себя в глазах того же многочисленного собрания, среди которого им было получено тяжкое оскорбление.

Наконец, он мог, а пожалуй, даже должен был стрелять, чтобы дать острастку, чтобы дать знать Павловскому, что всякая дальнейшая попытка к нападению не пройдет для него безнаказанно. Пули, летевшие в разные стороны, в карнизы хор, в потолок, в ногу господина Дунина-Жуковского, не свидетельствуют ли нам о том, что стрелявший был в том расстроенном душевном состоянии, в том явном затемнении сознания, когда вообще о каком-либо сознательном намерении, а стало быть, о намерении лишить жизни именно господина Павловского, не могло быть и речи. Оглушенный невыносимо тяжким оскорблением, несчастный стрелял, благо при нем был револьвер, с той же рефлекторной последовательностью, с той же животной логикой, с которой мы кричим и неистовствуем, когда уже не в силах ни скрыть, ни побороть невыносимой боли.

Вспомним показания свидетелей. Сделав подряд три шальных выстрела, не попавших в Павловского, Шишкин даже не бросается вслед за ним, не нагоняет его, чтобы выпустить еще пулю сзади в упор, на что имел всю возможность. Очнувшись, он, дрожащий и бледный, сам отбрасывает револьвер и безнадежно рыдает, ломая руки.

Я кончил с юридической стороной дела. С уверенностью скажу, что не только среди вас, присяжных заседателей, но и среди коронных судей не нашлось бы такого, который решился бы подписать Шишкину обвинительный приговор. Это совершенно неповинный, притом несчастный, человек.

Благодаря присутствию в этом деле поверенного гражданского истца, задача моя, однако, далеко не исчерпана.

Не отрицая того, что непосредственно нападение господина Павловского вызвало всю катастрофу в виде выпущенных Шишкиным трех револьверных зарядов, представитель интересов господина Павловского находит тем не менее, что „вся нравственная вина за происшедшее падает все же на Шишкина” и что он один будто бы виновник всех недоразумений, выросших „на поле чести”, на каковом поле доверитель его имеет претензию считать себя едва и не монополистом.

Ниже мы увидим, в чем именно заключаются прерогативы такого самовольно отмежеванного себе привилегированного положения на поле чести, а пока подробно остановимся на столкновении 24 апреля 1894 года, которое, по мнению моего противника, послужило главной,

если не исключительной причиной последнего нападения господина Павловского.

Что же случилось в это знаменательное, по мнению защитника интересов господина Павловского, число? Право, ничего особенного, если не считаться с незаметно, бесследно и безнадежно промелькнувшим для нас целым полустолетием со времени бессмертного Гоголя. Разыгралась одно из печальных историй, которая характеризует нашу провинцию все еще чертами великого автора „Мертвых душ”.

Компания приличных людей, проживающих в своих имениях, в обществе своих дам, возвратилась со спектакля в гостиницу и в ожидании, пока запрягут лошадей, расположилась в ресторане гостиницы „Мариани”, посещаемом преимущественно местными помещиками.

Решили поужинать. Казалось бы, чего естественнее и невиннее? Кому могло прийти в голову предвкушать опасность какого-либо столкновения на „поле чести”? Когда идешь вкусить только телесной пищи, забываешь на минуту о духовной...

Но монополисты поля чести, во вкусе господина Павловского, поистине безжалостны; они не дадут спокойно проглотить даже куска. Они хронически одержимы „даром” чести. С первой же выпитой рюмкой очищенной вечно клокочущий в их груди вулкан „чести” начинает изрыгать непечатные ругательства, не стесняясь ни публичного места, ни общества дам. С этого ведь все началось.

Местные землевладельцы, господа Стенбок-Фермор, Дмитриев и Шишкин, со своими женами, едва успели занять место в общем зале ресторана „Мариани”, как вдруг с соседнего стола, занятого компанией каких-то офицеров, раздалась непечатная брань, грубая, пьяная, нецензурная. „Подобными словами”, как доложила прислуга, „выражался” корнет запаса армии господин Павловский по адресу своих собутыльников. Можете себе представить смущение мирной компании. Мужчины не знают куда глядеть, куда спрятать свои залитые краской стыда лица; дамы инстинктивно чувят тревогу... Является естественное побуждение оставить общий зал, уйти куда-нибудь, скрыться, перейти в отдельную комнату. Но едва успевают они покинуть свои места, едва доходят до дверей, как им вслед уже несется пьяный возглас: „Что, испугались?” Возглас сопровождается ассортиментом самых отборных русских слов. „Поле чести” остается за господином Павловским.

Но история далеко не кончена. Не таков господин Павловский герой, чтобы довольствоваться столь малой победой. Его, изволите видеть, „оскорбили” тем, что покинули зал, „погнушались его обществом”. По правилам чести, выработанным кодексом господ типа Павловского, сквернословием этих господ вы должны упиваться безропотно до конца, пока они не соблаговолят выкинуть вам еще новую какую-нибудь штуку, пожалуй, еще и почище.

То, что следует далее, не находит уже себе достаточно жестких слов для оценки. Совершенно напрасно господин поверенный Павловского

снисходительно называет все это маленьким скандалом. Разыгралось, в сущности, нечто очень большое по нравственному своему безобразию.

Едва компания достигла коридора, как ее настигает господин Вальчевский, родственник и собутыльник Павловского, и предупредительно сообщает: „Разве вы не знаете, господа, с кем имеете дело? Это Павловский, сам Павловский!” Следует краткий и быстрый пересказ всех причиненных им на своем веку членовредительств и учиненных в Елисаветграде скандалов. „Он обиделся, что вы ушли... Он всегда вооружен шестиствольным револьвером. Он вас не оставит в покое. Прячьтесь, спасайтесь — он идет вам вслед!”

Наступает момент ужаса и всеобщей паники. Еще бы!.. Сам Павловский оскорблен в своей чести!.. Компания удаляется в отдельный кабинет. Запирают дверь на замок. Тщетная предосторожность! Своим огромным, всесокрушающим кулаком Павловский принимается колотить в дверь. Дверь трещит и начинает подаваться, дамы доведены почти до обморочного состояния. Тогда через окно их высаживают во двор и тайно уводят в квартиру ближайших знакомых. Вдруг кто-то говорит: „А где же Стенбок-Фермор?” Оказывается, что несчастный замешкался как-то в коридоре и попал в переделку к господину Павловскому, собутыльники которого, вместо того чтобы удержать его, разбежались. Шишкин, устроив дам, возвращается в коридор, чтобы, если еще возможно, выручить товарища. Он встречает его, выбегающего из коридора в убийственно жалком виде. Несчастный весь растерзан, полбороды нет, на лице красная полоса. Сначала с оголенной шашкой, а потом уже врукопашную накинулся на него Павловский, и... разумеется, „поле чести” и на этот раз осталось за ним.

Завидев Шишкина, Павловский оставляет убегающего Стенбок-Фермора, хватает за лацканы Шишкина и требует уже от него „объяснений”. Какие, казалось бы, уже тут могли быть объяснения? Но Шишкин находчиво отвечает: „Вы оскорбили дам непечатной бранью!” Гибкость диалектики господина Павловского в вопросах, сопряженных с интересами чести, оказывается, однако, неистощимой. Одной рукой он приподнимает фуражку и торжественно изрекает: „Перед дамами извиняюсь!”, а другой, правой — лезет к себе в карман брюк, вынимает револьвер и грозно произносит: „А с вами, милостивый государь, я разделаюсь!”

По счастью для Шишкина, который не обладает нужной для общения с господином Павловским физической силой, в эту минуту коридор был уже заполнен приехавшей с помещиками из деревень прислугой, которая, естественно, была привлечена всем этим шумом и скандалом. Видя поднятый на себя револьвер, Шишкин рванулся и крикнул бывшим тут людям: „Возьмите его!” Несколько человек кучеров кинулись на Павловского, и в то же мгновение раздался выстрел. Шишкин, не задетый пулей, вышел из коридора; тогда люди схватили, связали Павловского и обезоружили. Тем временем Шишкин послал за полици-

ей, за воинским начальником, и когда власти прибыли, о происшествии произвели дознание, составили протокол и арестовали Павловского.

Вот та „кровная обида”, которую никак не мог простить Шишкину господин Павловский, которая, по соображениям моих противников, не могла быть ни забыта, ни прощена истинным дворянином, бывшим военным...

Но я вас спрашиваю: что же делать с субъектом, хотя и дворянского происхождения, начавшим в своем пьяном возбуждении бессмысленными ругательствами и кончившим выстрелом из револьвера в упор? Грустно, конечно, что ни дворянское происхождение, ни служебное прошлое господина Павловского не воспрепятствовали ему дойти до подобного озверения, но раз он уже дошел до него, поздно загоразжываться этими почетными атрибутами своей личности, безжалостно им же самим попранными.

Что мною правильно анализирован и понят весь инцидент первого столкновения Павловского с Шишкиным, который ранее того с Павловским даже и не встречался, подтверждается и всем дальнейшим, имевшим место вслед за событием 24 апреля. Мы знаем, что протокол дознания был препровожден судебному следователю. Мы знаем, что на основании этого дознания, а отнюдь не по жалобе Шишкина возникло формальное предварительное следствие по обвинению Павловского в покушении на жизнь Шишкина, произведенном выстрелом из револьвера.

Затем картина вдруг резко меняется. Воинственный дотоле Павловский при приближении первой, действительно грозящей ему опасности в виде серьезного уголовного обвинения весьма быстро смягчается, укрощается, я бы сказал даже — падает духом. Перспектива скамьи подсудимых вовсе ему не улыбается, и вот между враждующими устанавливается „соглашение”. Павловский обязывается „честным словом” не возбуждать более никаких историй в виде угроз и вызовов на дуэль против мнимых обидчиков Шишкина и Стенбок-Фермора, взамен чего те обещают смягчить свои показания относительно выстрела и сделать все от них зависящее, дабы дело о покушении на убийство было прекращено. Соглашение блистательно осуществилось. Уголовное дело, за недоказанностью преступления, прекращается.

Тут действительно имела место та „ложь”, на которой так настаивал поверенный гражданского истца; но я вас спрашиваю, кто воспользовался выгодами этой лжи? Для кого она была нужна? В чьих интересах она была придумана? Если господами Шишкиным и Фермором руководило только естественное чувство жалости к участи молодого человека, то уж далеко не столь благородное побуждение руководило Павловским. Чтобы спастись от ответственности, он призывал благодетельную ложь своих противников и сам, в следующих, более чем откровенных показаниях, данных судебному следователю, выяснял истинную роль в столкновении 24 апреля. Его показание было здесь читано. На восемнадцатом

листе прекращенного производства вот в каких выражениях господин Павловский говорит о самом себе: „Я был пьян, в таком отуманенном состоянии, что ничего почти не помню”. Далее: „Я не помню, что бы вызвало с моей стороны покушение на убийство”. И еще: „Я сам сильно страдаю за все происшедшее и сожалею о нем”.

Казалось бы, чего же лучше? Делу конец. Конец тем более бесповоротный, что в добавление ко всему он и перед Шишкиным обязался своим „честным словом” не поднимать более старых счетов.

Итак, прошлое умерло, погребено, и на него навалена еще надгробная плита в виде „честного слова” чуткого в вопросах чести человека, каким хотели изобразить пред нами господина Павловского. Тем лучше! Шишкину можно спать спокойно. Честное слово противника – вещь немалая. Его не сдвинуть с места никакими рычагами софизмов, толкований и обходов.

Действительно, на протяжении шести месяцев все было спокойно. Шишкин встречал Павловского, Павловский – Шишкина, но они даже не кланялись. Но вот Павловский съездил на Кавказ, тот „погибельный” Кавказ, где, без сомнения, еще бродят беззвучной толпой духи и тени героев Марлинского с бессмертной тенью лермонтовского Грушницкого во главе, и для Шишкина, убаюканного на время честным словом Павловского, наступает пробуждение от сладкого, но непродолжительного сна.

Что же случилось? Ровно ничего нового, кроме того, что поручик Белехов приехал вместе с господином Павловским и потребовал от Шишкина... сатисфакции. В чем дело? Да все в том же оскорблении, нанесенном бывшему офицеру и дворянину 24 апреля 1894 года. Было предложено: или драться с ним, Белеховым, или возвратить Павловскому его честное слово.

Господин Шишкин развел руками: драться с совершенно неизвестным ему лицом он решительно отказался, так как сам его ничем не обидел, ни обиженным в свою очередь себя не чувствовал, и заявил, что предоставляет господину Павловскому распорядиться своим честным словом по собственному его усмотрению.

После этого Шишкину оставалось только воскликнуть: „Прости, покой!” И действительно, покой был утрачен навсегда. Мирный сельский хозяин, отец трех малых детей, муж, человек общества, он сделался какой-то ходячей мишенью для прицелов Павловского. Вызовы на дуэль в различной форме, через разных лиц, от имени Павловского так и сыпались на него. Нравственно измученный, совершенно сбитый с толку всевозможными советами участливых людей, всегда готовых заварить кашу, которую не им придется расклебывать. Шишкин одно время готов был даже принять вызов Павловского, который между тем предусмотрительно упражнялся в стрельбе в цель. Но, наконец, Шишкин очнулся, от дуэли отказался и взамен предложил третейский суд и всякое иное возможное удовлетворение.

Оказывается, что Павловскому только этого и надо было. Вы, без сомнения, помните то возмущающее душу письмо, которым отвечал Павловский на эту попытку примирения. Дворянин и бывший офицер Павловский предлагает такому же дворянину и бывшему офицеру Шишкину подвергнуться... „двадцати пяти ударам розог при свидетелях и корреспондентах газет“!! Что сказать о подобном попирании в самом себе всякого человеческого достоинства?.. Человеку это предлагал другой человек, прикрывающийся девизом восстановления своей собственной поруганной человеческой чести.

Право, господа, чем-то невыразимо диким, почти забавно-диким, начинает веять от этой истории, к которой так нелепо пристегнуты разговоры о чести, о чувстве чести – чувстве великом, которое, однако, в своем чистом виде всегда и прежде всего является лишь спутником сознания и в себе и в других истинного человеческого достоинства... Что же мы видим здесь? Большими буквами выведено слово „честь“, но чего, чего только этим словом не скрыто?!

Чтобы не выходить из области Кавказских гор, мне невольно приходит на память воинственная, но дикая племенная горсть хевсуров. Когда вы видите на их живописных лохмотьях всюду изображения креста, а на их самодельных мечях и доспехах исковерканные латинские надписи с громко звучащими девизами, вам невольно приходит на ум мысль: не крестonosцы ли это, движимые живой верой, все еще продолжающие идти на освобождение Гроба Господня?

Но знатоки края и некоторые ученые этнографы вас отрезвят своей остроумной догадкой. Потерпевшие кораблекрушение крестonosцы были заброшены некогда на берега Кавказа; теснимые другими племенами, они подались в ущелье диких гор, здесь поженились на туземках, и народилось особое племя. Они испытали на себе всю эволюцию обратного развития – регресса. Они одичали. Это – хевсуры. Кресты, которые вы видите нашитыми у них на груди, достались им от предков, но живую веру, которую те имели в своей груди, они утратили. Они не знают больше живого Бога и поклоняются идолам. благородных девизов, которые начертаны на их бряцающем оружии, им даже не прочесть. Они не понимают больше ни смысла их, ни значения: это дикари в полном значении слова.

Полно значения слово „честь“; но уберем его вовсе из этого дела как ненужное украшение, столь же ненужное, как полустертый девиз на мече одичалого хевсура.

Единственное объяснение поведения Павловского, на котором я бы охотнее остановился, было бы предположение о нервной и психической его болезненности. Но свидетельство господина врача Загорского, попутно оценившего и свое собственное лечение в триста рублей, удостоверит вам, что это нервное состояние наступило лишь после выстрела Шишкина. В таком случае Павловский должен явиться нравственно

ответственным за все свое предыдущее поведение, прикрываемое им девизом чести.

Чтобы основательно судить, в чем заключалось это поведение, достаточно одного последовательного перечня его деяний. Непечатная брань по адресу ни в чем не повинных женщин, избиение господина Фермора, изуродование его бороды, стрельяние в Шишкина, принятие прощения своих собственных вин, нарушение данного честного слова, выслеживание Шишкина в течение боле года с револьвером в руках и, наконец, нападение на него враспloh 2 февраля в общественном клубе.

Выстрелы Шишкина, по указанию допрошенных здесь свидетелей, как и следовало ожидать, все же отрезвили Павловского. Насколько он гордо наступал, настолько трусливо пятился назад, извиваясь, приседая и опасливо закрывая голову руками. Он растерянно выскочил из клуба, позабыв даже надеть фуражку. Ваш приговор невольно будет обнимать собой и нравственную оценку действий Павловского. Надо надеяться, что он еще более отрезвит его. Вы заставите его попятиться еще далее.

Прошу вас вынести Шишкину оправдательный приговор»<sup>1</sup>.

Тезис речи представляет собой утверждение, что действия Шишкина следует рассматривать как необходимую самооборону («...в действиях Шишкина невозможно усмотреть покушения на убийство. Имеется налицо только самозащита человека...»).

Этот тезис и обосновывается в речи, которая поэтому относится к статусу определения. Сам по себе факт признается полностью, неправильным предстает истолкование факта обвинением. Поэтому предметом аргументации оказывается, с одной стороны, истолкование факта как необходимой самообороны, а с другой, — опровержение истолкования факта как попытки лишить обидчика жизни. Такая аргументация предполагает обоснованное представление причин и мотивов действий Шишкина с точки зрения норм права и сопоставление его действий с действиями Павловского, что неизбежно связано с анализом ситуации и с оценками. Многочисленные оценки действий Шишкина, Павловского и других фигурантов дела значимы именно как аргументы в пользу тезиса, хотя они несут и иную функциональную нагрузку — формирование нравственного отношения коллегии присяжных к обвиняемому и к гражданскому истцу.

В статусе определения выделяется пять основных проблем:

- 1) однородные и неоднородные нормы;
- 2) иерархия понятий;

<sup>1</sup> *Карабчевский Н. П.* Речь в защиту А. К. Шишкина // *Около правосудия: Статьи, речи, очерки.* Тула: Автограф, 2001. С. 260–270.

- 3) фиксированные и подразумеваемые норм;
- 4) совместимость, сведение и разведение понятий;
- 5) истолкование понятий.

1. Иерархия норм может относиться как к нормам однородным, например правовым, так и к нормам неоднородным, например правовым и нравственным.

*Однородное иерархическое отношение* представлено в примере [2.5] аргументом к презумпции невиновности или меньшей вины и к презумпции бремени доказательства (*onus probandi*) вины, а не невиновности. В аргументе «*Предположение, что он мог желать убить своего обидчика, конечно, более или менее правдоподобно. Оно напрашивается само собой. Но столь же естественно мог он желать только ранить его, только напугать, только оградить себя от дальнейшего нападения... С достоверностью мы можем сказать одно: Шишкин стрелял в ответ на оскорбление, дабы реабилитировать себя в глазах того же многочисленного собрания, среди которого им было получено тяжкое оскорбление*» опущена посылка, в соответствии с которой колебания в доказательстве намерения решаются в пользу обвиняемого. Поскольку принципы права или юридические максимы представляют собой частные топы, они являются нормой истолкования деяния в отношении к статье закона.

Неоднородное иерархическое отношение моральной и правовой норм представлено аргументом к долженствованию, адресованному присяжным: «*Мы, юристы, от хирургов отличаемся разве только тем, что оперируем не над трупом, а над живым организмом, в котором бьется и трепещет еще живое сердце. — И далее: ... не только среди вас, присяжных заседателей, но и среди коронных судей не нашлось бы такого, который решился бы подписать Шишкину обвинительный приговор*». Нормы морали предстают как основание применения правовых норм для коронного суда, а тем более для суда присяжных, который должен был судить по совести и даже мог преодолеть санкцию закона.

2. Иерархизация, сведение и разведение норм и данных являются основными операциями в статусе определения, поскольку задачей аргументации является на самом деле подведение нормы под факт, а не факта под норму: факт принимается как константа, нормы являются переменными. В соответствии с этой задачей и осуществляется специфическое для статуса определения истолкование факта.

Значимыми для статуса определения являются операции, связанные со сведением и разведением данных и содержания норм. Так, Н. П. Карабчевский сводит данные о действиях подзащитного к единому основанию — защите собственной жизни, что предусмотрено

статьей закона, и разводит защиту чести с основаниями самозащиты, предусмотренными законом, представляя это основание как несущественное в отношении нормы закона. И далее защитник, используя сравнение общества с лесом, сводит положение подзащитного с положением человека, подвергнувшегося нападению в пустынном месте, где он не может прибегнуть к помощи полиции или властей.

3. Фиксированные и нефиксированные нормы представлены в тех же фрагментах. Этическая норма предстает почти как нефиксированная, подразумеваемая, почему Н. П. Карабчевский и использует сравнительный аргумент: ему нужно противопоставить юриста хирургу-прозектору, чтобы подчеркнуть значимость моральной нормы и одновременно столкнуть аудиторию – присяжных с оппонентом – обвинителем. Нефиксированная норма, даже если она представлена пословицей или иной общепринятой максимой, как иносказание, допускает различные, иногда противоположные толкования (например, «око за око, зуб за зуб»). Но мыслимые нормы как таковые обычно сильнее писанных, поскольку они непосредственно обращены к самосознанию аудитории и очевидны.

4. Совместимость – наиболее сложная проблема аргументации в статусе определения. В примере [2.5] оратор строит представление о совместимости нравственной нормы, связанное с понятиями чести, достоинства, справедливости, с той нормой права, которая включает понятие самообороны, и разведения тех же понятий с характеристикой поведения Павловского, что и достигается системой сравнений, которая широко применяется в судебной практике Н. П. Карабчевского. Самые наглядные примеры – сравнение Павловского с хевсурами и действий Шишкина с действиями Павловского: в обоих случаях получается, что действия Павловского несовместимы с истинными представлениями о чести и противопоставляются действиям Шишкина, которые, напротив, соответствуют норме порядочности и чести дворянина и офицера и представляются достаточным основанием для оценки происшествия как самообороны.

5. Те же фрагменты речи – сравнение общества с лесом, Павловского с хевсурами – служат инструментом истолкования понятий: первое сравнение нужно для истолкования той части правовой нормы, которая трактует о невозможности ограждения от опасности органами власти. Карабчевский создает искусственный пример – лес, с которым и сравнивается общество Елизаветграда. Этим приемом норма,

фиксированная определенным выражением, распространяется на более широкий класс возможных ситуаций – *экстенсивное* расширение нормы, когда качественно расширяется состав ситуаций, подводимых под понятие «беспомощного положения». *Интенсивное* распространение нормы (значения терминов формулировки – допустимые условия необходимости самообороны) имеет место, если та же или аналогичная ситуация содержит действия или основания, выходящие за пределы, ограниченные нормой, например превентивные действия или несколько выстрелов из револьвера. Здесь в истолковании отношения казуса к норме дается аргумент к обстоятельствам – исключительная физическая сила и буйный нрав Павловского и нравственное состояние общества, неспособного обеспечить физическую и моральную безопасность гражданина.

В аргументации статуса определения главную роль играют категории общего и частного (род и вид), существенного и привходящего (акциденции и сущности), отношения и вещи и имени: в аргументации статуса определения особое значение имеет понимание имени как мотивированного: *terminus conceptus* Оккама.

### *Статус оценки*

В статусе оценки обсуждается отношение истинности факта к суждению о правильности его определения, т. е. квалификация деятеля. Если установлены факты и определено, что они собой представляют, но спорной является квалификация лица (неясно, какое конкретно решение следует принять), то мы имеем дело со статусом оценки – обсуждаем, как применить установленную закономерность, норму или правило в данной конкретной ситуации.

[2.6.] «Для вас, господа присяжные заседатели, как для судей совести, дело Наумова очень мудреное, потому что подсудимый не имеет в своей натуре ни злобы, ни страсти, ни корысти – словом, ни одного из тех качеств, которые необходимы в каждом убийстве. Наумов – человек смиренный и добродушный. Смерть старухи Чарнецкой вовсе не была ему нужна. После убийства Наумов оставался в течение 12 часов полным хозяином квартиры, но он не воспользовался ни одной ниткой имущества своей барыни-миллионерки. И когда затем пришла полиция, то Наумов как верный страж убитой им госпожи отдал две связки ключей, не тронутых им до этой минуты. Все оказалось в целости.

Видимым поводом к убийству считается то, что барыня оскорбила Наумова напрасным подозрением в краже бутылок. Но разве на такой побудительной причине можно остановиться для объяснения этого случая?! Разве туповатый, уживчивый и выносливый Наумов был так болезненно раздражителен, так щепетилен, чтобы из-за оскорбленного

самолюбия броситься на старую женщину, как тигр, давить ей горло, барахтаться с ней на полу, приканчивать ее до последнего издыхания, а затем придумывать, как бы спастись от постигшей его беды, и делать все это в высшей степени неловко, без всякой мысли о побеге и при помощи таких показаний, в которых он не сразу говорил, что он один только и мог убить Чарнецкую... Нет, все это непонятно, да и сам Наумов не понимает, ради чего это его разобрала такая ярость. Он говорил следователю: „Хотя она меня и оскорбила, но я очень сожалею о своем поступке...” Удивительно странное происшествие.

А между тем предварительное следствие произведено превосходно. Выяснено решительно все, чем мы можем интересоваться, так что мне как защитнику даже не пришлось вызвать ни одного свидетеля в дополнение к прокурорскому списку. И все-таки дело остается необычайным. В нем необычайно уже и то, что ни один свидетель не помянул покойную добрым словом, ни единый человек не сожалеет об убитой; точно все понимают, что такая женщина никак не могла ужиться среди людей и что рано или поздно она должна была попасться кому-нибудь под руку. Все находили ее чудовищем, но находили издалека, чувствуя себя независимыми от нее. А кто хотя на время от нее зависел, то решительно не мог ее выносить и удалялся. Одному только Наумову пришлось прослужить у Чарнецкой лакеем целых семь лет. И все прекрасно отзываются о Наумове.

Остановлюсь на лживых показаниях Наумова у следователя.

Наумов по своей неразвитости — настоящий ребенок, и там, где он чувствует, что он провинился помимо своей воли, он также труслив, как дитя. Он, сколько умеет, оправдывается перед старшими. Но всякому зрелому человеку ясно видно, до чего он сшивает свою ложь белыми нитками. Когда на него прикрикнуть, он поддакивает. Большинство его объяснений чуть ли не продиктовано следователем. Наумов, например, больше верит доктору, нежели своей собственной памяти и своим глазам. Следователь ему говорит: „Не могла быть убита Чарнецкая через полчаса или через час после завтрака: доктор находит, по остаткам пищи во рту, что убийство последовало чуть ли не сейчас после еды”, и Наумов пассивно отвечает: „Ну, тогда так и пишите”. Или, впоследствии, Наумов глупо клеветает на убитую, будто она от него забеременела и сама просила его задушить ее, чтобы избавиться от стыда. На это следователь спокойно возражает: „Да ведь по вскрытию Чарнецкая оказалась девицей”. Тогда Наумов сейчас же говорит: „В убийстве я сознался — надо же ведь мне что-нибудь сказать в свое оправдание...” Прошу вас, господа присяжные заседатели, удержите в своей памяти эти простые слова: „надо же ведь мне что-нибудь сказать в свое оправдание”. Смысл их тот, что я сам не понимаю, как это я сделался виновным.

Мне стоило большого труда добиться, чтобы Наумов верно вспомнил и откровенно, натурально описал сцену убийства. Мне постоянно приходилось его успокаивать и просить о точной правде. И тогда в кон-

це концов получилось очень живое показание. Вот как это было. После завтрака Чарнецкая ушла в кладовую и занялась проверкой всякой своей домашней дряни. Она там провозилась с полчаса, так что вышла оттуда в половине первого. По словам Наумова, „она вышла вся почернелая от злости – такой, какой он ее никогда раньше не видал”, и сказала, что недостает 6 бутылок вина; что это вино предала ему компаньонка, с которой он имел шашни; что теперь ему не будет пощады; что она его непременно упрячет в Сибирь и сейчас же потребует дворника. Наумов начал просить, чтобы она успокоилась, он говорил, что если бы он был виноват, то признался бы; что он у нее давно служит и всегда был честен... Но она не унималась и грозила... Она уже хотела идти к дворнику. „Тогда, – говорит Наумов, – будто мне всю грудь задавило – я бросился на нее, перехватил по дороге, свалил на пол и сдавил ей горло. Она успела крикнуть: ‘Ай!’, – и сейчас у нее пошла изо рта кровь. Видя, что в ней еще остается живность, – продолжал подсудимый, – я ее дотащил до двери, на которой висело столовое полотенце, и наложил ей это полотенце на рот... После первого крика она все время только хрипела и ничего не говорила. Когда я ей закрыл рот, она тут же понемногу вскоре и скончалась. За все время она отбивалась руками самую малость. к часу она уже померла”.

Думаю, что все это, безусловно, верно. Агония, т. е. рефлексивное дыхание, длилось не более получаса. Но Чарнецкая с первого нажима на горло уже была невозвратна к жизни. Дело уже было непоправимо. Наумову только и оставалось, что дожидаться конца и ускорять его.

Теперь нужно обратиться к убитой.

Хотелось бы мне разбирать личность покойной с величайшей осторожностью. Но кто бы ни судил ее, никто не найдет в ней ни одной хорошей черты. У нее было барское воспитание, знание языков, природный ум, полтора ста тысяч годового дохода, целая груда фамильных бриллиантов – и она жила впроголодь, без своего стола, с одним слугой, в холодной квартире, покупала утром и вечером на одну копейку сухарей, посылала за половинными обедами в клуб, носила в ушах две сережки из угля и мыла свое белье в целые пять месяцев один раз всего на 50 копеек. Но за это непонятное существование нам бы ее не пришлось осуждать. Скорее можно было бы пожалеть ее как безумную. Ведь она глупо отказывалась от привольной жизни. Ведь она, по-видимому, не имела никаких радостей... Однако, нет! Радости у нее были... За неделю до смерти она встретила на невском компаньонку другой старухи и с блаженным видом разговаривала с ней о том, что ей удалось купить очень выгодно через контору Рафаловича на 20 тысяч процентных бумаг... Она видела счастье в том, чтобы ни на одну крошку не терять своей громадной, и мертвой, власти – власти денег – и находила упоение в постоянном возрастании этой власти. Но и это бы еще ничего: всякий волен любить то, что ему нравится. Да, но Чарнецкая сверх того любила еще и мучить и пилить каждого, кому ей приходилось выдавать

хоть несколько рублей из своего кармана. За оплату хотя бы малейшей услуги она считала себя вправе делаться настоящим тираном. Она была бесконечно требовательна к таким людям. Она забирала себе в собственность каждое их дыхание, каждую их минуту, она плевала на их честь, на их свободу, на их сердце — на все, чем живет человек. Никто не мог переносить ее. Вы знаете ее гнусную историю, пред самой смертью, с молоденькой компаньонкой Вишневого, из-за коленкорных кальсон: Чарнецкая осмелилась позорить честную девушку открытым письмом, в котором она дерзко обвиняла ее в нелепой краже, да еще стыдила ее „днями покаяния”, вооружилась религиозным чувством, которого у нее самой не было в помине (как не было и вообще никаких человеческих чувств), — словом, нагло и безнаказанно шла против всяких „божеских и человеческих прав...”

Целых семь лет (считая его службу у покойного брата Чарнецкой) Наумов терпеливо переносил это чудовище. И не только переносил, но у него даже не накоплялось против Чарнецкой никакой злобы. Напротив, он отдался вполне ее деспотизму, он ее боялся, как школьник (помните, с каким страхом он срывал дрянную каменную пуговку со своей рубашки, когда Чарнецкая хватилась, что у нее пропала эта пуговка). И он, по своему беспомощному тупоумию, был, кажется, единственным слугой, которого можно было бы себе вообразить возле подобной старухи. Правда, он начал запивать, живя в таком беспросветном углу. Прежние господа за ним этого не замечали и всегда охотно рекомендовали его другим как человека исправного и честного. Но этими выпивками только и ограничивалось перерождение Михайлы Наумова под властью Чарнецкой. Он продолжал служить безупречно и усердно насколько умел.

Но он был все-таки человек. Незаметно для него самого постоянное общение с этим выродком угнетало его терпеливую душу. Он держался за свое место, потому что был не особенно ловок на услуги, да к тому же был несколько ленив, а у такой хозяйки, как Чарнецкая, вследствие ее подозрительности и неопрятности, чистки мало. Жизнь, правда, была у него мертвая, да мало ли что... Он и не требует многого... родных никого на свете... любовница Дуня, которую он любил всей душой. Он отдавал ей все заработанное. Но она, не Бог знает как, за него держалась... Она бы легко переменила его на другого, если бы нашелся подходящий. Вследствие всего этого почему бы и не выносить службу у Чарнецкой... Он все выносил, а все-таки чувствовал, что барыня у него совсем особенная, другой такой что-то нигде не видно.

И вот угораздило-таки эту Чарнецкую напасть на Михайлу Наумова с угрозами Сибирью, с обвинением в краже, которой он и не думал совершать. Крепко в нем сидела покорность своей госпоже, честно берег он ее добро. Но когда вдруг так, ни за что ни про что напала она на него, „вся почерневшая от злости”, когда он почувствовал, что она его нутро наизнанку выворачивает, когда он, многотерпеливый

и уступчивый, и сам наконец увидел (другие это давно видели), что никакой силы не хватает поладить с такой женщиной, — он внезапно и неожиданно для себя остервенел.

И я уже рассказал вам, как он ее убил.

Что касается продолжительности убийства, то дело совершилось гораздо скорее, нежели думают. Я и об этом уже говорил.

Но, быть может, вы остановитесь на такой мысли: „Если бы Наумов, не помня себя, и начал убийство, то — будь он человек добрый, — он при первой струе крови изо рта Чарнецкой остановился и опаматовался... Он пришел бы в отчаяние и не довершил своего деяния с помощью полотенца. Здесь уже виден человек сознательно злобный”.

Нет, господа присяжные заседатели, это неверно. Вы были бы правы, если бы судили человека вспыльчивого. Но Наумов не такой. Он очень добр, он, по выражению Авдотьи Сивой, „тише ребенка”. Его терпимость к Чарнецкой была тугая, завинченная очень крепко. Ибо эта терпимость вдруг, в одну секунду, исчезла, перевернув в его сердце все, чем он до этой секунды жил. В таких случаях возбуждение не может пройти скоро — слишком большая глубина затронута в человеке. Все равно как в будильнике: ведь там в известную секунду ничтожный крючок соскакивает с пружины... не успеешь глазом моргнуть, так это скоро делается... А послушайте затем, как долго и упорно гремит будильник! И чем туже была закручена пружина, тем дольше продолжается звон. Так и здесь: слишком глубоко сидели в Наумове доброта и смирение. Соскочив с такого стародавнего пути, не скоро сумеешь вернуться на свое место...

Мне ужасно трудно заканчивать мою защиту. Я никогда ничего не прошу у присяжных заседателей. Я могу вам указать только на следующее: никаких истязаний тут не было, недоразумения на этот счет порождены актом вскрытия в связи с бестолковым показанием подсудимого. Чарнецкая умерла гораздо легче, чем мы думаем: она потеряла сознание от первого стеснения ее горла. Поэтому всякие истязания должны быть отвергнуты. Затем, вы непременно должны отвергнуть также и тот признак, будто Наумов убил Чарнецкую как слуга. Обстоятельство это значительно возвышает ответственность, а между тем Наумов тут был вовсе не в роли слуги: он не желал делать кражи, он не пользовался ночным временем, когда он один имел доступ к своей хозяйке, он был здесь просто-напросто в положении всякого, кого бы эта старуха вывела из себя своей безнаказанной жестокостью. Он действовал не как слуга, а как человек. Поэтому „нахождение в услужении” во всяком случае должно быть вами отвергнуто. Но ведь убийство все-таки остается. Я, право, не знаю, что с этим делать. Убийство — самое страшное преступление именно потому, что оно зверское, что в нем исчезает образ человеческий. А между тем, как это ни странно, Наумов убил Чарнецкую именно потому, что он был человек, а она была зверем.

Нам скажут: нужно охранять каждую человеческую жизнь, даже такую. Прекрасное, но бесполезное правило. Пускай повторится подобная жизнь, и она дойдет до тех рук, которые ее истребят. Оно и понятно: если явно сумасшедший, которого почему-нибудь не возьмут в больницу, станет убивать кого-нибудь на улице, всякий вправе убить его в свою очередь, защищая свою жизнь. Если менее явная сумасшедшая, как, например, Чарнецкая, будет безнаказанно делать всевозможные гадости и начнет в припадке своей дикости царапать своими когтями чью-нибудь душу, то и такую сумасшедшую убьют. Правосудие тут бессильно.

Заметили ли вы на погребальном богослужении один молитвенный припев: „Господи! Научи мя оправданиям Твоим”. Это значит, что каждый умерший, как бы он ни был чист перед своей совестью, все-таки грешен перед Богом. Но он не знает, как оправдываться, и он просит: „Господи! Научи мя оправданиям Твоим...” Он просит Бога придумать для него защиту... И я готов повторить эту молитву для Наумова»<sup>1</sup>.

Если в двух предшествующих примерах [2.5] и [2.6] защитники стремятся избежать слов «убийца» или даже «обвиняемый» применительно к подзащитному или выражения «покушение на убийство», которые предполагали бы согласие признать характер деяния, то в последнем примере в самом начале речи защитник признает квалификацию деяния, прямо называя его убийством, подзащитного – убийцей, а пострадавшую – «убитой им госпожой». Это означает, что факт установлен и как таковой более не подлежит обсуждению, что содержание факта определено, и это определение уже не может быть оспорено. Однако и факт, и определение обсуждаются, хотя центром этого обсуждения оказываются убийца и убитая – субъект и объект действия.

Предметом обсуждения оказываются:

- 1) субъект действия;
- 2) объект действия;
- 3) обстоятельства;
- 4) отношение субъекта и объекта в данных обстоятельствах.

При этом весьма показательно, что в субъекте ритор стремится обнаружить и собрать ряд присущих ему качеств, который, как целое, образует представление о своей уникальности – *свойство*. *Свойство* – уникальная особенность, на основе которой открывается возможность говорить об исключении из правила. То же ритор делает и с объектом действия.

<sup>1</sup> Андреевский С. А. Дело Наумова // Избранные труды и речи. Тула: Автограф, 2000. С. 233–238.

Вместе с тем ритор те же ряды характеристик обращает и к определению, для которого нужна, наоборот, общность качеств или признаков. Определяется, однако, не деяние, которое уже определено, а субъект и объект действия. Первый как «человек», вторая как «зверь». Эти образные определения дают основание оценки. Оценка же предполагает общее правило, норму, но уже не правовую, а нравственную.

Столкновение правовой и нравственной норм в условиях обоснованной уникальности участников события и утверждение примата нравственной нормы открывают возможность обращения отношения субъекта и объекта деяния: объект становится субъектом, а субъект – объектом. Такой смысловой переворот влечет за собой изменение отношения причины и следствия. При действующей причине (почему?) ответственность снижается, при конечной причине (зачем?) ответственность возрастает. Наумов изображается как слабый и добрый, Чарнецкая – как сильная и злая. Стало быть, действует Чарнецкая, причем с умыслом, а претерпевает Наумов, причем со смирением, а деяние Наумова предстает как следствие действующей причины – сознательной злой воли Чарнецкой, которая и в иных обстоятельствах привела бы к сходным последствиям.

Выходит, что в убийстве Наумовым Чарнецкой виновата злая Чарнецкая, а не добрый Наумов. Кроме того, добрый, живой, глупый Наумов вызывает жалость и заслуживает снисхождения; злая, умная, мертвая Чарнецкая не вызывает жалости, а снисхождение к ней уже не забота присяжных. Но убийство есть убийство, и аудитория ставится перед выбором: какое решение принять в отношении доброго убийцы Наумова с его уникальными качествами? Такова общая, наиболее распространенная схема техники переноса ответственности с субъекта действия на объект, например с убийцы на жертву.

Очевидно, что эта схема производит неблагоприятное впечатление софистики и манипуляции. Однако следует учесть, что без статуса оценки и вообще без конечной оценки решение любой гуманитарной проблемы, правовой, моральной, исторической, художественной, утрачивает смысл, а оценка предполагает понимание факта как в его сущности, так и в его уникальности, т. е. в его отношении к личности человека. Вот почему аргументация в статусе оценки предстает как наиболее сложная в техническом и в этическом отношении.

При этом техника статуса оценки, во-первых, наиболее близка к действию на основе решения, а во-вторых, действительно от-

крывает широкие возможности для софистики и манипулирования. Дело в том, что аргументы, особенно характерные для статуса оценки и основанные на топике, связанной с личностью, сравнениями и иерархиями ценностей, всегда является квазилогической: выводы статуса оценки лишь правдоподобны и принципиально не могут быть иными.

Для статуса оценки нет характерных категорий. В аргументации используется топика статуса установления, статуса определения, качественные и количественные сравнительные категории, т. е. весь арсенал топики.

Статус проблемы играет определяющую роль при ее постановке. Любая, а не только юридическая проблема требует правильного и точного нахождения статуса, в рамках которого она формулируется и решается. Если проблемы обсуждаются непоследовательно и мысль перескакивает к новому вопросу, не разрешив поставленные прежде, то окончательное решение, если даже оно будет принято, окажется несовершенным.

## Аудитория

Аудитория – совокупность лиц, к которым обращается ритор со своими предложениями и которые принимают решение о *согласии* с его аргументацией или о *присоединении* к его предложению.

Риторический подход к слову основан на принципе, в соответствии с которым в триаде *ритор – высказывание – аудитория* определяющим компонентом является аудитория. Идею риторики можно понять как «воспитание ритора» с позиции и в интересах аудитории. Аудитория – своего рода «коллективный субъект», который выносит суждение о высказывании ритора и о самом риторе по его высказываниям. Поэтому и риторика говорит о том, что должен делать идеальный ритор, в отличие от поэтики, которая не предписывает автору-художнику, что и как ему следует творить.

Однако аудитория организуется словом; в процессе речи аудитория изменяется и развивается. Обсуждение проблем создает различие мнений и точек зрения и выделяет тем самым в составе аудитории группировки людей, придерживающихся той или иной позиции в рамках общности. Аудитория меняется, и в ее динамике можно выделить реальную или актуальную аудиторию, т. е. состав

людей, непосредственно участвующих в акте речи, и круг людей, в котором распространяются и в ходе распространения преобразуются идеи, которые высказывает ритор, — *потенциальную* аудиторию. При этом потенциальная аудитория может активно влиять на актуальную. Так, судебный оратор обращается к составу суда, который и выносит непосредственное решение по делу, но состав суда включен в общество, частью которого он является и позицию которого он отчасти представляет. И сам предмет публичной речи остается таковым в той мере, в какой он подобен другим предметам публичной речи, причем качества такого подобия определяются культурой общества, к которому принадлежат и ритор и аудитория. В примере [2.5] названы такие качества подзащитного, как доброта, простота, смирение, терпеливость. По этим качествам аудитория отождествляет персонажа речи с другими людьми, а на основе отождествления оценивает и данное частное деяние, которое само по себе отождествляется по подобию не с человеком, а с механизмом — будильником.

Это соотношение ратора и аудитории остается одной из самых трудных этических и интеллектуальных антиномий риторики: аудитория выносит решение о высказывании и задает ратору правила содержания, уместности, построения его высказываний и даже определяет право ратора на публичную речь, а ритор не только управляет решениями аудитории, но и создает ее, организуя и формируя ее своим словом.

## Культурное состояние аудитории

Существенное значение для оценки проблемной ситуации имеет отношение аудитории к культуре<sup>1</sup>. В условиях печатной речи, а затем массовой коммуникации формируются соответствующие культурно-языковые группировки, которые являются аудиториями определенных видов словесности — народы, нации, международные и межнациональные образования. Вместе с тем аудитория может объединять представителей различных культурных группировок.

Ю. В. Рождественский выделяет следующие основные культурные образования, каждое из которых является типом аудитории и отличается от других наличием одних форм культуры и отсутстви-

---

<sup>1</sup> Здесь и в дальнейшем вопросы культуры и культурных конфликтов излагаются на основе работ: Рождественский Ю. В. Введение в культуроведение. М., 1996; Он же. Принципы современной риторики. М., 1999.

ем других. Культурным образованиям свойственны определенные устремления культурного строительства (отбор, присвоение, ассимиляция) и связанные с такими культурными устремлениями конфликтные ситуации<sup>1</sup>.

**Общество** — полное культурно-историческое образование с единой исторически сложившейся территорией, языками и культурой, системой общественных группировок, государственностью. Общество представляет собой аудиторию, которой свойственны все формы и виды культуры, в том числе и единая культура слова, т. е. единая система родов и видов словесности.

Языковые союзы<sup>2</sup>, образованные единой письменно-литературной словесностью, называются письменно-культурными ареалами<sup>3</sup>. Письменно-культурный ареал образует общество с единой системой коммуникации и обычно выходит за пределы наличных политических границ. Поэтому понятие общества является не узко политическим, а историко-культурным. В состав общества как единой аудитории могут входить различные культурные образования.

**Край** — определенная территория в пределах страны со сложившимися исторически географическими, экономическими и культурными границами, характеризуется наличием духовной и материальной культуры, например культура Калужской области.

**Этнос** — часть населения страны, объединенная самоназванием (русские, буряты, татары), общностью происхождения и исторической территорией, характеризуется наличием собственной духовной и физической культуры, например культуры русского или мордовского народа.

Этнос как общественная группировка определим с трудом: существуют этносы с различными типами и уровнями развития культуры, различного территориального распространения (например, цыгане, которые расселены по разным странам); язык также не характеризует этнос, поскольку многие этносы пользуются разными языками и меняют языки на протяжении своей истории. Существуют этносы, не имеющие собственного языка, но этногенез, т. е. формирование этноса, происходит как сложение определенного языка на определенной территории, поэтому автохтонным (коренным) является этнос, язык которого сложился на данной территории. При этом

<sup>1</sup> См.: *Рождественский Ю. В.* Принципы современной риторики. С. 33.

<sup>2</sup> *Трубецкой Н. С.* Вавилонская башня и смешение языков // История. Культура. Язык. М.: Прогресс. 1995. С. 327–338.

<sup>3</sup> См.: *Волков А. А.* Грамматология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 24–32.

на одной и той же территории могут жить несколько автохтонных (коренных) народов.

Но этнос объединен самоназванием и в основном фольклорными формами духовной культуры, которая, однако, включается в духовную культуру страны. Поэтому частная культура народа в пределах страны представляет собой этнический модус общенациональной культуры. Характеризуется этнос также особенностями физического строения своих представителей, которые связаны с культурными представлениями, определяющими брачные предпочтения и семейное воспитание, т. е. физической культурой.

**Землячество** – некомпактно живущая на территории страны группа выходцев из другой страны с этническим и культурным самосознанием, характеризуется наличием духовной культуры. Поскольку духовная культура осваивается через образование и обычно связана с особым языком или модификацией общего языка, она является относительно закрытой для других группировок. Эта закрытость духовной культуры и формирует определенный тип мировоззрения – ксенофобию (и противоположную ей этнофобию).

**Анклав** – компактно живущая и занимающая определенную территорию группа выходцев из другой страны с этническим самосознанием, характеризуется наличием материальной культуры. Поскольку анклав как население одной страны, компактно проживающее на территории другой, в отношении к культуре страны проживания не характеризуется единством форм духовной и физической культуры, основной политической идеей анклава является сепаратизм.

**Поколение** – совокупность жителей страны близкого возраста, характеризуется общностью физической культуры. Каждое новое поколение как культурное единство находится в отношении к другим (предшествующему, «отцам», и последующему, «детям») поколениям. Каждое новое поколение образует в первую очередь коммуникативное единство сверстников, для которого характерны новации в области речи. Поколение становится социальной группой, поскольку оно освоило безусловно необходимые исходные нормы культуры, которые делают человека человеком: язык и знаковые системы, непосредственно связанные с ним, но, вырастая, новое поколение стремится к самостоятельной деятельности.

Конфликтная ситуация, которая складывается между поколениями, состоит в том, что молодежь требует для себя самостоятельности действий и, стало быть, возможности распоряжаться материальными ценностями, а старшее поколение требует от молодежи, чтобы она

овладела культурой, которая обеспечивает правильность деятельности.

**Профессии** – общественные группировки по содержанию образования и рода деятельности. Профессиональные группировки объединены образовательной подготовкой (т. е. специальной физической культурой, в состав которой входят и приемы умственного труда).

**Классы** – общественные группировки по их положению в системе общественного производства, по роли в общественной организации труда и по характеру распределения общественного богатства. Классы, очевидно, имеют характерные черты культуры, как крестьянство, буржуазия, помещики, промышленные рабочие.

**Сословия** – общественные группировки по праву на определенные виды публичной речи и связанные с ними общественно значимые решения, т. е. на участие в различных формах общественного управления. Такое право может быть закреплено законом или обычаем, но оно всегда реально. Члены сословий, особенно высших, могут рекрутироваться различным образом: по происхождению, по уровню образования, по преданности определенной идеологии, но содержание культуры любого сословия, в первую очередь – нормы ведения речи. Член определенного сословия обязан говорить об определенных предметах определенным образом. Так, в дореволюционной России к высшим сословиям принадлежали дворянство, духовенство, купечество, и для каждой из этих группировок была выделена сфера принятия общественно значимых решений. В этом смысле помещики как классовая группировка отличались от дворянства как группировки сословной: дворяне могли не быть помещиками, но при этом сохраняли определенные культурные и правовые черты чисто сословного характера. После Октябрьской революции место высшего сословия заняла Коммунистическая партия, члены которой отличались от остальных граждан в первую очередь правом на совещательную речь в пределах партийных организаций, к которым они принадлежали и которые распределялись по производственно-территориальному принципу и имели контрольно-организационные функции. К сословию могут принадлежать представители различных классов, этносов, профессий, хотя такие сочетания профессионально-, этнически, классово-сословной принадлежности в различных обществах и культурах могут ограничиваться.

**Маргинальные группы**, например, уголовный мир и близкие к нему слои населения. В маргинальных группах, как в уголовном мире, су-

существуют свои культурные формы в виде этики, обычного права, фольклора, в которых выражается характерное для них мировоззрение. В принципе маргинальным группам свойственно отрицание ценностей культуры общества, которое проявляется в активной, как у уголовников, или в пассивной, как у бомжей, форме, отчего они и определяются в качестве маргинальных.

По мысли Ю. В. Рождественского, каждый из перечисленных типов культурных группировок<sup>1</sup> общества отличается от других наличием определенных аспектов культуры, физической, духовной и материальной, которые существуют и развиваются как присущие данной группе, а также определенными «культурными устремлениями», т. е. преимущественными установками развития культуры – отбором, присвоением, ассимиляцией.

Отбор предполагает, что реконструируются прецеденты и правила культуры, которые представляются актуальными, а из всей массы фактов текущей деятельности отбираются и видоизменяются новые образцы и нормы (мода).

Присвоение означает сбор, хранение, систематизацию и кодификацию фактов культуры. В результате этой деятельности изменяется ценность отобранных и собранных фактов культуры. Они приобретают новое (в том числе и новое экономическое) качество. Например, стоимость книги или картины при первом издании или при первой покупке картины может быть невелика. Но по мере использования произведения и последующих перепродаж его ценность может возрастать, что и отражается в нормах авторского права.

Ассимиляция означает приведение людей к культуре через образование, просвещение, воспитание дома и через следование традиции<sup>2</sup>. Такое предположение представляется не вполне верным. В культуру, например, этноса входит весь комплекс фольклорных форм: поверья и обычаи, обряд, речевой этикет, но также костюм, утварь, значительная часть архитектуры, не говоря уже о физической культуре. При этом хранение и трансляция этих культурных форм, естественно, остается в распоряжении данного этноса. В обществах, живущих в условиях дописьменной культуры, такая общая собственность, как культовые сооружения, иногда скот, как у масаев, – обычное явление. Духовная культура, свойственная профессиям, как некоторые специфические цеховые культы, технические

<sup>1</sup> Ю. В. Рождественский не включает классы и сословия в состав культурных группировок.

<sup>2</sup> См.: *Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики. С. 25.*

знания, этические нормы, существовала не только в Средние века в Западной Европе, но присуща и нашему времени — это этика военных, ученых и т. д. В любой из перечисленных групп нетрудно обнаружить специфические формы духовной, материальной и физической культуры, а сами группы будут различаться, скорее, функциями и содержанием культурных форм, чем их наличием или отсутствием.

Но поскольку современная аудитория обычно включает представителей различных культурных группировок, учет особенностей частных вариантов культуры и их сочетаний необходим.

Культурное состояние аудитории имеет определяющее значение для постановки проблемы: уместность речи и вынесения проблемы для обсуждения зависит от самосознания и идеологии аудитории. Характер аргументации и стиль речи строятся с обязательным учетом ценностей и интересов аудитории. В особенности это относится к критическим суждениям ратора в адрес той или иной политической или мировоззренческой идеи.

Поэтому даже совершенная на первый взгляд ораторская речь или публицистическая статья может оказаться неприемлемой для аудитории с точки зрения ее культурных установок и подвергнуться полемической критике, компрометации или умолчанию.

Кроме того, культурное состояние аудитории ограничивает круг проблем, в которых она способна вынести компетентное решение, что представляет даже еще большую опасность для ратора: некомпетентные сторонники и приверженцы могут оказаться более опасным и обременительным грузом для политика или моралиста, чем компетентные оппоненты.

От фактуры речи зависят объем и степень слитности аудитории. В зависимости от речевой фактуры (устной, письменной, печатной, электронной, компьютерных сетей) аудитории подразделяются на сосредоточенные (ораторские) и рассредоточенные (аудитории письменной, печатной речи и массовой коммуникации).

## Численность аудитории

К **малым** относятся аудитории, в которых возможен непосредственный диалог. Особенности работы в малых аудиториях состоят в том, что каждый участник общения легко включается в речь. Поэтому малые аудитории используются для продолженной речи — обучения, собеседований, совещаний. Конкретные решения принимаются обыкновенно в малых аудиториях.

К **средним** относятся аудитории, в которых ритор может использовать ораторский речевой регистр, создающий границу между ним и слушающими. Для оратора средняя аудитория наиболее благоприятна, потому что легко обозрима, не требует максимального использования ресурсов голоса и тем самым допускает маневр темпом и громкостью речи, интонацией, взглядом и жестом. Непосредственный диалог в средних аудиториях затруднен, поэтому для организации диалогической речи они членятся на группы по несколько человек.

Средние аудитории, как и малые, предпочтительны как для продолженных видов речи — преподавания, проповеди, политической пропаганды, в которых сочетаются монолог и диалог, — так и для оратории, т. е. однократной неповторяющейся речи.

К большим относятся аудитории до нескольких сот и даже тысяч человек. Верхний предел больших аудиторий определяется обозримостью и досягаемостью голоса или усилителей звука при непосредственном контакте говорящего с публикой.

Возможности ораторской речи в больших аудиториях ограничены, поскольку сильное напряжение голоса, как и использование электронной аппаратуры, стесняет маневр громкостью звука, темпом речи и интонацией, а видно риторично плохо. Диалогическая речь и сложная аргументация в больших аудиториях невозможны.

**Большие** аудитории слабо организованы и подвержены коллективной эмоции. Поэтому выступление перед ними требует в основном личной энергии, мощного голоса и умения сообщить в простой образной форме то, что публике хорошо известно и по поводу чего она готова выразить всеобщее мнение возгласами одобрения или порицания.

**Рассредоточенная** аудитория представляет собой среду общения, которая образуется в основном средствами печатной речи или радиотелевизионной передачи информации. Для таких аудиторий характерны получение сообщений поодиночке или малыми группами и иерархическая организация, создаваемая различными видами устной и письменной речи.

Работа с рассредоточенными аудиториями предполагает специальную сеть речевых отношений и разделение труда речедеятелей: для книгоиздания нужны автор, издатель, книготорговец, распространители и т. д. Кроме того, использование письменной и печатной речи возможно только в специально подготовленной и обученной читательской среде.

Письменная или печатная речь сопряжена с устной, а качества устной публичной речи в условиях письменного общения изменяются, так как возникает необходимость в ее периодическом продолжении. Видами такой устной речи, вводящей письменные произведения, являются педагогическая речь, проповедь, различные виды устной пропаганды. Поэтому ритор, которому приходится работать с рассредоточенной аудиторией, а следовательно, сочинять статьи, брошюры или книги, должен учитывать степень ее подготовленности. И вместе с тем писатель и журналист должны уметь читать публичные лекции, вести занятия, беседы, дискуссии.

Массовая аудитория представляет собой многомиллионную слабоорганизованную и неустойчивую среду общения, которая создается системой средств массовой информации. Границы массовой аудитории подвижны и могут совпадать с ареалом распространения национального, межнационального или мирового языка. Современная массовая аудитория расширяется в мировых масштабах и становится глобальной; при этом обнаруживается тенденция ее превращения в англоязычную с использованием других языков в качестве своеобразных переводных эквивалентов английского.

Массовая аудитория охватывается информационными источниками разных уровней от глобальных в виде международных телерадиовещательных корпораций и информационных сетей (Интернет) до региональных и локальных в виде национальных и местных телекомпаний, газет, информационных сетей, рекламных агентств и т. п.

## Однородность и разнородность аудитории

**Однородными** являются аудитории, объединенные на основе общности мировоззрения; такая общность может быть конфессиональной, политической, профессиональной и т. п. Мировоззренческая общность аудитории предполагает обращение к значимым для нее идеям и ценностям, с которыми связывается содержание речи. Например, при обращении к ученым или студентам естественно будет связать тему речи с наукой, а при обращении к юристам — с правом.

**Разнородными** являются аудитории, объединенные на основе интересов или общности проблем. Для разнородных аудиторий характерны отсутствие единого мировоззрения и множественность подходов к предлагаемым решениям. Общими ценностями таких аудиторий оказываются правила ведения речи, принятые в культуре

общества, а также признание прагматических, материальных ценностей как универсальных.

Преимущество однородной аудитории состоит в том, что ее реакция на аргументацию предсказуема, а недостаток — в том, что убеждения и интересы аудитории могут расходиться с убеждениями ратора и его аргументация будет восприниматься негативно и отторгаться.

## Конвенциональность аудитории

Поскольку решения часто принимаются разнородными аудиториями и сам по себе характер решения требует определенного соглашения о приемах и доказательности аргументации и специальной подготовки, некоторые аудитории формируются и институционализируются на основе конвенции.

Конвенциональными являются аудитории, объединенные техническими правилами речи, которые рассматриваются как общепринятые. К конвенциональным аудиториям относится, например, судебная коллегия: существуют нормы доказательства и опровержения, на основе которых суд принимает решения, поэтому критика речи в суде исходит из установленных норм доказательности. Следует отметить, что юристы или ученые, в особенности естествоиспытатели, бывают склонны рассматривать такие конвенциональные нормы юридической или научной аргументации как универсальные и общеобязательные, что существенно осложняет задачи ратора.

## Ритор

### Образ ратора

Образ ратора — представление общества о раторе, которое складывается на основе его высказываний, действий и оценок его деятельности.

Образ ратора складывается постепенно. Произведение риторической прозы содержит ряд образов, среди которых образ говорящего или пишущего — субъекта речи — занимает главное место. Но этот образ вступает в сложные отношения с другими образами риторического произведения и сам по себе предстает в определенном

качестве — пропагандиста идеи, специалиста, объективного наблюдателя, житейски опытного человека и т. д. Вместе с тем изображение проблем, конкретных лиц, обстоятельств, общества или его частей вступает в смысловые отношения с собственным образом субъекта речи, который оценивается в зависимости от того, как он представляет себя в этом окружении.

Поскольку тематический круг выступлений, как и круг речевых жанров, ограничен, в аудитории складывается впечатление о речевой, предметной, общекультурной компетентности определенного человека — публичного деятеля, которого можно назвать *ритором*<sup>1</sup>, о его этических качествах, основательности и достоверности сообщаемой им информации и приемлемости аргументов, умственных способностях, значимости в той сфере публичной деятельности, где он подвизается. Предлагаемые им решения, его мировоззрение, которое выражается в речах и поступках, также подвергаются оценке. Дискуссия и полемика, в которые он неизбежно вступает, вызывают ответные реакции различных авторов и источников не только их мнениями, но и общественным авторитетом, самим фактом дискуссии с этим лицом включающих его в определенный круг публичных деятелей. В результате складывается образ ритора. Начиная с некоторого момента изменить общественное мнение о риторе практически невозможно, тем более что сам он постепенно срастается со своим образом.

Но все эти оценки осуществляются в рамках конкретного общества с его культурой. В обществе всегда существует некий образ идеального ритора, даже если он не осознается отчетливо. Этот идеальный образ исторически изменчив, но определенные черты его сохраняются в культуре тысячелетиями.

Так, образ античного оратора определялся требованиями, предъявляемыми в основном к ораторской речи, которая не только играла

---

<sup>1</sup> Слово «ритор» греческого происхождения и означает то же, что слово «оратор» латинского происхождения; каждое из этих слов имеет в русском языке дополнительные значения: слово «оратор» связывается в основном с устной публичной речью, а слово «ритор» имеет значение человека, склонного к утомительным наставлениям и поучениям, пустослова: «Тут ритор мой, дав волю слов теченьям, не оставял кота нравоученьем» (И. А. Крылов). Очевидно, для обозначения авторского «я» отправителя устного или письменного высказывания удобно использовать выражение «субъект речи», а для обозначения общественного деятеля, который систематически высказывается публично, — слово «ритор», если имеется в виду отдельный человек. Если же имеется в виду субъект речи — отдельное лицо или группа лиц, организация, как редакция газеты или учреждение, наиболее приемлемым представляется выражение «речедеятель».

основную роль в политической жизни античного общества, но и оставалась наряду с другими видами риторической прозы – философией, историей, эпистолярной прозой, отчасти поэзией – предметом чтения вплоть до появления романа и вообще литературы вымысла. Определяющая роль оратории снижается в I в., когда в творчестве Сенеки, Тацита, Петрония и других авторов складывается письменная риторическая проза и литература художественного вымысла, а общественная роль совещательной ораторской речи снижается, уступая главное место судебной и показательной речи. Наиболее влиятельной формой словесности становится письменная литература: развивается система образования на латинском языке, а «Энеида» Вергилия становится фактом государственной идеологии. Во второй софистике со множеством бродячих ораторов и с их речами о мухе или паразите, опоздавшем на обед, и т. п. в оратории образуется нечто подобное современным СМИ. Соответственно изменяется и характер требований к ритору, риторический идеал расслаивается, принимает иные формы, сохраняя, однако, существенные черты, которые задавались культурной традицией.

После принятия христианства представление риторического идеала определяется новым видом устно-письменной речи, гомилетикой и христианской апологетической литературой, но при этом устойчиво проявляются основные черты литературного образа ратора, сформулированные еще Цицероном, о чем довольно явно свидетельствуют высказывания Отцов Церкви об ораторском искусстве<sup>1</sup>. Основные черты этого образа видоизменялись, но иногда и восстанавливались в виде, близком к первоначальному, как в эпоху Возрождения или в начале XX в., и сохраняются в наше время со всеми историческими наслоениями и превращениями, несмотря на стремление современного общества, тоже, впрочем, не новое, осмыслить себя как нечто совершенно оригинальное.

Образ ратора связан с культурной нормой, определяющей в первую очередь этическое право на публичную речь, и регулирует основные правила использования форм публичных высказываний – родов, видов и жанров словесности – и способов риторической аргументации, которые признаются приемлемыми для тех или иных видов публичной речи и обозначаются в риторике терминами *этнос*,

---

<sup>1</sup> См., например: *Иоанн Златоуст. Речи о священстве* // Творения св. Отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. Т. 1. Кн. 2. М.: Православная книга, 1991. С. 423–446.

*пафос*, *логос*<sup>1</sup>. Этос, логос, пафос соответствуют основным функциям речи – экспрессивной, коммуникативной и оценочной.

**Этос** – совокупность норм, на основе которых аудитория оценивает ратора по речи. Этос проявляется в жанровом, функциональном и историческом стилях, в которых осуществляется речь, а также в требованиях к характеру аргументации и направлен от аудитории к создателю речи, который обязан учитывать принятые в обществе правила словесности и нормы построения аргументации – уместность высказывания. Поэтому этос является центральной категорией риторики.

**Пафос** проявляется в авторском замысле и индивидуальном стиле речи, он направлен от создателя высказывания к аудитории. Содержание пафоса – мысль-воление, направленная на принятие решения.

**Логос** – система целесообразных средств выражения замысла речи и его обоснования в форме, приемлемой и убедительной для аудитории. Логос представляет собой тот специфический язык, вторичную знаковую систему, модели которой обеспечивают понимание высказывания. Поскольку риторическая проза по своему назначению содержит спорные высказывания, а адресат публичного высказывания – аудитория – оценивает их и принимает решения в условиях судебного или политического дискурса, пропозиции риторических высказываний должны быть рационально обоснованы, логос риторической прозы предстает в виде аргументации, т. е. системы средств в основном рационального убеждения аудитории, в которую, однако, входят и средства эмоционального характера, поскольку рационально-логическая и художественно-эмоциональная составляющие риторической прозы слиты в единое целое. Вся совокупность средств убеждения приобретает определенные формы организации – стиль риторической прозы. Логос поэтому оказывается общим для создателей и получателей высказывания в пределах данного общества.

Этос, пафос и логос и выражаются в речи ратора даже независимо от его намерения. Аудитория всегда оценивает общественного деятеля по тому, к чему он стремится в своих речах; каковы его умственные возможности и достаточны ли они для успешного решения задач, которые он ставит перед собой; насколько этичен ритор и следует ли доверять его заявлениям. Поэтому компетентный ритор

<sup>1</sup> См.: *Рождественский Ю. В.* Теория риторики. С. 69–70.

резво оценивает и контролирует свои цели, возможности и нравственное содержание высказываний.

При анализе проблемной ситуации и при разработке темы ритор принимает во внимание как свои возможности, так и те черты своего образа, которые могут проявиться в речи. Поэтому он выбирает такой предмет речи, строит такой тезис и отбирает такие аргументы и средства выражения, чтобы его индивидуальный образ в глазах аудитории максимально соответствовал ее представлениям об идеальном образе ратора. Следование этому риторическому идеалу является важнейшей предпосылкой приемлемости аргументации и влиятельности речи, поскольку от доверия и симпатии к ратору зависит доброжелательное или настороженное отношение аудитории к содержанию речи.

Индивидуальный образ ратора складывается в его практической деятельности и во многом зависит от культуры аудитории, к которой ритор обращается. Аудитории с высокой культурой формируют влиятельный образ ратора, аудитории с низкой культурой формируют образ ратора, сомнительный с точки зрения пафоса, логоса и этоса, поскольку ратору всегда приходится в большей или меньшей степени подстраиваться под аудиторию.

С другой стороны, и аудитория является продуктом речевых действий ратора: в ходе продолженной речи (например, духовной или учебной гомилетики) в аудитории происходят существенные изменения: одна часть ее меняется в ходе речи, другая покидает ратора, третья постепенно прибывает и осваивается с аргументацией.

Это развитие аудитории срастается со становлением образа ратора. В результате ритор и аудитория в определенный момент развития аргументации обнаруживают, что оба отражающие друг друга образа — образ ратора и образ аудитории — в своих основных чертах сложились и их, оказывается, можно достаточно точно охарактеризовать. Это будет означать, что у ратора более широкая *потенциальная аудитория*: найдутся группы людей, которые по тем или иным причинам станут искать контакта с ним.

## Этос

### *Главная этическая проблема*

Главная этическая проблема риторики заключается в отношении риторического этоса к нормам нравственности.

Риторику небезосновательно обвиняли и обвиняют, с одной стороны, в том, что она обучает технике воздействия словом, которая

позволяет некомпетентному и недобросовестному человеку говорить убедительно и тем самым добиваться успеха в обществе, а с другой — в том, что она создает безответственное общество, которое под воздействием эмоции готово принимать безнравственные и вредные для себя мнения. Любое общество, располагает оно риторикой как отдельной наукой и предметом образования или нет, предпочитает понимать «истину и справедливость» в соответствии со своими материальными и политическими интересами и склонно легкомысленно закрывать глаза на последствия решений, которые принимает, а потому любит демагогов. Сама по себе риторика не панацея от врожденных пороков человека; как говорит народная мудрость, «на зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Но риторика весьма полезна как средство понимания публичного слова и как составная часть системы образования. Поскольку риторика всего лишь наука, она не претендует на роль нравственного учения — это дело религии и в некоторой мере философии, как о том учил еще божественный Платон. Более того, преподавание риторики предполагает не только владение нормами литературного языка, начитанность в художественной литературе и ее понимание, но и знание религиозной культуры, истории, географии, права, основ философии в виде гносеологии, этики, эстетики, политики и логики, а также математики и, хотя и в меньшей мере, естественных наук. Но при всем этом запасе знаний, умений и навыков требуется еще правильное семейное воспитание, которое формирует страх Божий и любовь к ближнему, скромность, ответственность, добросовестность, на основе чего и возможны всяческие «философские добродетели». Что же касается риторики, в частности риторического этоса, то он предполагает знание, т. е. правильное семейное и религиозное воспитание и владение основами культуры общества, необходимые для понимания тех требований, которые общество предъявляет риторам. *Риторический этос содержит учение о том, как нравственные установки должны проявляться в публичной речи.*

С самого своего возникновения риторика ограничивает свой предмет спорными пропозициями, которые должны обсуждаться адресатом речи. Это значит, что автор риторической прозы должен строить публичные высказывания таким образом, чтобы ее адресат был в состоянии понять замысел высказывания, оценить его и вынести решение. При этом эмоциональная составляющая риторической прозы также может быть подвергнута рациональной рефлексии со стороны адресата. Риторика как учение о слове в одинаковой мере обраще-

на к создателю и получателю высказывания, и все ее категории, например фигуры речи, рассчитаны как на технику создания высказывания, так и на технику его анализа. Поэтому риторика начинается и заканчивается там, где начинаются и заканчиваются возможности свободной воли человека. Там же, где действие слова принудительно, какими бы мотивами и обстоятельствами эта принудительность ни объяснялась, проходит граница применения риторики. И в этом состоит этическая составляющая философии риторики.

В риторической этике можно выделить три аспекта: нравственное самосознание ратора, профессиональную риторическую этику, риторический идеал как требования общества ко всякому, кто обращается к нему с публичным словом и поэтому претендует управлять деятельностью этого общества. Нравственное самосознание человека остается основой для освоения им как профессиональной этики, так в особенности духовно-культурной стороны риторического этоса, но оно не является предметом риторики и, следовательно, в риторике не рассматривается.

*Профессиональная этика*, так называемые ораторские нравы являются своего рода технической нормой, правилами ведения публичной речи, на которых строится необходимое доверие к публичному слову и его автору. Ораторские нравы в значительной мере представляют собой общие требования к стилю, включающие культуру речи, знание того, что и каким образом можно высказать и, главное, о чем следует умолчать. Они проявляются в *честности, скромности, доброжелательности и предусмотрительности*. Эти важные категории относятся к искусству слова, в следовании им проявляются речевой такт и интуиция: даже имеющий лучшие намерения может выглядеть неэтичным в глазах публики. Ораторские нравы предполагают качества ратора, которые непосредственно выражаются в слове и замечаются аудиторией, а потому могут представляться и часто оказываются лишь видимостью.

*Риторический идеал* является продуктом развития духовной культуры общества, ожидающего в писателе или ораторе тех личных качеств, которые каждый хотел бы видеть если не в себе самом, то в человеке, обладающем высоким нравственным достоинством и авторитетом. Такой авторитет дает моральное право на власть — признание зависимости. Этот риторический идеал теснейшим образом связан с двумя другими аспектами риторического этоса, поскольку он рождается от личной нравственной культуры ратора и как об-

щественная норма определяет конкретное содержание ораторских нравов.

### *Ораторские нравы*

**Честность.** Честность — *основное* этическое качество ратора, связанное с принципом личной ответственности за содержание и форму высказывания.

В части содержания главная и самая сложная проблема честности — *истинность и достоверность высказываний*. Если предмет публичной речи — факты, а сама речь обращена к прошлому, данные о фактах практически всегда оказываются неполными, а достоверность свидетельств — сомнительной. Изображая картину факта, автор почти неизбежно реконструирует ключевые элементы этой картины. Такое изображение факта основано на интуиции и личных оценках, степень правдоподобности которых зависит, с одной стороны, от опыта и языковой картины мира аудитории, а с другой — от уровня компетентности автора.

Аудитория должна обладать достаточным опытом, чтобы воспроизвести в своем воображении ход и детали события таким образом, чтобы оценить его картину как правдоподобную. Поэтому степень правдоподобия сообщаемой информации в значительной мере определяется компетентностью аудитории. А это значит, что словесная ткань изображения должна создать чувственный образ, черты и особенно значимые детали которого будут совпадать с ее представлением. Это стилистическая задача. Вместе с тем рассказ человека, обладающего профессиональными знаниями о предмете речи и широким жизненным опытом, сам по себе будет восприниматься как достоверный, даже если он будет содержать неожиданные сведения. Но это тоже стилистическая задача — тактично представить в глазах аудитории собственный опыт как достоверный и объективный. И чем более интересным и захватывающим будет рассказ, тем более правдоподобным он окажется. Любое утверждение, не соответствующее фактам, известны они в данный момент аудитории или нет, разрушит доверие к рассказчику. Но поскольку часто сообщаются недостаточно достоверные обстоятельства, то они и должны получить соответствующую оценку и с уместной осторожностью включаться в ткань повествования.

Таким образом, *компетентность как условие честности* складывается из жизненного опыта ратора, его предметной компетентности, языковой компетентности, реальной достоверности сообщаемой информации.

Особое значение имеет *логическая корректность аргументации*. Риторические аргументы строятся как на основе форм, которые приводят лишь к правдоподобным выводам, так и на основе доказательных умозаключений. Логическая форма отдельного аргумента часто не осознается аудиторией или может иметь для нее второстепенное значение. Здесь также многое зависит от компетентности аудитории. Но если рассмотреть вопрос с точки зрения аргументации в целом, то в хорошей аргументации основные аргументы строятся как доказательные, т. е. с соблюдением требований логики. Вспомогательные аргументы могут быть более слабыми в логико-семантическом смысле, но именно такие аргументы часто оказываются наиболее убедительными.

Судебный оратор доказывает несостоятельность улик и свидетельских показаний, алиби, несоответствие обвинения статье закона и т. п., но, изображая личность подзащитного, он прибегает к топам типа «хороший человек не совершает дурных поступков». Подобные аргументы строятся на индуктивных посылах и часто в виде описания-портрета, которое убеждает своей изобразительностью. В таком случае логически сомнительный аргумент может оказаться особенно убедительным и уместным как завершение аргументации. Более того, он укажет и на отношение к проблеме самого автора, которого можно будет счесть человеком пускай несколько наивным, но заслуживающим доверия.

Логическая корректность как таковая существенна и в том отношении, что она создает *влиятельность* слова. *Эффективно* риторическое произведение, если оно вызывает непосредственную желательную автору реакцию конкретной аудитории. Но сама по себе эффективность речи не только не создает этический образ ратора, но даже может компрометировать его: в красноречии содержится известная доля краснобайства, которое оказывается особенно заметным при трезвой оценке высказывания. Логическая корректность как определенность, последовательность и доказательность аргументации создает образ, может быть, суховатого и педантичного, но надежного автора, который продумывает свои мысли, тщательно готовит публичные выступления и «слов не тратит по-пустому».

Логическая корректность аргументации есть одновременно проявление уважения к аудитории и указание на ответственность получателя речи за личную компетентную оценку ее содержания и формы. Если эмоция коллективна, то критическая оценка содержания индивидуальна: доказывая, обращаются не ко всем вместе, а к каждому

в отдельности, и этот «каждый» будет относиться к автору так же, как автор относится нему.

Личная ответственность за содержание и форму публичного высказывания — главный принцип профессиональной риторической этики.

Публичное высказывание представляется продуктом творческой деятельности личности, и в риторической прозе личность проявляется в наибольшей мере. В отличие от литературы художественного вымысла, где образ автора предстает как продукт художественного творчества, т. е. вымышлен, как и другие художественные образы, образ автора риторической прозы максимально слит с реальным человеком, создающим высказывание, и соотнесен с этическими нормами общества. Поскольку высказывание является продуктом замысла конкретного автора, который выражает свою личную позицию в отношении проблемы, имеющей значение для общества, обосновывает решение проблемы и предлагает также конкретным людям присоединиться к его предложениям, понятно, что такой автор должен нести ответственность за то, что он предлагает, и за то, как он это делает. Наряду с аудиторией он несет ответственность и за последствия своих предложений.

Возможности ратора, безусловно, ограничены условиями публикации, правовыми и моральными нормами общества, состоянием дискуссии о проблемах, к которым он обращается, реальной доступностью средств публикации.

**Скромность.** Скромность — редкое слово в современном общественном обиходе. Между тем качество скромности имеет существенное значение особенно для современного общества с его эгалитарными ценностями и устремлениями. В обществе, где доминирует иерархическая, например сословная, идеология, право на публичную речь зависит от принадлежности автора к говорящим (духовенство, дворянство, купечество), но не молчащим (крестьяне, мещане) условиям. В обществе с демократической идеологией, где все имеют принципиально равное право на публичную речь, реальный доступ к публичной трибуне в виде ли массовой информации, книжных или журнальных публикаций, университетской кафедры, микрофона на деловом совещании определяется участием в корпорации публичных деятелей, рекрутирующих в свою среду новых членов на основе идеократического отбора, профессиональной или речевой компетенции, личных связей и имущественного положения. Для демократии существует Интернет, где кто угодно может высказываться о чем угодно.

Однако Интернет в его демократической части эффективен, но не влиятелен: влиятельны только те ресурсы, которые основательно финансируются и отображают корпоративную идеологию.

В этой эгалитарно-демократической социальной ситуации непосредственное отношение автора к аудитории в виде признания последней права автора создавать влиятельные высказывания оказывается сложным. Дело в том, что та «культурная» среда, часть корпорации имеющих доступ к электронным фактурам речи, функция которой состоит в рекламе товаров и услуг: спортсмены, топ-модели, киноактеры, певцы и певицы, телеведущие и т. п., действует в основном невербальными средствами, а если и вербальными, то с очень существенными ограничениями по части содержания. Так что скромность здесь решительно неуместна.

Однако за пределами медийной среды остаются источники публичной речи, которые обладают реальной влиятельностью. И для ратора здесь открывается богатое поле применения его идей и способностей, хотя сам он не всегда заметен. Он действует в кругу других речедеятелей, в котором обнаруживается жесткая конкуренция за влиятельность в аудитории. Здесь-то скромность и оказывается инструментом профессиональной этики. Опыт риторической прозы последних полутора десятилетий показал замечательные результаты в сфере именно скромности.

Целый ряд политических партий и общественных движений, влиятельных в обществе в 1990-х гг., постепенно снижаясь в общественных оценках, оказался в последние годы фактически на положении маргинальных групп, вызвав к себе аллергию общества. Можно назвать главные причины такой сокрушительной динамики влиятельности:

- 1) отрицание продуктивной ценности отечественного исторического опыта;
- 2) обращение к западным моделям устройства общества как к непрекаемому авторитету;
- 3) отрицание позитивного содержания в высказываниях политических оппонентов;
- 4) отсутствие единства и организации в конструктивных действиях.

Эти группы объединяются в оппозиционных акциях различного рода, но их лидеры подвергают друг друга уничтожающей критике и не могут создать единый организационный центр и дисциплинированную среду сторонников. При обилии публичных высказываний, при тематической и стилистической неуместности выступлений, при эристической полемике и критике, при жанровой неопределенности

речи складывается речевая ситуация, в которой чем больше объем публичной речи, тем сильнее самокомпрометация. Перечисленные причины (но имеются и иные) прямо относятся к скромности как проявлению риторического этоса.

Уважение к аудитории, внимание к высказываниям оппонентов, обоснованность и ограничение критики – проявления скромности как профессионального достоинства ратора.

*Уважение к аудитории* проявляется в первую очередь в использовании топики высоких уровней иерархии. Высшими уровнями иерархии топов были и остаются религия, наука и философия, искусство, национальный исторический опыт.

Обращение к авторитету и к аудитории как к источникам посылок само по себе свидетельствует о скромности – о признании инстанции более значимой, чем мнение субъекта речи. Сведение аудитории с авторитетными инстанциями в еще большей мере придает ей значение, но и ставит перед ответственностью более высокого уровня.

Сам по себе факт обращения политического деятеля, судебного оратора, в особенности по уголовным делам, публициста *к истинам религии как посылкам аргументов* свидетельствует, во-первых, об определенном отношении автора к жизни и, во-вторых, об уверенности автора в том, что и сама читающая или слушающая аудитория имеет высокие духовно-нравственные идеалы. Тем самым автор предстает как заслуживающий, по крайней мере, большего доверия, чем те, кто апеллирует к материальным или эгоистическим интересам, а аудитория, к которой он обращается, обретает в собственных глазах высокий моральный статус.

При этом существенное значение имеют и вероучительное содержание таких апелляций, и та культурно-религиозная традиция, которой принадлежит аудитория. Положения вероучения, определяющие отношение человека к Богу, к другим людям и к самому себе, неодинаковы в религиях. Содержание таких положений имеет самостоятельное значение, определяемое их внутренним смыслом, который направляет и организует нравственное суждение. Поэтому имеет существенное значение, к топике какого именно религиозного учения обращаются. Обращение же к топике культурно-религиозной традиции, которой принадлежит аудитория, означает признание автора «своим».

*Обращение к топике науки и философии* имеет важное этическое значение, но при определенном отношении к научному и фило-

софскому знанию и при определенном отборе положений, которые используются в качестве топов. Это имеет отношение в первую очередь к гуманитарному и естественно-научному знанию. Обращение к топике естественной науки и тех общественно-научных теорий, которые ориентируются на естественно-научные методы, как раз неблагоприятно для риторической этики.

Так, в первые годы перестройки государственные деятели — экономисты, сторонники рыночной экономики — в критике социализма и в обосновании необходимости перехода к рыночной экономике постоянно обращались к авторитету экономической науки с ее «объективными законами» и к нарушению этих законов при социалистическом волевым управлением производством и финансами. Предъявляя претензии на научную компетентность и способность «научно» управлять обществом, они скоро скомпрометировали и свои идеи либеральной экономики, и самих себя, поскольку переход на указанные рельсы привел к параличу народного хозяйства.

Основа метода гуманитарной науки состоит в научном обобщении опыта искусства, например, искусства управления финансами и производством, военного искусства, художественного искусства. Поэтому надежность выводов и особенно прогнозов в любой гуманитарной сфере всегда определяется «человеческим фактором» — личной компетентностью, искусностью тех, кто эти выводы и прогнозы применяет в практике. Но всякое искусство исторично, оно проявляется в деятельности конкретного общества. Поэтому и прецеденты, которыми обосновываются предлагаемые решения, должны относиться к истории данного общества.

*Обращение к национальному историческому опыту* как прецеденту предлагаемых решений, означает признание ценности культуры самого общества, которому предлагают принять конкретное предложение. Общество, которое ценит собственную историю как совокупность накопленного государственного, правового, политического, научного опыта в прецедентах решений в сходных ситуациях, продуктивно и независимо. Обращение к зарубежному опыту как образцам решений, противопоставляемых национальной традиции, приводит к дезорганизации общества и к компрометации автора:

«Но какое положение по отношению к европейскому шовинизму и космополитизму должны занять неромано-германцы, представители тех народов, которые не участвовали с самого начала в создании так называемой европейской цивилизации?»

Эгоцентризм заслуживает осуждения не только с точки зрения одной европейской романо-германской культуры, но и с точки зре-

ния всякой культуры, ибо это есть начало антисоциальное, разрушающее всякое культурное общение между людьми. Поэтому если среди неромано-германского народа имеются шовинисты, проповедующие, что их народ — народ избранный, что его культуре все прочие народы должны подчиняться, то с такими шовинистами следует бороться всем их единоплеменникам. Но как быть, если в таком народе появятся люди, которые будут проповедовать господство в мире не своего народа, а какого-нибудь другого, иностранного народа, своим же соплеменникам будут предлагать во всем ассимилироваться с этим „мировым народом”? Ведь в такой проповеди никакого эгоцентризма не будет, — наоборот, будет эксцентризм. Следовательно, осудить ее совершенно так же, как осуждается шовинизм, невозможно. Но, с другой стороны, разве сущность учения не важнее личности проповедника? Если же господство народа А над народом В проповедовал представитель народа А, это было бы шовинизмом, проявлением эгоцентрической психологии, и такая проповедь должна была бы встречать законный отпор как среди В, так и среди А. Но неужели все дело совершенно изменится, лишь только к голосу представителя народа А присоединится представитель народа В? Конечно, нет; шовинизм останется шовинизмом. Главным действующим лицом во всем этом предполагаемом эпизоде является, конечно, представитель народа А. Его устами говорит воля к порабощению, истинный смысл шовинистических теорий. Наоборот, голос представителя народа В, может быть, и громче, но, по существу, менее значителен. Представитель В лишь поверил аргументу представителя А, уверовал в силу народа А, дал увлечь себя, а может быть, и просто был подкуплен. Представитель А ратует за себя, представитель В — за другого: устами В, в сущности, говорит А, и поэтому мы всегда вправе рассматривать такую проповедь как тот же замаскированный шовинизм.

Все эти рассуждения, в общем, довольно бесцельны. Такие вещи не стоит долго и логически доказывать. Всякому ясно, как бы он отнесся к своему соплеменнику, если бы тот стал проповедовать, что его народу следует отречься от родной веры, языка, культуры и постараться ассимилироваться с соседним народом, скажем, с народом Х. *Всякий, конечно, отнесся бы к такому человеку либо как к сумасшедшему, либо как к одуроченному народом Х типу, утратившему всякое национальное самолюбие, наконец, как к эмиссару народа Х, присланному вести пропаганду за соответствующее вознаграждение* (курсив мой. — А. В.)»<sup>1</sup>.

Итак, использование топов высоких уровней иерархии означает, что автор признает компетентность аудитории, которая является частью общества или обществом в целом, как и компетентность каждого своего читателя, в оценке его, автора, предложений и аргу-

<sup>1</sup> Трубецкой Н. С. Европа и человечество // История. Культура. Язык. М.: Прогресс-Универс, 1995. С. 62–63.

ментов и что автор не является аудитории как некий *deus ex machina*, обладающий правом поучать и наставлять ее.

*Внимание к высказываниям оппонентов.* Риторическая аргументация предполагает возможность множества решений проблемы, из которых аудитория принимает оптимальное для себя. Это значит, что речедеятели, за которыми признается право на публичную аргументацию, рассматриваются как заслуживающие внимания. Любой из авторов, участвующих в обсуждении, является частью аудитории. Поэтому отношение автора к альтернативным предложениям указывает на правомерность равного отношения к его аргументации.

*Обоснованность и ограничение критики.* Критические высказывания в явном или неявном виде являются частью риторического произведения, поскольку в его строе фигурирует образ оппонента. В соответствии с целями и типами риторической аргументации выделяются три разряда критики — *дискуссия, полемика, эристика, являющаяся разновидностью последней*. Все три разновидности критики применяются в риторической прозе, но для современной аргументации особенно характерны две последние — полемическая и эристическая.

Различие между дискуссией, полемикой и эристикой состоит в следующем: цель дискуссии — переубеждение оппонента, который в таком случае совпадает с аудиторией, поэтому для дискуссии характерна диалектическая аргументация; цель полемики — убеждение аудитории в несостоятельности оппонента, а цель эристики — его компрометация.

В техническом отношении все три вида критики сходны, однако в полемической и эристической критике широко используются аргумент к человеку, аргумент к незнанию («сделайте лучше»), а также различные приемы компрометации оппонента, такие как лексические характеристики, прямые и скрытые сопоставления и т. п. Что касается различия полемической и эристической критики, оно состоит в использовании в последней различного рода приемов воздействия и манипуляции, например, явных и скрытых угроз, подмен тезиса, посылки, вывода, словесных характеристик, топических позиций — субъекта, объекта действия, обстоятельств, времени, места и т. д., — которые, по существу, представляют собой уже настоящие софизмы. Следует, однако, отметить, что большая часть такого рода приемов применяется во всех видах критики. По словам Лейбница,

«аргумент *ad ignorantiam* хорош в случае презумпции, когда разумно придерживаться известного мнения, пока не будет доказано против-

ное. Аргумент *ad hominem* (к человеку) имеет то значение, что он показывает, что одно из двух утверждений ложно и что противник так или иначе ошибся. Можно было бы привести еще другие аргументы, которыми пользуются, как, например, тот, который называют *ad vertiginem* (к головокружению), когда рассуждают следующим образом: если не принять этого довода, то мы не имеем никакого средства прийти к достоверности по рассматриваемому вопросу, это признается нелепым. Этот аргумент хорош в известных случаях, как, например, если бы кто-нибудь желал отрицать первоначальные и непосредственные истины вроде той, что ничто не может одновременно быть и не быть, или той, что мы сами существуем, так как если бы он был прав, то не было бы никакого способа знать что бы то ни было»<sup>1</sup>.

Различие полемической и эристической аргументации находится не в сфере техники, а в сфере риторической этики: те приемы квазилогической аргументации, которые не могут быть осознаны и критически восприняты аудиторией, т. е. используются как манипуляция и этически некорректны.

Полемическая и эристическая критика как инструмент компрометации направлена в первую очередь на этику оппонента. Опровержение строится в основном таким образом, что от аргументов, опровергающих пафос высказываний оппонента, т. е. экспрессию, выразительный строй его высказываний, переходят к аргументам, опровергающим его логос, т. е. обоснование предлагаемых им тезисов, чтобы привести аудиторию к выводу о его неэтичности — нечестности, нескромности, недоброжелательности, непредусмотрительности и, следовательно, убедить аудиторию в том, что оппонент не заслуживает доверия, некомпетентен и имеет своекорыстные побуждения. Различие состоит в том, что полемика лишь указывает на такие особенности оппонента, а эристика обычно содержит оскорбления, клевету или недостаточно обоснованные обвинения в безнравственности.

Рассмотрим пример полемической критики.

[2.7.] «Очевидно, возражая против компетентности Льва Толстого в качестве моралиста представлять ту точку зрения, на которой он, Толстой, стоит, г-н Чичерин не обдумал своего возражения, а потому и впал в совершенно элементарную ошибку. Какой грозной филиппикой пришлось бы мне по этому поводу разразиться, если бы несомненные логические промахи моих критиков вызывали бы во мне такое же негодование, какое возбуждают в г-не Чичерине мнимые или сомнительные

<sup>1</sup> Лейбниц Г.-В. Новые опыты о человеческом разуме. М.: Мысль, 1983. С. 507.

ошибки критикуемых им авторов! Но я полагаю, что негодовать в литературной и философской области следует не на ошибки и заблуждения, а только на сознательную и намеренную ложь, и так как с этой стороны Б. Н. Чичерин выше всякого подозрения, то многие странности в его мнимой критике моей нравственной философии, — странности гораздо более значительные, нежели вышеуказанная, пробуждают во мне хотя и прискорбное, но тихое чувство»<sup>1</sup>.

Это пример полемической критики, хотя и на грани эристики. Если Б. Н. Чичерин в своей критике В. С. Соловьева точно указывает, какие и где тот допустил логические ошибки и подстановки понятий, то В. С. Соловьев с «тихим, но прискорбным чувством» лишь голословно обвиняет своего оппонента в логических ошибках, якобы гораздо более тяжелых, чем его собственные.

[2.8.] «Хорошо известно, что R-ая дума никогда не делает ничего, что не было бы одобрено N. Значит, это N обвиняет президента в преступной безответственности, в попустительстве террористам»<sup>2</sup>.

Это пример эристической (софистической) критики: умозаключение представляет собой софизм, поскольку бóльшая посылка содержит оценочное суждение (суждение о суждении: «хорошо известно, что...»), а вывод — аподиктическое. Из приведенного контекста очевидно, что как посылка, так и вывод соответствуют намерению автора, во-первых, скомпрометировать R-кую думу, а во-вторых, приписать N действия, которые могут повлечь за собой негативные для него последствия.

Критика компрометирует критикующего, в особенности полемическая и эристическая. Критикующий утверждает свою правоту (ср. «прискорбные, но тихие чувства» В. С. Соловьева), чем неизбежно ставит себя в более высокую позицию по отношению к объекту критики и к аудитории. Поскольку полемическая критика адресована аудитории, выходит, что критик поучает читателей или слушателей, которые, очевидно, были склонны присоединиться к его оппоненту. Поскольку аудитория сопротивляется любой риторической аргументации, сомнительными в ее глазах оказываются и этические основания критики. Вот почему руководства по риторике всегда рекомендовали по возможности избегать критики или строить ее в неявном виде: с точки зрения риторической этики утверждение своих идей более выгодно, чем отрицание чужих.

<sup>1</sup> Соловьев В. С. Мнимая критика // Чичерин Б. Н. Избранные труды. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. С. 517.

<sup>2</sup> Цена слова. М.: Галерея, 2001. С. 87.

**Доброжелательность.** Цель произведения риторической прозы — благо людей, к которым оно обращено. Благо может пониматься автором и аудиторией различным образом, и то, что считает благом автор, далеко не всегда совпадает с тем, что считает благом аудитория. В таких случаях возможен конфликт между автором и аудиторией. Однако само по себе стремление к благу аудитории остается важнейшим и неотъемлемым проявлением риторического этоса в слове. Если в тексте риторического произведения не проявляется доброжелательность, этическая компрометация автора неизбежна. Этическая компрометация автора влечет за собой прекращение общения: он исчезает вместе со своими произведениями. В культуре не только сохраняются, но даже становятся определяющими ее дальнейшую жизнь произведения, приведшие к конфликту понимания блага, в особенности если прав оказывается автор, а аудитория неправа. Но лишь при условии, что сама этическая интенция произведения выражена ясно и отчетливо.

Доброжелательность проявляется в уместности проблемы, в актуальности содержания, в конструктивных предложениях.

Риторическое произведение может быть полезным только там, где оно уместно: какая польза читателям философского трактата от того, что автор имеет «прискорбные, но тихие чувства»?

*Уместность речи* проявляется различным образом: существует стилистическая уместность, существует содержательная уместность. Стилистическая уместность может пониматься как использование надлежащего речевого приема и как использование ожидаемых аудиторией выразительных средств. Содержательная уместность проявляется в своевременной постановке и приемлемом решении значимой, по крайней мере для аудитории, проблемы. Содержательная и стилистическая стороны уместности тесно связаны: практически во всех приведенных выше примерах ошибок проявляется именно неуместность стилистическая и как следствие содержательная, так как неосознанное и поэтому неточное использование речевого инструментария влечет за собой *зависимость содержания от речевой привычки*.

Когда автор сживается с определенным строем речи, например научной или обиходно-разговорной, этот привычный строй становится самодостаточным и определяет содержание речи и речевые реакции: научным слогом невозможно выразить философское содержание, а разговорным — государственную мысль.

Античная риторика замечательна тем, что она избавляла автора-профессионала от этой *стилистической зависимости*. Она делала это двумя способами: тренировкой использования различных стилей в одном ораторском жанре и методикой построения речи, в соответствии с которой сначала задается предмет речи, затем находятся тезис и аргументы, далее строится композиция высказывания, а в соответствии с содержанием и композицией отбираются целесообразные выразительные средства, после чего речь выучивается наизусть и репетируется, чтобы наконец быть разыгранной на кафедре проповедника, на трибуне политического оратора или в судебном процессе. Обученный таким образом оратор-профессионал умел использовать по своему усмотрению уместный стиль речи.

Доброжелательный ритор знает, что, кому, когда, где, как сказать, но также знает и то, что говорить не следует, и умеет применить это знание в практике своей публичной деятельности. Но кроме того, он учитывает ограниченность своих способностей и возможностей.

*Актуальность содержания.* Риторика имеет дело главным образом с произведениями деловой прозы. Если художественное произведение в замысле своего создателя рассчитано на вечную жизнь, то претензии риторической прозы куда скромнее — она не мыслит себя «памятником выше пирамид» и создается, чтобы быть использованной непосредственно, в данном месте и в данных обстоятельствах. Эстетика риторической прозы поэтому равно принадлежит художественному вкусу автора и аудитории, но именно актуальность содержания делает риторическое произведение достоянием культуры. Содержание проблем, которые приходится решать, повторяется, и воплощенный в слове прецедент делает влиятельным стиль. Так, черты стиля Цицерона в течение тысячелетий воспроизводятся в разных языках и в разных жанрах.

Актуальность содержания не есть конъюнктурное проявление риторического этоса, поскольку актуально не решение проблемы, которое кому-то выгодно при конфликте частных интересов, а возможность успешного решения, исходящего из принципов духовной нравственности. Цицерона даже принято считать хорошим оратором и плохим политиком, однако ему удалось создать ряд прецедентов решений, которые сохраняют свою актуальность, поэтому политическое влияние Цицерона простирается гораздо дальше не только его жизни, но и жизни государства, в котором эти решения были приняты впервые. Одной из таких актуальных проблем остается право власти нарушить закон в уникальных и критических для обще-

ства обстоятельствах, как и право власти отказаться впоследствии от преследования тех, кто этот закон нарушил.

[2.9.] «Итак, если честный консул, видя, что расшатываются и уничтожаются все устои государства, должен оказать помощь отчизне, защитить всеобщее благо и достояние, воззвать к честности граждан, а своему личному благу предпочесть всеобщее, то честные и стойкие граждане, какими вы показали себя во все опасные для государства времена, также должны преградить пути к мятежам, создать оплот для государства, признать, что высший империй принадлежит консулам, что высшая мудрость сосредоточена в сенате и что человек, следовавший этим правилам, достоин хвалы и почестей, а не наказания и казни. Итак. Весь труд по защите Гая Рабирия я беру на себя, но усердное желание спасти его должно быть у нас с вами общим.

Вы твердо должны знать, квириды, что с незапамятных времен среди всех дел, которые народный трибун возбуждал, в которых консул брал на себя защиту, которые выносились на суд римского народа, не было еще более важного, более опасного дела, которое потребовало бы большей осмотрительности от вас всех. Ведь это дело, квириды, преследует лишь одну цель — чтобы впредь в государстве не существовало ни государственного совета, ни согласия между честными людьми, направленного против преступного неистовства дурных граждан, ни — в случаях крайней опасности для государства — убежища и защиты для всеобщей неприкосновенности. При таком положении дел я прежде всего, как это и необходимо, когда столь велика угроза для жизни, доброго имени и достояния всех граждан, молю Юпитера Всеблагого и Величайшего и других бессмертных богов и богинь, чья помощь и поддержка в гораздо большей степени, чем разум и мудрость людей, правят нам государством, ниспослать нам мир и милость. Я умоляю их о том, чтобы свет этого дня принес Гаю Рабирию спасение, а наше государство укрепил. Далее я умоляю и заклинаю вас, квириды, чья власть уступает только всемогуществу бессмертных богов: так как в одно и то же время в ваших руках находится и от вашего голосования зависят и жизнь Гая Рабирия, глубоко несчастного и ни в чем не повинного человека, и благополучие нашего государства, то, решая вопрос об участии человека, проявите свойственное вам сострадание; решая вопрос о неприкосновенности государства, — обычную для вас мудрость»<sup>1</sup>.

В примере видно, что актуальность и значимость проблемы Цицерон связывает не только непосредственно с предстоящим решением, но и рассматривает предлагаемое решение как прецедент будущих действий и оценок исторических событий. Дело было сложным. Гай Рабирий, приговоренный к смерти особым судом «двоих»

<sup>1</sup> Цицерон. В защиту Гая Рабирия // Речи. Т. I. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 281–282.

за то, что он был виновником смерти участника гражданской смуты претора Гая Сервилия Главция, которому была гарантирована неприкосновенность, обратился к суду народа – центуриатских комиций. Оправдание было весьма проблематичным. В случае обвинительного приговора не только Гай Рабирий был бы подвергнут бичеванию и распят на кресте, но фактически оказывалось под запретом пресечение любого мятежа, если он возглавлялся официальными лицами. Судебное заседание было прервано, и суд не вынес приговора. Но само дело послужило прецедентом для ликвидации заговора Катилины. Однако через несколько лет Юлий Цезарь (который, будучи членом суда «двоих», как раз и вынес смертный приговор Рабирию) пришел к власти путем такого мятежа.

Цицерон в обосновании актуальности проблемы обращается к богам и к нравственным ценностям аудитории как инстанции аргументов, далее он использует аргументы к принципу справедливости, поскольку осуждение Рубирия могло бы повлечь за собой привлечение к суду многих государственных лиц, участвовавших в подавлении мятежей, что, безусловно, вызвало бы гражданскую войну. Обращение к духовной морали как основанию гражданского согласия, к положению о том, что месть за совершенное властью насилие приводит к гражданским конфликтам, оказалось в данном случае убедительным. И то обстоятельство, что Цицерону в конечном счете не удалось предотвратить гражданскую войну, одной из жертв которой он пал, особенно значительно: актуальность поставленной им проблемы состоит в том, что только в обществе, где принципы духовной морали являются реальным основанием принимаемых решений, возможно устойчивое гражданское согласие.

*Конструктивные предложения.* Конструктивной является аргументация, которая позволяет развивать созидательную деятельность общества.

Созидательная деятельность возможна только на основе опыта культуры. Поэтому этическая ответственность автора риторической прозы определяется не только его стремлением «сделать как лучше», но и пониманием культуры, в рамках которой конструктивными оказываются не всякие добрые намерения, а лишь совместимые со строением и уровнем развития культуры общества:

«Эпоха Петра Великого представила особенно наглядный пример несознания основного нашего принципа государственности. Самодержавный инстинкт Петра поистине велик, но повсюду, где требуется самодержавное сознание, он совершает иногда поразительные порывы своего собственного принципа. Инстинкт редко обманывает Петра

в чисто личном вопросе: как он должен поступить, как монарх? Но когда ему приходилось намечать действие монарха вообще, т. е. в виде постоянных учредительных мер, Петр почти всегда умел решить вопрос только посредством увековечения своей временной частной меры... Принцип есть отвлечение от общего, что объединяет частные меры и что, следовательно, приложимо ко всем разнообразным случаям практики. Этого-то принципа у Петра и не видно. Он гениальным монархическим чутьем знал, что должен сделать он, и оказывается беспомощен в определении того, что должно делать вообще. Поэтому-то он своим личным примером укрепил у нас монархическую идею, как, может быть, никто, и в то же время своими действиями, носившими принципиальный характер, подрывал ее беспощадно»<sup>1</sup>.

Эта характеристика Л. А. Тихомирова применима ко всем российским реформаторам. Одна из странных особенностей нашей культуры — пренебрежение культурой.

Культура как система сохраняемых и воспроизводимых моделей деятельности общества включает три компонента: систему образцов — парадигм, инструментарий воспроизведения — систему образования и творчество во всех сферах жизнедеятельности общества. Границы культуры определяются границами общества, которое является носителем культуры. Поскольку физическая, духовная и материальная составляющие культуры находятся в теснейшей связи, любая культурная революция производит разрушение человеческого состава общества и, следовательно, резкое падение способности общества воспроизводить культурные модели деятельности, что и приводит к его разрушению.

История общества представляет собой непрерывную деятельность, в ходе которой в культуру откладывается значимый опыт в виде знаний, создаваемой материальной среды — цивилизации, качеств человека, позволяющих ему решать новые жизненные задачи. Большинство произведений, создаваемых в ходе жизнедеятельности общества, потребляется или исчезает, и лишь относительно незначительный их состав включается в культуру, описывается, воспроизводится и хранится. Объем фактов культуры тем не менее нарастает, поэтому содержание культуры постоянно подвергается переописанию и обобщению.

Жизнедеятельность любой культурной общности протекает во взаимодействии с другими культурными общностями, и общество по-

<sup>1</sup> Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.: ГУП «ТОО „Алир”, Облиздат», 1998. С. 282.

стоянно заимствует идеи и продукты, которые осваиваются и наряду с собственными новациями частично включаются в состав культуры.

Особенности реформ Петра Великого, на которые указывает Л. А. Тихомиров, были связаны с неразвитостью образовательной системы в России того времени. Сам Петр Великий не получил систематического образования и был вынужден создавать систему образования на основе западных образцов. Ее становление завершилось лишь в начале XIX в. И драматическая история не укорененных в национальной культуре идей и общественных движений, безусловно, восходит к Петру Великому. Л. А. Тихомиров, очевидно, как никто другой, лично пережил и осознал пагубность культурного авантюризма, столь характерного для русских демократов-революционеров всех времен.

Система образования – принципиально значимое звено культуры. Система образования является инструментом воспроизведения парадигм культуры, поскольку включает новые поколения в непрерывную традицию деятельности общества. Из этого не следует, что система образования должна быть обращена только в прошлое, обучать только тем знаниям и умениям, которые уже включены в культуру, и жестко ограничивать воспитание нового поколения рамками традиции. Но культурное достояние остается основой образовательной системы. Организация системы образования является прогнозом развития общества, который исходит из условий, задаваемых парадигмой культуры. Если образовательная система неполно отражает состав и строение культуры общества, если она обращается к иной культуре как источнику, если она противопоставляет новое поколение культурной традиции общества и т. д., в обществе развивается деструктивная деятельность и возникают ситуации, подобные революции 1917 г.

Знаменательно, что только культурная реакция, начавшаяся в середине 30-х годов, усилившаяся в годы Великой Отечественной войны в связи с поражениями на фронте и достигшая апогея в первое послевоенное десятилетие, дала толчок обобщению послеоктябрьских новаций с культурной традицией и закономерно привела к мощному развитию культуры в 50–70-е гг.

*Исторический опыт показывает, что конструктивными оказываются консервативные советательные пропозиции, которые основаны на совместимости новации с культурной традицией. Так, быстрый культурный и экономический рост Китая, начиная с 80-х гг. XX в., связан с поло-*

жительной оценкой исторического опыта общества и включением максимального объема культуры в принятие решений.

Но консервативные пропозиции реальны лишь постольку, поскольку они поддерживаются системой образования, если она создает культурную компетентность нового поколения, достаточную, чтобы реализовать эти пропозиции.

**Предусмотрительность.** Предусмотрительность — нравственное отношение к последствиям речи.

Публичная аргументация проблемна и спорна, предложения ратора влекут за собой не только положительные и отрицательные последствия, но и конфликт в аудитории, поэтому ритор обязан, прежде чем высказаться, взвесить возможные последствия своих предложений и оценить способность аудитории решить проблемы, которые ставит перед ней аргументация.

Аргументация неизбежно создает конфликтные ситуации, поскольку аудитория состоит из людей, у которых есть интересы, собственные представления о проблемах, отношение к приводимым доводам и склонность объединяться в группировки: не существует однородных аудиторий, а согласие и присоединение всегда неполны. Но конфликт должен быть разрешен силами самой аудитории, и этическая обязанность ратора — ставить перед аудиторией только такие проблемы, которые она в состоянии разрешить, и строить аргументацию таким образом, чтобы аудитория смогла найти путь решения проблемы. Если аргументация ставит аудиторию в тупик, внутреннее столкновение в ней становится неизбежным, и в конечном счете ритор будет справедливо обвинен в непредусмотрительности.

**Убедительность.** В произведениях риторической прозы в различных формах, но постоянно просвечивает образ аудитории, как ее видит или намерен представить автор. Аудитория может быть универсальной и частной. Универсальная аудитория — человек вообще, «всечеловек», как этого «всечеловека» понимает автор, — по существу, сам автор в ипостаси слушателя или читателя. Картезианская риторика учит видеть лишь универсальную и отрицает частную аудиторию. Частная аудитория представляет собой образ конкретного сообщества с присущими ему культурой, мировоззрением, интересами, правами, обязанностями и целями.

Убедить реальную аудиторию можно, представляя ее как частной, так и универсальной, но обращение к универсальной аудитории свидетельствует о непредусмотрительности, которая может привести к конфликту реальной аудитории с автором. Аудитория, которой

путем создания словесного образа навязывается универсальность, на деле остается частной, и если она убеждена как универсальная, то такая навязанная убежденность вступает в противоречие с ее реальными представлениями, побуждениями, интересами.

Среди русских риторов-классиков главным универсалистом был Ф. М. Достоевский, отчего, видимо, его творчество так пришлось по вкусу на Западе, где Ф. М. Достоевского понимают как некоторое олицетворение русскости.

[2.10.] «В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас петровская реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально, только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле, ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единому всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу. Нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите»<sup>1</sup>.

Реакция последовала незамедлительно. Дело в том, что при всей нашей исторической любви к византийским шапкам и французским галстукам для русского человека желание изобразить себя в виде кого-нибудь иного всего лишь национальная форма игровой самоидентификации.

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Пушкин // Собр. соч. Т. 10. М.: Изд-во худ. лит.-ры. 1958. С. 457.

фикации. Даже будучи рассеянными в инокультурной и иноязычной среде, русские довольно долго сохраняют свою идентичность. Способность приспособливаться к обстоятельствам и доброжелательное отношение к другим народам — результат длительного исторического опыта. Что же касается проникновенности изображения Пушкиным итальянцев, немцев или англичан, отмеченной Достоевским, то еще вопрос: не слишком ли итальянцами и немцами кажутся русскому Достоевскому пушкинские Анджело, Моцарт, Сальери, Скупой рыцарь?

Утверждение «всечеловечности», своего рода универсальности мировоззрения русского человека как специфически русского вызвало резкую отрицательную реакцию аудитории. При этом следует отметить, что, скажем, для французской аудитории не только XVII–XVIII вв., но и более позднего времени была бы характерна вполне положительная реакция на подобного рода утверждения: универсальное понимается как естественное, естественное — как разумное, а разумное — как свое, французское.

Это значит, что русская публика достаточно последовательно признает себя частной аудиторией и воспринимает идеи универсальности и мессианства, привлекательные для западноевропейцев, как некий соблазн, тем более что имеет в этом отношении отрицательный исторический опыт. Универсальные идеи общечеловеческих ценностей, общечеловеческой культуры, мирового сообщества, светлого будущего всего человечества и т. п. подозрительны для русской аудитории.

Убедительность для частной аудитории этична и неконфликтна, потому что она логически подразумевает, что для другой частной аудитории столь же законно быть убежденной в других вещах. Каждое общество имеет право на собственные ценности. Это не означает, что любые ценности и интересы равнозначны и что не существует общего критерия хорошего и дурного. Поэтому столкновение различных систем ценностей ограничивает возможности этичной аргументации для частной аудитории.

Таким образом, и частная и универсальная аудитории взаимно дополняют одна другую.

*Разрешимость проблемы и провокация конфликта.* Аудитория принимает решение о пропозиции и поэтому всегда остается главным действующим лицом в риторической коммуникации. Рано или поздно, но эта ее главенствующая роль обязательно проявится, поэтому непредусмотрителен ритор, если он полагает, будто может до бесконечности управлять аудиторией по своему усмотрению. Эта ошибка

весьма характерна для политической власти, которая в один прекрасный день неожиданно для себя обнаруживает, что общество стало неуправляемым.

Поэтому принцип профессиональной риторической этики состоит в том, что этична постановка только таких проблем, которые аудитория способна решить своими силами.

В риторической прозе рассмотренные выше образы ратора и аудитории дополняются образами оппонента и предмета – проблемы и пропозиции. Но оппонент не должен представляться как враг, если в этом нет реальной необходимости.

Нерешаемая проблема, если она навязана аудитории, приводит к конфликту как внутри самой аудитории, так и в ее отношении к поставившему и предложившему решение автору. Такой конфликт разрушает доверие в ротору, и он оказывается отвергнутым обществом.

Аналогичным образом обстоит дело и с провоцированием конфликтов в составе аудитории, т. е. с созданием образа врага. Собственно, эти две стратегические ошибки наряду с представлением частной аудитории как универсальной и составляют главную причину провала советской социалистической риторики.

[2.11.] «Военное ведомство – очень большое дело, проверяться его работа будет не сейчас, а несколько позже и проверяться будет очень крепко... Если у нас во всех отраслях хозяйства есть вредители, можем ли мы себе представить, что только там нет вредителей? Это было бы нелепо, это было бы благодушием... У нас было в начале предположение по военному ведомству здесь общий доклад заслушать, потом мы отказались от этого. Мы имели в виду важность дела»<sup>1</sup>.

Посылка: «вредители повсюду», проблема: «найти вредителей в военном ведомстве». Поскольку проблема не решается, создается ее искусственное решение. Поскольку посылка понимается на уровне топа об усилении классовой борьбы, в обществе создается массовый конфликт, приводящий к массовым человеческим жертвам. Вся советскую риторику можно назвать по имени этого софизма – «пред-решение основания», ибо он проходит красной нитью через весь советский период российской истории.

<sup>1</sup> Выступление В. М. Молотова на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г. // Военные архивы России. Вып. 1. М., 1993. С. 32.

### *Стиль как проявление риторического этоса*

С этическим образом ратора тесно связан стиль его публичной речи. Содержание качеств риторического стиля существенно отличается от обычных для стилистики представлений о стиле. Всякий стиль предполагает соответствие формы содержанию, но в особенности этот принцип значим для риторического стиля, поскольку содержание риторической прозы можно определить конкретно. Способ выражения мысли играет определяющую роль в строении риторического этоса, поскольку от выбора слов, состава словосочетаний, строения предложений, композиции высказывания, семантического единства лексики зависит оценка аудиторией высказываний и самого субъекта речи. Индивидуальный стиль не только делает автора узнаваемым: если он привлекателен для читателя или слушателя, то обеспечивает доверие к содержанию высказывания.

1. Требование *полноты* означает, что предлагаемый тезис должен быть обоснован исчерпывающим образом. Риторическое произведение представляет собой семантическую конструкцию, в основании которой лежит содержание тезиса — пропозиция (предложение). Все остальное в высказывании является обоснованием этого тезиса, т. е. побуждением аудитории принять его в качестве руководства к умственному или реальному действию. Обоснование тезиса может строиться двояким образом — путем ассоциативного нахождения аргументов или путем систематической проработки возможных ходов мысли, вытекающих из содержания тезиса.

*Первый вариант* характерен для рационалистической картезианской логики и риторики начиная с XVII в., так как опирается на принцип Декарта о ясном и отчетливом представлении идеи как основе метода познания. Критикуя с позиции картезианского рационализма теорию топов или общих мест, А. Арно и П. Николь отмечали:

«То, что риторики и логики называют общими местами, loci argumentorum, суть некие основные положения, под которые можно подвести все доводы, какими пользуются при рассмотрении различных вопросов; и в том разделе логики, который посвящен изобретению, они наставляют читателей именно в отношении этих общих мест.

Рамус спорит по этому поводу с Аристотелем и схоластиками, рассматривающими общие места после изложения правил доказательства. Об общих местах и о том, что касается изобретения, утверждает он, нужно говорить прежде, чем об этих правилах.

Довод Рамуса таков: надо прежде найти материю, а потом уже думать, как ее расположить.

А излагая общие места, как раз и учат находить материю; правила же доказательств могут научить лишь расположению уже найденного.

Но это очень слабый довод, потому что хотя и необходимо найти материю для того, чтобы ее расположить, однако же нет необходимости учить находить материю прежде, чем научат ее располагать. Ибо, чтобы научить располагать материю, достаточно иметь кое-какие общие материи, которые можно было бы использовать в качестве примеров, но ум и здравый смысл всегда предоставляют их сколько угодно, так что нет нужды заимствовать их из какого-либо искусства или из какого-либо метода. Следовательно, справедливо, что нужно иметь материю, чтобы применить к ней правила доказательств, но неверно, что, отыскивая эту материю, необходимо прибегать к методу общих мест.

Наоборот, мы могли бы сказать, что, коль скоро в разделе общих мест, как утверждают, преподается искусство получать доказательства и силлогизмы, надо прежде знать, что такое доказательство и силлогизм. Но на это нам в свою очередь могли бы возразить, что мы от природы имеем общее представление о том, что такое умозаключение, и этого достаточно, чтобы понимать то, что о нем говорят, когда ведут речь об общих местах.

Итак, не стоит задаваться вопросом, когда следует рассматривать общие места: это не важно. Быть может, полезнее разобраться, не лучше было бы не рассматривать их вовсе. <...>

Верно, что все доказательства, какие строят относительно любого предмета, могут быть поставлены в зависимость от тех основных положений и общих терминов, которые называют общими местами, однако находят доказательства вовсе не этим методом. К ним подводит людей сама природа, а искусство затем относит их к определенным родам. Так что об общих местах справедливо будет сказать то, что святой Августин говорит о предписаниях риторики вообще. Мы обнаруживаем, говорит он, что в рассуждениях красноречивых людей соблюдаются правила красноречия, хотя, когда они говорят, они не думают об этих правилах, независимо от того, знают они их или нет. Они применяют эти правила, потому что они красноречивы, а не пользуются ими для того, чтобы быть красноречивыми. *Implent quippe illa quia sunt eloquentes, non adhibent ut sint eloquentes*<sup>1</sup>. Люди ходят естественным образом, замечает этот же отец в другом месте, и при ходьбе производят определенные размеренные телодвижения. Но никому не помогло бы научиться ходить, если бы ему сказали, что надо посылать животные духи в определенные нервы, приводить в движение определенные мышцы, совершать определенные движения в суставах, ставить одну

<sup>1</sup> Выполняют (правила), конечно, поскольку красноречивы, но не используют, чтобы быть красноречивыми. — А. В.

ногу вперед другой и опираться на одну ногу, заноса другую. Конечно, наблюдая то, что нас заставляет делать сама природа, можно вывести некоторые правила, но никогда эти действия не производятся с помощью этих правил. Точно так же в обычной речи обращаются с общими местами. Под них можно подвести все, что мы говорим, но мысли появляются у нас не потому, что мы размышляем над тем, откуда их взять, ибо такое размышление может только охладить пыл ума и помешать ему найти убедительные и естественные доводы, являющиеся истинным украшением речи любого рода»<sup>1</sup>.

По всей видимости, Адеодата, внебрачного сына бл. Августина, учила ходить мать или бабушка, св. Моника. Бл. Августин обучал Адеодата основам семиотики, что и изобразил в диалоге «Об учителе». Адеодат вскоре умер. Человека учат ходить, говорить и думать, и чем больше воспитатель знает о построении движений, о языке и мышлении, тем более успешны воспитание и обучение.

Когда мы изучаем какой-нибудь предмет, например иностранный язык, нам часто приходится долго и с трудом усваивать его грамматику, скажем употребление артикля в английском или французском языке; сходным образом мы усваиваем и нормы родного языка. Но когда мы освоили до автоматизма употребление французского артикля или правописание русских частиц «не» и «ни», нам уже не нужно каждый раз помнить о том или ином правиле или термине.

Что касается отношения материи и формы аргумента, т. е. содержания и строения посылок и логической схемы, то оно значительно сложнее, чем предполагали авторы «Искусства мыслить». Дело в том, что логически правильный аргумент: «Если Бог существует, то Его надо любить; Бог существует; следовательно, Его надо любить»<sup>2</sup>, для христианина тривиален, поскольку истина, содержащаяся в выводе и в посылке, прямо высказана в Евангелии (Матф. 22. 34–40) и не нуждается ни в каких силлогизмах.

Но за пределами христианства условная посылка может показаться странной: какой смысл, например, любить бога Платона, бога Вольтера или бога Л. Толстого, если первый представляет собой нечто вроде закона всемирного тяготения, второй никоим образом не соотносится с нашей жизнью, а третий существует лишь внутри нас, т. е. является нашим нравственным представлением? Вот почему, если мы стремимся создать нетривиальный или убедительный аргумент, мы должны саму посылку представить иным образом в от-

<sup>1</sup> Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М.: Наука, 1991. С. 235–238.

<sup>2</sup> Там же. С. 219.

ношении содержания и, следовательно, формы, поскольку должно быть объяснено и обосновано не только само понятие «Бог», но и внутренняя потребность в любви к Богу того человека, к которому аргумент обращен. Но в таком случае изменится и схема аргумента: Пьер де ла Раме, пожалуй, был прав, когда предлагал сначала изучать топику, а потом уже — формальную логику.

Взгляды картезианцев интересны в том отношении, что обращение к так называемой «природе» человека предполагает универсальность аргументации как в отношении формы аргументов, так и в отношении их материи. Если автор отказывает себе в труде размышлять, откуда берутся посылки тех доводов, которые он приводит в защиту своих положений, то он приводит те посылки, которые убедили бы его самого, а не те, что убедительны для тех, к кому обращена его аргументация.

Не только рационалистические риторика и логика, но все мировоззрение рационализма построено на этой идее универсальности метода, самого содержания мышления и стиля. Те идеи, которые представлялись Декарту или Арно ясными и отчетливыми и тем самым очевидными, не обязательно истинны: психологическая и математическая очевидность — принципиально различные вещи.

Когда мы строим аргументы, мы должны иметь критерий того, что аргументы, которые представляются хорошими и убедительными нам, убедительны для тех, к кому мы их обращаем. В противном случае нам останется только удивляться, почему наши аргументы не действуют на глупцов, которые отвергают их по невежеству или зловредности, и пытаться, как то и советует Б. Лами в своей картезианской риторике, принудить их силой или обманом принять нашу точку зрения. Проблема эта особенно актуальна в наше время.

**Второй вариант** — систематическая проработка тезиса по топикам — характерен для античной и средневековой традиции риторики, которая была продолжена в классических риториках, в частности, М. В. Ломоносовым. Она основана на трех принципах:

- 1) характер аргументации в каждом риторическом произведении определяется статусом проблемы, т. е. ответом на основной вопрос, который возникает при столкновении точек зрения;
- 2) посылки каждого аргумента независимы от посылок других аргументов;
- 3) каждый аргумент занимает определенное место в системе обоснования тезиса, которое обусловлено его силой, т. е. убедительностью для частной аудитории, кругом лиц, принимающих положительное или отрицательное решение.

Поскольку внутренние (логические) топы представляют собой своего рода алфавит, определяющий и ограничивающий возможности изобретающей мысли, для тезиса, сформулированного определенным образом в рамках статуса и характера проблемы, возможен определенный набор ходов мысли, которые и прорабатываются в ходе изобретения. Те составляющие проблемы (вопросы-топы, например «когда было совершено действие?»), которые оказываются значимыми для решения проблемы, оказываются глубинными отношениями, на основе которых строятся аргументы.

Например: как можно было проникнуть в дом? — через дверь или через окно; когда можно было незаметно проникнуть в дом? — в такой-то промежуток времени. Но на двери нет следов взлома, а лестницу, по которой можно было проникнуть в окно, никто не видел. Вопросы *где?* и *когда?* должны быть поставлены в составе всех остальных возможных вопросов. Но именно они дают основание для построения аргументов первого ряда, поскольку возможные при имеющемся составе данных ответы на них в свою очередь требуют обоснования. Например, возражение: *если лестницу никто не видел, то это не значит, что ее не было*; ответ: *то, что не установлено судебным следствием, не может быть основанием для решения суда*.

Таким образом, проблема с ходами мысли, обосновывающими ее решение, может быть представлена в виде графа, узлами которого являются внутренние топы. В конкретной структуре аргументации некоторые узлы окажутся значимыми, а некоторые будут пробегаться как не вызывающие столкновения позиций. Значимые узлы и дадут специфическую для данного высказывания конструкцию аргументации. Но чтобы понять, какие узлы значимы, а какие незначимы в данной ситуации, хорошо, «ясно и отчетливо», представить себе все возможные узлы и оценить применимость каждого. Понятно, что ответ на последнее возражение будет необходимо убедительным для состава суда, но вовсе не обязательно убедит, например, журналиста, который пишет очерк о судебном деле.

Систематическая проработка ходов мысли по топам имеет этическое значение, которое определяется диалектическим или диалогическим характером построения аргументации. *Диалогизм* (в отличие от диалога как способа организации акта речи) представляет собой изображение в монологическом высказывании ролевых отношений, свойственных диалогу, вопросов, ответов, возражений, сообщений, уточнений, побуждений, обращений как видов реплик, выраженных посылками аргументов. Это представление ролевых отношений

включает в ход высказывания частную аудиторию с ее реальными позициями, мнениями, интерпретациями и т. д. Собственно честность здесь означает верное изображение этих ролевых диалогических отношений, что и проявляется в *полноте* как стилистической характеристике речемыслительного акта.

2. *Содержательность* стиля состоит в строгом следовании теме и в использовании выразительных средств, соответствующих теме высказывания. Рассмотрим два примера – отрицательный и положительный.

[2.12.] «Достоверность удостоверяет меня, что Истина, если она достигнута мною, действительно есть то самое, что я искал. Но что же я искал? Что разумел я под словом „Истина”? – Во всяком случае – нечто такое полное, что оно все содержит в себе и, следовательно, только условно, частично, символически выражается своим наименованием. Истина есть „*сущее всеединое*”, определяет философ. Но тогда слово „истина” не покрывает собственного своего содержания, и чтобы, хотя приблизительно, ради предварительного осознания собственных исканий, раскрыть смысл слова „истина”, необходимо посмотреть, какие стороны этого понятия имелись в виду *разными* языками, какие стороны этого понятия были подчеркнуты и закреплены посредством этимологических оболочек его у разных народов»<sup>1</sup>.

[2.13.] «Итак, мысль о церковной системе, стремление доказать догматы, возникло из условий католицизма и принадлежит ему исключительно. Схоластика есть явление исключительно западное. Наша церковь его не знала. Наука не могла иметь в ней того значения, какое она получила в церкви западной. Церковь православная носит глубокое сознание, что извне она (истина. – А. В.) достигнута, определена и доказана быть не может. Только тот сможет постигнуть ее, кто в ней живет, кто связан с церковью единством жизни. Одна Божественная сила открывает истину и каждому лицу дает способность принять ее, усвоить себе. Одним словом – „верую” мы называем и объект, содержание, и субъективную способность, форму. В единстве благодатной жизни исчезает разрыв познаваемого с познающим»<sup>2</sup>.

Стиль этих фрагментов двух богословских текстов сходного содержания разительно контрастирует.

Автор примера [2.12] стремится внушить читателю свое видение предмета, навязывая ему свою манеру выражения: читатель

<sup>1</sup> Флоренский П. А. Столп и утверждение истины (1). Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 15.

<sup>2</sup> Самарин Ю. Ф. Речь, произнесенная перед защитением диссертации // Избранные произведения. М.: Российская политическая энциклопедия, 1996. С. 403–404.

вынужден следить за извилами мысли автора, отвлекаясь от предмета: достаточно первого плеоназма «достоверность удостоверяет меня...». За этим погружением в пучину авторской мысли следует ход аргументации, отвлекающий читателя от предмета речи: какое отношение к истинам веры имеет то обстоятельство, что в греческом, латинском и русском языках слово, обозначающее истину, имеет различную внутреннюю форму? То, что этимология русского слова «истина» (кстати, сомнительная) отвечает мысли автора, еще не означает, что он обосновал свое понимание истины. Подобные отвлечения от прямого хода мысли, значимые уклонения от темы и нарушают содержательность стиля. Намеренные уклонения от темы речи, словесные петли, с помощью которых создается видимость обоснования, можно понимать как *стилистическую софистику*.

Второй пример [2.13] показывает иной тип стиля: во фрагменте нет ни одного лишнего слова. Автор ориентирован на читателя, стремится сделать содержание высказывания максимально понятным; он рассчитывает на определенный уровень знания предмета читателем, исходя из которого и строит изложение.

**3. Достоверность.** Частная аудитория как субъект, принимающий решение, имеет моральное право отвергнуть информацию, которая представляется ей недостоверной. Достоверность данных ограничивается рамками представлений аудитории о правдоподобности, т. е. о достаточном подтверждении истинности сообщений, которые используются как посылки аргументов.

[2.14.] «Духовник. Что ты разумеешь под словом „доказательства“?»

*Неизвестный.* Под этим я разумею факты, или логические рассуждения, обязательные для человеческого разума.

*Духовник.* Хорошо. Применительно к вопросу о бессмертии, какие доказательства тебя удовлетворили бы?

*Неизвестный.* Прежде всего, конечно, факты. Если бы с „того света“ были даны какие-либо свидетельства о жизни человеческой души, продолжающейся после смерти тела, я считал бы вопрос решенным. Этого нет. Остается другое — логика. Логика, конечно, менее убедительна, чем факты, но до некоторой степени она может заменить их.

*Духовник.* Свидетельств, о которых ты говоришь, множество. Но таково свойство неверия. Оно всегда требует фактов и всегда их отрицает. Трудно что-нибудь доказать фактами, когда требуют, чтобы сами факты, в свою очередь, доказывались.

*Неизвестный.* Но как же быть, нельзя же достоверными фактами считать рассказы из житий святых?

*Духовник.* Можно, конечно, но я понимаю, что тебе сейчас такими фактами ничего не докажешь, потому что эти факты для тебя нуждаются в доказательствах не менее, чем бессмертие души.

*Неизвестный.* Совершенно верно»<sup>1</sup>.

Неизвестный не отвергает возможность «каких-либо свидетельств с того света» как таковую, но отвергает источник свидетельств, которые квалифицирует как «рассказы из житий святых». Это значит, что он считает сомнительными *источник и способ представления данных*. Замечание Духовника значимо: сообщение о факте, сколь бы правдоподобным оно ни представлялось само по себе, полностью находится под произволом получателя речи. Сообщение должно быть удостоверено авторитетным источником и формой представления. Если характер удостоверяющего источника будет иметь общее значение как авторитет, то форма представления значима лишь для данного субъекта. Если бы Духовник тут же явил Неизвестному чудо, то оно, может быть, убедило бы данного Неизвестного, но для другого Неизвестного само по себе сообщение о чуде, как и о любом, даже вполне обычном, событии, без авторитетного удостоверения сомнительно. Но отвечает за достоверность для получателя сообщений отправитель – автор, который представляет его как реалистическое изображение действительности в форме, доступной данной частной аудитории, и подтверждаемое источником, значимость которого обращает аудиторию к ее референтной группе.

Способ представления данных и удостоверяющего источника проявляется в отборе лексики, которая находится на границе активного лексического фонда получателя и престижной для него лексики, и в построении описаний и повествований, в которых план и перспектива постоянно смещаются от точки зрения получателя к точке зрения автора, интерпретирующих авторитетов и обратно, создавая между ними постоянные отношения частичной тождественности и тем самым как бы отстраненную, объективную картину сообщения и стоящего за ним факта.

**4. Выразительность (экспрессия)** проявляется в изображении автором непосредственного переживания и оценки сообщаемого содержания. Это оценка оказывается и оценкой получателя сообщения, поскольку оно выражено средствами языка. Экспрессия противостоит стандарту выражения, следовательно, экспрессия обнаруживает

<sup>1</sup> Валентин Свенцицкий. Диалоги. М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 1994. С. 19.

и оформляет высказывание как проявление языковой личности и тем самым связана с ответственностью за речь как проявлением этоса автора.

Репертуар экспрессивных средств задается и ограничивается стандартом выражения, характерным для такого вида словесности, как значимые отклонения от «нулевой ступени письма». Поэтому репертуар экспрессивных средств судебной ораторской прозы должен отличаться от репертуара экспрессивных средств политической оратории, а тем более от значимых приемов экспрессии в публицистике или философской прозе. Но уместность экспрессии зависит от конкретной ситуации речи и от отношения автора к предмету. Поэтому отношение стандарта и экспрессии в речи, с одной стороны, зависит от аудитории и интуиции автора, с другой — определяется видом словесности.

Это этическое требование экспрессии особенным образом проявляется в современной политической оратории. Тексты ораторских речей обычно составляются спичрайтерами, но политическому деятелю, который их «озвучивает», приходится иметь дело с реальной аудиторией, воспринимающей его как автора-создателя речи. Для установления непосредственного контакта с аудиторией он часто отступает от написанного текста и с большим или меньшим успехом прибегает к экспрессивным, часто просторечным или вульгарным выражениям.

Размывание частных и общих стилистических норм современной риторической прозы в вертикальном членении высокого, среднего и обычного стиля и в горизонтальном членении политической, судебной, показательной, публицистической прозы приводит к общему снижению авторитетности публичной речи. Это происходит потому, что при ослаблении норм стандарта утрачивается осмысление экспрессивности как значимого отклонения от стандарта. Тем самым снижается индивидуальность стиля риторической прозы, что и приводит к утрате авторитетности каждого автора в отдельности и всей среды общественных деятелей в целом.

**5. Краткость** — оптимальная экономия выразительных средств, которые используются для полного раскрытия темы высказывания. Требование полноты содержания означает, что каждая тема для своего раскрытия требует затраты определенных словесных средств и определенного времени. Нельзя за пять минут прочесть, например, лекцию на сложную научную тему. Более того, лекция как риторический жанр требует повторов содержания, амплификаций, иногда

отступлений от темы в виде комментариев или просто с целью снять напряжение, возникающее у слушателей от продолжительного следования рассуждениям лектора. Более свободные риторические формы, как доклад, политическая или судебная речь, очерк, трактат, если и не регулируются регламентом, должны быть максимально краткими по этическим соображениям. Автор понимает, что аудитория или читатель, во-первых, делают ему известное одолжение, добровольно соглашаясь выслушать или прочесть его сообщение; во-вторых, обладают ограниченными возможностями памяти и внимания, за пределами которых продолжение речи будет восприниматься как проявление недопустимого самомнения. Только самодовольный человек полагает, будто своей речью он кому-то делает одолжение и что его готовы слушать или читать до бесконечности.

Говорить и писать кратко гораздо труднее, чем пространно. Краткость речи достигается тщательным отбором выразительных средств, продуманной композицией предложений и целесообразным расположением компонентов высказывания.

Отбор выразительных средств состоит в использовании наиболее точного слова из синонимического ряда, в замене по мере возможности длинных слов более краткими, в устранении неудобных для восприятия сочетаний звуков и стечений ударений. Продуманная композиция предложений означает ограничение синтаксической сложности — необязательных по смыслу вставных конструкций и придаточных предложений; использование порядка слов и предложений, наиболее точно отражающих строение мысли. Целесообразное расположение высказывания достигается построением компонентов — вступления, изложения материала, исследования, обоснования, опровержения, выводов — и гармонизацией объема каждого компонента в соответствии с объемом всего высказывания, но также уместной с точки зрения ясности мысли и убедительности последовательностью компонентов.

**6. В ясности** риторического стиля проявляется уважение к аудитории. Коммуникация основана на *принципе неравенства опыта отправителя и получателя сообщения*, в соответствии с которым отправитель сообщает неизвестную получателю и существенную для него информацию, а получатель обладает достаточной компетентностью, чтобы эту информацию усвоить и использовать. Отсюда следует стилистическое условие ясности: сообщение не должно содержать как выражений, затруднительных для получателя, так и выражений, банальных для него.

При сопоставлении примеров [2.11], с одной стороны, и [2.12], [2.13], — с другой, видно, что первый пример не отвечает условию ясности. Значение ключевых слов примера [2.11] неопределенно, фигура тавтологии, разводящая значения слова «достоверность» как «Бог» и слова «удостоверять» как «придавать веру», неочевидна. Сообщение о том, что автор разумел под словом «Истина» (с заглавной буквы — тоже, видимо, наименование Бога), представляет собой объяснение неопределенного через неопределенное «сущее всеединое». А почему «необходимо посмотреть», как оно выражается «посредством этимологических оболочек» разных народов, и почему именно народов, а не языков, и вовсе загадочно. Между тем авторы двух других примеров толкуют о предметах не менее сложных, но при этом обходятся общеизвестными словами в общеизвестных значениях и строят обозримые предложения с естественным порядком слов.

**7. Уместность** в стилистическом смысле — использование выразительных средств, соответствующих ожиданиям аудитории, характеру темы, жанровой форме высказывания, ситуации и социальному статусу автора.

**8. Чистота слога** — использование выразительных средств, однородных в функционально-стилистическом отношении. Современный развитый литературный язык представляет собой систему так называемых функциональных стилей, или функциональных разновидностей языка. Под функцией понимается зависимость между типом коммуникативной задачи, стоящей перед автором высказывания, и формированием системы выразительных средств, которые позволяют решить такую задачу.

Например, если перед автором стоит задача научного изложения, он стремится установить устойчивые терминологические значения слов и словосочетаний, используя ресурсы разных языков, строить предложения и текст в целом, руководствуясь правилами логики и соотнося грамматическое членение предложений с логическим, ограничивает выражения личных оценок и использует постоянный ограниченный набор средств, выражающих объективные модальности («разумеется», «таким образом», «менее очевидно, что» и пр.). Поскольку задачи аргументации сходны, складываются модели и нормы наиболее эффективного решения типовых задач выражения мысли. Установившаяся таким образом система ресурсов языка приобретает качество стиля, поскольку в каждой области общественно-языковой практики складываются

нормы оценок качества текста, научного, художественного, риторической прозы и т. д. Так складываются функциональные стили — разговорно-обиходный, научно-технический, документально-деловой, публицистический, художественно-литературный. Четких границ между функциональными стилями не существует, и каждый из них складывается на основе критериев, присущих именно данному типу коммуникативных задач. Поэтому каждый функциональный стиль характеризуется своим составом выразительных средств. Функциональные стили одного языка обычно не сопоставляются между собой — они взаимно дополнительные в смысле состава языковых ресурсов: в одном наблюдается широкое использование образных выражений и тропов, в другом — специфический синтаксис. Нормы функциональных стилей, сложившись, сохраняются в культуре языка, и всегда можно отличить, например, научную речь от публицистической или обиходно-разговорной.

Чистота слога имеет этическое значение. Автор, например журналист, пишущий очерк о вулканах на Камчатке, обращает свое произведение к определенной аудитории — читателям популярного журнала, которые ожидают прочитать занимательный рассказ с любопытными фотографиями. Но они не ожидают ни ученого трактата по геологии Камчатки, ни гневного обличения местных властей, ни философского эссе о российской истории, ни художественной исповеди автора о его личных отношениях с кем бы то ни было. Если бы им было нужно что-нибудь в этом роде, они обратились бы к другим источникам информации. Если журналист в своем очерке станет употреблять научную лексику и специфические научные обороты речи, обиходно-разговорный слог, уместный в частной беседе или что-либо подобное, не соответствующее его достаточно скромной задаче, он тем самым будет выставлять себя в *позиции*, не соответствующей его *коммуникативной роли* автора занимательного рассказа. И даже если среди его читателей найдутся геологи, философы, историки или просто интересующиеся личной жизнью журналистов, то и они будут обмануты в своих ожиданиях.

Таким образом, в чистоте слога проявляется отношение *коммуникативной роли автора* к его *позиции*, т. е. к образу автора с точки зрения *стилистических ожиданий получателей данного типа текста*. При этом аудитория выносит суждение о скромности автора, который высказывается либо о предмете, либо о собственной персоне.

9. *Художественность* риторического стиля не равнозначна его украшенности. Речь может изобиловать образными выражениями, риторическими фигурами, причудливыми сочетаниями, которые свидетельствуют лишь об «азианизме» литературного вкуса автора, но витиеватая речь не становится художественной.

Художественность риторической прозы проявляется в плавности речи, в органичном и умеренном использовании выразительных средств, в изобразительности, в соответствии строя изложения замыслу автора и ожиданиям аудитории.

[2.14.] «Весь мир полон символов, и каждое явление имеет двойной смысл. Зима символизирует собою время, предшествующее крещению Христа; весна — это время крещения, обновляющего человека на пороге его жизни; кроме того, весна символизирует воскресение Христа. Лето — символ вечной жизни. Осень — символ последнего суда; это время жатвы, которую соберет Христос в последние дни мира, когда человек пожнет то, что он посеял. В целом четыре времени года соответствуют четырем евангелистам, а двенадцать месяцев — двенадцати апостолам и т. д. Видимое осмысляется невидимым, а невидимое — видимым. Мир видимый и мир невидимый объединены символическими отношениями, раскрываемыми через писание. В раскрытии этих символических отношений и заключается главная цель средневековой „науки“ и средневекового искусства»<sup>1</sup>.

Пример содержит три фрагмента: первое предложение — утверждение символики средневекового мышления — развертывается примером времен года и апостолов; затем следует толкование символических отношений как объединяющих видимый и духовный мир, и общее утверждение о цели средневекового знания. Первый и третий фрагменты динамические, поскольку в них развертывается мысль автора, а второй статический: он останавливает внимание на содержании предшествующего общего положения. Второй фрагмент организован ритмически, что придает ему внешнюю динамичность и ритмическими повторами создает образ движения по кругу, хронотопа, что и достигается ритмом речи. Ритм прозы проявляется в фонетических контрастах на границах слов, в чередовании равноударных элементов периодов. Так, начальная часть периодов, тема или так называемый протасис, содержит четыре ударных (точнее, так называемых *иктовых*<sup>2</sup>) слога: «весь мир полон символов», «зима символизирует собою время», «весна — это время крещения» и т. д.;

<sup>1</sup> Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. С. 162.

<sup>2</sup> Икт — повышение голоса, которое возникает при отбивании размера стиха: «Когдá не в шутку зáнемог.../И лúчше вýдумáть не мóg».

завершающая часть периодов, тема или аподосис, может быть трех- или четырехударным (иктовым), «предшествующее крещению Христа», «что он посеял» «обновляющего человека на пороге его жизни», «весна символизирует воскресение Христа», но может содержать и иное число ударений. Повторяющиеся определения времен года содержат по четыре икта, а начальный и завершающий смысловую конструкцию аподосис – «предшествующее крещению Христа» и «что он посеял» – по три. Таким образом, семантические ритмы объединяются и чередуются с фонетико-просодическими, что и создает единый фонетико-семантический образ.

### *Риторический идеал*

Аргументация изменяет взгляды и ценностные ориентации общества. Этичный ритор выдвигает предложения и доводы, которые вытекают из предшествующего развития аудитории и повышают ее духовный уровень. Он стремится выдвигать такие предложения, согласие с которыми приведет аудиторию к более высокому уровню организации и самосознания, а присоединение – к продуктивной совместной деятельности, за что и несет ответственность. Если ритор ведет понижающую аргументацию, соблазняя общество предложениями, недостойными высоких идеалов, моральный уровень аудитории понизится, а ее единство нарушится и возникнет уже внутренний конфликт между характером принятых решений и культурой общества. Общество всегда возвращается к своим историческим ценностям и отвергает предложения и аргументацию, которые оказываются несовместимыми с ними, и ратора, который внес такие предложения.

Присоединение к аргументации означает решение, которое принимается аудиторией, а не ритором. Присоединение невозможно без риторических эмоций. Но особенность риторической эмоции в том, что она всегда результат более или менее сознательного выбора аудитории. Читающий или слушающий обычно достаточно хорошо сознает, что именно ему предлагается в качестве эмоции. Но вместе с тем аудитория пластична и легко поддается на отрицательные и недостойные риторические эмоции, как страх, зависть, гнев, высокомерие, эгоизм. Эмоции быстро проходят, а память о них остается. Поэтому ритор, который создает эмоции, несовместимые с нравственными нормами общества, может, конечно, иметь успех, но успех этот будет обманчивым: аудитория, которую удастся соблазнить мотивами зависти, соревновательности или взаимной враждеб-

ности, рано или поздно обратит свой гнев против самого ратора, безопасность которого не будет гарантирована ничем.

Таким образом, предусмотрительный ритор понимает, во-первых, что возможности управлять аудиторией ограничены не только ее способностью к критическому анализу аргументации, но и последствиями решений; во-вторых, что аудитория состоит из людей, обладающих свободой воли, и потому не является средством его самоутверждения; в-третьих, что аргументация должна быть совместимой с историей общества, в рамках которого она осуществляется, и состав реальных предложений ограничен культурой данного общества; в-четвертых, что последствия непредусмотрительности не наступают немедленно, но оказываются неизбежными, причем не только для аудитории, но и для ратора.

В культуре общества содержится представление о том, каким должен быть достойный ритор. Поэтому действия ратора должны соответствовать представлению общества о том, каким следует быть, по выражению древних, «достойному мужу, готовому к речи».

Владимир Мономах пишет своему двоюродному брату Олегу Святославичу, после того как в сражении с дружиной Олега был убит сын Мономаха Изяслав, а сам Олег Святославич в свою очередь потерпел страшное поражение от сыновей Мономаха Мстислава и Вячеслава и находился в критическом положении, письмо с великодушным предложением мира:

«Я тебе пишу не по нужде: нет мне никакой беды; пишу тебе для Бога, потому что мне своя душа дороже целого света»<sup>1</sup>.

Даниил Заточник пишет из ссылки князю Ярославу Всеволодовичу:

«Аще есми на рати не велми хоробр, но в словесех крепок; тем збираи храбрыя и совокупляи смысленыя. <...> Может ли разум глаголати сладко? Сука не может родити жеребяти; аще бы родила, кому на нем ездити? Ино ти есть лодия, а ин ти есть корабль, а иное есть конь, а иное лошака; ин ти есть умен, а ин безумен. Безумных бо ни куют, ни льют, но сами ся ражают. Или речеши, княже: солгал еси аки пес. То добра пса князи и бояре любят»<sup>2</sup>.

Царь Иван Грозный пишет в ответном послании изменнику Андрею Курбскому:

<sup>1</sup> Цит. по: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 1. М.: Мысль, 1988. С. 371.

<sup>2</sup> Древняя русская литература: Хрестоматия / Сост. Н. И. Прокофьев. М.: Просвещение, 1980. С. 96–101.

[2.15.] «Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строптивного владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни?<...> Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил свое благочестие, пред царем и перед народом стоя, у порога смерти не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть.<...> Почему же ты взялся быть наставником моей душе и моему телу? Кто тебя поставил судьей или властелином надо мной? Или ты дашь ответ за мою душу в день Страшного суда? Апостол Павел говорит: „Как веруют без проповедующего и как проповедуют, если не будут на то посланы?“<sup>1</sup> Так было в пришествие Христово; ты же кем послан? И кто тебя сделал архиереем и позволил принять на себя учительский сан?»<sup>2</sup>

Митрополит Московский Платон (Левшин) в торжественной речи, обращенной к императору Александру I в день его коронации в присутствии двора и указывая своими словами на вполне корректные поступки вполне конкретных лиц, сказал:

[2.16.] «Отважится окрест престола твоего пресмыкаться и ласкательство, и клевета, и пронырство со всем своим злым порождением, и дерзнут подумать, что, якобы, под видом раболепности можно возобладать Твоею прозорливостью. Откроет безобразную голову мздоимство и лицепрятие, стремясь превратить весы правосудия. Появится бесстыдство и роскошь со всеми видами нечистоты, к нарушению святости супружеств и к пожертвованию всего единой плоти и крови, в праздности и суете. При таком злых полчищ окружении, обымут Тя истина и правда и будут, охраняя державу Твою, вкупе с Тобою желать и молить: „Да воскреснет в Тебе Бог и расточатся враги Твои“»<sup>3</sup>.

А. И. Герцен следующим образом характеризует своего идейного и политического противника, «не нашего», по его собственному выражению, русского философа и богослова А. И. Хомякова.

[2.17.] «Хомяков был, действительно, опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рессеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете, от казуистики византийских богословов

<sup>1</sup> Рим. X, 14–15.

<sup>2</sup> Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М.: Наука, 1993. С. 126–129.

<sup>3</sup> Платон (Левшин), митрополит Московский. «Из глубины воззвах к Тебе, Господи...» М.: Паломник: Русский двор, 1996. С. 291–292.

до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку»<sup>1</sup>.

К. П. Победоносцев, напутствуя своего ученика великого князя Сергея Александровича, писал:

[2.18.] «Истинное богатство взрослого человека вот в чем состоит. Он должен сознавать в себе внутреннюю силу — разума, умения и воли. Он должен всегда знать, чего хочет и что делает. Он должен уметь: кто умеет и делает, тот спасен на этом свете. Он должен стоять на своих ногах и держаться крепко своей силой, чтобы на него можно было опереться, а не он опирался на других, и не искал бы, как слепец, вождя. Он должен чувствовать, что нужен и недаром живет на свете в кругу своем. <...> Учитесь жить своим умом и своим умением. В Вашем положении можно представить себе, что своего умения не нужно: потому что отовсюду станут предлагать Вам чужой ум и чужое умение, с тем чтобы выдать и то и другое за Ваше собственное. Берегитесь поддаваться этой склонности, а лень и нега будут подталкивать на нее. Вы услышите такие слова: „Вам стоит приказать, и мы все сделаем, все приготовим“. И затем, отдавшись такому влечению, мало-помалу Вы можете вообразить, что на самом деле все это делаете. Приказать нетрудно; но хорошо приказывать, когда даешь себе отчет в том, что приказываешь, когда сам разумеешь дело и можешь рассудить, так ли исполнено. В противном случае тот, кто приказывает, становится на самом деле в зависимость от того, кто делает, и только себя обольщает. Для того чтобы приказывать, надобно знать; для того чтобы знать, надобно потрудиться. <...> Есть качества, которые Вам надо приобрести во что бы то ни стало, как, например, артисту, художнику необходимо во что бы то ни стало овладеть механикой своего искусства, так Вам необходимо овладеть механикою мысли и слова. Необходимо, чтобы Вы умели говорить и писать отчетливо, хорошо, не затрудняясь в приискании слов и выражений, чтобы всякий раз, когда придется, это не казалось Вам тяжким трудом, который хочется сложить на другого. Необходимо, чтобы Вы умели рассуждать о предмете, изучив его, без затруднения, не думая о тяжком бремени. Кто к этому не привык, тот убегает от труда, соединенного с изучением предмета и с рассуждением, на выводах основанным, а вместо того, облегчая себя, судит по впечатлению, которое дается без труда и является случайно»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Герцен А. И. Былое и думы: Избр. произв. Минск: Учебно-педагогическое изд-во БССР, 1954. С. 364–365.

<sup>2</sup> Тайный правитель России: К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. 1866–1895. Статьи. Очерки. Воспоминания / Сост. Т. Ф. Прокопов. М.: Русская книга, 2001. С. 360–362.

В. И. Ленин указывал:

[2.19.] «Беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к партии эксплуататоров»<sup>1</sup>.

В этих по большей части критических суждениях влиятельных раторов, кто бы и как бы к ним ни относился, выражаются сложившиеся в культуре представления о качествах и обязанностях ратора. Основания, на которых опровергается аргументация и компрометируется полемический противник, позволяют судить о том, какими чертами должен обладать идеальный русский ритор.

Нормативный образ ратора предстает в различных вариантах: одно дело — образ проповедника и духовного наставника; иное дело — образ главы государства, образ ученого. Различаясь характером деятельности, общественным положением, содержанием произведений, все эти деятели обладают, однако, общими чертами, которые делают их выразителями общественного идеала ратора, свойственного русской культуре. История русской риторической словесности показывает, что наиболее влиятельным раторам с XII по XX в. были свойственны следующие черты.

1. Последовательное и продуманное мировоззрение, которое лежит в основании высказываний и предложений ратора.
2. Осознанная цельность личности: русский ритор последовательно придерживается того, во что он верит, и от веры своей не отступает даже в том, что можно бы счесть и несущественным.
3. Готовность к самопожертвованию во имя мировоззрения, которое отстаивает ритор. Уважение в русском обществе вызывает только такое мировоззрение, за которое сторонники его готовы отдать жизнь и любые материальные блага.
4. Бескорыстие и праведность личной жизни. У ратора нет личной корысти в том, что он предлагает аудитории, но его интересует в первую очередь духовно-нравственное благосостояние общества и как следствие правды в устройстве общества — его могущество и материальное процветание.
5. Соответствие задач и содержания речи общественному положению ратора: всякое самозванство оценивается крайне негативно как проявление корысти, невежества и лицемерия.

<sup>1</sup> Ленин В. И. Соч. 4-е изд. Т. 10. С. 61.

6. Самостоятельность суждений, предметная и речевая компетентность: аудитория не уважает человека, который говорит чужими словами.
7. Понимание уместности речи: что, кому, когда, как, при каких обстоятельствах и с какой целью сказать и о чем следует умолчать. Мудрость проявляется в сдержанности и гибкости.
8. Сознание необходимости отстаивать свои убеждения и идеи как нравственную обязанность и вытекающую из этого готовность к личной ответственности за слово как поступок.
9. Дельность и весомость речи, ее положительное содержание: ритор высказывается сжато и только по существенным вопросам, но предлагает реальные решения.
10. Уважение к личности человека: неосуждение человека при решительной оценке его слов и поступков.
11. Народность речи, ее простота и доступность.
12. Полемичность речи, смысл и назначение которой понимается как необходимая борьба за правду. Поэтому полемика – исполнение нравственного долга, а не самоутверждение.

Эти качества ратора делают его влиятельным в российской аудитории: в истории русской риторической словесности высказывалось множество идей, защищалось и опровергалось множество мировоззрений, но все действительно влиятельные риторы от св. Феодосия Печерского до преп. Максима Грека, от протопопы Аввакума до А. С. Хомякова, А. И. Герцена, С. И. и В. С. Соловьевых, К. Н. Леонтьева, Б. Н. Чичерина, К. П. Победоносцева, П. А. Столыпина, В. И. Ленина, И. В. Сталина обладали всеми или по крайней мере большинством перечисленных качеств. Следует также отметить, что подавляющее большинство русских раторов были страстными полемистами: достаточно бросить взгляд на приведенный список, чтобы в этом убедиться. Развитие российского общества всегда, за исключением отдельных кратких периодов, которые и называются застоением, было очень динамичным: полемика была и остается инструментом развития общества.

## Пафос

Пафос может рассматриваться различным образом. С точки зрения эмоционального отношения ратора к аудитории и проблеме пафос может быть героико-романтическим, сентиментальным, реалистическим и пр. С точки зрения общих целей и задач речи

посредством пафоса ритор создает мысль-воление аудитории, благодаря которой становится возможным решение и целесообразное действие. Такая мысль-воление может быть направлена на определенные тип, цели и результаты решения.

По классификации Аристотеля, риторическая речь подразделяется на совещательную, судебную и показательную (эпидейктическую) в зависимости от

- 1) времени: содержание речи следует за моментом речи, содержание речи предшествует моменту речи, содержание речи одновременно с моментом речи;
- 2) основного замысла: побудить к решению или отклонить от него, обвинить или оправдать, хвалить или порицать;
- 3) отношения к аудитории: польза или вред, справедливость или несправедливость, прекрасное или постыдное.

Совещательная речь относится к будущему, ее замысел состоит в принятии решения, а предмет – польза или вред аудитории. Судительная речь относится к прошлому, ее замысел состоит в обвинении или оправдании, т. е. установлении истины и оценки факта, а предмет – справедливая оценка факта. Эпидейктическая речь относится к вневременным, «вечным» ценностям и истинам, ее замысел – похвала или порицание, а предмет – утверждение принципов и ценностей.

В условиях современной культуры эпидейктическая речь приобретает особое значение и затрагивает более важные вопросы, чем во времена Аристотеля или Квинтилиана: к предметам, которые существуют или мыслятся безотносительно к моменту создания высказывания о них, относится большая часть богословского, философского, в том числе этического, научного материала мысли, причем предметы эти обсуждаются в самой широкой аудитории, естественно, в риторической технике. Мировоззрение мифологично<sup>1</sup> и является предметом не просто обсуждения, а нападения и защиты. Эпидейктическая речь вырабатывает мировоззрение, на основе которого только и могут оцениваться факты и приниматься решения: сама философия предстает в эпидейктической речи.

Судебная, точнее, судительная речь также изменила свое содержание и задачи: к речи о прошлом относится не только собственно судебная риторика, но и история в широком смысле слова. Как показала еще поздняя античная риторика, судительная речь предстает в проблемах (теоретических и практических) и статусах: от установления и доказательства фактической исторической истины она

<sup>1</sup> В понимании А. Ф. Лосева: Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. С. 171.

переходит к историческому обобщению и оценкам, которые лежат в основе речи совещательной.

Содержание **совещательной** речи также не ограничивается политической дискуссией: решения обсуждаются в администрации, в деловой деятельности, в военном деле, в законодательстве — во всех сферах управления. Но кроме того, существуют различные формы агитации и собственно управляющего диалога. Агитация представляет собой речь, направленную непосредственно на действие и создающую соответствующий пафос, а управляющий диалог — речь, сопровождающая и организующая ход деятельности. Принятие решений основано на прогнозе, и существует особая форма прогностической логики и прогностической речи. И порядок статусов в совещательной речи движется от обсуждения возможного к обсуждению предпочтений и средств достижения цели.

Совещательная, судительная и показательная речь образуют цепь, в которой показательная речь выступает в качестве ключевого звена: если нет согласия о ценностях и нормах, становятся невозможными оценки прошлого и решения о будущем. Из этого не следует, что всякое высказывание будет либо показательным, либо судительным, либо совещательным: в зависимости от состояния проблемы, уровня однородности аудитории, степени ее предметной подготовки эти три вида аргументации могут в различных пропорциях соотноситься между собой в любом высказывании. Вместе с тем очевидно, что речь в суде или речь историка будет судительной, речь проповедника или философа — показательной, речь политика или руководителя предприятия — совещательной.

*Эпидейктический пафос* состоит в образовании аудитории, в котором выделяются воспитание внимания, формирование знаний и навыков. **Судительный пафос** состоит в стремлении к истине и справедливости, поэтому оратор формирует в аудитории знания (знать можно истину), внимание, эмоцию и намерение. **Совещательный пафос** состоит в стремлении к благу и пользе, поэтому совещательный оратор формирует в аудитории пафос эмоции, внимания, намерения, действия.

Риторический пафос может быть **повышающим** и **понижающим**. Повышающим является пафос, который развивает нравственные качества и творческие способности личности и общества и организует созидательную деятельность аудитории; понижающим является пафос, который снижает соответствующие качества и способности. Понятно, что повышающий пафос стремится предложить

решение проблемы и обосновать его с позиций духовной нравственности, а понижающий – с позиций эгоистического интереса.

Создать повышающий пафос значительно труднее, чем понижающий. Во-первых, собственная выгода более популярна, чем общее благо, а практический интерес привлекательнее, чем нравственный долг (исполнение которого сопряжено со многими неприятностями). Во-вторых, ритор, который создает повышающий пафос, предлагает идеи, осуществимость и реальная польза которых далеко не очевидны аудитории, в то время как своя рубашка ближе к телу. Но конечные ценности и интересы и личности, и общества требуют повышающего пафоса речи.

## Логос

Логос – система средств выражения, объединяющая ратора с аудиторией и обеспечивающая коммуникацию с точки зрения адекватности понимания аудиторией замысла и содержания высказывания. Риторический логос существует в форме аргументации.

Риторическая аргументация представляет собой рациональные процедуры убеждающего обоснования приемлемости пропозиций.

Это определение нуждается в объяснении терминов.

Под **пропозицией** понимается содержание тезиса высказывания. Греческое слово «*θέσις*» означает «установление», «положение», «утверждение», «условие». Латинское слово «*propositio*» означает «представление», «предложение», т. е. то, что предлагается, но также «намерение, цель, замысел». Оба слова являются традиционными терминами риторики и логики и обозначают выраженную в слове главную мысль высказывания, которая обосновывается доводами, но семантика греческого и латинского слов различна. Тезис, скорее, утверждение в его словесной формулировке, *пропозиция* – то, что предлагается в тезисе, содержание, связанное с целью высказывания и замыслом автора. Риторический дискурс представляет собой обсуждение выдвигаемых пропозиций.

**Приемлемость** пропозиции – общий термин для различных критериев оценки риторической аргументации. Не всякая пропозиция состоит в утверждении истинности или ложности чего-либо некоторые пропозиции представляют собой побуждения принять определенное решение или действовать определенным образом. Поэтому риторические аргументы не всегда можно рассматривать с точки зрения истинности или ложности их положений, а как правильные или

неправильные, уместные или неуместные, исполнимые или неисполнимые и т. д.

**Процедура** – воспроизводящаяся последовательность действий со словом, представляющая собой опознаваемую модель, которая может сопоставляться с другими подобными моделями и разлагаться на определенные составляющие.

**Обоснование** – система доводов в пользу пропозиции. Доводы представляют собой выраженные различным образом посылки, которые в свою очередь могут быть выводами умозаключений. При этом соотношение и словесное выражение системы посылок может быть достаточно сложным, а приемлемость отдельного довода во многом зависит от его места в ряду других доводов. Часто обосновывается не пропозиция, а именно приемлемость пропозиции для частной аудитории.

**Убеждение** представляет собой такой вид обоснования, при котором аудитория в состоянии критически осмыслить и оценить предлагаемые ей доводы с позиции собственных ценностей, целей и интересов, принять или отвергнуть пропозицию по своему усмотрению. Аргументация может быть принудительной и факультативной. Принудительность означает необходимость принятия пропозиции при условии корректности умозаключения. Принудительны противоположные процедуры обоснования пропозиций: с одной стороны, строгое доказательство, а с другой – словесное насилие или манипуляция – угрозы, шантаж, обман. Между этими полюсами и лежит область собственно риторической убеждающей аргументации.

Процедура обоснования тезиса в различной степени осознается как получателем, так и отправителем высказывания. Процедура обоснования, например, система аксиом и основанных на них теорем, гомерическая последовательность аргументов, прямая или искусственная хрия и т. д. Но, очевидно, многие реально существующие процедуры обоснования не описаны в научной литературе. Тем не менее автор риторического произведения по каким-то соображениям отбирает, строит и располагает в последовательность аргументы. Процедура обоснования становится **рациональной** по мере того, как осознается автором и аудиторией в качестве средства реализации определенного замысла. Риторика занимается целесообразными высказываниями, телеологический принцип создания речи является для нее определяющим. Поэтому интуитивное, вне рационального осмысления построение аргументации выпадает из сферы ее интереса.

### *Антиномии риторической аргументации*

Построить классификацию видов аргументации на едином логическом основании, очевидно, невозможно, поскольку аспекты аргументации взаимно соотносятся различным образом. Между тем определение особенностей риторической аргументации означает осмысление предмета и границ риторики. Можно думать, что картина специфически риторической аргументации предстает в более отчетливом виде, если устанавливаются антиномии аргументации.

*Положительная и отрицательная аргументация.* Пропозиция может быть утвердительным или отрицательным суждением. Так, в совещательной речи либо побуждают принять определенное решение, либо отклоняют от данного решения. В первом случае аргументация будет положительной, а во втором – отрицательной. Положительной или отрицательной может быть любая аргументация в любой предметной области.

*Цель положительной аргументации – обоснование пропозиции, выраженной в форме утвердительного суждения.*

*Цель отрицательной аргументации – обоснование пропозиции, выраженной в форме отрицательного суждения.*

Поскольку всякая риторическая пропозиция спорна по определению и не существует единственно возможных решений, решение, в особенности в совещательной речи, может рассматриваться как наилучшее из предлагаемых, а аргументация представляет его как максимально полезное при сложившихся обстоятельствах. Иное дело научная аргументация. В научном дискурсе пропозиции и процедуры аргументации преследуют цель – обнаружить истинное, следовательно, единственно правильное решение. Сходным образом дело обстоит при софистической или эристической аргументации в различных формах пропаганды, где, например, утверждается «единственно правильная политика», а любое иное решение отвергается как не соответствующее принципам единственной правильности.

*Конвенциональная и неконвенциональная аргументация.* Если (1) выработаны правила отбора и построения аргументов, (2) установлены значения терминов аргументов, (3) определены речевые фактуры, в которых осуществляется аргументация (ораторская речь, письменная, печатная речь и т. д.), (4) выработаны нормы принятия решений и (5) сформирована корпорация лиц, имеющих право на публичную речь в ограниченной предметно-тематической области, то аргументация является конвенциональной. Аргументация остается неконвенциональной, если пункты (1), (2), (4), (5) не выполнены,

поскольку основа конвенции – в нормах профессиональной этики, в вытекающих из них правилах построения высказываний, в так называемых внутренних правилах словесности<sup>1</sup>.

*Цель конвенциональной аргументации – убеждение в приемлемости пропозиции в пределах принятых и согласованных норм обоснования.*

*Цель неконвенциональной аргументации – обоснование приемлемости пропозиции средствами, которые представляются убедительными для адресата высказывания.*

Конвенциональной является научная, деловая, техническая, юридическая аргументация. Значительно ослаблены условия конвенции в философской и богословской аргументации, но здесь они существуют, поскольку существует корпорация философов или богословов. В политической практике и в массовой коммуникации, несмотря на наличие профессиональных корпораций, аргументативных конвенций не существует или они ничтожны. И хотя попытки установить в политике и журналистике профессиональные конвенции неоднократно предпринимались и, несомненно, еще будут предприниматься, сам по себе принцип права публично высказывать личное мнение делает эффективную аргументативную конвенцию в этих сферах публичной речи неосуществимой.

*Логическая и квазилогическая аргументация.* Логическая аргументация, по крайней мере в основном составе своих умозаключений, следует правилам формальной логики и оперирует определенными терминами. Поэтому критика логической аргументации с позиций логического анализа аргументов действительна. Так, судебная аргументация в принципе является логической, и уличение оппонента в логической ошибке влечет за собой опровержение его пропозиции, поэтому судебная аргументация претендует на доказательность. Но поскольку далеко не все пропозиции судебной аргументации реально доказуемы, например, факт деяния по косвенным уликам, совокупность улик как определенный признак совершения деяния данным лицом, законность получения следственной информации и т. д., то существует возможность вердиктов, основанных на правдоподобных выводах, обладающих достаточно высокой степенью вероятности. Логическая аргументация обязательна в научном, техническом, деловом, управленческом, юридическом дискурсе, но не обязательна в дискурсе политическом, художественно-критическом, а также в философском: художественная проза, например, Н. В. Гоголя, Ф. И. До-

<sup>1</sup> См.: Рождественский Ю. В. Общая филология. М., 1996. С. 13–14.

стоевского, Ф. Ницше, В. В. Розанова, Д. С. Мережковского часто рассматривается как составная часть философского дискурса<sup>1</sup>, но, очевидно, не как часть научного.

*Цель логической аргументации – доказательство истинности или ложности пропозиций.*

Квазилогическая аргументация характеризуется необязательностью логических норм, неопределенностью терминов, которые обычно используются в лексическом значении, и правдоподобностью выводов для частной аудитории. В квазилогической аргументации систематически используются различного рода сравнительные аргументы, неполная индукция в виде примеров, средства художественной выразительности – тропы, фигуры, образные описания и характеристики, аргументы к человеку, к аудитории, к авторитету, хотя последние не обязательно являются квазилогическими. Поэтому критика квазилогической аргументации с позиции логической корректности аргументов часто оказывается неэффективной. Более того, квазилогическая аргументация этим своим свойством провоцирует эристическую критику, так как эристические аргументы являются и квазилогическими.

*Цель квазилогической аргументации – убедительное обоснование правдоподобных пропозиций.*

Квазилогическая аргументация имеет весьма широкий спектр применения, включая научный дискурс.

*Софистической* является аргументация, имитирующая логическую, но содержащая намеренно скрытые паралогизмы (подмены схем аргументов и значений термов), например: «Только демократия имеет право на существование; выборы в Лемурии признаны недемократическими; следовательно, Лемурия не имеет права на существование»; «известно, что решения N-ской думы диктуются мэром N-ска, следовательно, критика президента депутатами думы инспирирована мэром N-ска» и т. п.

*Цель софистической аргументации – введение в заблуждение посредством подмены логически правильных форм аргументов и семантически правильной материи аргументов логически и семантически неправильными формами и материей.*

<sup>1</sup> См., например: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л.: Эго, 1991. С. 184–278.

Софистическая аргументация обычно является также формой эристической полемики, поскольку она вводит в заблуждение не оппонента, а общество, к которому обращена.

Однако софистическая аргументация в последнее время особенно интенсивно проникает в научный дискурс. Это достигается посредством так называемого «прыжка кенгуру»: в массовой коммуникации какая-нибудь нелепая выдумка представляется в виде сообщения о научном открытии, появляется сайт в Интернете с изложением фантастической концепции, иллюстрированным фотоснимками чего-то, что может быть истолковано неспециалистом как фактическое подтверждение такой концепции. Само же изложение концепции строится с частичной имитацией языка научной прозы, однако так, чтобы оно было понятным широкой публике и могло быть признано человеком, имеющим соответствующее высшее образование, но недостаточную научную подготовку. Затем формируется общественная поддержка рекламируемой концепции и начинается шантаж специалистов, которые далеко не всегда обладают мужеством и честностью, достаточными для сопротивления натиску. Тем самым концепция насильственно вводится в научный обиход. Такого рода операции распространены не только в гуманитарных науках, но также в естественных и технических, особенно на стыке гуманитарной и естественно-научной проблематики, где много естественников-энтузиастов и мало подготовленных специалистов. Цель подобных предприятий — или получение грантов и субсидий, или влияние на политические решения, или то и другое вместе.

*Диалектическая и догматическая аргументация.* Греческое слово *δόγμα*, означает не только «мнение», но главным образом «учение», «положение», а прилагательное, соответствующее русскому «догматический», — «утверждающий возможность теоретического познания», «излагающий учение».

*Цель догматической аргументации — последовательное и доказательное систематическое изложение теории или учения.*

Догматическая аргументация характеризуется ограниченным определенной смысловой областью составом посылок. Частным случаем догматической аргументации является аргументация аксиоматическая, при которой состав посылок теоретического построения сводится к ограниченному составу положений-аксиом, например к так называемым законам логики — тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания. Доказательство любой теоремы классической формальной логики в конечном счете сводится

к этим аксиомам. Но существуют системы логики, которые обходятся без аксиомы противоречия, потому что для них достаточна аксиома исключенного третьего.

Исходные положения не всегда формулируются как аксиомы, а часто и вовсе не формулируются, что не мешает их использованию как «естественных», «общечеловеческих» принципов. Догматическая аргументация поэтому представляет собой цепь умозаключений, посылки которых могут быть представлены как узлы графа типа дерева. Таковы многие классические философские, богословские, юридические доктрины, например «диалектические» построения Гегеля.

*Цель диалектической аргументации – нахождение убедительного и логически корректного обоснования решения проблемы.*

Диалектическая аргументация характеризуется произвольным выбором посылок аргументов: выбирается посылка, которая в данных обстоятельствах убедительна для тех, кому адресован аргумент. При этом аргумент может основываться на параллельных рядах разнородных посылок типа «не следует красть, потому что кража – тяжкий грех, потому что кража компрометирует вора в глазах общества и потому что закон карает кражу». Посылки диалектической аргументации обычно являются топами, т. е. положениями, признаваемыми всеми, определенной частью общества или специалистами в данном предмете. Так, аргументация классического западноевропейского схоластического богословия диалектическая, а аргументация философии и публицистики XVII–XVIII вв. в основном догматическая.

*Первичная и критическая аргументация. Цель первичной аргументации – обоснование предметного содержания пропозиции.*

*Цель критической аргументации – обоснование суждения о суждении: такое-то высказывание истинно/ложно, приемлемо/неприемлемо.*

Соотношение первичной и критической аргументации определяется характером предмета речи.

Первичная аргументация может быть положительной, если автор склоняет аудиторию к решению, и отрицательной, если автор отклоняет от решения, например речь Лисия «О том, что не должно уничтожать унаследованный от отцов государственный строй в Афинах», в которой нет прямой критики аргументов в пользу изменения государственного строя, но приводятся аргументы о губительных последствиях изменения демократического строя<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: Лисий. Речи. М.: Ладомир, 1994. С. 286–288.

Так, в филологии изучение произведений слова как объекта будет первичной аргументацией, но литературная критика или научная дискуссия, в которых с позиции критика оценивается состоятельность авторского замысла, будет критической аргументацией. В этом смысле, например, термин «библейская критика» как особое направление исследования библейского текста означает не только использование так называемого критического метода анализа текста, но и оценку вероятного авторства, достоверности и риторико-поэтических особенностей текста с позиции критика-библеиста. Критическая аргументация может быть положительной и даже апологетической.

Критическая аргументация может быть **дискуссионной и полемической**.

Дискуссия (лат. *discussio* — «исследование», «рассмотрение») означает обсуждение, в котором аргументация рассматривается объективно и в критические суждения не включаются данные об авторах (например: «Вы это предлагаете, потому что лично заинтересованы в результатах обсуждения», или «Если вас не устраивает мое предложение, найдите лучшее решение»).

*Цель дискуссии — установление истины или нахождение наилучшего решения в спорном вопросе.*

*Пolemika означает обсуждение-спор, цель которого состоит в убеждении не оппонента, а аудитории, поэтому полемическая критика допускает аргументы к человеку и к аудитории («вы видите, что мой оппонент стремится ущемить ваши интересы»).*

Разновидностью полемической является **эристическая** аргументация.

*Цель эристической аргументации — победа в споре.*

Эристическая аргументация может быть обращена и к оппоненту, но главная ее цель как разновидности полемической аргументации заключается в убеждении аудитории любыми доступными средствами. Приемы эристической аргументации представляются этически недопустимыми, например шантаж: «Если вы примете/не примете такое-то решение, мировое сообщество будет вынуждено применить такие-то санкции». Эристическая аргументация особенно широко используется во внешней политике, и часто приемы, которые справедливо признаются безнравственными внутри общества, рассматриваются этим обществом как вполне допустимые в отношении к другому государству или народу.

<b>Глава 3. Риторический аргумент</b> . . . . .	227
<b>Строение риторического аргумента</b> . . . . .	227
Общее место, или топ, . . . . .	229
Словесный ряд (редукция) . . . . .	231
Соотношение схемы, топа и словесного ряда аргумента. . . . .	234
<b>Топика</b> . . . . .	235
Общие и частные топы. . . . .	235
Внешние (содержательные) и внутренние (логические) топы. . . . .	236
<b>Внешние топы</b> . . . . .	237
<i>Топ как посылка аргумента</i> . . . . .	237
<i>Топы и инстанции</i> . . . . .	238
<i>Иерархия топов</i> . . . . .	249
<b>Внутренние топы</b> . . . . .	258
<b>Описательные (обстоятельственные) топы</b> . . . . .	259
Признак . . . . .	259
Действие и претерпевание (субъект – действие – объект). . . . .	260
Лицо и поступок . . . . .	263
Предыдущее и последующее. . . . .	265
Состояние . . . . .	267
Положение . . . . .	269
Место . . . . .	270
Время . . . . .	271
Образ действия . . . . .	273
Внешние обстоятельства . . . . .	275
Причина и следствие. . . . .	277
Цель и средство . . . . .	281
<b>Топы определения</b> . . . . .	283
Присущее и приходящее. . . . .	283
Отношение. . . . .	285
Род и вид. . . . .	288
Целое и часть. . . . .	290
Имя и вещь. . . . .	292
<b>Сравнительные топы</b> . . . . .	296
Тождество. . . . .	297
Сведение и разведение данных. . . . .	298
Определение . . . . .	299
Тавтология и антонимия . . . . .	301
Правило справедливости. . . . .	303
Правило обратимости. . . . .	305
Правило транзитивности. . . . .	305
Сравнение: большее – меньшее. . . . .	307
Подобие. . . . .	308
Противное. . . . .	309

# Глава 3

## РИТОРИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

---

---

### Строение риторического аргумента

Аргументом (лат. *argumentum* от глагола *arguo* – «показываю, выясняю, доказываю» – «довод, доказательство, умозаключение») мы будем называть фрагмент высказывания, содержащий обоснование мысли, приемлемость которой представляется сомнительной.

Обосновать – значит свести сомнительную или спорную для аудитории мысль к приемлемой. Приемлемой может быть мысль, которую аудитория находит истинной или правдоподобной, правильной с точки зрения той или иной нормы, предпочтительной с точки зрения ценностей, целей или интересов аудитории или общества, совместимой с опытом или принятым ранее решением.

Аргумент состоит из: (1) положения и (2) обоснования. Рассмотрим примеры риторических аргументов.

[3.1.] «Но можно ли действительно находить истину? – Должно думать, что можно, если ум без нее не может жить, а он, кажется, живет, и, конечно, не хочет признавать себя лишенным жизни»<sup>1</sup>.

- (1) **Положение** (пропозиция) аргумента – формулировка мысли, которая представляется сомнительной: *Но можно ли действительно находить истину? – Должно думать, что можно...*
- (2) **Обоснование** – совокупность доводов, формулировок мыслей, посредством которых ритор стремится сделать положение приемлемым для аудитории: *...если ум не может жить без истины,*

---

<sup>1</sup> Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Слово в день совершившегося столетия Московского университета. (1855). Творения. Сергиев Посад: Отчий дом, 1994. С. 295.

*а он, кажется, живет, и, конечно, не хочет признавать себя лишенным жизни (доводы).*

С точки зрения строения и содержания риторический аргумент включает три составляющих — схему, топ, редукцию, или словесный ряд. Доводы аргумента связываются с положением и между собой посредством схемы — конструкции умозаключения, в котором вывод (суждение, содержащееся в положении) вытекает из посылок — суждений, лежащих в основании доводов; словесного ряда — лексико-семантических и синтаксических связей, которые задают значения терминов — слов и понятий, входящих в положение и в доводы аргумента; топа, который содержится в основании аргумента.

Отношение положения и обоснования в риторической прозе сложнее, чем, например, в научной литературе: достаточно часто встречается прием, который можно назвать *переодеванием посылки*: главная информация, которую автор сообщает аудитории, содержится не в положении, которое формально сохраняет форму вывода, а в посылках аргумента.

[3.2.] «По пути искоренения преступных выступлений шло правительства до настоящего времени — этим путем пойдет оно и впредь.

Для этого правительству необходимо иметь в своем распоряжении в качестве орудия власти должностных лиц, связанных чувством долга и государственной ответственности. Поэтому проведение ими личных интересов и впредь будет считаться несовместимым с государственной службой.

Начала порядка законности и внутренней дисциплины должны быть внедрены и в школе, и новый строй ее, конечно, не может препятствовать правительству предъявлять соответствующие требования к педагогическому персоналу»<sup>1</sup>.

Бóльшая посылка аргумента — «по пути искоренения преступных выступлений шло правительства до настоящего времени — этим путем пойдет оно и впредь» — представляет собой, по существу, формулировку тезиса речи, она является тезисом и в композиционном отношении, и по форме сентенции — фигуры соответствия с анафорой ключевого слова. Оставаясь посылкой в строе аргумента, это главное положение речи П. А. Столыпина получает подтверждение в виде вывода аргумента — «поэтому проведение ими личных интересов и впредь будет считаться несовместимым с государственной

---

<sup>1</sup> Столыпин П. А. Первая речь в Третьей государственной думе, произнесенная 16 ноября 1907 г. // Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 93–94.

службой» – который нужен для конкретизации общего положения, еще более усиленной высказыванием о школе. Без двух последних фраз [3.2.] тезис мог быть принят как некая общая декларация, но именно они и вызвали острую реакцию зала.

Тесная связь всех элементов риторического аргумента и его смысловая многоплановость не позволяют ограничиваться его аналитическим рассмотрением: риторический аргумент представляет собой единое смысловое целое, составляющие которого на деле не являются самостоятельными частями и могут быть выделены лишь условно.

**Схема** представляет собой логическую форму данного аргумента – операцию сведения (редукции) положения к одному или нескольким определенным образом связанным посылкам.

Посылки умозаключения связаны между собой посредством среднего члена и с положением (выводом) посредством крайних членов; положение среднего и крайних членов умозаключения определяется законами логики. Посылки аргумента могут быть в свою очередь выводами умозаключений, и в таком случае весь аргумент становится сложным умозаключением – *эпихейремой*. Посылки простых или сложных умозаключений часто опускаются как очевидные и подразумеваемые и могут быть восстановлены логико-семантическим анализом аргумента. Аргумент с опущенными посылками называется сокращенным – *энтимемой*. Связи между посылками – явное или неявное включение предиката или субъекта высказывания-посылки в другую посылку или положение-вывод.

Схему [3.1] можно записать в виде формулы:

$$\sim A \rightarrow \sim B; B \Rightarrow A$$

(1) если из не- $A$  следует не- $B$ ;

(2) и имеет место  $B$ ;

(3) то, следовательно, имеет место  $A$  :

(1) если истина не существует ( $\sim A$ ), то ум не может жить ( $\sim B$ );

(2) ум живет ( $B$ );

(3) следовательно, истина существует ( $A$ ).

**Общее место, или топ,** – положение, которое признается истинным или правильным и на основе которого конкретное обоснование представляется убедительным. Риторический аргумент может быть убедительным в пределах топики, которая принимается аудиторией.

Топ содержится или подразумевается обычно в *большей конечной посылке* умозаключения, т. е. в посылке, которая представляется очевидной и не доказывается. Если мы имеем дело со сложным умозаключением, то топы будут содержаться в посылках, которые обосновывают посылки первого уровня, непосредственно связанные с положением-выводом. Однако топ может содержать любая посылка, а сам по себе риторический аргумент в плане смыслового единства посылок может быть однородным в различной мере и в различном смысле. Первый топ приведенного аргумента [3.1]: *ум живет истиной*. Это положение не доказывается и не следует откуда бы то ни было, но представляется аудитории приемлемым.

Топ представляет собой положение, которое рассматривается как правильное или истинное всем обществом, большинством, лицами, компетентными в предмете обсуждения, и является основанием убедительности аргументов при обсуждении проблем и принятии решений.

Топ является ценностным суждением. Понятия, которые его составляют (*истина, жизнь, единство*) рассматриваются как положительные или отрицательные ценности и принимаются в качестве цели или смысла человеческих помыслов и поступков. Топы рассматриваются как критерии приемлемости умозаключения даже независимо от его логической правильности, согласие принять доводы основано на принятии топов:

«Топосы (буквально „места“) — это те или иные факты жизни и мысли, которые способны сделать наш силлогизм вполне убедительным, несмотря на его материальную нелепость или просто непонятность.

Допустим, что кто-нибудь совершил какое-нибудь преступление, за которое по закону полагается определенное наказание. Иван убил Петра, а за убийство требуется наказание смертной казнью. Следовательно, заключает силлогистика, Иван должен подвергнуться смертной казни. Но вот оказывается, что на суде, при разбирательстве дела Ивана, выясняется, что Иван страдает нарушением умственной деятельности. Тогда рушится все рассуждение, и суд вместо казни Ивана отправляет его в больницу или дает такое легкое наказание, которое ничего не имеет общего с тем, что требуется по закону. Топосом в данном случае является факт умалишенного состояния Ивана. И защитнику на суде действительно ничего не стоит убедить суд нарушить тот абсолютный силлогизм, который требуется по закону и фактически часто применяется в жизни. И делает он это только при помощи подробного доказательства сумасшествия Ивана. А ведь если бы наказание механически следовало за

законом, то тогда и суда никакого не потребовалось бы, а все было бы ясно и без всякого суда»<sup>1</sup>.

Но на самом деле истинность или правильность топа, на основе которого строится аргумент, далеко не всегда представляется очевидной и бесспорной. Поэтому при построении и анализе аргументации важно понимать, какие именно общие места лежат в ее основании. Непосредственные посылки умозаключения, приводящие к выводу, в свою очередь могут требовать обоснования, поэтому топ содержится, как в приведенном примере А. Ф. Лосева, в *конечной посылке*, к которой сводится умозаключение, — не в посылке об умалишенном состоянии Ивана, а в положении, что *умалишенный находится в состоянии невменяемости ему уголовной ответственности*.

Положение аргумента можно привести к различным топам и тем самым включить в несколько смысловых рядов, в рамках каждого из которых оно будет осмысливаться по-своему, так как условия его истинности и содержательной оценки будут различными. Искусство аргументации во многом определяется умением приводить положения аргументов к нужным топам.

Топ может быть выражен в различных формах — *изречения*: «Назвался груздем — полезай в кузов», *догматического положения*: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся», *правовой нормы*: «Клевета есть распространение заведомо ложных позорящих другое лицо измышлений, — наказывается лишением свободы на срок до одного года...», *философской максимы*: «Творение указывает на Творца», *научного положения*: «Мыслимые в понятии существенные признаки предмета составляют содержание понятия» и т. п.

При различных способах выражения топ остается отношением двух значимых категорий, совместно образующих сложное именованное, каждый член которого может быть субъектом и предикатом ценностного суждения: «жаждущие правды/блаженство», «ложь/позор», «творение/Творец», «признак/сущность».

**Словесный ряд (редукция)** — лексико-синтаксическое строение аргумента, образующее его смысловое единство.

Доводы аргумента — посылки, взятые в полноте логической формы, языкового и предметного содержания высказываний, в которых они оформлены. Содержание положения («*Но можно ли действительно находить истину? — Должно думать, что можно*»), выраженное в вы-

<sup>1</sup> Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 715.

сказывании с его лексическим составом, синтаксическим и семантическим строем, риторической конструкцией (в примере – фигурой ответственного) сводится (редуцируется) к значению доводов. При этом значения терминов положения включаются в значения терминов посылок.

Эти включения выражены словами определенным образом. Это могут быть просто повторы слов, но могут быть и синонимические обороты или перифразы, например:

[3.3.] «Есть *злые люди*, обладающие огромным состоянием; все *злые люди* несчастны; следовательно, есть несчастные, обладающие огромным состоянием»<sup>1</sup>. (Курсивом выделен средний член, повторяющийся в посылках.)

Здесь термин *злые* включен в термин *несчастные* и в термин *обладающие огромным состоянием*, которые в свою очередь включены в термин *несчастные*. Получается, что в определенном аспекте все три термина аргумента тождественны в значении: *злые* = *несчастные* = *обладающие огромным состоянием*.

Между словами и оборотами устанавливаются не только логические, но и семантические связи, которые сами по себе могут быть убедительными или неубедительными. Так, в античном и дохристианском сознании западноевропейских народов понятие богатства было тесно связано с понятием счастья: еще в старофранцузском языке раннего времени слово германского происхождения *riche* – «богатый» означало также «доблестный, благородный, счастливый», а само слово *bonheur* – «счастье» восходит к народно-латинскому *bona aura* – «хорошее, благоприятное гадание, шанс, удача». Во французском языке XVII в. слово *riche* уже означает только «обладающий большим состоянием, богатый». Слово же «состояние» в смысле богатства, по-французски *fortune*, – одновременно означает удачу, судьбу. Вместе с тем в христианском сознании понятие «богатый» имеет скорее отрицательное этическое значение, а понятие «счастливый» все более связывается с духовным благополучием человека: французское слово *bienheureux* – «блаженный» означает святого человека, а слово *malheureux* – «несчастливого» в любом смысле. Итак, получается цепочка: *несчастный* (*malheureux*) – *злой* (*méchant*) – *обладающий огромным состоянием* (удачей, «везением» – *fortune*) – [*богатый* (*riche*)]. Но эта цепочка содержит сложный символический

<sup>1</sup> Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить (1662) / Пер. с фр. В. П. Гайдамака. М.: Наука, 1991. С. 200.

образ, в котором наряду с утверждением усматривается противопоставление случайной материальной удачи духовному благополучию человека<sup>1</sup>, — своего рода языковую картину мысли, образующей аргумент.

В примере [3.1] слова отобраны и соединены между собой так, чтобы создать единый смысловой образ предмета и придать мысли особую убедительность. Во-первых, значения одних слов (*жизнь, живет, ум*) в контексте фразы включаются в значения других слов (*истина*). Это *семантическая редукция* — операция приведения значений слов, содержащихся в положении, к значениям слов, содержащихся в посылках. Во-вторых, в примере [3.1] само синтаксическое строение и членение фразы образуется соединением нескольких фигур речи. Положение содержит фигуру диалогизма (вопросо-ответа), соединенную с фигурой окружения («можно ... можно»), которая вводит фигуру отличения (плоче) — повтор слова или формы в различных значениях: «можно» в значении «возможно» и «может» в значении «в состоянии» (значит, если познание возможно, то мы в состоянии познавать), а вслед за ней — фигуру градации, т. е. нарастания интенсивности значения («живет и не хочет признавать себя лишенным жизни»). В-третьих, все эти фигуры создают образ диалогических отношений: вопрос задается как бы от лица аудитории, а ответ дается в подчеркнуто безличной форме как бы от нормы мышления («должно думать»); далее модальные вводные слова «кажется» и «конечно» явно принадлежат говорящему, который обращается к оценке и согласию слушающего. В таком строении фразы проявляются образы «общества», «аудитории» и «говорящего», которые обнаруживают правильность рассуждения, чем и создается убедительный пафос фразы. В-четвертых, для понимания содержания и значения конкретного аргумента важна семантика ключевых слов лексической цепочки от положения (вывода) обычно к большей посылке.

Действительно, что значит «истина» в контексте данной речи святителя Филарета? «Истина» и «жизнь» здесь адресуют получателя не только к обычному значению этого слова, но и к евангельскому контексту: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, как Единородного от Отца» [Ин 1.14]. Слово «истина» означает не только соответствие высказывания действительности: выражение «находить истину» означает в первую очередь «находить Истину как таковую», т. е. Бога, и во

<sup>1</sup> См., например, цепочки концептов, связывающих категории добра и зла у А. Шопенгауэра (*Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. М., 1892. С. 48–61*).

вторую очередь «находить всякую научную, философскую, правовую и т. д. истину, поскольку она является частным выражением истины абсолютной». Эта философско-богословская амбивалентность слова в контексте адресует к некоей инстанции, естественному разуму человека, которая в свою очередь утверждена контекстом Св. Писания (Рим. 1, 20–24). Таким образом, обосновывающая посылка в примере [3.1] обращена к естественному разуму человека и к Св. Писанию как к утверждающей ее приемлемость инстанции, а не только к факту логического парадокса лжеца, вытекающему из суждения «Истину найти нельзя».

**Соотношение схемы, топа и словесного ряда аргумента.** В реальной риторической аргументации построение словесного ряда имеет определяющее значение: аудитория ораторской речи, гомилетики, публицистики, массовой информации и даже философской прозы далеко не всегда в состоянии восстановить и тем более проанализировать схему аргумента, выявить источник его посылок — убедительны слова. Далеко не все риторические аргументы соответствуют нормам логики; более того, именно логически неправильные аргументы часто представляются наиболее убедительными.

Однако убедительность неправильных аргументов — иллюзия. Дело в том, что риторический аргумент включается в систему аргументации конкретного произведения. В этой системе он объединяется в одно смысловое целое с другими аргументами и занимает в последовательной цепи аргументов определенное место. Так, аргумент о «хорошем человеке» завершает ряд аргументов защиты и в качестве завершающего выступает как наиболее *убедительный* и на деле оказывается самым сильным для аудитории. Но ему предшествуют *доказательные* аргументы, логически безупречные или принудительные с точки зрения топики права (подобные примеру с лестницей). Эти доказательные аргументы, может быть, суховаты и педантичны, в отличие от красочного рассказа о хорошем человеке, и сами по себе могли бы оказаться недостаточным основанием для вынесения оправдательного вердикта, потому что присяжные, даже убежденные в невиновности обвиняемого, не могут вынести решение только на том основании, что он хороший человек. Но они-то и составляют ту жесткую основу, на которой становится возможной особая эмоциональная убедительность рассказа о хорошем человеке.

Разумеется, все в конечном счете определяется строением этоса и этической компетенцией аудитории. Если аудитория достаточно компетентна, внимательна и требовательна к ритору, она будет

ожидать от него основательных, по крайней мере правдоподобных, доводов, а присоединение к убедительным аргументам будет зависеть от степени согласия с доказательными. Если же аудитория готова согласится с предложениями ратора во имя чего бы то ни было, она удовлетворится любыми софизмами. Плохая риторика развращает, а хорошая – воспитывает аудиторию.

В составе риторического произведения аргументация образует систему, в которой в единое целое связаны толика, обращенная к иерархически организованным инстанциям, логические и квазилогические формы аргументов и охватывающая все произведение словесно-образная картина проблемы, в которую как составные части включаются словесные ряды отдельных аргументов.

## Толика

**Общие и частные топы.** Общие топы представляют собой суждения, приемлемые для любой аудитории в пределах данной культурной общности. Очевидно, общие места не могут рассматриваться как *универсальные*, и пределом их общности всегда оказывается ограниченная аудитория. Всеобщая приемлемость таких «универсальных» положений, как «все, что происходит, происходит во времени», «целое больше части», «два взаимно отрицающих суждения не могут быть истинными одновременно и в одном и том же смысле» и т. п., часто мыслится как сама собой разумеющаяся, но на деле оказывается иллюзорной. Примером может служить анекдотическая история, рассказанная мне врачом-кардиологом. Врач назначила некой даме строгую диету: «Никакого мяса и ничего мучного». Дама с самым серьезным видом спросила: «А пельмени можно?»

Особенность общих топов состоит в том, что они сохраняют значимость в пределах определенного общества как культурного целого и человек, публично отрицающий их значимость, тем самым противопоставляет себя всей культурной традиции. Но и в пределах данной культурной традиции существуют положения, которые значимы и приемлемы лишь для отдельных ее частей, – частные топы. При этом, очевидно, частные топы должны быть совместимы с общими. Система общих мест не только иерархична, но и сложно организована: существуют топы различной степени общности, различного строения и назначения.

Частные топы представляют собой суждения, принимаемые лишь отдельными общественными группами. Так, положение «*знание*

*выше успеха»* является обязательным в академической среде, а положение *«доказательство вины лежит на обвинителе»* обязательно в судебной практике, но не в семейных отношениях. Всякий, кто публично обращается к аудитории ученых, юристов или политиков, должен учитывать частные топы и опираться на них, в противном случае его аргументация будет отвергнута.

Различие между общими и частными топами объективно и определяется не чьим-то мнением, пусть это будет даже мнение большинства, а смысловыми отношениями между топами и строением культуры. В основе духовной культуры общества лежит совокупность общих мест, которая, очевидно, организована и в основных своих частях устойчива, но вместе с тем подвижна и исторически изменчива. Хотя в дальнейшем отношения общих и частных топов рассматриваются как иерархическая система, видимо, на деле топика организована по принципу сети, в которую, однако, вписываются иерархические конструкции. Ее изучение и составляет основную задачу теории топики.

**Внешние (содержательные) и внутренние (логические) топы.** Топ имеет сложное строение: в нем выделяются две смысловые составляющие – содержательная и логико-семантическая, – которые обозначаются соответственно как топ внешний и топ внутренний.

Внешний (содержательный) топ представляет собой сочетание смысловых категорий, которые в совокупности выражают смысловую ценность, свойственную определенному мировоззрению или определенной культурной традиции.

Так, в выражении *«рассекать – значит убивать»* можно увидеть сочетание слов *«рассекать»* и *«убивать»* – подлежащего и сказуемого ценностного суждения, соединение которых является смысловой основой суждения – содержательным топом. Форма отношения между ними:  $A \subset B$  – является выражением логического топа, который называется *«вид – род»*, поскольку рассечение рассматривается как вид убиения.

Внутренний (логический) топ представляет собой ход мысли, посредством которого устанавливается отношение между понятиями или высказываниями.

Отношение вида к роду как внутренний топ, однако, предполагает не просто включение одного понятия в другое. С любой парой понятий, которые соотношены как род и вид, можно оперировать строго определенным образом. Действительно, *всякое рассечение является умерщвлением*, следовательно, если некое живое существо

рассечено, то оно убито, но не наоборот. Кроме того, сущность *рассечения* (вида) и *умерщвления* (рода) состоит в том, что разрушается и прекращает существовать некое целое, поэтому *рассечение* входит как вид в *умерщвление*, *умерщвление* входит как вид в *уничтожение*, *уничтожение* входит как вид в *смерть* или *прекращение бытия*. Но поскольку, скажем, *сожжение* также является *прекращением бытия*, то в определенном выше смысле *сожжение* подобно *рассечению*. Поэтому установление отношения между понятиями через внутренний топ открывает определенные возможности построения аргументов.

Разделение логического и содержательного топов полезно. Логический топ подобен ходу фигуры в шахматной игре: ладья, ферзь, конь могут ходить лишь определенным образом, но каждый конкретный ход определяется ситуацией на шахматном поле и замыслом игрока.

Число логических топов ограничено, и в совокупности они образуют своего рода алфавит смысловых отношений. Но этот «алфавит» не следует рассматривать как некий набор «примитивов», к которым могут быть редуцированы другие более сложные отношения. Дело в том, что логический топ многомерен — он входит в различные связи, образуя ячейку в пространстве семантических возможностей.

## Внешние топы

### *Топ как посылка аргумента*

Посылка аргумента представляет собой топ. Строение этой посылки, как и ее отношение к другим посылкам и положению аргумента, требует рассмотрения. Принцип, согласно которому хороший аргумент должен быть убедительным для аудитории, а не для автора высказывания, побуждает выяснить содержание этой убедительности. Убедительность не является психологической категорией, поскольку убеждает не то положение, которое утраивает отдельного получателя высказывания, а то положение, которое получатель находит приемлемым или правильным с определенной позиции. Так, кандидат на выборную должность может быть кому-то симпатичен или не симпатичен: внешний вид и манера выражаться могут быть привлекательными, отдельные высказывания могут вызывать сочувствие, но действительное основание, а не психологический мотив принимаемого решения оказывается иным. Например, тем, кто предложил некий выход из создавшейся ситуации, следует дать

возможность реализовать свой план. При этом, разумеется, среди избирателей будет много таких, кто принимает решение именно по психологическим мотивам — нравится / не нравится. Но в основном убедительность аргумента зависит от вполне рациональных соображений получателя высказывания, поскольку у каждого свои мнения и свои предпочтения, но общество не сумма индивидуумов, а социальный организм. И члены общества оценивают аргументацию как части этого организма, если общество имеет достаточный исторический опыт государственности и достаточную личную культуру, разумеется, не в смысле умения пользоваться столовым прибором. *Эффективность* публичной речи зависит главным образом от личностных предпочтений, *влиятельность* аргументации определяется ее совместимостью с культурой общества.

Содержанием посылок влиятельных аргументов являются общие места культуры общества. Хотя сами по себе общие места являются неисчислимым открытым классом и их состав частично изменяется в ходе деятельности общества, они группируются по культурному содержанию и по характеру оценки аудиторией. Культурное содержание топа отражает его место в иерархии ценностей, свойственных данному культурному образованию. Характер оценки аудиторией зависит от источника топа и также от картины мира, свойственной данному языку и данной культуре. Топ является предметом реальных верований аудитории, в соответствии с которыми они и оценивает посылку с точки зрения соответствия реальности как истинное, ложное или правдоподобное высказывание, с точки зрения авторитета источника как правильное или неправильное, с точки зрения самосознания собственных целей и интересов как приемлемое или неприемлемое.

### *Топы и инстанции*

Посылки аргумента обращены к определенной *инстанции* — источнику, который, по представлениям аудитории, их удостоверяет и от которого они исходят. Если инстанции общих мест определяются картиной мира, то и существуют три их разряда — *реальность*, как бы она ни понималась, *авторитет*, каким бы он ни был, самосознание *аудитории*, в чем бы оно ни проявлялось. Если представить последовательности инстанций по картине мира в виде оси абсцисс: *реальность*, *авторитет*, *аудитория*, то окажется, что они организованы различным образом, поскольку для каждого типа инстанций иерархия будет строиться особо. Действительно, по оси ординат, т. е. иерархии для позиции *реальности*, место конкретного топа будет

зависеть от характера проблемы и окажется переменным. При решении одной проблемы более значимыми окажутся место и время, при решении другой — способ действия, при решении третьей — отношение субъекта к объекту и т. д. Для позиции *авторитета* место топа будет устойчивым, поскольку культура характеризуется устойчивой иерархией авторитетных инстанций. Авторитет науки, например, выше авторитета частного мнения. Для позиции *аудитории*, так же как и для позиции реальности, иерархия окажется переменной, но она зависит уже от самооценки частной аудитории. Для одних аудиторий польза более значима, чем долг, для других цельность и последовательность мировоззрения менее значима, чем компромисс. Очевидно, можно сказать, что *аргументация к реальности* отображает пафос, т. е. характер замысла автора высказывания, *аргументация к аудитории* отображает этос, т. е. требования к аргументации со стороны аудитории, *аргументация к авторитету* отображает логос, т. е. топику, объединяющую любого автора публичных высказываний с любой аудиторией данной культурной общности.

Общая топка является совокупностью положений, в которых выражаются ценности культуры общества. Систематизация общих мест культуры — главная задача национальной философской школы. В этом смысле понятия «русская философия» или «русское мировоззрение» имеют большое значение, поскольку философия является основной формой эпидейктической риторической прозы Нового времени. В отличие от французской философии, восходящей к Р. Декарту, британской философии, восходящей к Д. Локку, немецкой философии, восходящей к Г. Лейбницу и Х. Вольфу, национальная школа философии в России сложилась лишь в конце XIX — начале XX вв., и ее развитие было прервано Октябрьской революцией.

Кроме философии, ни одна область умственной деятельности — ни наука, ни богословие, ни тем более художественная литература не может решить задачу иерархической систематизации топки культуры. Топика включает разнородные в мировоззренческом смысле положения, сложившиеся на различных этапах истории национальной культуры.

Богословие всегда конфессионально: не существует богословия вообще, а православное, римско-католическое, евангелическое и т. д. Предмет богословия — Откровение, данное в Св. Писании и Св. Предании Церкви, поэтому богословие создает догматику — систему общих мест духовно-нравственной, религиозной культуры в различных ее аспектах, и эти общие места в зависимости от содержания

вероучения могут выступать в составе топики, например науки или искусства. Так в некоторых религиях имеется запрет на изображение человека. Богословская догматика не высказывается о ценностях временных и практических, например политических или конкретных правовых вроде презумпции невиновности или бремени судебных доказательств — это задача правового нормирования, философии права.

Наука ограничена предметом и методом исследования. В лучшем случае наука в состоянии указать произведения слова, в которых обнаруживается та или иная топка. Однако и здесь существуют проблемы, которые не решаются собственно научным знанием в силу его методических ограничений. Так, художественные произведения Ф. М. Достоевского с точки зрения филологической не могут рассматриваться как философская проза, но историки философии включают творчество Ф. М. Достоевского в историю философии<sup>1</sup>.

Философская мысль в России не успела или не сумела выработать последовательное учение о культуре, в частности о ценностях, лежащих в основе риторической аргументации; марксизм-ленинизм в силу своих идеологических установок вообще отрицает самостоятельное существование и самостоятельную историю культуры, поскольку относит ее к области надстройки, содержание которой обусловлено развитием базиса — производительных сил и производственных отношений. Поэтому для марксистско-ленинского подхода к культуре характерно отрицание имманентной истории и кумуляции как конституирующего свойства культуры: «Культура по своему содержанию меняется с каждым новым периодом развития общества. Буржуазные идеологи, стремясь затемнить классовое содержание буржуазной культуры, в духе идеалистической философии отрывают культуру от ее материальной основы»<sup>2</sup>. Лишь в начале 50-х гг. XX в. язык как основа культуры был выведен И. В. Сталиным<sup>3</sup> из системы общественно-исторических категорий марксизма-ленинизма и оказался как бы в пустоте, поскольку не мог рассматриваться ни как базис, ни как надстройка, ни как биологическое явление<sup>4</sup>. По-

<sup>1</sup> См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л.: Эго, 1991. С. 220–244; и др.

<sup>2</sup> Степанян Э. Х. Культура // БСЭ. Т. 24. М.: Большая советская энциклопедия, 1953. С. 30.

<sup>3</sup> Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М.: Гос. изд-во полит. лит. 1952. С. 5–11.

<sup>4</sup> Сталин И. В. Относительно марксизма в языкознании. М.: Политиздат, 1953. С. 5–11.

этому и вся культура, вырастающая как хранимый опыт общества из строя языка, выпала из области философского умознания. Эта неопределенность культуры в системе категорий диалектического материализма довлеет и современной философской культурологии<sup>1</sup>.

Однако в произведениях русских философов можно найти разработку проблемы иерархии ценностей – топики – в виде более или менее определенных указаний на иерархию проблем, характерных для русской философской мысли. Так, С. Л. Франк в работе «Русское мировоззрение» (1925)<sup>2</sup> характеризует объект своего рассмотрения как «...идеи и философемы, объективно и осязаемо для всех содержащиеся в воззрениях и учениях русских мыслителей...»<sup>3</sup>. Эти идеи и философемы следующие.

1. *Интуитивизм*: «Своеобразие русского типа мышления в том, что оно изначально основывается на интуиции»<sup>4</sup>. Интуиция и интуитивизм русского мировоззрения и русской философии понимаются С. Л. Франком в том смысле, что основные философские идеи высказываются неформально, не в виде профессиональных философских сочинений, а в свободной форме художественной литературы, литературной критики, публицистики и т. д. Русская философия, по мысли С. Л. Франка, «является именно мировоззренческой теорией», суть ее «в религиозно-эмоциональном толковании жизни» и «понять ее можно посредством углубления в ее религиозно-мировоззренческие корни»<sup>5</sup>.

2. *Антирационализм*, который С. Л. Франк понимает не как «иррационализм», а в смысле, близком сформулированному Х. Перельманом и Л. Ольбрехтс-Титекой в цитированном выше предисловии к «Неориторике» и в определении риторического аргумента в начале этой главы – как отрицание логического универсализма: «Русский антирационализм как раз и означает, что русский дух сопротивляется способности в одной лишь логической очевидности усматривать выражение окончательной и полной истины»<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Например, беспомощное в смысловом и логическом отношении определение культуры в учебнике для высшей школы: Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. Культурология: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 102.

<sup>2</sup> Франк С. Л. Русское мировоззрение // Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 472–501.

<sup>3</sup> Там же. С. 472–463.

<sup>4</sup> Там же. С. 474.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же. С. 476.

### 3. Эмпиризм:

«Опыт означает для русского в конечном счете то, что понимается под жизненным опытом. Что-то „узнать” — означает приобщиться к чему-либо посредством внутреннего осознания и переживания, постичь что-то внутренне и обладать этим во всей полноте его жизненных проявлений. В данном случае опыт означает, следуя логике, не внешнее познание предмета, как это происходит посредством чувственного восприятия, а освоение человеческим духом полной действительности самого предмета в его живой целостности. И по отношению к этому опыту логическая очевидность затрагивает лишь, так сказать, внешнюю сторону истины, не проникая в ее внутреннее ядро, и поэтому она всегда остается неадекватной полной и конкретной истине. Это понятие опыта не только подспудно лежит в основе всего русского мышления и русской философии, но и весьма подробно и ясно было обосновано в самобытной национальной русской теории познания...»

И далее:

«Итак, должно наличествовать внутреннее свидетельство бытия, без которого факт познания остается необъяснимым. Это внутреннее свидетельство и есть вера — не в обычном смысле слепого, необоснованного допущения, а в смысле первичной и совершенно непосредственной очевидности, мистического проникновения в самое бытие»<sup>1</sup>.

Идея эмпиризма непосредственно относится к системе топов. Опыт, понимаемый в данном смысле, не только становится основой *научного познания*, но и приобретает смысл духовной ценности, непосредственно связанной с тем значением интуитивизма, которое отсылает к топике религии и связывает ее с топикой научного знания.

Это понимание единства внутреннего опыта как основы познавательной деятельности унаследовано от античной философии и византийского богословия. Св. Иоанн Дамаскин, а вслед за ним все восточное и западное Средневековье тесно связывают топик религии непосредственно с топикой науки — человеческая жизнь предстает как школа:

«Философия есть познание сущего, то есть познание природы сущего. И снова: философия есть познание божественных и человеческих вещей, то есть видимого и невидимого. Философия, опять-таки, есть помышление о смерти произвольной и естественной. Ибо жизнь двойственна: естественная, которой мы живем, и произвольная, в силу которой мы страстно держимся за настоящую жизнь. <...> Опять-таки, философия есть любовь к мудрости; Бог же есть истинная мудрость.

<sup>1</sup> Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 476–478.

Поэтому истинная философия есть любовь к Богу. Философия разделяется на теоретическую и практическую. Теоретическая — на богословие, физиологию и математику, а практическая — на этику, экономику и политику. Теоретической философии свойственно украшать знание. Посему богословие есть рассмотрение бестелесного и невещественного, а затем ангелов и души. Физиология есть познание материального и непосредственно нам доступного, то есть животных, растений, камней и т. п. Математика есть познание того, что само по себе бестелесно, но усматривается в теле, я имею в виду — чисел и гармонии звуков и, кроме того, фигур и движения светил. При этом рассмотрение чисел составляет арифметику; рассмотрение фигур — геометрию; наконец, рассмотрение светил — астрономию. <...> Практическая философия занимается добродетелями; ибо она упорядочивает нравы и учит, как следует устроить свою жизнь. И если она предлагает законы одному человеку, то называется этикой; если же целому дому — экономикой; если же городам и странам — политикой.

Но некоторые пытались устранить философию, говоря, что ее нет, и никакого знания и постижения, мы скажем: на каком основании вы говорите, что нет философии, нет знания или постижения, познав и постигнув или не познав и не постигнув? Так вот, *если постигнув, то познание и постижение существуют; а если не познав, никто вам не поверит, так как вы рассуждаете о предмете, познания которого не достигли* (курсив мой. — А. В.)»<sup>1</sup>.

«Источник знания» св. Иоанна Дамаскина, один из ключевых текстов русской культуры, известный на церковнославянском языке с X в., в традиции, безусловно, восходящей к Аристотелю, дает и понимание опыта (ср. выделенное курсивом), и понимание соотношения богословия и философии в широком смысле, и понимание места научного знания в культуре.

Русский эмпиризм рассматривает научное знание как духовную задачу осмысления тварного мира.

#### 4. Психологический онтологизм:

«Непосредственное чувство, что мое бытие есть именно бытие, что оно (мое бытие) принадлежит бытию всеобщему и укореняется в нем и что совершенное жизненное содержание личности, ее мышление как род ее деятельности пресуществует только на этой почве, — это чувство бытия, которое дано нам не внешне, а присутствует внутри нас (не становясь и тем самым субъективным) чувство глубинного

<sup>1</sup> Иоанн Дамаскин. Философские главы // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М.: Индрик, 2002. С. 57–58.

нашего бытия, которое одновременно объективно, надындивидуально и самоочевидно, составляет суть типично русского онтологизма»<sup>1</sup>.

Это миропонимание проявляется, по мысли С. Л. Франка, в особой форме психологизма, ибо психология в действительном смысле есть «учение о душе как о сфере внутренней реальности», которая определяет *антропологическую* направленность русской философии и русского мировоззрения:

«Человек, каким он предстает во внешнем мире, видится крошечной частью мирового целого, и сущность его исчерпывается, на первый взгляд, этой видимостью; но фактически тот, кого мы называем „человек“, есть в себе и для себя неизмеримо большее и качественно иное, чем маленький осколок мира; это таинственный мир колоссальных потенциально бесконечных сил, внешне втиснутый в малый объем, и его потаенные глубины столь же мало напоминают о себе во внешнем проявлении, сколь огромные пучины соответствуют незаметному их выходу наружу, соединяющему их со светлым, желанным миром земной поверхности. Это и является принципиальной позицией русского духа в области душевного. Я позволю себе прояснить этот психологический онтологизм на нескольких примерах из области русской литературы»<sup>2</sup>.

Русская культура глубоко персоналистична. Личность человека уникальна и в строгом понимании не может быть предметом научного знания, выразить, изобразить личность можно только средствами искусства. С. Л. Франк рассматривает онтологический психологизм на материале творчества Ф. М. Достоевского и Ф. И. Тютчева, и следует заметить, что он говорит о «литературной форме русского философского творчества»<sup>3</sup>.

*Психологический онтологизм в изображении С. Л. Франка проявляет себя в художественном творчестве – искусстве и оказывается следствием эмпиризма, как эмпиризм оказывается следствием религиозного сознания.*

### 5. Соборность:

«Что же касается истинной, внутренней сути самобытного русского духовного коллективизма, то, во-первых, он не имеет ничего общего с экономическим и социально-политическим коммунизмом, а во-вторых, несмотря на то что этот коллективизм противостоит индивидуализму, он отнюдь не враждебен понятиям личной свободы и индивидуальности, а, наоборот, мыслится как его крепкая основа»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 481.

<sup>2</sup> Там же. С. 483–484.

<sup>3</sup> Там же. С. 474.

<sup>4</sup> Там же. С. 486.

Соборность, по мысли С. Л. Франка, связана с отношением понятий «я» и «мы», при этом

«каждое „я” не только содержится в „мы”, с ним связано и к нему относится, но можно сказать, что и в каждом „я” внутренне содержится, со своей стороны „мы”, так как оно как раз и является последней опорой, глубочайшим корнем и живым носителем „я”»<sup>1</sup>.

И далее:

«Эта соборность, „мы-мировоззрение”, органическое единство человеческого сообщества образует, повторяю, основу русской церковной мысли, как это блестяще и теоретически глубоко обосновал гениальный русский богослов Хомяков»<sup>2</sup>.

Рассмотрев соборность как фундаментальное понятие русской философии, С. Л. Франк формулирует важную для рассмотрения проблемы иерархии топов мысль:

«...именно в дни русского краха и политических слабостей нельзя забывать о том, что русский народ некогда основал и в течение столетий укреплял величайшее и мощнейшее государство в Европе и что это государство удерживалось не светско-политической идеей, а монархией в ее национально-русском варианте, то есть внушительной религиозной идеей „царя-батюшки” — царя как носителя религиозного единства и религиозного стремления русского народа к истине»<sup>3</sup>.

*Соборность как принцип общественной нравственности оказывается основой идеи правды, исторического опыта, государственности.*

## 6. Правда:

«Если мы обобщим особенности русского мировоззрения, о которых было сказано выше, в частности принцип жизненного опыта, познание через переживание — онтологизм <...> и, наконец, то, что мы называли соборностью или принципом общности, принципом единства отдельных существований, их переплетения во всеохватывающей, живой целостности духа <...>, то уже это обобщение позволит нам ощутить, как глубока, конкретна и всеобъемлюща та истина, к которой стремится русский дух. <...> В русском языке существует очень характерное слово, которое играет чрезвычайно большую роль во всем строе русской мысли — от народного мышления до творческого гения. Это непере译имое слово „правда”, которое одновременно означает и истину, и „моральное и естественное право”. <...> Русский дух — в лице религиозного искателя

<sup>1</sup> Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 487.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же. С. 489.

или странника из народа, в лице Достоевского, Толстого или Вл. Соловьева — всегда искал ту истину, которая ему, с одной стороны, объяснит и осветит жизнь, а с другой — станет основой „подлинной”, то есть справедливой жизни, благодаря чему жизнь может быть освящена и спасена. Это, собственно, и есть истина как „свет... который просвещает всякого человека, приходящего в мир” (Ин 1, 9), истина как логос, в котором — жизнь, позволяющая преодолевать разрыв между теорией и практикой, между познанием и формой существования»<sup>1</sup>.

Понимание правды, сформулированное С. Л. Франком, и является основой русского правосознания:

«Закон по существу своему есть 1) вообще правда. Он или выражает ее требования, или устанавливает меры для исполнения этих требований на самом деле. Но 2) определенной образ бытия правды в существах, к ней способных, суть обязанности и права; почему обязанности и права составляют определеннейшее содержание закона. Для этого содержания сам закон служит формой. Итак, говоря о существе закона, мы должны изложить: 1) существо правды, 2) существо обязанностей и прав, 3) понятие закона»<sup>2</sup>.

Далее К. А. Неволин излагает понимание правды в смысле, согласном с тем, что содержится в приведенной цитате из С. Л. Франка.

*Духовно-нравственная идея правды, в свою очередь вытекающая из принципа соборности, является основой правосознания.*

## 7. Человек:

«...человек стоит в центре русского мировоззрения, и сама природа, как таковая, не обожествляется пантеистически, а, напротив, религиозно очеловечивается и втягивается в сферу метафизики человечества. Это человек, который в соответствии с уже охарактеризованной выше особенностью русского мировоззрения всегда воспринимается как представитель человечества, коллективной сущности его. Судьба же человека всегда мыслится некоторым образом как всемирно-историческая судьба человечества. Его благо зависит от спасения всего мира, и подлинная его суть всегда проявляется в его жизни»<sup>3</sup>.

Антропология русской философии вытекает из принципа соборности, поскольку «„я” в своем своеобразии и свободе... не отрицается; напротив, есть мнение, что оно только в связи с целым и получает это своеобразие и свободу...»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 489—490.

<sup>2</sup> Ср.: Неволин К. А. Энциклопедия законовещения. (1839—1840). СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1997. С. 33 и далее.

<sup>3</sup> Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 493—494.

<sup>4</sup> Там же. С. 487.

*Понимание человека как духовной сущности в социально-историческом и практическом смысле определяется идеей правды как принципа долженствования в общественной жизни и в свою очередь определяет идею истории и исторического опыта.*

## 8. Исторический опыт:

«Самое интересное и значительное, что породило русское мышление XIX в. — кроме религиозной философии, — принадлежит к области исторической и социальной философии»<sup>1</sup>.

Полемика славянофилов с западниками, содержавшая богословские и культурно-исторические аргументы и продолжавшаяся фактически в течение всего XIX столетия, в XX столетии породила евразийство<sup>2</sup>. По словам С. Л. Франка русская историософия как философское осмысление исторического опыта России служит

«трамплином, с которого тотчас взмываешь в высоты религиозно-метафизического или общего культурно-философского размышления»<sup>3</sup>.

*Опыт истории как мировоззренческая проблема вытекает из специфического для русского мышления понимания человека и оказывается подчиненным антропологической идее и определяющим такие политические идеи русской философии, как идея идеократии Н. С. Трубецкого.*

«Русское мировоззрение» представляет собой расширенный вариант научного доклада, прочитанного в 1925 г. С. Л. Франк, несомненно, отдавал себе отчет в том, что мировоззрение современной ему России руководствовалось иными категориями и ориентировалось на иные ценности. Но, в отличие от советских критиков реакционной буржуазной философии типа Деборина, С. Л. Франк понимал, что национальная культура выходит за пределы «воли правящего класса» и ее содержание не меняется «с каждым новым этапом развития общества», что национальная философская школа осмысливает содержание культуры и одновременно включена в духовную культуру общества как ее часть. Поэтому ключевые категории русской культуры в их иерархической последовательности и образуют понятийный каркас мировоззрения общества.

Сходное представление о составе и иерархии основных категорий русской культуры дает в работе «Основы христианской культуры» (1937) философ иного направления и иного стиля мышления —

<sup>1</sup> Там же. С. 494.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

И. А. Ильин. Представляется достаточным, не углубляясь в разбор понятийной системы, характерной для этой и других работ И. А. Ильина, посвященных вопросам культуры, привести цитату, в которой представлены в воспроизводящейся последовательности категории русской духовной культуры:

«„Современный” человек есть трезвый, плоский и самодовольный утилитарист, служитель пользы, идеолог полезности, лишенный органа для всего высшего и духовного, не постигший никакого „третьего” измерения: он пошел в высшем, религиозном смысле этого слова и нравится себе в таком состоянии. Он пошел без всякого „надрыва” и покаяния и склонен к нападению на все непошрое. И потому его культура пошла и формальна, как он сам. И если к этому присоединяется личная злоба и личная ненависть, мстительность и честолюбие, то облик революционера-большевика начинает вырисовываться в самых зловещих чертах.

Мы не знаем, отвернется ли современное человечество от этих путей вырождения и, если отвернется, то — когда и как... Но когда оно отвернется от них, то увидит перед собой поистине великий и величавый простор, открытый ему для созидания христианской культуры. Перед ним встанет целый ряд великих заданий, о которых я не могу здесь высказаться. Он начнет создавать *христианскую науку, христианское искусство, христианское воспитание, христианское правосознание, христианский труд и христианскую частную собственность*, — не отвергая доселе созданное, но творчески преображая его из свободной глубины преображенного духа»<sup>1</sup>.

За исключением, пожалуй, «революционера-большевика», мысль выглядит вполне современно, в том числе и данные в авторском курсиве категории культуры, которые предстают в творчестве И. А. Ильина как инстанции, к которым он обращается для обоснования положений своей философии.

Таким образом, иерархическую последовательность категорий общих топов русской культуры можно представить в следующем виде: *религия, наука, искусство, нравственность, право, государство, личность, исторический опыт, политическая система, общественное мнение*.

Иерархия общих мест в системе аргументации определяется строением духовной культуры общества. Общие места как посылки аргументов не всегда представляются очевидными в условиях дискуссии. Неочевидность общего места, к которому прибегает одна из сторон дискуссии, например «закон должен быть справедлив», пред-

<sup>1</sup> Ильин И. А. Основы христианской культуры // Собр. соч. Т. 1. М.: Русская книга, 1993. С. 330.

полагает возможность прибегнуть к топу более высокой категории, например «право есть наука о справедливом или несправедливом»<sup>1</sup>, который как посылка в свою очередь может оказаться достаточным или недостаточным для достижения согласия. Оппонент может выдвинуть для обоснования антитезиса иную посылку, скажем «закон должен быть реально применим». Чтобы достигнуть согласия, приходится искать топ еще более высокого уровня иерархии. Избежать дурной бесконечности в аргументации можно лишь при условии, что существует и принимается участниками дискуссии некий высший уровень иерархии топов (ценностей). В конечном счете общие места культуры сводятся к нормам и авторитетам: даже при апелляции к научному знанию (например, к выводам юридической науки, истории или социологии) сама наука в рассматривается как одна из авторитетных инстанций. Апелляция к непрагматическим духовно-нравственным ценностям представляется необходимой, потому что единственным инструментом достижения компромисса при столкновения практических интересов является духовная мораль, которая и предполагает использование, например, принципа справедливости.

### *Иерархия топов*

Иерархия общих мест конвенциональна. Но существует два рода конвенциональности: несущественно, каково направление уличного движения, правостороннее или левостороннее, главное, чтобы сохранялся единый принцип движения пешеходов и транспорта; другое дело — логическое правило, в соответствии с которым контрарные суждения не могут быть вместе истинными. И хотя это последнее правило при известных условиях может быть сведено к более сильному (суждение и его отрицание не могут быть оба истинными и не могут быть оба ложными) и заменено им, но оно основано на реальности, потому что невозможно, как говорил Аристотель, чтобы «одно и то же было и триерой, и стеной, и человеком»<sup>2</sup>. Конвенциональность (условность) первого рода мы назовем произвольной, а конвенциональность второго рода — органической.

Высший уровень иерархии общих мест логически должен обладать определенными свойствами. Во-первых, он должен быть непрекаемым. Во-вторых, он должен быть неизменным. Выводы науки

<sup>1</sup> Дигесты Юстиниана. М.: Наука, 1983. С. 25.

<sup>2</sup> Аристотель. Метафизика. IV, 4, 1007b20–23 // Собр. соч. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 130.

такowymi не являются, потому что научная картина мира меняется с изменением теоретической парадигмы научного знания, да и сами по себе предпосылки научного знания как принципиальная познаваемость мира не выводимы из науки как таковой и являются предметом веры<sup>1</sup>. В-третьих, этот авторитет должен, по определению, быть высшим мыслимым благом, высшей мыслимой справедливостью и высшим мыслимым добром. В-четвертых, этот высший авторитет должен содержать универсальные нормы и предписания, обращенные к личности каждого человека, лежащие в основании той культурной традиции, которая исторически сформировала фундаментальные аспекты духовной культуры.

Иерархия общих мест никак не определяется так называемым здравым смыслом, который сам по себе явление загадочное и не всегда согласуется с реальностью. Но то обстоятельство, что схема иерархии общих мест в виде классификации знаний и связанной с нею классификации родов и видов словесности сохраняется и воспроизводится на протяжении истории культуры от Античности до современных информационно-поисковых систем, свидетельствует о некоем принципе, заложенном в ее основании.

Общее место вводится от авторитетной инстанции, характер которой определяет содержание и место топа в иерархии. Такие инстанции можно разделить на несколько разрядов по их мыслимым признакам: личные и безличные, объективные и субъективные, абсолютные и относительные, постоянные и переменные, однородные и разнородные.

Так, откровение Бога дает личную, абсолютную, объективную, постоянную и однородную инстанцию. Научное знание является безличной, относительной, объективной, переменной и однородной инстанцией. Искусство – личная, относительная, объективная, постоянная и разнородная инстанция. Общественное мнение – безличная, относительная, субъективная, переменная и разнородная инстанция. Характер инстанции задает правила истолкования топа: научный закон, в котором содержится топ, относителен по условиям аргументации, так как рано или поздно будет заменен другим, более

---

<sup>1</sup> Не как психологического состояния, а как регулятивного принципа принятия решений: чтобы заниматься наукой, мы обязаны верить в то, что наши теории правдоподобны, т. е. стремятся к истине, существование которой мы признаем, но достижимость и содержание которой проблематичны; ср.: *Попнер К.* Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1985. С. 339–359.

общим и совершенным, а сама истинность его должна подвергаться сомнению.

Отсюда вытекает *основной принцип риторической правильности аргументации: только если имеется нормативная иерархия общих мест, возможно обсуждение и решение проблем, приводящее к согласию, т. е. успешная аргументация, которая обеспечивает управляемость и развитие общества как единого целого.*

Нарушение принципа риторической правильности приводит к общественным конфликтам и деформациям в развитии общества. Современная аргументация основана в основном на произвольных иерархиях ценностей, строение которых отражает идеологию отдельных группировок, объединенных политическими, экономическими, этническими, профессиональными интересами. Если такие группировки действуют в составе общества, то неизбежны обособление и противостояние, потому что отсутствуют общие основания соглашения: апелляции к топам более высоких рангов не приводят к согласию.

Иерархия общих и частных топов может быть представлена в следующем виде.

### **1. Религия**

1.1. Св. Писание.

1.2. Св. Предание.

1.3. Богословие: литургика, гомилетика, догматическое богословие, нравственное богословие, церковная история, каноническое право.

Толика религии образует высший уровень иерархии общих мест культуры. Она содержится в Св. Предании Церкви и в Св. Писании: любое изречение может быть истолковано различным образом, поэтому правильное толкование изречения основывается на традиции Св. Предания Церкви, восходящей к первоисточнику. Толика высшего уровня иерархии по своему содержанию охватывает все основные формы духовной культуры: как было показано выше, духовная словесность как целое не только в эпоху своего сложения, но и в последующие исторические периоды истолковала, освоила и включила в свой состав все виды словесности с их специфическим содержанием и литературными формами.

### **2. Наука.**

2.1. Гуманитарная наука: филология, история, география, правоведение, искусствоведение.

2.2. Математика и логика.

2.3. Естественная наука: геология, биология, химия, механика, физика, астрономия.

2.4. Прикладная наука: медицина, технология, военная наука, экология, экономика, педагогика, психология, социология, политология.

Топика науки содержит приведенный уровень иерархии общих мест аргументации. Научное познание реальности опирается на принципы познаваемости мира, объективности и всеобщей значимости научного знания, научной критики как верификации и компрометации теорий, высокого духовного достоинства стремления к научной истине, интеллектуальной честности, эрудиции и образования, практического значения науки в жизни общества. Поскольку наука представляет картину объективной реальности, принятие практических решений опирается на выводы науки и риторическая аргументация к реальности содержит одновременно апелляции к выводам науки.

Но строение и состав научной литературы предполагают множественность школ и подходов и всегдашнюю незавершенность научной картины мира. Поэтому при использовании положений и выводов науки в качестве топов обращение к научному преданию имеет большое значение. Это предание содержится главным образом в учебно-научной и словарно-справочной литературе, отражающей в своем содержании наиболее обоснованные и устоявшиеся представления. И тем не менее научная топка остается в смысле общности и надежности не вполне достоверной. В любом случае использование научной топки требует достаточной специальной подготовки.

### **3. Искусство.**

3.1. Практические искусства: зодчество, дизайн, техника, военное дело, домоводство, администрация, политика, маркетинг.

3.2. Мусические искусства: литература, музыка, живопись, ваяние, танец.

3.3. Логические искусства: поэтика, элоквенция, гармония, перспектива.

Топика искусства имеет определяющее значение в общем образовании, поэтому педагогическая риторика, цель которой — воспитание личности, ориентирована на топiku искусств. Образование включает два компонента — обучение и воспитание. Эти компоненты образования связаны категориями прекрасного и творчества.

Овладение искусствами определяет созидательность личности и общества. Искусства подразделяются на словесные (логические), посредством которых закладывается основа социальности человека и его способности к эстетической оценке (вкус); художественные (мусические), посредством которых осваиваются семиотические ресурсы культуры и развивается способность человека к творчеству; и практические, посредством которых формируется способность человека конструировать материальную среду в ходе профессиональной трудовой деятельности.

#### **4. Нравственность.**

- 4.1. Национальная честь и достоинство.
- 4.2. Общественное благо.
- 4.3. Профессиональная этика.
- 4.4. Семейные установления.
- 4.5. Обычаи – общепринятые нормы поведения.

Топика общественной морали определяет внутренние отношения в обществе, социальную дисциплину и реальную свободу личности. Нормы общественной морали и создают цивилизованное общество. Общественная мораль всегда предполагает идеи доброжелательности, солидарности, сотрудничества, взаимопомощи, социальной ответственности, вежливости, снисходительности, безопасности, помощи слабым и нуждающимся, социальной справедливости, равенства, личного достоинства, почитания старших, уважения к обычаям.

В современном мире модели отношений между людьми и оценки поступков задаются через массовую информацию. Поэтому топика общественной морали и является, по сути, топикой массовой информации. Если топика, реально применяемая массовой информацией, не согласуется с нормами духовной культуры и с топикой права и государственного управления (например, компрометация государственных деятелей и национальной государственности), массовая информация создает революционную ситуацию и журналистский корпус должен нести за это прямую ответственность.

#### **5. Право.**

- 5.1. Принципы права.
- 5.2. Действующее законодательство.
- 5.3. Судебная практика.
- 5.4. Юридический обычай.

Топика права лежит в основании социальной культуры общества. Принципы права представляются универсальными, поскольку они выражают естественное правосознание, в основании которого лежат принципы справедливости и правосудия. Уровень правосознания общества определяет применимость позитивного права, управляемость и способность к самоорганизации общества. Топика права содержится в основных законодательных текстах. Поскольку топика права апеллирует к принципам духовной морали, но также науки, искусства и исторического опыта, а к топике права апеллируют в свою очередь оценки личности, государственно-политической организации, она оказывается звеном, связывающим высшие уровни общих мест, формирующие эпидейктическую риторику, с судительной и совещательной риторикой, на основе которой оцениваются прецеденты и принимаются решения.

### **6. Государство.**

6.1. Персональная суверенная власть.

6.2. Органы судебной власти.

6.3. Органы законодательной власти.

6.4. Органы центральной исполнительной власти.

6.5. Местные органы власти.

Топика государственности и государственных институций определяет устойчивость и всеобщую обязательность форм государственного управления, в рамках этой топики осуществляется административное управление и политическая деятельность в их отношении к историческому опыту, праву и личной деятельности. В принципе эффективность управления является важнейшим критерием личного авторитета власти, поскольку решения всегда принимает определенное лицо.

Так называемое разделение властей обычно связано с позицией недоверия к компетентности и ответственности государственного руководства: решения власти постоянно критикуются с различных позиций и на различном уровне компетентности самой критики, что тормозит развитие общества. Отрицательный эффект такой критики частично снимается топикой, связанной и идеей единства власти и общества как «суверенного народа», делегирующего свои полномочия определенному лицу или лицам, и символикой власти, связанной с общенациональными торжествами и государственным обрядом. В этих условиях особое значение получает риторический

образ руководителя государства, который проявляется в эпидейктической речи с ее идеями достоинства, чести, служения, ответственности, единства, доверия, ибо руководитель оценивается в основном по качеству речи.

### *7. Личность.*

7.1. Семейное воспитание.

7.2. Образование.

7.3. Моральный уровень.

7.4. Творческие способности.

7.5. Жизненный опыт.

Топика личности представляет собой систему положений, которые служат посылками для оценки профессиональной и общественной деятельности человека. От того, как оценивается личность, всецело зависит компетентность и производительная активность общества. Но критерии оценки личности определяют состав, возможности и авторитет правящего слоя общества, поскольку современное информационное общество предполагает отбор правящего слоя по идеологическим мотивам и личным способностям и достижениям человека.

Идеология общества есть философия правящего слоя, система идей и категорий которой связывает культуру общества с перспективой его развития и при условии компетентности и авторитета правящего слоя принимается как руководство к деятельности всего общества. Неслучайно поэтому все крупные философские системы от Платона до Гегеля являются, по существу, концепциями образования. С риторической точки зрения общеобразовательная школа — информационная машина, которая в категориях общенациональной идеологии преобразует культуру общества в текущую деятельность.

Существуют идеологические системы и соответственно критерии личной карьеры двух типов — философские и информационные или риторические. Философская идеология содержит картину мировоззрения. Условиями успешной карьеры являются приверженность этой философии и эффективная профессиональная, политическая, общественная деятельность в рамках ее категорий и ценностей. Информационная идеология содержит нормативное учение о правилах речи — этосе, пафосе, логосе — и об эффективном применении этих правил в практической или теоретической деятельности. Поскольку слово опосредует всю деятельность общества, нормы деятельности

задаются через нормы понимания и использования слова — коммуникации. Философская идеология как система идей подвержена критике, информационная идеология поддается критике с трудом. Но вместе с тем философская идеология стимулирует культурное творчество и в значительно меньшей степени — индивидуальный стиль и практическое использование культуры. Риторическая идеология, напротив, ограничивает творческий потенциал личности, но направляет деятельность человека на развитие производства и социальных отношений. Поэтому реальные идеологические системы сочетают в различных пропорциях элементы философской и риторической идеологии. Личность оценивается обществом и с точки зрения ее мировоззренческой и речевой компетентности.

### ***8. Исторический опыт.***

- 8.1. Месторазвитие общества: задачи национально-государственного строительства.
- 8.2. Образование и профессиональная подготовка населения.
- 8.3. Народное здравие.
- 8.4. Состояние цивилизации.
- 8.5. Формы социальной организации общества.
- 8.6. Природные ресурсы и окружающая среда.

Топика исторического опыта определяет самосознание и самоидентификацию общества. Конкретные решения принимаются в условиях данной географической среды, культурного ареала, конфессионального, этнического, демографического, профессионального состава и административно-территориального членения общества, в своем последовательном развитии эти решения составляют историю общества. Прецеденты решений образуют поэтому основу новых решений в пределах данного общества и создают перспективы его последующего развития. Поэтому исторический опыт как система прецедентов оценивается с точки зрения религии, наук и искусств и служит критерием для оценки идеологии общества.

### ***9. Политическая система.***

- 9.1. Политические принципы.
- 9.2. Политический опыт.
- 9.3. Политические партии и программы.

Топика политической системы определяет нормы политических разногласий и состав допустимых в обществе политических позиций

и программ. Поскольку политическая свобода всегда относительна и ее мера определяется ценностями и интересами общества, этот уровень общих мест неизбежно подчинен топике исторического опыта, права, государственности, личности и общественной морали, в жестких рамках которых он и функционирует.

Политическая риторика является совещательной по определению, но совещательная аргументация предполагает принятие решений на основе показательной и судительной аргументации, поэтому основой влиятельной совещательной аргументации является хорошо отработанная и имеющая основательную социальную базу политическая идеология. Многопартийность всегда свидетельствует о разобщенности и упадке гражданского сознания, которые проистекают от плохого управления и, следовательно, от низкого авторитета правящего слоя и органов государственной власти.

**10. Общественное мнение.** Наконец, общественное мнение является самым низким уровнем системы общих мест в силу не только своей неопределенности, изменчивости, некомпетентности и подверженности всяческого рода словесным манипуляциям. Общественное мнение характеризует мгновенный срез отношения совокупности лиц, составляющих общество или различные общественные группы, но не общества как целого, к текущим событиям жизни общества. Так называемая динамика общественного мнения, серия таких срезов, не дает реальной диахронии, т. е. ряда последующих состояний системы, смена которых определяется закономерными трансформациями ее элементов. Поэтому результаты опроса общественного мнения как посылки аргументов имеют значение в основном в аргументации оценочного характера и в эристической политической полемике.

Представленная выше иерархия является органической, поскольку, во-первых, уровни иерархии соподчинены в ней таким образом, что обеспечивают максимум ситуаций аргументации, при которых высказывания оказываются правильными; во-вторых, общие места, соответствующие наиболее глубоким стратам культуры, занимают в ней подчиненное положение, но тем не менее учитываются; в-третьих, она соответствует историческому опыту России, связывая русскую культуру с ее исторической основой – античной и византийской; в-четвертых, органическая иерархия общих мест открывает возможность аргументации, повышающей уровень сознания общества, так как предполагает апелляцию к непрагматическим ценностям.

## Внутренние топы

Рассмотрение логических или внутренних топов предполагает обращение к строению посылки риторического аргумента. Строение посылки может быть различным. Конечная посылка, т. е. посылка, которая непосредственно связана с положением или выводом аргумента, может быть простой и сложной. Сложная посылка представляет собой умозаключение. Но и простые посылки могут иметь различное строение.

Например, если посылка является составной частью индуктивного умозаключения, то часто представляет собой развернутое описание или повествование, которое может выступать как самостоятельный элемент композиции произведения. При этом в ткань повествования или описания могут включаться отдельные рассуждения в виде обоснования тех или иных высказываний повествования. Встречаются случаи, когда такая развернутая посылка представляет собой не компактный фрагмент текста, а разделена на части, которые перемежаются с элементами других аргументов; при этом такой фрагмент может даже выступать в качестве посылки одновременно нескольких аргументов.

Особое значение имеет анализ терминов посылок. Под терминами посылок понимаются фрагменты, имеющие номинативное значение и выступающие в качестве элементов структуры умозаключения. Термины могут быть выражены как отдельными словами, так и словосочетаниями и даже отдельными предложениями.

Последовательность использования топов может быть различной и зависит от конкретного содержания тезиса и уместности его рассмотрения в том или ином аспекте. Но если следовать статусам проблемы, то состав и последовательность применения топов примет следующий вид:

- **обстоятельствственные топы** используются в основном для установления, определения и оценки фактов и для построения аргументов, связанных с фактическими, предметными обстоятельствами аргументации;
- **определятельные топы** используются в основном для установления отношений между понятиями и для построения определений;
- **сопоставительные топы** используются в основном для развития мысли.

### Описательные (обстоятельственные) топы

Описательные топы в основном используются для изложения и обсуждения фактов, хотя обсуждение факта не обязательно сводится к обстоятельственным топам. Установление и точная формулировка факта дают основание для его последующей оценки: от того, как представлен факт, зависят наличие и характер ответственности за действие: признак, действие и претерпевание, лицо и поступок, предыдущее и последующее, состояние, положение, место, время, образ действия, внешние обстоятельства, причина и следствие, цель и средство.

**Признак** — наблюдаемое проявление, по которому предметы опознаются, отождествляются и отличаются друг от друга. Топ признака имеет важное значение: признаки используются для заключения о свойствах, качествах, состоянии, сущности предмета речи, на основе признаков строятся сравнения, сопоставления и т. д.

[3.5.] «Далее товарищ прокурора говорит, что убийца всегда старается бежать от трупа. Совершенно соглашаясь в этом с товарищем прокурора, я должен заметить, что Мавра Егорова не страшилась быть на погребе, она солила там огурцы и лазила даже в погреб. Если допустить, что Мавра Егорова совершила преступление, то ее нужно признать за какое-то исключение из всех людей»<sup>1</sup>.

Опровергая через противное умозаключение обвинения от несущественного признака, защитник соглашается рассматривать этот несущественный признак как существенный. Схема рассуждения: *допустим, что если имеется деяние А, характерное для класса деятелей В, то всегда имеет место признак а<sup>1</sup>; но признака а<sup>1</sup> нет; следовательно, либо нет деяния А, либо А не есть В:*

$$(A \rightarrow B) \rightarrow a; \sim a \Rightarrow \sim A \vee \sim B^2.$$

<sup>1</sup> Урусов А. И. Первосоздатель русской судебной защиты. Тула: Автограф, 2001. С. 101.

<sup>2</sup> Здесь и в дальнейшем:

— знак « $\rightarrow$ » означает импликацию — следование: «если..., то...»;

— знак « $\sim$ » означает отрицание: «не»;

— знак « $\vee$ » означает дизъюнкцию: «или/и»;

— знак « $\underline{\vee}$ » означает строгую дизъюнкцию: «либо, либо»;

— знак « $\wedge$ » означает конъюнкцию: «и»;

— знак « $\leftrightarrow$ » означает обратную импликацию или эквивалентность: «если, и только если..., то...»;

— знак « $\subset$ » означает включение: «А включается в В»;

Признаки могут быть существенными и несущественными. Существенными называются признаки, которые не могут быть отделены от предмета или действия, проявляются в нем обязательно и отличают данный факт от однородных. Несущественными называются признаки, которые могут проявляться в тех или иных ситуациях или состояниях и не являются обязательными для данного факта. Несущественные признаки как таковые, и даже группы признаков, ничего не говорят сами по себе о свойствах или качествах предметов: киты не рыбы, хотя киты и рыбы обладают рядом сходных признаков.

Умозаключения, которые строятся на основе признаков, называются энтимемами в собственном смысле слова<sup>1</sup>. В зависимости от существенности или несущественности признака, положенного в основание аргумента, и само умозаключение с посылкой от признака приобретает большую или меньшую достоверность

**Действие и претерпевание (субъект — действие — объект).**

[3.6.] «Г-н Z. <...> Так вы утверждаете, что во всяком случае убить, т. е. отнять жизнь у другого, есть безусловное зло?»

**Князь.** Без сомнения.

**Г-н Z.** Ну а быть убитым — безусловное зло или нет?

**Князь.** По-гогтентотски — разумеется, да. Но ведь мы говорили про нравственное зло, а оно может заключаться лишь в собственных действиях разумного существа, которые от него самого зависят, а не в том, что с ним случается помимо его воли. Значит, быть убитым — все равно как умереть от холеры или инфлуэнцы, не только не есть безусловное зло, но даже вовсе не есть зло. Этому нас еще Сократ и стоики научили.

**Г-н Z.** Ну, за людей столь древних я не берусь отвечать. А вот ваша безусловность при нравственной оценке убийства как будто хромает: ведь, по-вашему, выходит, что безусловное зло состоит в причинении другому того, что вовсе не есть зло. Воля ваша, а тут что-то хромает. Однако мы эту хромоту бросим, а то, пожалуй, в самом деле в схоластику залезем. Итак, при убийстве зло состоит не в физическом факте лишения жизни, а в нравственной причине этого факта, именно в злой воле убивающего. Так ведь?

**Князь.** Ну конечно. Да ведь без этой злой воли и убийства не бывает, а бывает или несчастье, или неосторожность»<sup>2</sup>.

---

— знак «R» означает топическое отношение, например:  $A R B$  — «A предшествует B» или «B претерпевает A» и т. д.; этот знак используется для топов, основанных на квазилогических отношениях, вроде «лицо — поступок», «лицо — образ действия».

<sup>1</sup> См., например: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 348 и далее.

<sup>2</sup> Соловьев В. С. Три разговора // Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 652.

Схема аргумента:

$$(A \subset B) \wedge (A \leftrightarrow C) \rightarrow (C \subset B),$$

если  $A$  («убийство») есть  $B$  («зло») и если из «убийства» ( $A$ ) следует «быть убитым» и *обратно*, то «быть убитым» ( $C$ ) есть «зло».

В этой эквивалентности и состоит сложность отношения действия к претерпеванию. Пример особенно интересен распределением антецедента и консеквента, на что и указывают слова г-на Z о схоластике, а также обмен колкостями о Сократе, Платоне и стоиках. Контраргумент строится на законе контрапозиции, согласно которому из истинности антецедента следует истинность консеквента, а из ложности консеквента следует ложность антецедента, т. е.  $(C \not\subset B) \rightarrow \sim(A \subset B)$ . Вопрос в том, какое из высказываний является действительным антецедентом, так как возможно: при условии, что (если) «быть убитым» — зло, то «убить» — тоже «зло». В таком случае отрицание антецедента: «быть убитым» не есть «зло» логически не обязательно предполагает отрицание консеквента. «Убить» может быть или не быть злом, поскольку конъюнкция является истинной при условии истинности всех членов и ложной, если по крайней мере один из членов конъюнкции ложен, в данном случае ложна сама конъюнкция, но необязательно ложен именно первый ее член, т. е. либо «убийство» не есть «зло», либо «убить» не эквивалентно «быть убитым».

Аристотель во второй книге «Риторики» пишет:

«Еще один топ получается из взаимного отношения двух предметов, например, если факт, что одно из двух лиц совершило прекрасный и справедливый поступок, то факт так же, что другое лицо испытало на себе действие этого поступка, и если факт, что одно лицо что-нибудь приказало, то факт, что другое лицо исполнило приказание, как, например, говорил откупщик податей Диомедонт о подателях: если вам не стыдно продавать — и нам не стыдно покупать. И если факт, что испытывший что-либо, испытал это прекрасно и справедливо, то факт, что и для совершившего это прекрасно и справедливо. Но здесь возможно и неверное заключение, что если кто-нибудь по справедливости испытал что-нибудь, то он по справедливости потерпел, но, может быть, ему следовало потерпеть не от тебя именно. Поэтому и можно рассматривать отдельно, достоин ли потерпевший потерпеть, а совершивший совершить, а потом уже пользоваться фактами, в какую из двух сторон следует, ибо в этих случаях получается противоречие, как, например, в „Алкмеоне“ Теодекта:

— Разве кто из смертных не чувствовал отвращения к твоей матери?  
Алкмеон отвечает:

– Но здесь следует смотреть (на дело) с различных точек зрения.

И на вопрос Алфисибей, „как?“ – он отвечает:

– Они осудили ее на смерть, но не присудили мне умертвить ее.

Такого же рода фактом является и суд над Демосфеном и над убийцами Никанора: так как судьи решили, что убийцы его справедливо убили, то показалось, что смерть его была справедлива. То же можно сказать и относительно человека, убитого в Фивах, по поводу смерти которого обвиняемый в убийстве предлагает рассудить, было ли согласнo со справедливостью, чтобы он умер, так как-де не несправедливо убить человека, смерть которого согласна со справедливостью»<sup>1</sup>.

Приведенные примеры на топ *действие–претерпевание* указывают на значимость анализа ситуации, в которой он используется, в первую очередь актантов – субъекта и объекта действия. В приведенном фрагменте из «Риторики» Аристотеля обсуждается вопрос об основаниях самого действия, которые определяются действующим лицом, а также вопрос о таких топах, как правило обратимости.

В примере [3.6] ставится альтернатива: если убить и быть убитым суть равнозначные действие и претерпевание, то убийство не есть абсолютное зло, поскольку быть убитым не есть абсолютное зло, а если они являются неравнозначными категориями, то не всякое лишение жизни (например, на войне) допустимо рассматривать как убийство, что г-н Z и доказывает Князю. При этом обращает на себя внимание логическая ловушка, которую г-н Z расставляет перед своим оппонентом: если Князь соглашается, что быть убитым – зло, то из этого следует, что жертва попускает зло и тем самым соучаствует в нем (можно ли быть справедливо убитым и лгал ли разбойник на Голгофе, утверждая, что его справедливо казнят?), в особенности если иметь в виду присутствующий контекст Евангелия; если же Князь утверждает, что быть убитым не зло, что он и делает, то в таком случае возникает альтернатива: убиение может быть злом, а может и не быть злом, по крайней мере в том смысле нравственного зла, который ему придают Князь и г-н Z, в зависимости от намерения и ситуации. Дальнейший спор развивается в контексте этой альтернативы.

В примере [3.6] Князь высказывает мысль о значении воления как в действии, так и в претерпевании: на деле и лицо действующее и лицо претерпевающее могут быть активны. В примере Аристотеля об откупщике Диомедонте содержится эта ситуация: *покупать* (претерпевание) в меньшей мере связано с волением, чем *продавать*,

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1397a, 24; 1397b, 12. С. 112–113.

поэтому покупающему может быть более «стыдно», чем продающему, который не имеет цели пользоваться предметом продажи. В целом топ *действие-претерпевание* может распадаться на два отношения: *субъект-действие* и *субъект-претерпевание*, которые хотя и взаимосвязаны, но обладают известной самостоятельностью в классах ситуаций, связанных с сознанием и волением действующих лиц.

Качественная определенность и значимость действия проявляется в том, как оно изменяет состояние объекта, на который направлено. Как значимые могут рассматриваться только такие действия, которые повлекли за собой определенные положительные или отрицательные последствия. Поэтому значимость действия может оцениваться по значимости претерпевания.

Использование топа *действие-претерпевание* открывает широкие возможности аргументации, в которой, с одной стороны, может рассматриваться обратимость активного и пассивного действия, а с другой — связь с действием субъекта и объекта.

**Лицо и поступок** — такое отношение индивидуальных свойств лица (индивидуального или коллективного) и совершенного поступка, при котором содержание поступка определяет особенности лица или особенности лица определяют характер или содержание поступка.

[3.7.] «Когда Александр был еще занят осадой Тира, к нему пришли послы от Дария с такими предложениями: Дарий дает Александру 10 000 талантов за мать, жену и детей; вся земля за Евфратом принадлежит Александру; Александр женится на дочери Дария и пребывает с Дарием в дружбе и союзе. Когда послы изложили все это на собрании „друзей“, то, рассказывают, будто Парменион сказал Александру, что если бы он был Александром, то с радостью прекратил бы войну на этих условиях и не подвергал бы себя в дальнейшем опасностям. Александр ответил, что он так бы и поступил, если бы был Парменионом, но так как он Александр, то ответит Дарию следующим образом: он не нуждается в деньгах Дария и не примет вместо всей страны только часть ее: и деньги и вся страна принадлежат ему. Если он пожелает жениться на дочери Дария, то женится и без согласия Дария. Он велит Дарию явиться к нему, если он хочет доброго к себе отношения. Дарий, выслушав это, отказался от переговоров с Александром и стал вновь готовиться к войне»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (A \subset C) \leftrightarrow (B \subset C); \sim(A \leftrightarrow B) \Rightarrow \sim(B \subset C)].$$

<sup>1</sup> Арриан. Поход Александра. М.: Миф, 1993. С. 108–109.

Если и только если «Парменион» эквивалентен «Александру» и «Парменион» включается в класс «совершающих  $C$ », то и «Александр» совершает  $C$ ; но «Александр» не эквивалентен «Пармениону», поэтому не следует, что «Александр» совершает  $C$ .

Интерпретация схемы следует из семантики словесного ряда: в антецеденте можно видеть не только полное отождествление, по словам Пармениона, Пармениона с Александром, а, по словам Александра, Александра с Парменионом, но также и отождествление самого характера следования: «что он так бы и поступил, если бы был Парменионом», т. е. если и только если Парменионом, а не кем-либо из совета друзей, в чем и состоит насмешка Александра. Из этого следует общий вывод: в риторическом аргументе схема и семантика словесного ряда могут быть слиты настолько, что без семантико-стилистического анализа словесного ряда невозможно понять схему, а без логического анализа схемы невозможно понять содержание высказывания.

Особенность этого, как и некоторых сходных топов, в том, что они образуют так называемые квазилогические аргументы. Форма аргумента логически безупречна: если лицо обладает особенностями, позволяющими/не позволяющими ему совершать поступки определенного рода, то некоторый поступок, который ему приписывается, либо совместим с данными качествами, либо случаен, либо не имеет места; существует и обратная форма [3.7]: если лицо совершает (способно и готово совершить) поступок определенного рода, то оно обладает соответствующими поступку особенностями (Александра или Пармениона). Однако аргументы на основе топа «лицо-поступок» доказательны, только если имеются в виду физические свойства лица, допускающие или не допускающие определенное действие, например физическая неспособность залезть по водосточной трубе на крышу дома. Там же, где дело идет о нравственных или умственных качествах, аргумент ограничивается правдоподобием. Естественно-научные законы отличаются от законов, устанавливаемых гуманитарными науками, в частности логикой, тем, что последние могут быть нарушены в ходе деятельности человека без видимых материальных последствий.

Топ лицо-поступок используется в аргументе к человеку, когда данные об оппоненте, или о другом участнике дискуссии включаются в состав посылок и оценивается не действие по лицу, а лицо по его словам или действиям. Такое применение топа весьма распространено в ситуациях, когда имеет место не физическая возможность,

а свободное сознательное решение, которое подлежит обсуждению и оценке.

**Предыдущее и последующее. [3.8.]** «Итак, все уже достигло своего конца. Ибо *совершишася*, как сказал Моисей, *небо и земля* [Быт. 2, 1] и все между ними, и каждое из этого украсилось соответствующим ему благолепием: небо — блистанием светочей, а небо и воздух — плавающими и летающими животными, земля же — всяческим разнообразием растений и скота, причем все это в совокупности разом произвела сила божественного воления. И наполнилась земля красотами, произрастив с цветами плоды, а луга наполнились всем, что бывает в лугах. И все утесы и вершины, и все, что на склонах, на равнинах и в ложбинах, увенчалось свежеею травою и разнообразной прелестью деревьев, которые только что вышли из земли, но сразу же достигли совершенной красоты. И наверное, возвеселились и взыграли все приведенные Божьим велением в жизнь животные, по стадам и по родам бродящие в чащах. И все огласилось повсюду песнями певчих птиц, даже глухие и темные уголки. Но вид моря, конечно, был несколько иным, потому, собираясь в бухтах, в покое и тишине, оно по божественному волеию само собою углубило в берегах гавани и заливы, чтобы море сживалось с сушей. Спокойные движения волн спорили красотой с лугами, а легкие безвредные ветерки только приятно волновали его поверхность.

И все богатство твари, на земле и в море, уже было приготовлено, но еще не было того, кому владеть этим. Ибо не появилось еще в мире существ это великое и досточестное существо, человек.

Ведь не подобало начальствующему явиться раньше подначальных, но сперва приготовив царство, затем подобало принять царя. Потому Творец всего приготовил заранее как бы царский чертог будущему царю: им стала земля, и острова, и море, и небо, наподобие крыши утвержденное вокруг всего этого, и всяческое богатство было принесено в эти чертоги. Богатством же я называю всякую тварь, все растения и ростки, и все чувствующее, дышащее и одушевленное. Если же к богатству нужно причислить и вещества, которые почитаются драгоценными в глазах человеческих ради красоты цвета, как, например, золото и серебро, а также те камни, которые любят люди, то, изобилие всего этого сокрыв в недрах земли, как будто в царских сокровищницах, после того Творец показал в мире человека, чтобы тот был и зрителем Его чудес и чтобы стал господином, вкушением приобретая разумение Подающего, а через красоту и величие видимого исследуя неизреченную и паче слова силу Сотворившего.

Поэтому последним из творений введен был человек: не потому, что был как нестоящий отринут в последние, а потому, что был призван сразу стать царем подвластного ему. Как добрый гостеприимец до приготовления еды не приводит к себе в дом гостей, но, все как следует устроив, и украсив как нужно дом, комнату и стол, и приготовив все

нужное для еды, после этого принимает гостя, — точно так же и богатый и щедрый гостеприимец природы нашей, всевозможными красотоми украсив этот дом, приготовив великий и всем снабженный пир, после того вводит человека, дав ему дело не приобретать не имеющееся, а пользоваться имеющимся. И поэтому двойную опору Творец полагает в его устройении, примешав к земному божественное, чтобы средством к тому и другому свойственно для каждого из них он испробовал бы ('απόλαυσις) Бога через божественнейшую природу, а земные блага испытывал бы ('ἀπέλαυον) однородным с ним чувством»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$(A R B) \rightarrow (\sim B \rightarrow \sim A); \sim(\sim A) \Rightarrow B.$$

Если  $A$  находится в определенном отношении к  $B$  («призван сразу стать царем подвластного ему»), то при отсутствии  $B$  невозможно и  $A$ ; но  $A$  имеет место; следовательно, имеет место и  $B$ .

Предыдущее и последующее — отношение расположенных в последовательном (линейном) порядке предметов мысли. Последовательность данных (событий, фактов, информации) часто играет определяющую роль в аргументации. Любые данные осмысливаются в определенном окружении, которое определяет их возможность, достоверность или ценность. При этом предыдущее не обязательно является причиной последующего (классическая логическая ошибка: *post hoc, ergo propter hoc*).

Смысловой порядок отделяется от времени. Предыдущее действие или состояние может рассматриваться в отношении к последующему:

- 1) как обуславливающее возможность последующего, обычно в аргументации о фактах в статусе установления;
- 2) как более значимое;
- 3) как менее значимое.

Предыдущее-последующее рассматриваются как иерархия от менее значимого к более значимому либо от более значимого к менее значимому. При этом приоритет может отдаваться как предыдущему, так и последующему и обосновываться исходя из логических, эстетических или иных оснований. В примере [3.8.] из произведения св. Григория Нисского «Об устройении человека» используется *восходящая иерархия*: появлению человека как венца творения предшествует божественное творение природы как вместилища этого «великого

<sup>1</sup> Григорий Нисский. Об устройении человека. СПб.: Аксиома: Мифрил, 1995. С. 12–14. (Разбивка фрагмента на абзацы изменена. — А. В.)

и досточестного существа». Замечательное по красоте изображение природного мира создает художественный образ природы как соответствующий достоинству царя природы и одновременно – контраст природы – средства жизни человека и богопознания со сложным духовно-материальным строением человека-цели, «потому что ничто другое из сущего не уподобляется Богу, кроме твари сей, человека».

**Состояние** – наличное соотношение качеств или формы предмета, обусловленное его внутренними изменениями или воздействием внешних обстоятельств. Топ состояния используется для обоснования оценки действия и деятеля.

[3.9.] «...Вот на какой исторической почве выросло событие, которое вы неожиданно призваны рассудить сегодня. На почве бедствий всего армянского народа, бедствий, о которых тот, кого Европа привыкла звать „праведным старцем“, – Гладстон, едва ли не первый, недаром во всеуслышание провозгласил: „Это были бедствия, в которых преувеличение невозможно потому, что действительность превзошла самое необузданное воображение!“

Что мне еще сказать вам?

Киркор Гульгульян и Хасан Милий-оглу случайно встретились в России, здесь, в Симферополе, после трех лет. Хасан преуспевал. Нажившись на убитых там, у себя в Байбурте, он не перестал наживаться и на их вдовах и сиротах, ссужая им деньги и припасы за огромные проценты. Об этом свидетельствует список найденных при нем документов, перечень векселей и обязательств армянских женщин, родственники которых бежали в Россию. По отзыву свидетелей, он был всегда злым ростовщиком, а после байбуртовской резни особенно нажился и стал наезжать в Россию по своему законному турецкому паспорту для сбора дани и по документам, и без документов с армян, у которых оставались родственники в Байбурте. Из страха за участь оставшихся там ему платили исправно. Неслыханная дерзость и откровенность своеобразного разбойно-международного промысла и полное бессилие противопоставить ему что-либо!

Киркор Гульгульян, разоренный, обездоленный скиталец, встретил неожиданно Хасана в кофейной Карабета и замер на месте. Перед ним был Хасан, тот самый Хасан, который резал его отца и братьев в ту минуту, когда, изнывая от страха, он сам лежал под рундуком, не смея перевести дыхание. Это был не призрак Хасана, это был сам живой Хасан, от которого лишь на Киркора веяло ужасом замогильного призрака. Призрак заговорил. Он даже произнес несколько слов на человеческом языке: „Здравствуй!.. Я помню твою фамилию“.

Далее он не продолжал. Он – „помнил фамилию Гульгульянов“! Этого было достаточно. Участь Хасана была решена.

Мы знаем, что Киркор бросился на Хасана, когда тот шел не один, а в числе еще других пяти человек. Вместе они составляли одну, до-

вольно компактную группу. Ночь была темная и туманная, уличные фонари едва освещали их путь. Вы знаете, какую страшную рану нанес Гульгульян Хасану. Без колебаний он отличил его от всех других, почти одинаковых с ним по росту и фигуре. Он не колебался и не ошибся. Хасан упал замертво на месте. По заключению врача-эксперта, длинный кинжал проник прямо в его сердце. Как рассчитал и угадал Гульгульян свой удар в темноте, остается тайной его и Провидения. Словно лезвие кинжала было намагничено и его притянуло к железному, не знавшему никогда сострадания сердцу Хасана.

Теперь остается еще один вопрос: виновен ли Киркор Гульгульян? Русские законы, в том числе и тяжкая статья уголовного закона, карающего за преднамеренное убийство, рассчитаны вообще на людские отношения, нормируемые законами. Вы знаете, из какой пучины бесправия и беззакония вынырнул несчастный Гульгульян. Убийца его отца и братьев, которого он увидел теперь перед собой, не подлежал и не мог подлежать никакому законному возмездию. Стало быть, несчастному оставалось бы только „забыть” о том, что его старик-отец и два брата на его же глазах безжалостно зарезаны Хасаном. Но разве это забыть возможно? Разве подобные вещи забываются?

Он не искал встречи с Хасаном. Их свела судьба, их свел тот рок, вера в который так сильна на Востоке.

От человека мы вправе требовать лишь человеческого. Забыть, простить Хасану мог бы разве „сверхчеловек”. Не ищите его в несчастном, жалком Гульгульяне. Ваш суд также только суд человеческий. Что сверх человека, то уже Божье, и нам остается только посторониться... Посторонимся!»<sup>1</sup>

Схема аргумента на самом деле проста:

$$(A \rightarrow B); A \Rightarrow B.$$

Если  $A$ , то  $B$ ; имеет место  $A$ ; следовательно,  $B$ . Например, если идет дождь (причина), то тротуар сырой (следствие – состояние тротуара); дождь идет, следовательно, тротуар сырой.

Положение аргумента: Гульгульян был не в состоянии простить Хасана. Меньшая посылка: зверства Хасана являются причиной состояния Гульгульяна. Бóльшая посылка: состояние, в котором находился Гульгульян, является естественным и исключает способность обычного человека простить злодея. Приведенное повествование, изображающее как состояние самого подсудимого, так и тех отношений, в контексте которых было совершено деяние, является обоснованием посылок.

<sup>1</sup> *Карачевский Н. П.* Дело армянина Киркора Гульгульяна // *Карачевский Н. П.*. Около правосудия. Тула: Автограф, 2001. С. 347–348.

**Положение** — взаимная постановка частей предмета или предмета в отношении к другому предмету, например, *стоя, сидя, лежа, анфас, вверху, внизу, над, под, справа, слева, отступя* и т. д. Топ положения обыкновенно используется в аргументации статуса установления для определения возможности и характера деяния.

[3.10.] «В это-то едва уловимое мгновение, когда гнев, ужас, выстрел и кровь опьянили сознание князя, он в том скоропреходящем умоисступлении, которое в такие минуты естественно, еще не помня себя, под влиянием тех же ощущений, которые вызвали первый выстрел, конвульсивно нажимает револьвер и производит следующие два выстрела: положение трупа навзничь, а не ничком, ногами к выходу, головой к гостиной, показывает, что Шмидт не бежал от князя, и он стрелял не в спасающегося врага»<sup>1</sup>.

Схема аргумента та же, что и в предшествующем примере:

$$(A \rightarrow B); A \Rightarrow B,$$

но она нуждается в дополнительном истолковании. Антецедентом первой посылки является признак — положение убитого человека. Это положение рассматривается как иконический знак ситуации, при которой был произведен выстрел. Аналогичная ситуация: если у человека повышенная температура тела, то он болен. Проблема такого рода аргументов состоит в том, что достоверность энтимемы в аристотелевском смысле, т. е. умозаключения, посылкой которого является знак (повышенная температура тела), зависит от степени обязательности связи знака с означаемым. В примере подразумевается условие «если и только если», хотя правильность такого утверждения не очевидна, а только вероятна, т. е. аргумент, как и предыдущий, на самом деле является квазилогическим и его оценка требует понимания сути дела, изучения ситуации. Поэтому убедительность такого аргумента связана с характером изложения фактов.

**Место** — расположение предмета в отношении к смежным предметам (ориентирам) или к позиции отправителя и/или получателя речи. Действие может происходить в определенном физическом или смысловом пространстве и по смыслу ограничено местом, поэтому понятие места неразрывно связано с понятием границы.

Действительно, когда мы имеем в виду так называемые идеальные предметы, то определяем их место как относительное значение: *место теории множеств в современной математике* означает позицию

<sup>1</sup> Плевако Ф. Н. Избранные речи. М.: Юридическая литература, 1993. С. 413.

теории множеств в иерархии математических наук и относительно сродных ей дисциплин.

Топ места имеет большое значение, потому что с ним связана возможность описания. Когда мы описываем какой-нибудь предмет, то изображаем его место по отношению к смежным предметам и взаимное отношение его частей.

[3.11.] «О стратегических соображениях вам тут говорил помощник военного министра, что касается интересов переселения, что же надо иметь в виду? Надо провести дорогу так, чтобы ею обслуживалось наибольшее количество годной под переселение земли; затем необходимо, чтобы самая дорога прошла по такой местности, которая могла бы быть заселена, и затем, чтобы доступ к самой колее был наиболее легок и удобен. Всем этим условиям соответствует вариант нерчинский уже потому, что по этому варианту железнодорожная колея приближается именно к тем землям Витимского побережья, о которых я говорил.

Говорят, что разница расстояния между куенгинским и нерчинским вариантом только несколько десятков верст. Но господа, для переселенцев и это важно. Затем, по нерчинскому направлению дорога проходит по долине реки Нерчин, и в самой долине этой теперь уже до 750 000 десятин земель, назначаемых для переселения; затем, эта долина очень удобна для проведения колесных дорог. Удаляя дорогу в Куенгу, вы ее удаляете как можно дальше от заселенных мест и прячете в каменный мешок. Дорога пройдет здесь в скалистом ущелье и будет не только удалена от переселенческого района, но будет для него недоступна; переселенец через несколько лет будет недоумевать, почему начало дороги проведено по местности не населенной, которая и не может быть населена, и при том по местности скалистой, недоступной»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$B \wedge C \wedge D \leftrightarrow A; F \rightarrow B \wedge FC \wedge F \rightarrow D \Rightarrow F \leftrightarrow A.$$

Место является частью пространства действия («железнодорожная колея приближается», «дорога пройдет»), которое можно понимать как физическое или смысловое, но в любом случае место обладает определенными качествами, которые связаны с действием, актантами и обстоятельствами. Подобно иерархии, место включается в смысловую структуру факта, но в меньшей мере связано с самим действием, чем иерархия или порядок, которые остаются непосредственной характеристикой именно действия. Наряду с топом времени он является инструментом точного доказательства и поэтому играет особую роль в системе аргументации статуса установления.

<sup>1</sup> Столыпин П. А. Речь о сооружении Амурской железной дороги. С. 124–125.

В примере [3.11] на основании топа места обосновывается равнозначность предлагаемого маршрута желательному.

**Время** — промежуток длительности, в который совершается последовательная смена событий или действий в отношении друг к другу (в такое-то время *A* находился там-то) или к моменту речи (в прошлом, настоящем или будущем). В отличие от топов порядка и состояния, но подобно топу места топ времени основан на мере и связан с более или менее точной локализацией события и включением его в относительно жесткие рамки линейной последовательности, поэтому он имеет принципиальную доказательную силу.

Локализация деяния во времени указывает на деятеля и характер действия.

[3.12.] «Займемся временем. С вопросом времени я не намерен обращаться так, как здесь делали на судебном следствии, потому что время человека в обыденной жизни ускользает, когда он не вооружен часами и не следит по стрелкам. Понятие о скорости у каждого индивидуально. Время возможно установить только тогда, когда есть твердые границы. Такими границами я беру: закрытие буфета в Финляндской гостинице — в 12 часов ночи, и прибытие вечернего поезда Николаевской железной дороги в 10 часов вечера с опозданием в 11 минут, по наблюдению пассажира Севастьянова. Между этими пределами можно прибегать к предварительному расчету. Итак, о времени убийства мы можем судить: по прибытии Семеновой с вещами, взятыми с места преступления, в Финляндскую гостиницу; по сведениям о последнем приеме пищи Саррой Беккер; и по времени, когда Сарра сидела с Семеновой на лестнице перед кассой.

По первому способу. Известно, что Семенова прибыла в вещи, добытыми немедленно после убийства, в Финляндскую гостиницу, около 12 часов ночи и ровно в 12, когда запирался буфет (значит — это час верный) — уже сбегала с лестницы вместе с Безаком, чтобы уехать в другую гостиницу. В 12 часов она убежала, но когда же именно приехала? Положим на ее краткую беседу с Безаком, на умывание и на уплату по счету минут 15 (так как, по словам прислуги, она пробыла очень недолго); выйдет, что она могла приехать в 12 без четверти. Подвигаясь от этого срока еще назад, мы должны задаться вопросом: как долго она ехала от кассы? По нашему опыту, езды от кассы до Финляндской гостиницы 20 минут. Вычитая эти 20 минут из трех четвертей 12-го, мы видим, что она вышла из-под ворот кассы в 11 часов 25 минут или около половины 12-го. Но вещи взяты из витрины после убийства, и притом омытыми руками. Кладем на умывание, на выбор вещей от 5 до 10 минут. Вычитаем их из 25 минут 12-го — выходит, что около 11 с четвертью Сарра испустила дух. Это приблизительная минута смерти.

Первый удар, конечно, мог быть нанесен гораздо ранее, потому что продолжительность агонии мы не знаем.

По другому способу. Дворник Прохоров видел Сарру, возвращавшуюся ужинать, в начале 10-го. Минут 20 спустя, т. е. около половины 10-го, она возвращалась и затем, не успев сделать постель и лечь, была убита. По заключению врачей, она умерла максимум через 2 часа после приема пищи. Опять выходит: умерла около половины 12-го, но быть может, и около четверти 12-го, потому что врачи брали *maximum*. Значит, несмотря на приблизительность расчета, выводы по обоим способам совпадают»<sup>1</sup>.

Схема аргумента принимает следующий вид:

$$(t_{a3} - t_{a2} - t_{a1}) \approx (t_{b1} + t_{b2} + t_{b3}) \rightarrow;$$

$$(t_{a3} - t_{a2} - t_{a1}) \approx (t_{b1} + t_{b2} + t_{b3}) \Rightarrow \diamond (ARB).$$

То есть если интервалы времени действий *A* примерно совпадают с интервалами действий *B*, то возможно, что *A* находится к *B* в отношении *R*, что имеет место.

Положение аргумента: Семенова могла быть убийцей Сарры Беккер. Система посылок основана на так называемой традукции, т. е. на отношениях понятий равного объема или объем которых не имеет значения. Характерной особенностью топа времени (как места и образа действия) является возможность его количественной интерпретации. Поэтому логические операции аргумента могут быть сведены к арифметическим действиям. Аргументация в примере [3.12] основана на установлении общего временного интервала, ограниченного начальным и конечным моментами, в пределах которого, во-первых, установлен момент или интервал времени, в котором совершено убийство, во-вторых установлены интервалы отдельных событий; сначала временные интервалы, связанные с действиями убийцы, вычитаются из конечного момента, а затем интервалы событий, связанные с действиями убитой, прибавляются к начальному моменту. Главное, чтобы результаты уложились в общий интервал и совпали с интервалом, в котором совершено убийство. Однако, как видно из примера, аргументацией только с топом времени можно обосновать возможность, но не обязательность факта.

**Образ действия** — качественная или количественная характеристика действия, выявляющая его индивидуальную особенность сравнительно с другими однородными действиями. Ответ на вопрос

<sup>1</sup> Андреевский С. А. Избр. труды и речи. Тула: Автограф, 2001. С. 103–104.

каким образом? может быть простым: *быстро, внимательно, умело, многократно* но такой ответ может быть развернутой характеристикой действия, которая не только раскрывает его особенности в связи с деятелем, но и дает представление о цели деятеля или о правдоподобности изображения самого этого действия.

[3.13.] «Как приобретается истинное знание? Напрасно думают, будто оно приобретается лишь умственным усвоением фактов, образов, правил и положений: так от одного многоядения человек не становится атлетом: пища может снабдить его жиром, но не сообщит ему ни мускульной, ни нервной силы. Человек станет, пожалуй, ходячим магазином сведений, но это еще не сообщит ни мысли его – развития, ни характеру его – личности. Одно лишь упражнение может превратить пищу в мускулы, и этим же только путем предметы изучения превращаются в действительное знание»<sup>1</sup>.

Пример [3.13] представляет собой сравнительный аргумент в совещательной речи, в котором выстраивается пропорция, и схема имеет следующий вид:

$$A \rightarrow B \wedge C; D \rightarrow E \wedge C; \sim C \Rightarrow \sim A \wedge \sim D.$$

Питание и эрудиция понимаются как материальные причины соответственно атлетизма и знания, а тренировка – как образ действия, без которого атлетизм и приобретение знания равно невозможны.

В судительной юридической аргументации схема аргумента, основанного на топе образа действия, сходна, хотя аргумент не является сравнительным.

[3.14.] «Если Шмидт заряжал ружье из трусости и боязни за свою целостность, то вероятнее, что он не стал бы рисковать собой из-за пары детского белья, он бы выдал его. А Шмидт отказал и, зарядив ружье, взведя даже курки, с лампой всю ночь поджидал князя. Если Шмидт не хотел этой встречи, но не хотел также выдавать белья по личным своим соображениям, то он, не выдавая белья, ограничился бы ссылкой на волю княгини, на свое служебное положение, словом, на законные основания, а не оскорбил бы князя словами и запиской, возбуждая тем его на объяснение, на встречу. Если Шмидт охранял только свою персону от князя, а не задумал расправы, он бы рад был, чтобы встреча произошла при народе, а он, едва увидел едущего князя, как выслал Лойку, говорившего с ним о делах, из дому и остался один с лакеем, которому поручил запереть крыльцо, чтобы помешать князю добровольно

<sup>1</sup> Победоносцев К. П. Об университетском преподавании // Тайный правитель России. М.: Русская книга, 2001. С. 413.

и открыто войти в комнату и чтобы заставить князя, раз он решился войти, прибегать к стуку, ломанью дверей, насилию»<sup>1</sup>.

Схема аргумента, если учитывать последовательность посылок, примет следующий вид:

$$N \rightarrow X \vee Y; B \vee F \vee G \rightarrow X; \sim X \rightarrow Y; A \rightarrow B; \\ \sim B; D \rightarrow F; \sim F; E \rightarrow G; \sim G; \sim G \wedge H \rightarrow Y; \sim G \wedge H; \Rightarrow Y :$$

Шмидт действовал либо с намерением убить, либо без намерения убить. Если он действовал из боязни, или не хотел встречи, или охранял свою персону, то он действовал без намерения; если Шмидт действовал из боязни, то выдал бы белье, но он не выдал белья, следовательно, он действовал не из боязни и т. д.; но если он действовал не из боязни и т. д., то, следовательно, он действовал с намерением убить князя.

В примерах [3.13] и [3.14] образ действия выступает как *присущая характеристика действия*, обуславливающая возможность определенного результата или определяющая цель действия, замысел.

В нижеследующем примере контраргументации [3.15] использование топа рассматривается как софистическое: образ действия предстает как *привходящая характеристика*, не связанная с содержанием действия, и в этом качестве противопоставляется причине; поэтому аргумент, основанный на топе образа действия, оказывается несостоятельным.

[3.15.] «Если известный результат представляется невозможным по существу дела, то нельзя разрешить вопрос тем, что это делается понемножку. И именно к такой аргументации прибегает Дарвин. Он прямо говорит, что предположение, будто глаз, со всеми его изумительными приспособлениями, сложился в силу естественного отбора, может показаться в высшей степени нелепым; но стоит предположить постепенность и все объясняется очень легко. На этом доводе держится вся его система. А между тем это чистый софизм. Этим способом можно доказать, например, что человек в состоянии поднимать горы. Стоит только приучить его понемножку, прибавляя песчинку к песчинке: при изменчивости организма и наследственной передаче приобретенных привычек через несколько тысяч поколений он будет уже нести Монблан. В действительности постепенность не что иное, как известный способ действия; результат же получается только тогда, когда есть причина, способная его произвести. Поэтому при объяснении явления

<sup>1</sup> Плевако Ф. Н. Избранные речи. С. 411–412.

надобно прежде всего исследовать свойства причины; постепенность же сама по себе ничего не объясняет»<sup>1</sup>.

Аргументы с топом образа действия, как и аргументы с топом лица и поступка, являются квазилогическими: условия применения топа зависят от характера действия и его субъекта.

**Внешние обстоятельства** — события и обстановка, которые сопутствуют предмету мысли и оказывают на него влияние, но не рассматриваются как причина. Внешние обстоятельства могут благоприятствовать или препятствовать действию и тем самым влиять на характер решения и усилия, необходимые для достижения цели.

[3.16.] «Уже в начале отступления французов, на переходе от Вязьмы до Смоленска, русский генерал Крейц, идя походом со своим полком, услышал какой-то шум в лесу, правее дороги. Въехав в лес, он с ужасом увидел, что французы ели мясо одного из своих умерших товарищей. Дело было еще до морозов, до полного расстройтва французской армии, до неслыханных бедствий, ждавших ее впереди. Это показание Крейца подтверждается рядом других аналогичных. «...Кроме лошадиного мяса, им есть нечего. По оставлении Москвы и Смоленска они едят человеческие тела...»

„Голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца... Смоленская дорога покрыта на каждом шагу человеческими и лошадиными трупами”, — пишет Воейков поэту Державину 11 ноября из Ельни. Как видим, везде идет речь о начале отступления, о перегоне Москва — Смоленск. Что поедание трупов сделалось обыденным явлением в конце бедственного отступления, об этом свидетельств сколько угодно.

Но нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в тот период, когда еще и морозов не было, а стояла прекрасная солнечная осень.

Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления.

В интересных записках русского генерала Крейца, проделавшего всю кампанию, я нашел следующее свидетельство: „Несправедливо французские писатели обвиняют холод причиной гибели армии Наполеона. От Малого Ярославца до Вязьмы время было очень теплое; от Вязьмы до Смоленска были приморозки. Около г. Ельни выпал первый снег, но очень малый. Днепр однако же покрылся прозрачною льдиною, по которой никто не смел ходить, кроме первого Нея. От

<sup>1</sup> Чичерин Б. Н. Собственность и государство // Чичерин Б. Н. Избранные труды. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. С. 405–406.

Смоленска до Борисова холод был сильнее, но сносный, мы ночевали в поле без крыш”. В Борисове генерал Крейц в первый раз ночевал под крышей. Это между прочим иллюстрирует, в каких условиях находилась и русская армия в этом походе. „От Борисова до Вильно морозы были весьма суровы, и здесь по большей части французы перемерли. Они погибли больше от голода, изнурения, беспорядка, грабительств и потери дисциплины, а кавалерия — от тех же причин и от весьма дурной и безрассуднойковки лошадей”<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$A \rightarrow B \vee C \vee D; \sim B \wedge A; \Rightarrow C \vee D.$$

Если причина разложения армии Наполеона — голод или мороз, но имеются отсутствие мороза и разложение армии, то причина разложения армии — голод. Голод и мороз являются соответственно причиной или внешним обстоятельством, и поэтому логически выступают в разделительной посылке как консеквент, подобно умозаключению: «если лампочка не горит, то либо нет тока, либо лампочка неисправна». Понятно, что то и другое может быть причиной того, что лампочка не горит. Но если одна из альтернативных причин не имеет места, то имеет место другая. Поскольку в примере голод начинается до наступления холодов, предшествует и сопутствует разложению армии, то холода оказываются внешним обстоятельством, что и обосновывается в примере.

Пример [3.16] представляет собой развернутый аргумент к авторитету. Пользуясь авторитетными свидетельствами очевидцев, автор ограничивает собственный комментарий от речи очевидцев, организуя цитаты как последовательность посылок аргумента. Цель аргумента — разделить по времени наступление холодов от процесса разложения французской армии, используя яркий признак разложения — факты людоедства, и указать на голод как непосредственную причину разложения французской армии. Отмечая, что русская и французская армии находились в одинаковых условиях, при которых французская армия разлагалась, а русская не разлагалась, Е. Н. Тарле опять же словами участника событий обнаруживает действительную причину гибели французов — плохую организацию (беспорядок, потеря дисциплины, неправильная ковка лошадей). Морозы, которые представлялись причиной упадка наполеоновской армии, предстают, во-первых, как внешнее обстоятельство, а во-вторых, как фиктивный фактор, который начал действовать уже

<sup>1</sup> Тарле Е. В. 1812 год. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 666–667.

после того, как французская армия разложилась. Поэтому гибель наполеоновской армии при наступлении морозов — следствие неправильной организации кампании.

Итак, один и тот же фактор может быть представлен как причина и как внешнее обстоятельство в зависимости от строения аргумента, используемых выразительных средств и положения, которое занимает в системе аргумента его изображение.

**Причина и следствие.** Причина — событие или действие, которое вызывает или влечет за собой следствие — другое событие или действие.

Топ причины, как указывает Аристотель, «заключается в доказательстве, что что-нибудь есть, если есть его причина, и что чего-нибудь нет, если нет причины; ибо причина и то, чему она служит причиной, сосуществуют, и ничто не существует без причины»<sup>1</sup>. В топике традиционно выделяются четыре вида причины<sup>2</sup>. Для целей риторики имеет смысл рассмотреть причины *действующую* — внешний импульс или побуждение, приведшее к конкретному данному состоянию или поступку, например удар кием по бильярдному шару или повеление действовать таким-то образом, и *конечную* — назначение, замысел или цель, в соответствии с которыми субъект действует так, а не иначе, например замысел игрока, направляющего шар определенным образом.

Условное суждение (например, «если лампочка горит, то есть ток») следует отличать от суждения причинно-следственного (например, «лампочка горит, потому что есть ток»). Условное суждение имеет значение потенциального отрицания, поскольку содержит информацию *об условии*, а не *о самом факте* (высказывание «если тока нет, то лампочка не горит» ничего не утверждает о наличии тока и горении лампочки как таковых). Топ причины предполагает суждение, которое содержит информацию фактического характера: лампочка горит по данной причине — наличие тока, а не по причине исправности лампочки или состояния электрической цепи. В условных высказываниях антецедент может быть причиной и условием: «*если идет дождь, то тротуар мокрый*», признаком и условием: «*если идет снег, то холодно*», следствием и условием: «*если у человека повышенная температура, то он болен*», причем логически они ведут себя сходно. Поэтому причина как таковая, очевидно, является не логической, а семан-

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. С. 118.

<sup>2</sup> Аристотель. Вторая аналитика // Соч. Т. 2. М., 1978. С. 328.

тической категорией, причем *конвенциональной*: причину того, что тротуар сырой, в зависимости от цели с одинаковым успехом можно усмотреть в климате, в хорошей работе дворника, в наличии нужной техники, в заботе властей о благоустройстве города и т. д. и т. п.

*Действующая причина* рассматривается как физическая мотивация события или поступка и предполагает принудительность следствия, поэтому действие представляется как непроизвольное и, следовательно, не влекущее за собой ответственности лица, непосредственно его совершившего. Там, где нужно снять или умалить ответственность, причина представляется как действующая — обстоятельства, состояние, принуждение и т. п. Но если цель аргумента — обосновать или усилить ответственность в отрицательном или положительном смысле, причина представляется как конечная — цель, замысел, подготовка к действию, компетентность.

[3.17.] «...Это была забытая папироска, запавшая искра, что-нибудь такое маленькое — я в точности не знаю что (ведь истинная причина большинства пожаров неизвестна), — но для меня не важен вопрос: что именно? Для меня важен другой вопрос: мог ли прибегнуть к такой причине, к такому медленному и неверному средству человек, который желает, умышляет, заботится, утраивает так, чтобы пожар произошел непременно? Вот что важно для меня. И для меня ответ несомненен: нет, не мог. Такие штуки выкидывает только случай, а не умысел. Попробуйте в самом деле зажженной папироской сделать пожар — мудреное дело, а сколько пожаров именно и происходит ли от неосторожно брошенной папиросы. Вот, положим, вы курите и занимаетесь — кладете возле себя зажженную папиросу или сигару, иногда бывает, что каждый раз, как вы ее оставите, она потухнет, и все приходится ее вновь зажигать, а иной раз запишетесь, зачитаетесь — глянь, а между тем вся папироска до конца сгорела на пепельнице. Иной раз табак горит успешно, иной — нет: дотлеет до какого-нибудь крутого корешка и — стой! — попадет сырая ниточка и — кончено. И кому же лучше знать эти свойства табака, как не табачному фабриканту? Он ли, бросив папиросу в табак, может считать себя обеспеченным, что пожар непременно произойдет? Ему должно быть известно, что табак тлеет медленно и не дает пламени. Поджигатель бы непременно взял себе в союзники керосин, стружки и всякие другие горючие материалы. <...>

Таким образом, вся история пожара громко говорит нашей совести и ясно доказывает нашему уму, что пожар этот не задуман человеком, а вызван непредвиденным случаем»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Андреевский С. А. Защитительная речь по делу братьев Келеш // Андреевский С. А. Избр. труды и речи. Тула: Автограф, 2000. С. 34–36.

Схема аргумента подобна схеме в примере [3.16.], но отличается характером дизъюнкции:

$$A \rightarrow B \underline{\vee} C; \sim B; \Rightarrow C.$$

Строгая дизъюнкция в консеквенте предполагает невозможность одновременно действующей и конечной причин, поскольку установлена действующая причина, то конечная исключается.

В примере [3.17] содержится аргумент к аудитории. Защитник убеждает присяжных, *обращаясь к их опыту*, что конечная причина, *цель* не соответствует *средствам*, которые использовал бы его подзащитный, если у него был *умысел* преступления. Но поскольку событие обязательно должно иметь причину, защитник представляет ее как *максимально вероятную возможность* — случайную действующую причину, которая не имеет отношения к подзащитному. Из примера [3.17] видно, что конечная причина связана с отношениям *цели и средства, лица и поступка*, а действующая — с *обстоятельствами, местом, временем*.

В следующем примере конечная причина рассматривается в отношении к замыслу, что повышает ее ценность в положительном или отрицательном смысле. Поэтому в совещательной аргументации причина обычно понимается как конечная — аргумент к причине в таком случае оказывается определяющим для принятия решения.

[3.18.] «Много, господа, и осталось сделать, и многое еще будет совершено. Но нет, нет, господа, той волшебной палочки, от соприкосновения с которой в один миг может переустроиться целое учреждение. Поэтому, если ожидать окончательного переустройства ведомства, если ожидать ассигнования колоссальных сумм на приведение в исполнение полной программы судостроения, то в деле приведения в порядок обломков нашего флота, наших морских сил, расстроенных последней войной, пришлось бы примириться с довольно продолжительной остановкой.

К чему же, господа, привела бы такая остановка? На этом не могло не остановить своего внимания правительство. Вникните, господа, в этот вопрос и вы. Первым последствием такой остановки, о которой красноречиво говорили некоторые из предыдущих ораторов, было бы, несомненно, расстройство наших заводов, на которое я указывал в комиссии государственной обороны и на что мне обстоятельно никто не возразил. То, что в других государствах оберегается, бережно выращивается, развивается технический опыт, знание, сознание людей, поставленных на это дело, все то, что нельзя купить за деньги, все то, что создается только в целый ряд лет, в целую эпоху, все это должно пойти на убыль, все это должно прийти в расстройство.

Член Государственной Думы Львов говорил о том, что не было бы беды, если бы наши заводы сократили несколько свою работу; но,

господа, другие страны находят, что национальное судостроительство является плодом усилий целых поколений, результатом национального порыва, который достигим только с громадным напряжением сил. Всякий регресс, всякий шаг назад в этой области ведет к расстройству всего дела. Морской министр в комиссии приводил цифры, говорил о том, что для поддержания наших заводов на теперешнем уровне нам нужно заказов на 22 миллиона рублей в год. В настоящее время заводы имеют заказов только на 11 миллионов рублей и то только на один год. Вторым последствием остановки была бы необходимость обучать личный состав на тех отдельных разношерстных судах, о которых я вам говорил.

Член Государственной Думы Бабянский доказывал вчера, что можно обучать личный состав и нижних чинов, и офицеров на тех двух броненосцах, которые имеются в Балтийском море. Но, господа, судите сами, какое же возможно эскадренное учение, какая же возможна стрельба, какое возможно эскадренное маневрирование без эскадры. Возможно ли обучение, воспитание механиков, раз мы не имеем усовершенствованных механизмов? Нас, с одной стороны, упрекали в том, что морское ведомство заказывало такие суда, как „Рюрик”, которые являлись отсталыми; с другой стороны, град упреков был обращен на нас за то, что мы хотим заказывать суда новейшего устройства, как тут насмешливо было сказано, „сверх-корабли” — „дредноуты”. Но третье последствие остановки в устройстве наших морских сил было бы длительное беспомощное положение России в отношении морской обороны. Несмотря на полное наше миролюбие, я думаю, что такая беспомощность не соответствует мировому положению России.

Вот, господа, те доводы, которые побудили нас испрашивать у вас не утверждения полной программы кораблестроения, а временно, до установления плана общей обороны государства, постройки только четырех броненосцев в течение четырех лет для того, чтобы несколько пополнить расстроенные ряды нашего флота и придать им некоторый боевой смысл. Я старался обрисовать вам, господа, что выигрывает государство принятием правительственного предложения; я должен при этом еще упомянуть, что постройка 4 броненосцев не идет вразрез ни с одной из программ судостроения. Эти 4 броненосца входят во все программы. Они будут служить для осуществления любой из них, хотя бы на первом плане была поставлена программа укрепления наших морских сил на Дальнем Востоке»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$(A \rightarrow \sim B) \wedge (\sim B \rightarrow \sim C) \wedge (\sim C \rightarrow \sim D);$$

$$D \wedge C \Rightarrow \sim A \wedge B; F \rightarrow (\sim A \wedge B \wedge C \wedge D); \Rightarrow F.$$

<sup>1</sup> Столыпин П. А. Речь о морской обороне // Нам нужна великая Россия. С. 156–157.

Если ожидать переустройства министерства и ассигнований, то заводы остановятся; если заводы остановятся, то строительство новых кораблей задержится, если строительство новых кораблей задержится, то невозможно будет обучать личный состав флота, следовательно, нужно обеспечить условия работы заводов, строительства кораблей и подготовки личного состава; если принимается частичный план, то все достижение всех необходимых целей и условий обеспечивается; следовательно, необходимо принять частичный план.

В той мере, в какой значимость конечной причины недостаточно очевидна и нуждается в обосновании, конечная причина может представляться, как в примере [3.18], *в виде условия*: строительство дредноутов оказывается условием сохранения кораблестроительной промышленности и боевой подготовки экипажей, которая невозможна на устаревших кораблях. Из примера [3.18] видно, что конечная причина относительна: П. А. Столыпин мог бы назвать иные причины строительства дредноутов, но он выбирает именно ту, которая представляется наиболее убедительной, поскольку подготовка флота и состояние кораблестроения обсуждались депутатами Думы. В этих целях он строит в составе аргумента дилемму, показывающую непоследовательность оппонентов, и указывает на неблагоприятные последствия, вытекающие из их предложений.

**Цель и средство** — взаимное отношение конечной причины (замысла) к способу его осуществления, которое характеризует значимость как действия, так и деятеля. Средство — технический прием (например, радикальные средства), или инструмент, при помощи которого осуществляется действие (например, транспортные средства).

Цель и средство являются характеристикой лица, совершающего действие. Если средства целесообразны и однородны с целью, их применение рассматривается как свободно избранное и намеренное — выбор средства предполагает оценку и ответственность в отношении к цели. Если средства нецелесообразны, то само действие или выполнение его данным деятелем могут быть поставлены под сомнение.

[3.19.] «Но вернемтесь еще раз на одну минуту к основному утверждению обвинителя. Он настаивает на умысле на убийство у обвиняемого. Сопоставьте это утверждение с фактами дела. К роковому для него дню он выстраивает большой и ценный дом, отдается всегдашним заботам жизни, строит лавку и, весь погруженный в деловые заботы, возвращается домой. Где же тут место умыслу? Умысел, если бы он в действительности существовал, нашел бы иные формы покончить

с женою. Да и зачем было искать их? Стоило только не поберечь ее, чтобы случай явился и сделал то, что сделала его рука. Нет, здесь была нечаянность, роковой момент, затмение человеческой мысли. Я знаю, вам будут говорить: „Да, ведь, не мог же он не знать, ударяя топором, что он лишает жизни”. Это — не признак умысла. Сумасшедший, стреляя в другого, тоже знает, что лишает жизни; животное, ударяя рогами, знает и хочет отнять жизнь. Но их не судят: у них нет рассудка. То же бывает и с человеком. У одних в злые минуты — гнева, злости, ожесточения, у других — в пору горя, скуки, стыда, отчаяния. Последнее и есть признак помрачения ума, бессилия воли, способной удержать порыв, сдержать негодование»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$(A \rightarrow B); (C \rightarrow \sim B) \wedge (D \rightarrow \sim B) \wedge (E \rightarrow \sim B); (C \wedge D \wedge E) \Rightarrow \sim B.$$

В примере [3.19] рассуждение ведется от средства к цели, причем устанавливаются совместимость цели и средства и прямая зависимость цели от средства: «Если средства не соответствуют цели (результату), то и цели, которая бы соответствовала результату, не существовало».

В аргументации цели и средства постоянно меняются местами, и средство приобретает самостоятельную ценность. Положение «цель оправдывает средства» осуждается с нравственной точки зрения и ему противостоит положение «достойные цели не могут достигаться недостойными средствами»: вопрос состоит в совместимости целей и средств в этическом или прагматическом плане.

Таким образом, аргументация к цели и средствам предполагает дополнительные обоснования обычно с этической точки зрения совместимости или несовместимости средств и целей, наличия, отсутствия или приоритета цели.

### *Топы определения*

Топы определения являются основной составляющей аргументации в статусе определения. Как источники изобретения топы определения представляют собой ходы мысли, посредством которых конкретные данные приводятся к общим понятиям или нормам. Определить — значит указать существенные черты определяемого предмета и отличить его от сходных предметов.

<sup>1</sup> Шубинский Н. П. Защитительная речь по делу крестьянина Сергея Киселева // Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т. VI. М., 1902. С. 307–408.

**Присущее и привходящее.** Предмет мысли характеризуется множеством особенностей, совокупность которых лежит в основе нашего представления о нем. Среди этих особенностей выделяются существенные и несущественные. Существенные особенности предмета постоянны. Некоторые из таких существенных особенностей являются общими для классов или групп однородных предметов, другие характеризуют отдельные группировки предметов внутри классов. Присущими являются те особенности предмета, без которых существование предмета представляется невозможным. Привходящими являются переменные или необязательные особенности предмета: привходящее (акциденция) «есть то, что в предметах и бывает и отсутствует, не разрушая предмета. И снова: акциденция есть то, что может одному и тому же предмету как принадлежать, так и не принадлежать»<sup>1</sup>.

«Носителем» сущности является отдельный предмет, а класс мыслится при условии абстракции от частных особенностей входящих в него индивидуальных предметов.

Акциденции подразделяются на отделимые и неотделимые. Отделимые акциденции представляют собой состояния или положения предмета (молодость, старость, болезнь, здоровое состояние), которые проявляются в тех или иных условиях места, времени, обстоятельств. Неотделимые акциденции представляют собой особенности многих предметов (например, курносый нос, высокий рост), неотъемлемые от них. Рассмотрим пример показательной аргументации.

[3.20.] «Именем научного мировоззрения мы называем представление о явлениях, доступных научному изучению, которое дается наукой; под этим именем мы подразумеваем определенное отношение к окружающему нас миру явлений, при котором каждое явление входит в рамки научного изучения и находит объяснение, не противоречащее основным принципам научного искания. Отдельные частные явления соединяются вместе как части одного целого, и в конце концов получается одна картина Вселенной, Космоса, в которую входят и движение небесных светил, и строение мельчайших организмов, превращения человеческих обществ, исторические явления, логические законы мышления или бесконечные законы формы и числа, даваемые математикой. Из бесчисленного множества относящихся сюда фактов и явлений научное мировоззрение обуславливается только немногими основными чертами Космоса. В него входят также теории, связанные с борьбой или воздействием других мировоззрений, одновременно живых в человечестве. <...> Наконец, безусловно, всегда оно проникнуто сознательным воле-

<sup>1</sup> Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 62–63.

вым стремлением человеческой личности расширить пределы знания, охватить мыслью все окружающее.

В общем, основные черты такого мировоззрения будут неизменны, какую бы область наук мы ни взяли за исходную — будут ли это науки исторические, естественно-исторические или социальные, или науки абстрактные, опытные, наблюдательные или описательные. Все они приведут к одному научному мировоззрению, подчеркивая или развивая некоторые его части. В основе этого мировоззрения лежит метод научной работы, известное определенное отношение человека к подлежащему научному изучению явлению. Совершенно так же, как искусство немыслимо без какой-нибудь определенной формы выражения, будь то звуковые элементы гармонии, или законы, связанные с красками, или метрическая форма стиха; как религия не существует без общего в теории многим людям и поколениям культа и без той или иной формы выражения мистического настроения; как нет общественной жизни без групп людей, связанных между собой в повседневной жизни в строго ограниченные от других таких же групп формы; как нет философии без рационалистического самоуглубления в человеческую природу или в мышление, без логически обоснованного языка и без положительного или отрицательного введения в мировоззрение мистического элемента, так нет науки без научного метода. Этот научный метод не есть всегда орудие, которым строится научное мировоззрение, но это всегда орудие, которым оно проверяется. Этот метод есть только иногда средство достижения научной истины или научного мировоззрения, но им всегда проверяется правильность включения данного факта, явления или обобщения в науку, в научное мышление»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$(B \vee C \vee D \vee N \vee \dots \rightarrow A);$$

$$(L \rightarrow B) \wedge (L \rightarrow C) \wedge (L \rightarrow D) \wedge (L \rightarrow N) \wedge \dots;$$

$$(L_1 \rightarrow X) \wedge (L_2 \rightarrow Y) \wedge (L_3 \rightarrow Z) \Rightarrow (L \rightarrow A).$$

Как видно из схемы, в примере используется индуктивное умозаключение, поскольку подразумевается, что состав научных предметов может расширяться, но все они будут обладать общим свойством, и дополнительная посылка эпихейремы в виде сравнительного аргумента.

В примере [3.20] сущность науки устанавливается «апофатически» и «катафатически» — путем устранения ее переменных, т. е. акцидентальных характеристик, связанных с видами наук, инструментарием научного познания, но и путем утверждения сущности

<sup>1</sup> Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981. С. 43–44.

иных, рядоположенных науке форм мысли – религиозной, художественной, философской, которые для науки не обязательны.

Сходным образом, т. е. путем устранения переменных и утверждения постоянных характеристик лица и поступка, определяется сущность в судительной аргументации. В последней, однако, устанавливается сущность факта, что является основанием его определения.

**Отношение.** «Отношение есть связь, в которую мышление ставит или которую мышление находит между двумя содержаниями сознания»<sup>1</sup>. Как топ отношение устанавливается между значениями слов, которые фиксируют определенные устойчивые связи предметов мысли. В топе отношения существенны:

- 1) определенность и направленность;
- 2) строение;
- 3) обязательное и факультативное.

Отношение взаимно определяет соотносящиеся категории – *сын/отец, муж/жена, брат/сестра, старший/младший* – и тем самым приобретает собственное содержание: отцовства, супружества, кровной связи, но каждое из этих отношений специфично: в нем выделяются значения соответственно старшинства и равенства поколений, мужского и женского, кровного и приобретенного родства. Поэтому отношение селективно (избирательно), так как содержит только некоторые признаки из числа возможных (*тесть/зять, свекровь/невестка*), оппозитивно, так как в ряду *отец/сын сын* противопоставлен *дочери*, может содержать значение степени (*прапрадед/прадед/дед/внук/правнук/праправнук*) в отношении к позиции, из которой отношение рассматривается: *моего, твоего, его потомка* или *моего, твоего, его предка*, степени близости или дальности.

Отношение может быть направленным (*отец/сын* – иное отношение, чем *сын/отец, брат/сестра* – иное, чем *отец/сын, сестра/брат*, хотя их содержание и строение будут одинаковыми), и ненаправленным (*брат/брат, сестра/сестра*).

Отношения могут быть бинарными (двойственными), например *правый/левый*, тернарными, например, единственное, множественное, двойственное (парное) число в старославянском языке.

Отношение может быть обязательным и факультативным. Приведенные выше отношения терминов родства свойственны семантике русского языка (в другом языке они могут быть иными) и предстают как естественные и необходимые, так называемая «культурная

<sup>1</sup> Философский словарь / Под ред. Э. Л. Радлова. СПб.: Брокгауз—Ефрон, 1911. С. 190.

константа». Но в определенных культурных, политических и т. д. условиях отношение может специально устанавливаться и формулироваться, например *большевики/меньшевики*. Отношения типа *лес/поле, город/деревня* также факультативны, но в ином смысле: здесь необязательно само по себе противопоставление, в то время как оно является основой отношений *большевики/меньшевики, правый/левый, верх/низ*.

Характер связи составляющих отношения играет весьма значительную роль в построении аргументов. Рассмотрим примеры богословской и судебной аргументации.

[3.21.] «Говоря о Нем „прежде всех веков”, мы показываем, что рождение Его было *вневременно* и *безначально*; ибо не из сущего приведен в бытие Сын Божий, *сияние славы и образ ипостаси Отца* (Евр. 1, 3), *живая премудрость и сила* (1 Кор. 1. 24), Слово ипостасное, сущностный и совершенный, и живой *образ Бога невидимого* (Кол. 1,15), но Он всегда был с Отцом и в Отце, рожденный от Него вечно и безначально. Ибо не было когда-либо Отца, когда не было бы и Сына, но вместе — Отец. Вместе — Сын, от Него рожденный. Ибо без Сына Он не мог бы быть назван Отцом. А если Он был, не имея Сына, то не был Отцом, и если после этого получил Сына, то после этого сделался и Отцом, прежде этого не будучи Отцом, и из положения, в котором Он не был Отцом, превратился в такое, что стал Отцом, что хуже всякого богохульства»<sup>1</sup>

Схема обоснования:

$$A R B \rightarrow (A \leftrightarrow B); \Rightarrow (A \rightarrow B) \wedge (\sim B \rightarrow \sim A).$$

Если имеет место отношение  $A$  к  $B$ , то из наличия  $A$  следует наличие  $B$  и наоборот; следовательно, если имеет место  $A$ , то имеет место  $B$ ; и если нет  $B$ , то нет и  $A$ , что противоречит условию.

[3.22.] «Мне ужасно трудно заканчивать мою защиту. Я никогда ничего не прошу у присяжных заседателей. Я могу вам указать только на следующее: никаких истязаний тут не было, недоразумения на этот счет порождены актом вскрытия в связи с бестолковым показанием подсудимого. Чарнецкая умерла гораздо легче, чем мы думаем: она потеряла сознание от первого стеснения ее горла. Поэтому всякие истязания должны быть отвергнуты. Затем, вы непременно должны отвергнуть также и тот признак, будто Наумов убил Чарнецкую как слуга. Обстоятельство это значительно возвышает ответственность, а между тем Наумов тут был вовсе не в роли слуги: он не желал делать кражи, он не пользовался ночным временем, когда он один имел доступ к своей хозяйке, он был здесь просто-напросто в положении всякого, кого

<sup>1</sup> Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. С. 166–167.

бы эта старуха вывела из себя своей безнаказанной жестокостью. Он действовал не как слуга, а как человек. Поэтому „нахождение в услужении” во всяком случае должно быть вами отвергнуто. Но ведь убийство все-таки остается. Я, право, не знаю, что с этим делать. Убийство — самое страшное преступление именно потому, что оно зверское, что в нем исчезает образ человеческий. А между тем, как это ни странно, Наумов убил Чарнецкую именно потому, что он был человек, а она была зверем».

Схема аргумента:

$$A R B \rightarrow (A \rightarrow C \wedge D); \sim C \wedge \sim D; \Rightarrow \sim A R B.$$

Если имеет место отношение «хозяин/слуга», то для деяние характеризуется определенными особенностями («он не желал делать кражи, он не пользовался ночным временем»), но таковые не имели места, следовательно, и отношение (как причина деяния) не имело места.

Для построения посылок в примере [3.5] адвокат выстраивает отношения: *слуга/хозяйка*, *слуга/не слуга*, *слуга/человек*, *человек/зверь*. Основой первых двух отношений выступает отношение слов *роль/положение* — «он не был в роли слуги», а был «в положении всякого», что и связывается с правовым определением отношения «нахождение в услужении». Наличие отношения *слуга/хозяин* опровергается в целях уменьшения ответственности, но для переноса ответственности на жертву нужно другое отношение и поэтому используется на первый взгляд неуместное слово «человек», которое занимает пустую ячейку — (нулевое) место в противопоставлении *слуга /не слуга (человек)* и в данной фразе остается нейтральным. Но далее ступенчатой подстановкой слов выстраивается новое отношение, уже обязательное, общеязыковое — *человек/зверь*.

Получается цепочка энтимем:

- убийство слугой хозяина являетсяотягчающим обстоятельством;
- Наумов убил хозяйку не как слуга;
- следовательно, соответствующий пункт статьи закона к нему неприменим;
- убийца Наумов — человек, убитая Чарнецкая подобна зверю;
- убить зверя не безнравственное деяние;
- следовательно, деяние, совершенное Наумовым, не является в полной мере безнравственным;
- Наумов совершил убийство в состоянии аффекта;
- Чарнецкую рано или поздно все равно кто-нибудь убил бы (эти две посылки содержатся в тексте примера [3.5]);

- не безнравственные, совершенные в состоянии аффекта и неизбежные поступки заслуживают снисхождения;
- следовательно, Наумов заслуживает снисхождения.

Вполне очевидно, что эти силлогизмы не могут рассматриваться как доказательные, но редукция, также построенная на топе отношения, делает их убедительными.

**Род и вид.** Родо-видовые отношения принципиально значимы для топики, поскольку аргументация, связывающая представления об общем и частном, характерна для обсуждения любой проблемы в любом статусе.

Под *родовым* понятием в самом широком смысле слова можно понимать понятие класса объектов, который включает другие классы, а под *видовым* соответственно понятие класса объектов, включенного в более широкий класс: *человек есть живое существо – некоторые живые существа являются людьми*. Родо-видовые отношения в значительной мере условны, так что одна и та же видовая категория может включаться в различные родовые категории: *человек – позвоночное, человек – нравственное существо*. Риторика имеет дело в основном со словами языка, имеющими общее, частное или индивидуальное значение: *домашнее животное – рысистая лошадь – жеребец Квадрат*. Поэтому родо-видовые отношения в риторической аргументации строятся не только на основе научной картины мира или философской доктрины, но в большей мере на основе картины мира, характерной для данного языка. Можно сказать, что они имеют номинальный характер, т. е. связаны с отношениями вещей через отношения слов.

[3.23.] «Права и обязанности в обществе определяются и охраняются законом. Закон (lex) вообще есть правило, по которому что-нибудь необходимо происходит. Правило, по которому должна происходить деятельность существ нравственных, если они не хотят отказаться от своего нравственного достоинства, хотя физически и могут не поступать по оному, называется, в частности, *законом нравственным*. Правило, по которому должны поступать нравственные существа в обществе, если они не хотят отказаться от самой жизни общественной, может быть названо точнее *законом общественным*.

Закон общественный, как и вообще закон нравственный, состоит из двух частей, из которых одна может быть названа частью определенной, другая – частью охранительной.

Закон общественный прежде всего определяет права и обязанности как членов общества по отношению друг к другу и целому обществу, так и целого общества к его членам и другим нравственным сообществам. В этом отношении он или запрещает и называется запретительным, или позволяет и называется позволительным. Впрочем, какого бы рода

закон ни был, он по существу своему есть изображение вечных начал правды»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$A \rightarrow (B \vee C); C \rightarrow (D \vee F) \wedge (G \wedge H).$$

В схеме нет явного вывода. В примере [3.23] родовое понятие закона разделяется на видовые понятия, которым даются соответствующие определения, различающие нравственный и общественный законы, причем нравственный закон оказывается видовым понятием по отношению к закону вообще, но родовым по отношению к общественному, а закон общественный в свою очередь является родовым по отношению к законам запретительным и разрешительным. Это пример разделения предмета, в котором члены всех уровней разделения сохраняют содержание делимого понятия, что подчеркивается последней фразой примера. Аргументация разделений представляет собой указание признаков, различающих и объединяющих понятия, которые включаются в родо-видовые отношения. Но определения являются номинальными, поэтому признаки подразумеваются в самих значениях слов, которые истолковываются автором: норма субъективная/объективная, объективная норма определяет/охраняет, охранительная норма позволяет/запрещает.

В риторической аргументации главное значение имеет то, *как названы компоненты нормы* — всегда общего суждения, а не то, как обосновано родо-видовое отношение как таковое.

Рассмотрим пример.

[3.24.] «Да, скрывались злоупотребления банка, именно те, которые указываются в статье, т. е. скрывались убытки, и обеспечивалась благодаря этому сокрытию выдача дивиденда. В этом отношении, действительно, как заявляется в статье газеты „Новостей“, статья возвратных расходов представляла не подлог, — это не было сказано в статье, — а то, что в общежитии называется фальшивыми дутыми цифрами. По делу о продаже дома Котомину мы имеем журнал правления, который, несомненно, подходит под 362 ст. Улож. Дом продан по долгосрочной ссуде на 18 лет, а переведен без согласия владельца его, на краткосрочную ссуду на 3 года, с обязательством ее возобновления после каждых 3 лет (первая неверность); в случае требования нотариусами сведения, журнал правления постановляет сообщить им, что ссуда выдана из 15 серий на срок 26 лет (вторая неверность или, вернее сказать, ложь) и поручить бухгалтерии банка провести эту операцию по книгам, согласно журналу (прямое поручение совершить подлог). Что бы

<sup>1</sup> Неволлин К. А. Энциклопедия законовещения. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1997. С. 43.

ни говорили правители Тульского банка о невинности этой операции, журнал представляет, несомненно, уголовный материал для 362 ст. Уложения»<sup>1</sup>.

Редукция аргумента в примере [3.24] строится на противопоставлении двух выражений со сходным видовым значением — «подлог» и «фальшивые дутые цифры». Первое выражение является наименованием статьи закона, карающего деяния с определенными признаками; вторая, что подчеркивает оратор, — лишь общеязыковую характеристику. Характеристики действий банка — *злоупотребления, сокрытие убытков, неверность, ложь, прямое поручение совершить подлог* — приводятся к общему выражению «уголовный материал», которое включает общие компоненты значения с обоими противопоставляемыми конечными членами цепочки редукции, «подлогом» и «фальшивыми дутыми цифрами», но не является ни тем ни другим. Таким образом, отношения факта к видовой категории сохраняется, но сама видовая категория не называется, что имеет свои основания, поскольку предметом аргументации являются не действия банка сами по себе, а публичные высказывания о них, в неправомерности которых обвиняется подзащитный, но вместе с тем утверждается, что эти высказывания подзащитного истинны по существу.

**Целое и часть.** Целым называется отдельный предмет, характеризующийся качественной определенностью и самостоятельным существованием.

Частью называется обладающая набором специфических признаков составляющая целого, назначение (функция) которой дополняет функции других частей и различна с ними.

Отношение целого и части достаточно сложно. Реально существует только целое, которое несводимо на сумму своих частей, часть подчинена целому и существует только в его пределах. Целым может быть отдельное, но не общее — индивид и группа индивидов, например, кошка, стая кошек, но не вид «кошка»<sup>2</sup>.

Так, общество как сложное целое может существовать и мыслиться без конкретного гражданина, но быть гражданином без конкретного общества невозможно. Вместе с тем отдельный человек является

<sup>1</sup> Александров П. Я. Речь по делу Нотовича // Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т. VI. М., 1902. С. 286–287.

<sup>2</sup> Мы можем мыслить вид, например «кошка», в качестве индивида, и в таком случае он будет целым, которое может иметь части.

частью, членом общества в той мере, в какой он включен в деятельность общества как системы. Быть членом общества — непременно, но не единственное свойство человека. Главное свойство человека — быть образом и подобием Божиим. Это важнейшее свойство человека определяет духовно-нравственные цели и содержание всей его деятельности. Поэтому полнота человеческого бытия предполагает включение человека в систему общественных отношений. При этом первое содержательно подчинено второму, как низшие функции подчиняются высшим.

[3.25.] «Современный кризис — это кризис расколотого человека. И чем раньше мы это поймем, тем лучше для нас. Чем мужественней сформулируем мы этот тезис, чем ближе примем к сердцу и чем скорее сделаем выводы, тем скорее кризис будет преодолен. Человек должен обрести в себе свою цельность. Он должен собрать *disjecta membra*, разлетевшиеся органы своего духа, оживить их и воссоединить заново. Человеческий разум должен снова и снова пробиваться к вере, поборов в себе ложный стыд пред собственным сердцем. Мысль должна примириться с творческим и снова стать созерцательной, интуитивной, провидческой. Аутентичная фантазия должна пройти школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная, безудержная воля должна подчиниться совести и сердцу... Тогда рассудок обретет способность к созерцанию и станет разумом, а созревающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. *Сердечное созерцание, совестливая воля и верующая мысль* — вот три великие силы грядущего, которым по плечу будут все проблемы бытия; они-то и создадут человека, обладающего *творческой цельностью*.

Заглянувший с надеждой в даль непременно прочтет над тесными воротами будущего простые слова: „Обрети в себе цельность!”»<sup>1</sup>.

Схема аргумента:

$$L \rightarrow (R \wedge F \wedge V) \wedge (R \rightarrow C) \wedge (F \rightarrow C) \wedge (V \rightarrow C) \wedge (V \rightarrow C) \Rightarrow \\ \Rightarrow L \rightarrow C.$$

Если личность едина, то она включает разум, фантазию и волю; и если разум одухотворен верой, и фантазия одухотворена верой, и воля одухотворена верой, то личность одухотворена верой.

В примере [3.25] видно условное, «номинальное» разделение столь же условного целого: слово «человек» имеет общее значение, но в контексте не означает ни вид *homo*, ни любого, ни конкретного

<sup>1</sup> Ильин И. А. Взгляд в даль. Книга размышлений и упований // Собр. соч. Т. 8. М.: Русская книга, 1998. С. 438–439.

человека, т. е. представляется неопределенным понятием. Такая многозначность позволяет оперировать термином в значении «любой человек» и использовать топ «часть/целое». «Разум», «фантазия» и «воля» как способности души становятся частями целого, когда объединяются единым принципом цельности — «сердцем» — и тем самым приобретают смысл в единстве, не сводимом к сумме.

Целое может быть простым и сложным. Сложное целое разлагается на части и может мыслиться в составе частей, как животный организм, человеческая индивидуальность, общество. Но осколки разбитой вазы или капли воды, пролитой из стакана, не будут в строгом смысле частями вазы или воды, хотя такие фрагменты целого иногда могут называться его частями или гомеомериями, если они сохраняют все свойства целого (как капли воды). Простое целое мыслится в составе свойств или признаков: свойства души — воля, разум, память, не будут ее частями.

**Имя и вещь.** Посредством топа имени устанавливается отношение способа обозначения к содержанию обозначаемого предмета.

Отношение имени к обозначаемому предмету может рассматриваться трояким образом — с точки зрения создателя имени; с точки зрения критика имени; с точки зрения пользующегося именем имени.

1. Создание или назначение имени основано на следующих принципах.

- Без имени вещь не существует как предмет мысли, действия с вещами возможны только при условии их именованья.
- Имя выделяет свойства и значимые признаки обозначаемой вещи и является ее смысловой моделью.
- Имя может быть назначено различным образом, и способ именованья выражает замысел об именуемой вещи. Поэтому создание или наречение имени представляет собой суждение об именуемом предмете. Имя, понимаемое в широком смысле не только как личное имя, но и как именующее слово или словосочетание, например термин, не выражает сущности именуемой вещи, а «есть некое орудие обучения и распределения сущностей»<sup>1</sup>.
- Качество имени зависит как от пронципальности, изобретательности, вкуса дающего имя, так и от частных обстоятельств. Поскольку же смысловых моделей одного и того же предмета и обстоятельств именованья бывает множество, «то ложь говорит тот, кто умствует, будто из различия имен должно заключить

<sup>1</sup> Платон. Кратил // Соч.: В 4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1968. С. 422.

и о различии сущности. Ибо не за именами следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей»<sup>1</sup>. Действительно, слово *подснежник* может обозначать любой предмет, который находится под снегом. Судить об именовании можно, только зная значение имени: слово *подснежник* обозначает ранний цветок как находящийся под снегом, а не каким-то иным образом.

## 2. Утверждение имен основано на следующих принципах.

- Имя является произвольным знаком, значение имени не обусловлено его звуковым строем, но звуковой строй имени может быть обусловлен его значением; поэтому имя должно включаться в систему существующих имен, сопоставляясь по значению и звучанию с другими словами языка и точно называя определенное содержание.
- Имя является условным знаком, поэтому по форме и значению оно должно быть уместным и приемлемым и включаться в традицию именования, т. е. быть правильным.
- Имя несет информацию об именуемом предмете и сосуществует с другими именами, поэтому оно должно быть отличным как от имен других предметов, так и от других имен данного предмета.

Первое требование означает, что не рекомендуется утверждать имена, состав которых является экзотическим для данного языка, например несклоняемые имена в языке с падежной системой, или слишком длинные имена. Второе требование означает, что не рекомендуется утверждать имена, которые могут вызвать ассоциации с запрещенными словами или со словами с уничижительным значением, также не рекомендуется утверждать имена, не связанные с традицией данного общества. Третье правило означает, что имя должно выделять именуемый объект и различаться с другими его именами: так, не следует называть двух братьев одинаковыми именами.

## 3. Использование имен основано на следующих принципах.

- Имя должно быть членораздельным, различимым и благозвучным, поскольку оно используется наряду с другими словами, с которыми оно частично сопоставимо и противопоставлено по значению и звучанию (поэтому значение имени отчасти определено его звуковым строем), и требует удобства произношения и восприятия.

<sup>1</sup> *Василий Великий. Творения. С. 66.*

- Имя должно быть истинным, поскольку оно выражает интенцию<sup>1</sup> мысли на именуемый предмет и в этом смысле тождественно самому предмету.
- Имя должно быть продуктивным; поскольку имя включено в систему языка, его использование предполагает максимальную свободу сочетаемости и возможность создания на его основе новых слов.

Топ «имя/вещь» широко используется в современной практике публичной аргументации, которая почти целиком основана на именовании и переименовании. Самая распространенная операция с топом имени, когда по значению составляющих слова определяют содержание или характер предмета, им обозначаемого, называется *фигурой этимологии*.

[3.26.] «Итак, ученейшие мужи признали нужным исходить из понятия закона и они, пожалуй, правы — при условии, что закон, как они же определяют его, есть заложенный в природе высший разум, велящий нам совершать то, что совершать следует, и запрещающий противоположное. Этот же разум, когда он укрепился в мыслях человека и усовершенствовался, и есть закон.

Поэтому принято считать, что мудрость есть закон, смысл которого в том, что он велит поступать правильно, а совершать преступления запрещает. Полагают, что отсюда и греческое понятие „номос“<sup>2</sup>, так как закон „уделяет“ каждому то, что каждому положено<sup>3</sup>, а наше название „lex“<sup>4</sup>, по моему мнению, происходит от слова „legere“ [выбирать]. Ибо, если греки вкладывают в понятие закона понятие справедливости, то мы вкладываем понятие выбора; но закону все же свойственно и то и другое. Если эти рассуждения правильны (а лично я склонен думать, что в общем это верно), то возникновение права следует выводить из понятия закона. Ибо закон есть сила природы, он — ум и сознание мудрого человека, он — мерило права и бесправия. Но так как наш язык основан на представлениях народа, то нам время от времени придется

<sup>1</sup> Интенцией (термин, сложившийся в схоластической логике) называется направленность мысли на определенный предмет, то свойство, которое выражает имя в высказывании, в отличие от общего значения имени как простого обозначения определенного предмета (экстенционала): так, выражения «Суворов» и «покоритель Измаила» экстенционально эквивалентны, поскольку обозначают одно и то же лицо, но интенционально не эквивалентны, поскольку выражают различное отношение к предмету мысли. (*Карнап Р.* Значение и необходимость. М., 1959.)

<sup>2</sup> Греческое слово «νόμος» сближается Цицероном с глаголом «νέω» — «распределять», «раздавать», «уделять», «присуждать».

<sup>3</sup> Римское понимание справедливости выражается в максиме *suum quisque* — «каждому свое».

<sup>4</sup> Латинское слово «lex» сближается Цицероном с глаголом «legere» — «выбирать».

говорить так, как говорит народ, и называть законом (как это делает чернь) те положения, которые в писаном виде определяют то, что находят нужным, — либо приказывая, либо запрещая.

Будем же при обосновании права исходить из того высшего закона, который, будучи общим для всех веков, возник раньше, чем какой бы то ни было писанный закон, вернее, раньше, чем какое-либо государство было вообще основано»<sup>1</sup>.

В примере замечательно противопоставление Цицероном создателя языка, диалектика, черни (plebs). Если мудрый создатель языка выражает в слове существо предмета мысли — права, который и должен выражаться в использовании слова, если диалектик различает значения слова и определяет его использование, то плебей понимает под законом письменные распоряжения власти, «возведенную в закон волю господствующего класса».

Цицерон аккуратно строит фигуру этимологии с топом имени, подчеркивая использование имени как *иллюстрации мысли* и выделяя в нем два нужных для последующего рассуждения значения, которые, однако, выбираются им из множества значений греческого и латинского глаголов, эти глаголы он связывает с именами, обозначающими закон.

В целом можно назвать следующие правила корректного использования топа имени.

1. При понимании имени как раскрывающего содержание именуемого предмета должны приниматься во внимание характер и замысел создателя. Внутренняя форма слова тесно связана с его употреблением: так, иноязычное происхождение составляющих большинства терминов (семафор, интенция и т. д.), с одной стороны, задает основной образ значения («носитель знака», «замысел, намерение»), а с другой — выводит термин из контекста слов русского языка, что позволяет придавать им специальные условные значения. Поэтому «этимологическое» толкование термина возможно, но ограничено его дефинитивным значением.

2. Если имя понимается в тесной связи с предметом мысли, неправильно использование в том же смысле производных слов, поскольку слово имеет так называемые коннотативные, т. е. дополнительные и связанные с другими словами, значения, а каждое производное слово потому и является словом, а не формой того же слова и имеет

<sup>1</sup> Цицерон. О законах // Диалоги. М.: Наука, 1966. С. 94–95.

иное значение. Поэтому Цицерон в цитированном примере и говорит «по моему мнению». Так, имеется слово «желать» и производные «желание», «желательный», «желанный», которые будут иметь каждое особое значение: выражения «желательный гость» и «желанное значение доверительного интервала» приобретают явно ироническую окраску.

3. Поскольку фигура этимологии часто используется при переименовании различных предметов, следует учитывать языковые и социальные последствия такого переименования. Так, эвфемистические переименования слов, обозначающих неприятные вещи или ассоциации, как правило, приводят к умножению слов с таким сниженным или неприятным значением: в последовательном ряду эвфемизмов «нужник», «уборная», «сортир», «туалет», «ватерклозет», по-видимому, не приобрело специфических коннотаций только слово «туалет», которое в повседневном употреблении заменяет другие слова этого ряда.

### *Сравнительные топы*

Сравнением называется ход мысли, состоящий в определении тождества или различий свойства или ряда свойств двух или нескольких предметов и в утверждении или отрицании на этом основании тождества других свойств.

Сравнение предполагает, что признаки, по которым сравниваются предметы, установлены по крайней мере для одного из них. Операция сравнения включает, во-первых, основание сравнения (в виде утверждаемой или предполагаемой идентичности признаков или однородности объектов), поскольку сравниваемые объекты должны обладать определенным подобием или сходством; во-вторых, оценку того, что сравнивается, поскольку одному из членов сравнения отдается предпочтение на том или ином основании.

На основе сравнения строятся аргументы следующего вида: если такие-то признаки или качества *A* тождественны таким-то признакам или качествам *B* и тождественные признаки или качества связаны с некоторой третьей группой признаков *A*, то последние также должны принадлежать и *B*. Если *A* подобно *B* в некотором отношении, то *A* можно в данном отношении рассматривать как *B*; если *A*, подобный *B* в таком-то качестве, обладает этим качеством в большей (меньшей) степени, то *A* ценнее *B* (в положительном или отрицательном смысле).

Например, кто лучше, лошадь или обезьяна? Лучше то, что подобно лучшему. Человек лучше осла. Лошадь подобна ослу, а обезьяна подобна человеку, следовательно, обезьяна лучше лошади. Но лучше то, что подобно лучшим качествам худшего, а не худшим качествам лучшего. Лошадь подобна лучшим качествам осла (постоянство, выносливость, трудолюбие), а обезьяна подобна худшим качествам человека (непостоянство, капризность, лень). Поэтому лошадь лучше обезьяны<sup>1</sup>.

Сравнения и сопоставления основаны на полном или частичном отождествлении, поэтому топ тождества является основанием всех операций сравнения. Когда сравниваются объекты, то обнаруживаются их общие черты, которые абстрагируются (отвлекаются) от самих этих объектов и представляются в виде смысловых конструкций, применимых к конкретному материалу.

**Тождество.** Тождеством в формально-логическом смысле называется равенство предмета самому себе:  $A = A$ . Под тождеством понимается также идентичность двух или нескольких предметов, имеющих общие признаки, качества или свойства, на основе которых эти предметы рассматриваются как взаимозаменяемые или находящиеся в отношении обозначения.

Закон или принцип тождества является обязательной основой логики, поскольку предполагает постоянство и самотождественность переменных при формальных операциях. Однако в силу того что риторическая аргументация имеет дело со словами естественного языка, помещенными в различные смысловые контексты, требование тождества ослабляется и практически не выполняется для слов — терминов риторических аргументов. В практике риторической аргументации утверждение тождества связано с отвлечением от тех или иных компонентов значения слова или словосочетания, но эта абстракция, даже в конвенциональной философской или юридической аргументации устанавливается приблизительно, вплоть до отрицания самотождественности предмета мысли.

[3.27.] «Для вас, господа присяжные заседатели, как для судей совести, дело Наумова очень мудреное, потому что подсудимый не имеет в своей натуре ни злобы, ни страсти, ни корысти — словом, ни одного из тех качеств, которые необходимы в каждом убийстве».

<sup>1</sup> Аристотель. Топика // Соч. Т. 2. М., 1978. С. 399.

$$(A \rightarrow A) \wedge (A \rightarrow H) \vee (A \rightarrow K) \vee (A \rightarrow L) \wedge (\sim A \wedge \sim H \wedge \sim L) \Rightarrow \\ \Rightarrow A \neq A.$$

Если из  $A$  следует  $A$  и если из  $A$  следует  $H$ , и из  $A$  следует  $K$ , и из  $A$  следует  $L$  и  $A$ ,  $L$ ,  $H$  не имеют места, то, следовательно (по правилу контрапозиции),  $A$  не тождественно  $A$ , что противоречит посылке, т. е. закону тождества.

Защитник утверждает, что убийство есть убийство и одновременно отрицает самоидентичность убийства. Это становится возможным, поскольку возможна апелляция посылок риторического аргумента к различным топическим инстанциям, в данном случае к праву и морали: при апелляции к топам права деяние признается убийством, а при апелляции к топам морали (к «суду совести») данное убийство в юридическом смысле не является убийством в смысле моральном. Это парадоксальное отношение часто выражается фигурой разделения с возвращением: *всякое убийство – преступление, но бывают убийства и убийства: одни убийства такие-то, а другие – такие-то...* В риторической аргументации обнаруживается *градация тождества* от полной идентичности до антонимии, которая выражается и обосновывается посредством ряда технических приемов.

**Сведение и разведение данных.** В риторическом дискурсе происходит постоянное обращение слов и значений. Слова объединяются в группы различного рода по общности тех или иных компонентов значения, которые представляются существенными для поставленных целей, или, наоборот, обособляются, или противопоставляются там, где стоит задача – противопоставить соответствующие предметы мысли. При этом широко применяется топическая категория тождества, посредством которой и производится сведение в один смысловой комплекс или разведение слов-концептов. В этом плане слова-концепты, как «свобода», «жизнь», «сострадание», «справедливость», «тирания», «демократия», «национализм», «патриотизм» и т. п., уподобляются упаковочной таре, в которую вкладываются самые различные предметы – смыслы или лексические понятия.

Операции со словами, связанные с утверждением или отрицанием тождества предметов, обозначаемых ими, предстают

- 1) как сведение или разведение самих по себе понятий и категорий;
- 2) как идентификация предметов мысли, обозначаемых словами, по данным – признакам, свойствам, обстоятельствам и т. д.

Действительно, одно дело – обсуждение понятия закона, а другое дело – обоснование идентичности почерка в отношении определенного лица, но и в том и в другом случае на деле приходится устанавливать значения слов «закон» и «почерк», поскольку денотат – предмет, обозначаемый словом, и десигнат, т. е. означаемое, лексическое значение, тесно связаны. От того, как мы понимаем слово «почерк», будет зависеть то, какие особенности почерка – наклон, вес, дукт, связность и т. п. – мы будем принимать в качестве критерия отождествления лиц, написавших конкретные документы. Для сведения и разведения значений слов используются различные техники.

**Определение** как логическая операция устанавливает тождество определяемого и определяющего, поскольку тождество предполагает обратимость: если, допустим, «медицина есть искусство, имеющее своим предметом человеческие тела, а целью – здоровье» (св. Иоанн Дамаскин), то «искусство, имеющее своим предметом человеческие тела, а целью – здоровье», есть медицина и только медицина.

Но уже в определении как форме риторического аргумента можно видеть особенности, ослабляющие самотождественность термина «аргументация».

[3.28.] «Пусть же рассмотрит человек всю природу в ее высоком и полном величии; пусть перенесет свой взор с низших окружающих его предметов к тому блестящему светилу, которое подобно вечной лампаде, освещает Вселенную. Земля покажется ему тогда точкой в сравнении с необъятным кругом, описываемым этим светилом, пусть он подивится тому, что этот необъятный круг, в свою очередь, не больше как очень маленькая точка в сравнении с путем, который описывают в небесном пространстве звезды. Но когда взор его остановится на этой грани, пусть воображение уходит дальше: скорее утомится оно, чем истощится природа в снабжении его все новой пищей. Весь этот видимый мир есть лишь незаметная черта в обширном лоне природы. Никакая мысль не обнимет ее. Сколько бы мы ни тщеславились нашим проникновением за пределы мыслимых пространств, мы воспроизведем лишь атомы в сравнении с действительным бытием. Это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Наконец, самое осязательное свидетельство всемогущества Божия это то, что наше воображение теряется в этой мысли»<sup>1</sup>.

Обращает на себя внимание примечание издателя (Э. Авэ):

<sup>1</sup> Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book. 1994. С. 63–64.

«Паскаль приспособливается к прежнему воззрению, по которому солнце и звезды обращаются вокруг земли»<sup>1</sup>,

свидетельствующее о мировоззренческой традиции *логического универсализма* в толковании классиков XVII в. Научные взгляды Паскаля на строение Вселенной здесь не имеют значения. Паскаль изображает позицию, перспективу и сменяющиеся планы видения человеком картины Вселенной. Недаром он говорит о воображении. Этот взгляд создает зрительный мифологический образ бесконечной сферы и рождающуюся из него мысль, которая и формулируется в определении. Само определение служит посылкой *аргумента к аудитории* и выражает самоочевидность бесконечности и сферичности вселенной с позиции наблюдателя, для которого солнце всходит и заходит и звезды движутся по небесному своду. Словесный ряд определения создает образ бесконечности, в котором теряется «наше воображение». Поэтому определяемое – Вселенная – тождественно определяющему лишь условно, на уровне образа в душе наблюдателя.

Словесный ряд в риторических определениях часто принимает оценочные значения, и сами определения, сохраняя схему, преобразуются в синтаксическом отношении.

[3.29.] «Бесформенная, лишенная иной цели и смысла, кроме неограниченного расширения, лихорадочная деятельность уже несколько веков, как захватила человечество. Она получила название „прогресса“ и на некоторое время стала чем-то вроде суррогата религии»<sup>2</sup>.

В примере [3.29] определяется значение, которое акад. И. Р. Шафаревич придает слову «прогресс». Это так называемое номинальное определение. Оно содержит слова с оценочным значением, поскольку оценка является основной целью определения как риторической фигуры. Но при этом схема сохраняется полностью: общее в определяющем – «лихорадочная деятельность», видовое отличие – «бесформенная, лишенная иной цели и смысла, кроме неограниченного расширения», а порядок следования элементов определения меняется: определяющая часть вынесена в начало, а определяемая завершает конструкцию. Здесь имеет место переодевание аргумента. В отличие от предшествующего примера в примере [3.29] представлена точка зрения не всякого наблюдателя, а именно акад. И. Р. Шафаревича, оценивающего прогресс с личной позиции. Очевидно,

<sup>1</sup> Паскаль Б. Мысли. С. 63.

<sup>2</sup> Шафаревич. И. Р. О некоторых тенденциях развития математики // Шафаревич И. Р. Соч. Т. 2. М.: Феникс, 1994. С. 462.

что автор не конструирует понятие прогресса, а характеризует его, для чего и использует номинальное определение как форму посылки.

Итак, в реальной практике определений в риторической прозе тождество может быть частичным и условным, а сами по себе определения как способ установления тождества имеют значение в конкретном контексте, за пределами которого те же понятия могут получить иные толкования.

**Тавтология и антонимия** представляют собой приемы отождествления и разведения данных. Инструментами, которые используются для сведения и разведения значений, являются риторические фигуры, позволяющие противопоставлять различные значения одного слова и объединять значения разных слов.

Так, тавтология с разведением понятий выступает в виде *фигуры различения*.

[3.30.] «Теперь на Украине каждая банда избирает себе кличку, одна свободнее другой, одна демократичнее другой, и в каждом уезде — по банде»<sup>1</sup>.

Тавтологическое отождествление («банда есть банда») выделяет те признаки значения слова, которые представляются несущественными, и устанавливает самоидентичность предмета мысли на основе лексического понятия. Тавтологией высказывание организуется как посылка с устойчивым значением терминов.

Но существует и тавтологическое разведение понятий, которое строится сходным образом, но при этом выносятся за скобки общее значение термина — антанаклаза.

[3.31.] «Духовное значение имеет всякая война, ибо всякая война есть потрясение, испытание и суд для всей жизни народа, который в ней участвует, а следовательно, и для ее духовных сил. Однако если всякая война есть потрясение, испытание и суд для жизни народа, то не всякая война есть правая для того народа, который в ней участвует. Воюя, народ может быть прав и не прав; и война его будет иметь духовное оправдание лишь в том случае, если он прав, воюя»<sup>2</sup>.

Получается конструкция следующего вида. Для  $A$  существенны значимые свойства.  $A$  есть  $A$ , поскольку любое  $A$  имеет свойство  $z$ . Но есть  $A_1$ , имеющие свойство  $z$ ,  $x$ , и  $A_2$ , имеющие свойства  $z$ ,  $y$ .

<sup>1</sup> Ленин В. И. Об обмане народа лозунгами свободы и демократии // Полн. собр. соч. Т. 38. С. 356.

<sup>2</sup> Ильин И. А. Духовный смысл войны // Собр. соч. Т. 9. М.: Русская книга, 1999. С. 19–20.

Свойство  $x$  — положительное или значимое, свойство  $y$  — отрицательное или незначимое, поэтому истинное  $A = A_1$ , но не  $A_2$ . Этим приемом отождествления термина высказывание также преобразуется в форму, удобную для использования в качестве посылки.

При этом значение противопоставленных категорий («справедливая война» и «несправедливая война» в примере [3.31]) может устанавливаться, т. е. самоотождествляться через антонимию («жизнь — смерть»).

Для сведения противопоставляемых значений используется оксюморон, в основе которого («живой труп», «горячий снег») лежит антонимия определяемого и определяющего элементов конструкции.

[3.32.] «Вот в чем состоит духовный суд, перед которым война ставит человеческую душу. Стоит ли жить тем, чем мы живем; стоит ли служить тому, чему мы служим? Война, как ничто другое, ставит этот вопрос с потрясающей силой и вкладывает в него глубокий ответ: „жить сто́ит только тем, за что сто́ит и умереть“. Ибо смысл войны в том, что она зовет каждого восстать и защищать до смерти то, чем он жил доселе, что он любил и чему служил. Что бы ты доселе ни делал, чем бы ни занимался, чему бы ни служил — словом, чем бы ты ни жил, *умей умереть за то, чем ты жил*. Этим война ставит перед человеком начало *ответственности*: каждый отвечает за то, чем он жил и как он жил»<sup>1</sup>.

Получается конструкция, которая создает видимость логического парадокса, но на самом деле таковым не является:  $A \rightarrow C \wedge B \rightarrow C$  (если стоит умереть, то во имя некоторой идеи, и если стоит жить, то во имя некоторой идеи). Следовательно,  $A \vee B \rightarrow C$  (если стоит жить или умереть, то во имя некоторой идеи); следовательно,  $\sim C \rightarrow \sim A \wedge \sim B$  (если нет некоторой идеи, но не стоит ни умирать, ни жить). Но если представить отношение следования в обратном порядке:  $C \rightarrow A \wedge B$ , то при  $A \rightarrow \sim B$  (если умереть, то не жить), получается парадокс, приводящий к логически недопустимому утверждению  $A \equiv \sim A$  ( $A$  тождественно своему отрицанию). Но на самом деле парадокса нет, поскольку значения *жить* и *умереть* определены на разных временных интервалах и без *жить* неопределимо *умереть*. Это совмещение противоположных направлений логического следования достигается построением фразы «*жить сто́ит только тем, за что сто́ит и умереть*», которое и создает видимость паралогизма.

<sup>1</sup> Ильин И. А. Духовный смысл войны. С. 14.

Разводящая и сводящая аргументация с использованием топа тождества существенно различаются в зависимости от того, обсуждается тождественность понятия или факта. При обсуждении тождественности понятий или значений терминов как таковых обычно используются аргументы, посылки которых апеллируют к строению схемы аргумента, к его логической форме, поскольку сами определения представляются конвенциональными. При обсуждении тождественности лиц и фактов, т. е. при идентификации, аргументы обычно апеллируют к категориям здравого смысла, т. е. к обстоятельствутопам. Сравнения основываются на трех правилах — правиле справедливости, правиле рефлексивности (обратимости) и правиле транзитивности.

**Правило справедливости.** Это и последующие два правила используются для сравнения и оценки действий в зависимости от отношений и состояния лиц, действия совершающих, или лиц по совершаемым ими действиям.

Правило справедливости означает, что равнозначные (подобные и равные) категории должны оцениваться одинаково, неравнозначные категории (подобные, но не равные) должны оцениваться в меру их количественного различия, несравнимые категории должны рассматриваться исходя из различных норм. Правило справедливости логически выражается законом дистрибутивности:

$$A \wedge (B \vee C) \rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C).$$

Краткая юридическая формулировка правила справедливости *sum cuique tribuere* — «отдавать каждому свое»: «Правосудие есть неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право — „*ius est voluntas suum cuique tribuens*”»<sup>1</sup>.

[3.33.] «Где причина неравенства человеческих состояний? Во-первых, в неравенстве и разнообразии способностей, получаемых людьми от природы. Один рождается с отличными умственными способностями, другой с средними, а третий с слабыми. Один, получив богатые способности души, не имеет крепких сил телесных, другой обладает преимущественно последними. Таким образом, степень и родом способностей каждого человека определяется его призвание к общественной деятельности и намечается свойственный ему род занятий и труда, так что человек, взявшийся за дело не по способностям, оказывается не на своем месте. Человек отличного ума является руководителем других, люди среднего уровня дарований — его сотрудниками и помощниками, остальные же — только практическими исполнителями чужой

<sup>1</sup> Дигесты Юстиниана. С. 25.

воли; поставьте все наоборот, — извратится совершенно порядок общественной жизни.

Правда, что в распределении должностей и преимуществ бывают злоупотребления, что иногда люди даровитые к занятию высших должностей встречают препятствия и затруднения; но отсюда происходит только обязанность мудрого правительства эти злоупотребления преследовать и препятствия устранять, а общие законы распределения должностей по способностям остаются неизменными. Массы людей, не признающие себя по самомнению на все способными, при нравственной честности и скромности всегда в этом отношении справедливы: они всегда выдвигают вперед и окружают почестями и удобствами жизни людей, которые руководят ими, заботятся о них, благоустраивают их жизнь. Как ни объясняйте эту неравномерность в распределении дарований, наследственным ли повреждением людей и размножением между ними пороков, как учит Божественное Откровение, или какими другими причинами, — самое положение дела остается неизменным. Как сказал Господь Иисус Христос за две тысячи лет, что мы по своей воле, вопреки природе не можем у себя сделать ни одного волоса белым или черным и прибавить себе росту на один локоть (Матф. 5, 16. 6, 27), так и остается доселе. Каким же образом уравнивать общественные права и преимущества людей, когда нельзя уравнивать способностей, а за ними успехов и заслуг?»<sup>1</sup>.

В тексте, из которого заимствован пример, различается абсолютная справедливость Бога, сотворившего всех людей равными в отношении спасения, и относительная справедливость человека, которая исходит из возможностей оптимальной организации общества при реальном неравенстве людей — следствии первородного греха. Но принцип остается постоянным: равнозначные предметы рассматриваются одинаковым образом, неравнозначные — в соответствии со степенью различий их значимости. Для принципа справедливости характерны количественное соотношение и мера. Это означает, что в качественном отношении они представляются однородными и поэтому сравнимыми количественно, а также что распределение по значимости требует меры. Мера и количественное различие, создающие неравенство, и являются предметом обсуждения.

**Правило обратимости.** Если два лица относятся к качественно однородным категориям, то оценка действия каждого из них в отношении другого предполагает такую же оценку аналогичного

---

<sup>1</sup> *Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский.* Слово в день рождения благочестивейшей императрицы Марии Федоровны о неравенстве состояний // Полн. собр. проповедей. Т. 2. Харьков, 1902. С. 179–180.

ответного действия:

$$a R b \rightarrow a R a \wedge b R b.$$

[3.34.] «Наш закон знает „необходимую оборону“, он позволяет с оружием в руках защищать свою жизнь, здоровье, свободу. Правда, в законе нет, к сожалению, специального указания на право защиты таким же путем своей чести. Но вы, вероятно, согласитесь со мной, что удар, сбивающий вас с ног, удар, за которым вы не знаете, последует ли тотчас же другой, еще более сильный, и притом со стороны человека, заведомо для вас обладающего феноменальной физической силой и вдобавок носящего всегда в кармане револьвер, — такой удар, нанесенный вам притом изменнически, когда вы еще не разглядели противника, заключает в себе элементы не простого оскорбления и насилия, а явной, реальной угрозы не только вашей чести, но и вашей телесной неприкосновенности, вашему здоровью, если не самой жизни. На такой удар, как на нападение дикого зверя, законный ответ — пуля, если, по счастью, имеется при себе револьвер».

Основа применения правила обратимости, содержащегося в законе о необходимой обороне, — обоснование необходимости ответного действия, которое строится путем:

- 1) утверждения угрозы жизни;
- 2) идентификации противной стороны с «диким зверем».

Правомерность самого выстрела как «законного ответа» обосновывается угрозой повторного нападения, опасного для жизни.

**Правило транзитивности.** Если два деятеля подобны в каком-либо отношении, то действие одного из них, будучи направлено на другого, оценивается таким же образом, как аналогичное действие любого из них, направленное на третье лицо. Если хорошо, что  $A$  благотворит  $B$ , то хорошо, если  $B$  благотворит  $C$ , и хорошо, если  $A$  благотворит  $C$ :

$$((a R b) \wedge (b R c)) \rightarrow (a R c).$$

На основе топа транзитивности строятся модели и антимодели. Модель есть образец правильного решения или действия в определенной ситуации. Антимодель есть образец неправильного действия, который, однако, содержит указание на характер противоположного, т. е. правильного, действия.

[3.35.] «Кто отыскивает только монашествующих, хочет оказать добро только им одним, и между ними еще делает различие и говорит: „Если он недостоин, если он не праведен, если он не творит знамений, я не подам ему руку помощи“, — тот отнимает самую главную часть у милостыни, и все остальное со временем также уничтожит; напротив

того, истинная милостыня тогда и бывает, когда она оказывается грешникам или виновным; милосердие в том и состоит, что милует не тех, которые исправны, а тех, которые согрешили. А чтобы ты убедился в этом, послушай, что говорит Христос в притче: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один левит шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо; так поступил и некоторый священник и прошел мимо; но после них шел один самарянин и оказал великое сострадание к несчастному: он обвязал раны его, возлил на него масло, посадил его на осла, привез в гостиницу и сказал ее содержателю: ‘Попекись о нем и, — заметь великую любовь, — если что более издержишь, я отдам тебе’. Затем Христос спросил: ‘Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?’ И когда законник отвечал: ‘Оказавший ему милость’, тогда Он сказал: ‘Иди, и ты поступай так же’” (Лк. 10, 30–37). Заметь эту сказанную Господом притчу: не сказал Он, что иудей самарянину, но самарянин оказал такое милосердие. Отсюда мы научаемся, что должно заботиться о всех равно, не присным только себе делать добро, а о других не думать. Так и ты: когда увидишь кого-нибудь страждущим, не исследуй о нем ничего — он имеет право на помощь уже потому, что страдает»<sup>1</sup>.

Схема аргумента — приведенная выше аксиома транзитивности.

Модель, как в [3.35], представляет собой конкретное повествование о некоем событии, реальность которого, как правило, не имеет значения. Это событие может толковаться различным образом, поскольку на место действующих лиц в принципе подставляются любые переменные, но, главное, притча предполагает транзитивность, поскольку в отношении ее содержания возможные переменные, т. е. роли (разбойников, путника, самарянина, левита, священника, хозяина гостиницы и т. д.) предстают как идентичные в определенном отношении. Так, в толковании притчи о милосердном самарянине в качестве самарянина обычно выступает Иисус Христос, а в качестве путника — любой, в том числе и те, к кому обращена притча. В таком случае наряду с другими обстоятельствами, подчеркивается и транзитивность сюжета.

В примере [3.35] имеется и антимодель — изображение противоположного поведения в тождественной ситуации, которое тем самым возбраняется. При этом как модель, так и антимодель имеют общие элементы, в данном случае в виде оппонента и левита со

<sup>1</sup> *Иоанн Златоуст. О помощи находящимся в несчастии // Избранные поучения. М.: Изд-во Православного братства св. апостола Иоанна Богослова. 2002. С. 304–305.*

священником, которые также могут отождествляться как образцы такого неправильного поведения.

Модели представляют собой особый разряд топов: в примере модель является посылкой аргумента. Число таких моделей в духовной культуре велико, но ограничено. Например, пословицы и мифы являются моделями в той мере, в какой они описывают некие конкретные ситуации: *не в свои сани не садись; снявши голову, по волосам не плачут* и т. п. Имена — элементы моделей, как *милосердный самарянин*, выступают соответственно как символы и часто становятся топонимами или прагманимами<sup>1</sup>, как например парижская больница Samaritain. В таких случаях прагманимы выступают в качестве элементов сложных комплексных семиотических систем, в которых название становится посылкой аргумента, а выводом — образ деятельности организации или учреждения. Система таких топонимов и прагманимов образует комплексную модель образа деятельности общества.

**Сравнение: большее — меньшее.** Количественное сравнение (сравнение в собственном смысле) основано на однородности сравниваемых объектов, тождестве их природы и идентичности основных свойств. Поэтому сравнение предполагает использование признаков или качеств, которые наличествуют в предметах сравнения, но могут иметь различную степень интенсивности и поэтому могут рассматриваться как величины. Количество предполагает меру как норму сравнения.

Степень проявления сравниваемого качества в предметах может оцениваться положительно или отрицательно, тогда в первом случае лучшим будет большее, а во втором — меньшее. «Кто недостоин низшего звания, тот еще более недостоин высшего звания»<sup>2</sup>.

[3.36.] «Каждое явление живой действительности, носящее на себе хотя бы только внешние признаки нарушения писанного закона, становится достоянием юристов, подобно тому как мертвое тело, найденное при сомнительных условиях, — достоянием полицейских врачей и хирургов. Нет нужды доказывать, что смерть явно последовала от удара камнем в голову, хирург вскроет и грудную полость, распотрошит все внутренности, чтобы убедиться, что легкие и сердце, и печень на своем месте. Его нож, пила и скальпель не угомонятся до тех пор, пока не кончится вся эта круговая печальная, нередко совершенно бесцельная работа. Мы, юристы, от хирургов отличаемся разве только тем, что

<sup>1</sup> Прагманим — собственное имя, которое дается вещам.

<sup>2</sup> Дигесты Юстиниана. М.: Наука, 1984. С. 42.

оперируем не над трупом, а над живым организмом, в котором бьется и трепещет еще живое сердце».

Пример [3.36.], в отличие от последующего примера [3.37.], содержит сравнение, поскольку смысл вывода энтимемы — ответственность юриста, имеющего дело с судьбой живого человека, выше ответственности прозектора, имеющего дело с трупом.

**Подобие.** Подобие есть сходство объектов, обладающих одинаковыми свойствами, качествами, признаками или образом действия. На топе подобия основаны сопоставления. При сопоставлении учитываются не количественные характеристики, но только наличие или отсутствие тех или иных особенностей — качеств или свойств, поэтому сопоставляться могут не только однородные, но и разнородные объекты.

[3.37.] «Но, быть может, вы остановитесь на такой мысли: „Если бы Наумов, не помня себя, и начал убийство, то — будь он человек добрый, — он при первой струе крови изо рта Чарнецкой остановился и опамятовался. Он пришел бы в отчаяние и не довершил своего деяния с помощью полотенца. Здесь уже виден человек сознательно злобный”.

Нет, господа присяжные заседатели, это неверно. Вы были бы правы, если бы судили человека вспыльчивого. Но Наумов не такой. Он очень добр, он, по выражению Авдотьи Сивой, „тише ребенка”. Его терпимость к Чарнецкой была тугая, завинченная очень крепко. Ибо эта терпимость вдруг, в одну секунду, исчезла, перевернув в его сердце все, чем он до этой секунды жил. В таких случаях возбуждение не может пройти скоро — слишком большая глубина затронута в человеке. Все равно как в будильнике: ведь там в известную секунду ничтожный крючок соскакивает с пружины... не успеешь глазом моргнуть, так это скоро делается... А послушайте затем, как долго и упорно гремит будильник! И чем туже была закручена пружина, тем дольше продолжается звон. Так и здесь: слишком глубоко сидели в Наумове доброта и смирение. Соскочив с такого стародавнего пути, не скоро сумеешь вернуться на свое место...»

Схема основана на правиле транзитивности:

$$((A R B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow A R C.$$

Вывод примера [3.37] содержит качественное отношение: образ действия психики человека тождествен действию будильника. В отличие от сравнения сопоставление не транзитивно. Действительно, если  $A$  больше  $B$ , а  $B$  больше  $C$ , то  $A$  больше  $C$ . Но если самолет подобен орлу (так как оба летают), а пушка подобна самолету (так как они являются тепловыми машинами), то из этого не следует, что пушка подобна орлу. Вывод аргумента, построенного на сравнении,

качественной аналогии, дает качественную характеристику предмета, а построение сопоставительного ряда строго следует содержанию основания сопоставления.

**Противное.** Противопоставлением называется сравнение или сопоставление объектов по свойствам, признакам или качествам, которые выступают как взаимно отрицающие или несовместимые, или самих таких взаимоотрицающих особенностей.

Члены противопоставления могут обладать каждый своими особенностями: Иван – брюнет, а Петр – блондин, качества природные и привходящие. У одного из них может наличествовать особенность, отсутствующая у другого: кротость или свирепость, разум или отсутствие разума. Противопоставляемое качество может быть основано на несовместимости сущностных особенностей или степени качества или признака, которые могут присутствовать в различной степени, поэтому противопоставление может быть количественным и качественным.

[3.38.] «Общество состоит из лиц, а потому лицо естественно составляет первый предмет исследования.

В физическом организме мы можем изучать строение и функции целого независимо от тех клеточек, из которых оно слагается; но в обществе устройство и деятельность целого определяется разумом и волей тех единиц, которые входят в его состав.

Последние не связаны друг с другом какой-либо физической связью; каждое лицо живет отдельно, своей самостоятельной жизнью, как единичный центр, находящийся в постоянно изменяющемся взаимодействии со всеми другими. Они не связаны общим животным инстинктом, как общества пчел или муравьев, в которых отдельные особи не имеют значения и все движется совокупными инстинктивными стремлениями, вложенными в них природой и не подлежащими изменению. В человеческих обществах главными определяющими факторами жизни являются не слепые инстинкты, а разум и воля, которые по существу своему принадлежат не безличному целому, а отдельным особям. Не общество, а лица думают, чувствуют и хотят; поэтому от них все исходит и к ним все возвращается.

Если в физическом организме изучение строения клеточек составляет необходимую научную основу биологических изысканий, если в обществах животных мы должны изучить функции и строение отдельных единиц прежде, нежели заняться наблюдением совокупной их жизни, то в отношении к человеческим обществам это вдвойне необходимо. Здесь лицо составляет краеугольный камень всего общественного здания; не зная природы и свойств человеческой личности, мы ничего

не пойдем в общественных отношениях. Она поэтому должна составлять первый предмет исследования»<sup>1</sup>.

Схема та же, что и в предшествующем примере.

В примере [3.38] содержится противопоставление личности человека биологической единице — клетке или особи — и сравнение оснований изучения биологической единицы и личности человека. Противопоставление имеет качественный, а сравнение — количественный характер.

---

<sup>1</sup> Чичерин Б. Н. Философия права // Чичерин Б. Н. Избранные труды. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. С. 30

<b>Глава 4. Классы риторических аргументов</b> . . . .	311
<b>Инстанции и апелляции</b> . . . . .	311
<b>Аргументы к реальности</b> . . . . .	314
Аргументы к факту . . . . .	314
<i>Синхронические аргументы к факту</i> . . . . .	316
<i>Диахронические аргументы к факту</i> . . . . .	318
Аргументы к логике . . . . .	321
<i>Аргументы к логической необходимости</i> . . . . .	322
<i>Аргументы к логической возможности</i> . . . . .	326
<b>Аргументы к авторитету</b> . . . . .	329
Аргументы к безличному авторитету . . . . .	331
Аргументы к личному авторитету . . . . .	333
<b>Аргументы к аудитории</b> . . . . .	338
Аргумент к человеку . . . . .	338
Аргументы к цели . . . . .	339
Прагматические аргументы . . . . .	340
Аргументы долженствования . . . . .	343
Аргументы необходимости . . . . .	344

# Глава 4

## КЛАССЫ РИТОРИЧЕСКИХ АРГУМЕНТОВ

---

---

### Инстанции и апелляции

Обсуждение определенной темы назовем *дискурсом*. *Диалогический дискурс* — последовательный обмен высказываниями-репликами, представляющими собой обращения и ответы, направленные к определенному адресату или группе адресатов. Последовательность монологических высказываний одного или нескольких отправителей, объединенных темой и обращенных к группе лиц, которые не участвуют в обмене высказываниями-репликами, но лишь получают адресованные им сообщения и принимают решение, — *монологический дискурс*. Дискурс может быть сложным, содержать монологические и диалогические составляющие.

Различение понятий диалогического и монологического дискурса значимо в практическом и теоретическом отношении. Высказывание в монологическом дискурсе должно быть композиционно завершенным, поскольку оно ограничено временными рамками и аргументативной конвенцией и ориентируется не на убеждение оппонента, а на убеждение аудитории. Монологический дискурс связан с соревновательностью риториков. При этом монологическая форма устной или письменной речи допускает более сложную и развернутую аргументацию, чем диалог. Если монологический дискурс обращен к более широкой и, главное, нечетко определенной аудитории, состав которой может изменяться, то дискурс диалогический по определению предполагает ограниченную аудиторию, пределы которой заданы участием в диалоге. Строение аргументации в монологическом и диалогическом дискурсе различается

соответственно большей общностью топики в монологе и большей четкостью и простотой схем и редукций аргументов в диалоге.

Монологическая речь усложняется использованием фигур *диалогизма*, которые можно рассматривать даже в качестве основы ее стилистического строения, причем эта особенность проявляется тем сильнее, чем слабее непосредственная связь автора с аудиторией — в развитых формах ораторской прозы, в публицистике. В богословской и философской прозе приемы диалогизма становятся настоящим художественным творчеством, сближающим стиль философской, богословской, публицистической словесности в лучших ее проявлениях со стилем художественной литературы вымысла, как в творчестве великих Отцов Церкви, Б. Паскаля, Ф. Ницше, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского.

Поскольку монологические и диалогические формы речи тесно связаны, в диалогическом дискурсе участвуют, а в монологическом изображаются:

- 1) ритор — отправитель высказывания;
- 2) аудитория — получатель высказывания, принимающий решение о согласии с пропозицией и о присоединении к аргументации;
- 3) оппонент, выдвигающий (или потенциально способный выдвинуть) альтернативные пропозиции.

Но эти непосредственные участники дискурса объединяются:

- 1) темой или предметом обсуждения;
- 2) инстанцией, к которой участники обсуждения обращаются как к источнику топики, поскольку предмет и инстанция (или инстанции) объединяют всех участников дискурса и обеспечивают саму возможность дискуссии.

Апелляция — обращение к определенной инстанции, предметно-смысловой области топики, которую аудитория рассматривает как отдельный и значимый источник внешнего или внутреннего опыта. Действительно, довод обычно бывает доводом «к чему-то»: *ad rem*, *ad iudicium*, *ad hominem*, *ad verecundiam* (к предмету, к справедливости, к человеку, к самому себе) и т. д.

При этом инстанция (в персональном или безличном образе) предстает в качестве арбитра спора. Когда ритор стремится обосновать свою мысль убедительным для аудитории образом, он обращается к тому или иному источнику посылки, которая представляется приемлемой, и предполагает, что такое обращение приведет

к согласию аудитории с предложением. Это значит, что для аудитории существенна апелляция к некоей смысловой области, которая и предстает как источник ценностного суждения. В сущности, посылки любого риторического аргумента являются ценностными суждениями. Апелляция может быть либо к принудительной силе реальности, которую «всеобщий здравый смысл» признает в качестве объективного критерия истинности, необходимости или возможности, и в таком случае инстанцией будет этот «всеобщий здравый смысл»; либо к внешнему авторитету, будь то обычай, установленное правило, компетентное мнение или опыт; либо к аудитории, мировоззрение, самосознание, интуиция которой рассматриваются как ценность и критерий приемлемости посылки. Обращение же к собственному опыту или нравственному сознанию есть разновидность обращения к авторитету. Конкретный образ ратора строится в отношении к инстанции аргументации и зависит от ее характера: образ объективного исследователя реальности будет принципиально иным, чем образы верующего или друга народа.

Апелляции к реальности обычно рассматриваются как универсально значимые. Апелляции к авторитету, если даже и предстают в виде категорического императива, в принципе рассматриваются как ограниченные местом, временем, общественными условиями — степенью признания этого авторитета аудиторией, к которой обращено высказывание, — все определяется характером инстанции, которая может быть выше всякой реальности.

Поскольку положения аргументов к реальности рассматриваются с точки зрения истинности или ложности, положения аргументов к авторитету — с точки зрения правильности, положения аргументов к аудитории — с точки зрения прагматической приемлемости, в определении типа аргумента главенствующую роль играет словесный ряд. Значения терминов положения сводятся к значению терминов посылок, которые и должны пониматься соответственно как истинные, авторитетные, приемлемые. Схема аргумента зависит от характера инстанции лишь в случае, если инстанция сама по себе представляется критерием его убедительности. Но в основном аргументы к реальности, к авторитету и к аудитории могут содержать любые логические и квазилогические схемы. Значимы слова.

Схематически соотношение типов аргументов можно представить следующим образом.

Классы аргументов	Обращение к внешней инстанции	Обращение к частной аудитории	Здравый смысл аудитории как критерий оценки посылки
Аргументы к реальности	+	–	+
Аргументы к авторитету	+	+	–
Аргументы к аудитории	–	+	+

## Аргументы к реальности

Аргументами к реальности являются аргументы, посылки которых содержат апелляцию к принудительной силе обстоятельств, побуждающей принять решение об истинности и правильности положения.

В состав аргументов к реальности входят две группы аргументов – (1) к факту и (2) к логике. Аргументы к факту основываются на топах о реальности отдельного события или об отношении отдельного факта к классу (роду): они могут относиться к статусам установления и определения и быть частными или общими. Аргументы к логике основываются на топе необходимой истинности правильного логического вывода, исходящего из истинных посылок: сама по себе логическая форма рассматривается как отражающая реальные отношения вещей: «Факты в логическом пространстве суть мир»<sup>1</sup>.

## Аргументы к факту

Аргументы к факту содержат обоснование положения, исходящее из утверждения о наличии или возможности конкретных фактов.

Факт в риторике понимается не как физическое событие, а как поступок разумного существа, обладающего свободной волей и поэтому в большей или меньшей мере способного принять иное решение. Факт (в риторическом понимании, отличном от понимания Л. Витгенштейна) может быть истинным или ложным, возможным или

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. С. 31.

невозможным полностью или частично: если мы утверждаем, что Петр Великий основал С.-Петербург, столицу Российской империи, при устье Невы в 1703 г., то все или некоторые компоненты этого факта могут быть ложными, например что Петр Великий основал Петербург, но не в 1703, а в 1998 г.

Но факт в риторическом понимании не сводится к частным обстоятельствам дела: чтобы стать именно фактом, он требует для себя обоснования и осмысления. Поэтому факт должен быть определен. Определение факта основано на соответствующем статусе и соответствующих топах, и одному и тому же событию могут быть даны не только различные, но и несовместимые определения. Оставаясь единичным как событие, факт получает место и значимость как *casus* – случай определенного вида. Если мы имеем дело с аргументацией к реальности, то и сам факт рассматривается в пределах отношений реальности, а реальность должна быть определенным образом организована. Дело в том, что риторика должна найти общеприемлемые основания аргументации, и конечный источник норм должен совпадать с конечным источником организации реальности – мироустройства. Этот разряд топов: субстанция – акциденция, род – вид, часть – целое, имя – вещь, сущность – признак, как бы его ни формулировать, представляется совершенно необходимым с практической точки зрения, так как соответствует представлениям здравого смысла об отношениях вещей: здравый смысл принужден верить в объективность и упорядоченность реальности.

Факт может быть представлен как отдельное деяние и как последовательность или класс деяний, так или иначе между собой связанных и расположенных в определенном порядке.

Пример аргумента к факту.

[4.1.] «Если известный результат представляется невозможным по существу дела, то нельзя разрешить вопрос тем, что это делается понемножку. И именно к такой аргументации прибегает Дарвин. Он прямо говорит, что предположение, будто глаз, со всеми его изумительными приспособлениями, сложился в силу естественного отбора, может показаться в высшей степени нелепым; но стоит предположить постепенность, и все объясняется очень легко. На этом доводе держится вся его система. А между тем это чистый софизм. Этим способом можно доказать, например, что человек в состоянии поднимать горы. Стоит только приучить его понемножку, прибавляя песчинку к песчинке: при изменчивости организма и наследственной передаче приобретенных привычек через несколько тысяч поколений он будет уже нести Монблан. В действительности постепенность не что иное, как известный способ действия; результат же получается только тогда, когда есть

причина, способная его произвести. Поэтому при объяснении явления надобно прежде всего исследовать свойства причины; постепенность же сама по себе ничего не объясняет»<sup>1</sup>.

В примере [4.1.] большая посылка, содержащая топ (первое и последние два предложения примера), является общим суждением, как опровергаемое утверждение Ч. Дарвина о глазе вообще. Приведенная иллюстрация – частное суждение. Здесь факт эволюции глаза рассматривается как класс событий, к которому применены топы рода и вида, сущности и акциденции, а сам по себе вопрос рассматривается в статусе определения: правомерно ли Ч. Дарвин определяет изменения живой природы как факты эволюции?

### *Синхронические аргументы к факту*

Синхронические аргументы к факту исходят из состава факта, который обсуждается в своих составляющих как единый смысловой комплекс. Данные, на которых строится рассуждение (или описание), представляются как образующие смысловой комплекс единичного завершенного события, в котором последовательность составляющих, если она имеется, имеет значение порядка, а не временного следования как такового. Так, описание какого-либо повторяющегося действия – маршрута, обряда, балетной фигуры, части музыкального произведения, стандартной бытовой ситуации – имеет синхронический характер.

Доводы аргументов к факту основаны на верованиях здравого смысла. Мы верим, что всякое событие происходит в определенном месте и времени, что события, которые повторялись раньше, будут повторяться и впредь, что все имеет свою причину, а тождественные причины вызывают тождественные следствия, – такова реальность, которая представляется очевидной из опыта. К этому здравому смыслу и апеллирует ритор, когда обосновывает возможность или невозможность, большую или меньшую вероятность того или иного действия.

[4.2.] «Здесь поставлено против братьев Келеш обвинение в поджоге с корыстной целью, ради страховой премии. Каждое обвинение можно сравнить с узлом, завязанным вокруг подсудимого. Но есть узлы нерасторжимые и узлы с фокусом. Если защита стремится распутать правдивое обвинение, то вы всегда видите и замечаете, какие она испытывает неловкости, как у нее бегают руки и как узел, несмотря на все

<sup>1</sup> Чичерин Б. Н. Собственность и государство // Чичерин Б. Н. Избранные труды. СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 1998. С. 405–406.

усилия, крепко держится на подсудимом. Иное дело, если узел с фокусом. Тогда стоит только поймать секретный, замаскированный кончик или петельку, потянуть за них, и все пути разматываются сами собой — человек из них выходит совершенно свободным.

Такой кончик торчит в этом деле довольно явственно — он даже почти не замаскирован — и я ухвачусь прямо за него. Это вопрос — да был ли еще самый поджог? Это — история самого пожара. Если вы ее проследите, то вы непременно увидите, что здесь пожар мог произойти только случайно, а затем уже, если не было никакого преступления, то нечего рассуждать и о виновных.

16 января в 6 часов вечера табачная фабрика братьев Келеш была запечатана контролером Некрасовым. В 12 часов ночи внутри этой кладовой обнаружили признаки пожара. Спрашивается: как же он мог произойти? Кто и как мог туда проникнуть? Замок, от которого ключ хранился у контролера, оказался запертым и неповрежденным. Приложенная печать задерживала дверь своим липким составом и, следовательно, не была снята. Других ходов в кладовую не существовало и проложено не было.

Правда, господин Бобров, домовладелец, предлагает нам остановиться на предположении, что туда можно было проникнуть через форточку, а до форточки на четвертый этаж добраться по лестнице или по водосточной трубе. Но будем же рассуждать в пределах возможного и не станем допускать сказок. Приставленной лестницы никто не видел, а для того чтобы лазить по водосточной трубе до четвертого этажа, нужно быть обезьяной или акробатом, приучиться к этому с детства, а братья Келеш — сорокалетние люди и гибкостью тела не отличаются. Наконец, ведь форточка в четвертом этаже запирается изнутри: если бы она была оставлена при зимней стуже открытой, то контролер Некрасов, запирая кладовую, заметил бы это, да и все окна успели бы оледенеть. Притом форточки делаются не в нижней витрине окна, а выше, перегнуться через нее телу любого из Келешей мудрено — нужно было бы разбить окно, но все окна при пожаре найдены целыми. Итак, если не допускать сказки, если не верить, что кто-нибудь из Келешей мог забраться комаром в щелочку или влететь в кладовую через трубу, как ведьма, то нужно будет признать, что с той минуты, как Некрасов запер кладовую, и до того времени, когда через 6 часов обнаружился в ней пожар, и кладовая по-прежнему была заперта, никто в нее не входил и не мог войти.

Отсюда один возможный вывод, что неуловимая, недоступная для глаза причина пожара, микроскопическая, но, к сожалению, действительная, уже таилась в кладовой в ту минуту, когда „пошабашили” и когда Некрасов запирает кладовую. Вывод этот ясен, как Божий день»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Андреевский С. А. Защитительная речь по делу братьев Келеш. С. 33–34.

Приведенный пример [4.2.] содержит синхронический аргумент к факту: адвокат рассматривает возможность совершения или несовершения ряда действий конкретным лицом в конкретных обстоятельствах, совокупность которых указывает на невозможность конкретного поступка как реализации замысла в данных условиях.

Схема аргумента представляет собой условно-разделительное умозаключение по *modus tollens*:

$$A \rightarrow B \vee C \vee D \vee \dots; \sim B \wedge \sim C \wedge \sim D \dots \Rightarrow \sim A.$$

Используются логические топы: место, порядок, время, средство, образ действия, лицо-действие, внешние обстоятельства и т. д. Смысловая область, к которой апеллирует ритор, — здравый смысл: «Будем же рассуждать в пределах возможного и не станем допускать сказок».

Синхронические аргументы к факту дают обоснование его существования уже в статусе определения, поскольку факт получает имя, приобретает определенное содержание и включается в класс родственных фактов — «намеренный поджог имущества», «случайность», «основание города» и т. п.

### *Диахронические аргументы к факту*

Диахронические аргументы к факту характеризуются обращением к последовательности событий или поступков, которые рассматриваются как состояния (синхронии) предмета.

[4.3.] «Все, что мы находим в деле, подтверждает его (вывод, сделанный в речи [4.2]. — А. В.). Прежде всего вспомните показания Ф. Некрасова, одного из Муравьевских свидетелей и, следовательно, не склонного нам потакать, вспомните его показание о том, что еще в 10 часов вечера, т. е. за целых два часа до того, как сильный запах гари и туман дыма вызвали настоящую тревогу, как за целых два часа до этой минуты Ф. Некрасов уже чуял в воздухе соседнего двора тонкий запах той же самой гари, только послабее. Вспомните, что огня вовсе не было видно даже по приезде пожарных. Были только смрад и дым. Первое пламя занялось только тогда, когда выбили окна и впустили в кладовую воздух. Что же все это значит? Все это именно значит то, что причина пожара была крошечная, действовавшая очень вяло, очень медленно, едва заметно, — причина такая слабая, что она вызывала только перетлевание, дымление, чад и не вызывала даже огня. Только пустяк, только непотушенная папироска, запавшая искорка могли действовать таким образом. От искорки где-то затлеелся табак. Воздух сухой, в кладовой, нажаренной амосовской печью, табак тлеет и тлеет, дымит, пламени не дает, но жар переходит от одного слоя табака к другому; чем больше его истлело, тем больше просушились соседние слои —

тихонько и тихонько работа внутри кладовой продолжается. Надымилосперва редким дымом, а потом и погуще. Вот уж дыму столько, что его тянет наружу, потянулись струйки через оконные щели на воздух, стали бродить над двором фабрики, потянулись за ветром на соседний двор, но еще их мало, на морозном воздухе их не расчуешь, да если и почуешь, то не обратишь внимания. Но вот дымный запах крепчает на фабричном и на соседнем дворе. Его уже довольно явственно слышит Некрасов. Но и то не придает ему значения: мало ли, дескать, отчего и откуда в зимнюю пору дымить может. Еще два часа проходит, и гарь так постепенно, так медленно и неуловимо увеличивается, что только к концу этого срока жильцы двух соседних дворов озаботились наконец и стали доискиваться причины. И даже в это время собственно пожара, т. е. огня, еще не было, все дым да дым валит, и не разберешь откуда.

Если, таким образом, вы вспомните, что после того, как дым уже пробился наружу, прошло более двух часов, прежде чем он стал настоящим образом обращать на себя внимание, то вы, конечно, признаете, что для внутреннего процесса тления нужно положить также немалое и, во всяком случае, еще большее количество часов, и для вас станет ясно до очевидности, что в 6 часов вечера кладовая была заперта контролером Некрасовым уже с невидимой, но готовой причиной будущего пожара»<sup>1</sup>.

Аргумент построен в виде повествования, в котором выделена последовательность состояний субъекта, воспринимающего признаки пожара: начальное состояние, последующие состояния, конечное состояние, каждое из которых изображается ритором через обращение к аудитории («вспомните») и представляется как следствие предшествующего. Из этой серии следствий определяется начальная причина пожара также на основе здравого смысла. Из того обстоятельства, что пожар возник постепенно, логически никак не следует, что поджога не было. Но здравый смысл вместе с ритором подсказывает, что незначительная («микроскопическая») причина пожара была случайной.

Схема аргумента построена в виде условно-утвердительногумо- заключения по *modus ponens*:

$$B \wedge C \wedge D \rightarrow A; B \wedge C \wedge D \Rightarrow A.$$

Топы аргумента: время, место, состояние, порядок, признак, причина-следствие.

С помощью диахронических аргументов к факту устанавливается конвенциональное отношение или причина. Предшествующий во

<sup>1</sup> Андреевский С. А. Защитительная речь по делу братьев Келеш. С. 34.

времени факт или состояние рассматривается как основание другого, последующего во времени факта или состояния, которые представляются как следствие, но в условном смысле. Но сама по себе причина устанавливается исходя из целей аргументации и конвенции — искать причину в определенной смысловой области, задаваемой предметом обсуждения. Тем самым отдельный факт или событие включается в последовательный ряд, в составе которого он может быть осмыслен тем или иным образом. В соответствии с таким заданием и выделяются диахронические срезы в их последовательности — состояния, играющие роль переменных в схеме аргумента.

Главное отличие диахронического аргумента от синхронического состоит в понимании времени, причины, состояния и порядка.

Для синхронического аргумента характерно понимание времени как повторяющейся и воспроизводимой протяженности событий, которые располагаются в определенной последовательности. Выражение «если  $A$ , то  $B$ » означает либо что  $A$  прежде  $B$  и причина  $B$ : «если был дождь, то тротуар сырой», либо что  $A$  — необходимый признак  $B$ , а  $B$  — условие или причина  $A$ : «если лампочка горит, то есть ток». Но и в том и в другом случае независимо от того, когда это происходит, сегодня, вчера или в мезозойскую эру, «если лампочка горит, то есть ток». Поэтому в первой части приведенного логического выражения переменные  $B, C, D$  означают классы событий, а во второй части — единичные события соответствующих классов: «если имеет место полный пожилой человек, то он не может зимой залезть по водосточной трубе в форточку четвертого этажа; имеет место вот этот полный пожилой человек; следовательно, и т. д.».

В диахронической аргументации понимание времени, порядка и состояния иное, а причина в указанном смысле не существует. Физическая причина пожара есть следствие либо осознанного поступка конкретного лица, либо отсутствия такового. Этот осознанный поступок может или не может быть совершен определенным лицом в определенный момент времени определенным способом при определенных внешних обстоятельствах. Лицо, время, способ и обстоятельства определяются конвенционально как правдоподобные или неправдоподобные. Если последовательность состояний объекта, которая уникальна, приводит к мысли, что физическая причина пожара не удовлетворяет конвенциональным условиям его возникновения как следствия поступка, то признается, что такой поступок совершен не был. Поэтому переменные обеих частей выражения означают единичные события, но изменя-

ется значение постоянной: слово «следовательно», обозначающее объективную причину, изменяет значение на «для вас станет ясно до очевидности»: каждое состояние события изображается через оценку ситуации здравым смыслом получателя высказывания — аудитории.

Синхронические и диахронические аргументы составляют единый комплекс, поскольку факт представляется исчерпывающим образом с внутренней (синхроническая аргументация) и внешней (диахроническая аргументация) стороны.

## Аргументы к логике

Аргументы к реальности, истинность или правильность положения которых обоснована утверждением о принудительной силе логически правильного вывода из истинных (или принятых) посылок, будем называть аргументами к логике.

Аргументы к логике построены на презумпции онтологической реальности логических отношений и законов, которые рассматриваются как прямое отражение законов бытия, а не мышления. Здравый смысл убежден в незыблемости законов тождества, непротиворечия и исключенного третьего и вытекающих из них следствий, но использование логических аргументов тем не менее ограничено способностью аудитории следить за ходом рассуждения, которое может быть не очевидным для Неизвестного, оставаясь при этом логически безупречным. Поэтому Духовник в примере [4.4] возвращается к основаниям своего рассуждения и воспроизводит его логическую форму.

Риторическая убедительность аргументов к логике основана на конвенции: Духовник формулирует условие убедительности своих доводов, а Неизвестный соглашается его принять и рассматривать предмет обсуждения как интеллектуальную проблему; словесный ряд аргумента к логической правильности имеет не меньшее, а может быть, даже большее значение, чем в риторических аргументах других типов. Дело в том, что в практике риторической аргументации редко используются точные дефиниции терминов, понятия «пластичны» и «ковки», по выражению Перельмана, и постоянно меняют свое содержание в ходе аргументации: мысль Лейбница, приведенная в эпиграфе, здесь особенно значима. Поэтому для аргументов к логике, как это видно и в примере [4.4], Духовник отбирает те слова

и в том значении, как они употреблены Неизвестным, или, по крайней мере, употребительны в обычной речи.

### *Аргументы к логической необходимости*

Аргументы к логической необходимости основаны на апелляции к логической правильности умозаключения, которое необходимо приводит к выводу, совместимому или несовместимому с положением аргумента.

[4.4.] *«Духовник. Что ты разумеешь под словом „доказательства”?*

*Неизвестный.* Под этим я разумею факты, или логические рассуждения, обязательные для человеческого разума.

*Духовник.* Хорошо. Применительно к вопросу о бессмертии, какие доказательства тебя удовлетворили бы?

*Неизвестный.* Прежде всего, конечно, факты. Если бы с „того света” были даны какие-либо свидетельства о жизни человеческой души, продолжающейся после смерти тела, я считал бы вопрос решенным. Этого нет. Остается другое — логика. Логика, конечно, менее убедительна, чем факты, но до некоторой степени она может заменить их.

*Духовник.* Свидетельств, о которых ты говоришь, множество. Но таково свойство неверия. Оно всегда требует фактов и всегда их отрицает. Трудно что-нибудь доказать фактами, когда требуют, чтобы сами факты, в свою очередь, доказывались.

*Неизвестный.* Но как же быть, нельзя же достоверными фактами считать рассказы из житий святых?

*Духовник.* Можно, конечно, но я понимаю, что тебе сейчас такими фактами ничего не докажешь, потому что эти факты для тебя нуждаются в доказательствах не менее, чем бессмертие души.

*Неизвестный.* Совершенно верно.

*Духовник.* Мы подойдем к решению вопроса иначе. Мы тоже будем исходить из фактов. Но из факта для тебя несомненного — из твоего собственного внутреннего опыта.

*Неизвестный.* Не совсем понимаю.

*Духовник.* Подожди, поймешь. А пока я спрошу тебя. Допустим, ты видишь собственными глазами зеленое дерево. Тебе докажут путем логических доводов, что никакого дерева на самом деле нет. Скажешь ли ты тогда: „Неправда, оно есть”?

*Неизвестный.* Скажу.

*Духовник.* Ну вот. Именно такой путь выбираю и я в своих рассуждениях. Я беру то, что ты видишь и в чем не сомневаешься, затем условно встаю на точку зрения „отрицания бессмертия”. Доказываю тебе, что то, что ты видишь и в чем не сомневаешься, — бессмыслица и на самом деле не существует. Скажешь ли ты мне тогда: „Неправда, существует — я это знаю”?

*Неизвестный.* Скажу.

*Духовник.* Но тогда тебе придется отказаться от основного положения, допущенного условно, — от отрицания бессмертия.

*Неизвестный.* Все это для меня не совсем ясно.

*Духовник.* Тебе станет ясно из дальнейшего. А теперь скажи мне, признаешь ли ты в человеке свободную волю?

*Неизвестный.* Конечно, признаю.

*Духовник.* Признаешь ли ты какое-либо моральное различие в поступках людей, т. е. одни поступки считаешь хорошими, а другие плохими?

*Неизвестный.* Разумеется.

*Духовник.* Признаешь ли ты какой-либо смысл в своем существовании?

*Неизвестный.* Да, признаю. Но оставляю за собой право этот смысл видеть в том, что мне кажется смыслом. Для меня он в одном, для других может быть совсем в другом.

*Духовник.* Прекрасно. Итак, несомненными фактами для тебя являются свобода воли, различие добра и зла и какой-то смысл жизни.

*Неизвестный.* Да.

*Духовник.* Все это ты видишь, во всем этом ты не сомневаешься?

*Неизвестный.* Да.

*Духовник.* Теперь на время я становлюсь неверующим человеком и никакого иного мира, кроме материального, не признаю. Начинаю рассуждать и прихожу к логически неизбежному выводу, что „несомненное” для тебя на самом деле — бессмыслица: нет ни свободы воли, ни добра, ни зла, ни смысла жизни. И если в моих доказательствах ты не найдешь ни малейшей ошибки, — скажешь ли ты все-таки, что я говорю неправду, что свобода воли существует, существуют добро и зло и смысл жизни, что это не бессмыслица, а несомненный факт?

*Неизвестный.* Да, скажу.

*Духовник.* Но если ты это скажешь, не должен ли ты будешь отвергнуть основную посылку мою, из которой сделаны эти выводы, т. е. мое неверие?

*Неизвестный.* Да... Пожалуй...

*Духовник.* Так начнем рассуждать. Перед нами вопрос о свободе воли. Что разумеется под этим понятием? Очевидно, такое начало, действия которого не определяются какой-то причиной, а которое само определяет эти действия, являясь их первопричиной. Воля человека начинает ряд причинно обусловленных явлений, сама оставаясь свободной. Ты согласен, что я верно определяю понятие свободы воли?

*Неизвестный.* Да.

*Духовник.* Можем ли мы признать существование такого начала? Разумеется, нет. Для нас, материалистов, понятие „свободы” — вопиющая бессмыслица, и наш разум никаких иных действий, кроме причинно обусловленных, представить себе не может. Ведь мир состоит из различных комбинаций атомов и электронов. Никакого иного бытия, кроме

материального, нет. Человек не составляет исключения. И он своеобразная комбинация тех же атомов. Человеческое тело и человеческий мозг можно разложить на определенное количество химических веществ. В смысле вещественности нет никакого различия между живым организмом и так называемой неодушевленной вещью. А мир вещественный подчинен определенным законам, из которых один из основных — закон причинности. В этом вещественном мире нет никаких бессмысленных и нелепых понятий „свободных действий”. Шар катится, когда мы его толкаем. И он не может катиться без этого толчка и не может не катиться, когда толчок дан. И он был бы смешон, если бы, имея сознание, стал бы уверять, что катится по своей собственной воле и что толчок — это его собственное желание. Он не более как шар, который катится в зависимости от тех или иных толчков и, будучи вещью, напрасно воображает себя каким-то „свободным” существом.

Все сказанное может быть заключено в следующий логически неизбежный ряд: никакого иного бытия, кроме материального, не существует. Если это так, то и человек — только материальная частица, то и он подчинен всем законам, по которым живет материальный мир. Если мир живет по законам причинности, то и человек, как частица вещества, живет по тем же законам. Если материальный мир не знает свободных „беспричинных” явлений, то и воля человека не должна быть свободной и сама должна быть причинно обусловленной. Итак, свободы воли не существует. Ты согласен, что я рассуждаю строго логически?

*Неизвестный.* Да.

*Духовник.* Ты согласен с этим выводом?

*Неизвестный.* Нет, конечно, не согласен.

*Духовник.* Будем рассуждать дальше. Перед нами вопрос о хороших и дурных поступках. Один человек отдал последний кусок хлеба голодному. Другой отнял последний кусок хлеба у голодного. Признаешь ли ты нравственное различие этих двух поступков?

*Неизвестный.* Признаю.

*Духовник.* А я утверждаю, что никакого различия между этими поступками нет, потому что понятия добра и зла — полнейшая бессмыслица. Мы уже доказали бессмысленность понятия свободы воли в вещественном мире. Такою же бессмыслицей мы должны признать и понятия добра и зла. Как можно говорить о нравственном поведении шара, который двигается, когда его толкают, и останавливается, когда встречает препятствие? Если каждое явление причинно обусловлено, то в нравственном смысле они безразличны. Понятия добра и зла логически неизбежно предполагают понятие свободы. Как можно говорить о хороших и дурных поступках, когда и те и другие одинаково не зависят от лица, которое их совершает?

Представь себе автомат, который делает только те движения, которые обуславливает заведенная пружина, — разве ты скажешь, что

автомат поступил нравственно или безнравственно, опустив руку? Он опустил руку, потому что не мог иначе, потому что такова его пружина, и поэтому его механические действия никакой моральной оценки иметь не могут.

Все сказанное заключим опять в последовательный логический ряд: никакого иного мира, кроме вещественного, не существует. Если это так, то и человек — только частица вещества. Если он частица вещества, то подчинен законам вещественного мира. В вещественном мире все причинно обусловлено, потому и у человека нет свободной воли. Если у него нет свободной воли, то все его поступки, как механически неизбежные, в нравственном смысле безразличны. Итак, „добра” и „зла” в вещественном мире не существует. Ты согласен, что я рассуждаю совершенно логически?

*Неизвестный.* Да, я не заметил никакой ошибки в твоих рассуждениях.

*Духовник.* Значит, ты согласен с моими выводами?

*Неизвестный.* Нет, не согласен.

*Духовник.* Почему?

*Неизвестный.* Потому что во мне есть нравственное чувство, и я никогда не соглашусь, что нет морального различия между подлым и благородным поступком»<sup>1</sup>.

Поскольку аргумент [4.4] построен как своего рода интеллектуальный пример и лишен словесной изобразительности, свойственной реальной риторической аргументации, хорошо видно его строение.

Приведенный пример показателен в двух отношениях: во-первых, он содержит аргумент к логике, во-вторых, этот аргумент к логике является частью аргумента к аудитории, поскольку в состав посылок вводятся данные о Неизвестном. Аргумент в целом представляет собой развернутую эпихейрему, умозаключение, посылки которого в свою очередь являются умозаключениями по схеме

$$(A \rightarrow \sim B) \& (C \rightarrow B) \Rightarrow C \rightarrow \sim A.$$

Аргумент к логике, собственно, составляет вторую посылку. Первую же посылку составляет аргумент к аудитории — к внутреннему опыту: Неизвестный на основе своего внутреннего опыта, свидетельствующего о свободе воли и добре и зле, принимает логический аргумент как таковой, отвергая в то же время приемлемость его вывода, но если отвергается вывод, то отвергается и посылка, к которой он приводится. Аргумент построен с намеренным выделением схемы

<sup>1</sup> Валентин Свенцицкий. Диалоги. С. 19–26.

в виде двух соритов (второй частично воспроизводит первый), к которой апеллирует частное положение и которая и является основанием согласия Неизвестного.

### *Аргументы к логической возможности*

Сущность аргумента к логической возможности состоит в том, что апелляция относится к правильности вероятностного умозаключения, тем самым положение аргумента содержит утверждение об оптимальном решении. Классическим примером является знаменитый аргумент Паскаля.

[4.5.] «Будем рассуждать теперь на основании природного рассудка. Если Бог есть, то Он окончательно непостижим, так как, не имея ни частей, ни пределов, Он не имеет никакого соотношения с нами. Поэтому мы неспособны познать, ни что Он, ни есть ли Он. Раз это так, кто осмелится взять на себя решение этого вопроса? Только не мы, не имеющие с Ним никакого соотношения. Как же после этого порицать христиан, что они не могут дать отчета в своем веровании, когда они сами признают, что их религия не такова, чтобы можно было давать в ней отчет? Они заявляют, что в мирском смысле это безумие. А вы жалуетесь, что они вам не доказывают ее! Если бы стали доказывать, то не сдержали бы слова: именно это отсутствие с их стороны доказательств и говорит в пользу их разумности.

„Да, но если это извиняет тех, кто говорит, что религия недоказываема, и снимает с них упрек в непредставлении доказательств, то это самое не оправдывает принимающих ее”.

Исследуем этот вопрос и скажем: Бог есть или Бога нет. Но на которую сторону мы склонимся? Разум тут ничего решить не может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этого бесконечного расстояния разыгрывается игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить? Разум здесь ни при чем, он не может указать нам выбора. Поэтому не говорите, что сделавшие выбор заблуждаются, так как ничего об этом не знаете.

„Но я порицал бы их не за то, что они сделали тот или другой выбор, а за то, что они вообще решились на выбор, так как одинаково заблуждаются и выбравшие чет, и выбравшие нечет. Самое верное совсем не играть”.

Да, но сделать ставку необходимо: не в вашей воле играть или не играть. На чем же вы остановитесь? Так как выбор сделать необходимо, то посмотрим, что представляет для вас меньше интереса: вы можете проиграть две вещи, истину и благо, и две вещи вам приходится ставить на карту, ваш разум и волю, ваше познание и ваше блаженство; природа же ваша должна избегать двух вещей: ошибки и бедствия. Раз выбирать необходимо, то ваш разум не потерпит ущерба ни при том, ни при другом выборе. Это бесспорно; а ваше блаженство?

Взвесим выигрыш и проигрыш, ставя на то, что Бог есть. Возьмем два случая: если выиграете, вы выиграете все; если проиграете, то не потеряете ничего. Поэтому не колеблясь ставьте на то, что Он есть»<sup>1</sup>.

В первой части аргумента обсуждается вопрос о принципиальной возможности доказательства бытия Бога — здесь представлен аргумент *ad hominem*, в котором утверждение о невозможности доказательства бытия Бога приводится к авторитету (1 Кор. 1.22–25). Доказательство бытия Божия представляется невозможным, потому что всякое доказательство фактами и логическое доказательство имеет принудительную силу, Бог же ждет от человека любви и веры, предоставляя ему свободный выбор верить или не верить. Принудительность утверждается в необходимости выбора и его последствий, причем сам этот свободный выбор определяется как разумный.

Вторая часть эпихейремы (после слов «Так как выбор сделать необходимо...») и представляет собой собственно аргумент к вероятности.

Таким образом, аргумент к логической вероятности также основан на конвенции, установлении исходного условия выбора: человек принужден быть свободным, и в таком случае он должен выбрать наиболее целесообразное решение из двух равновероятных возможностей. Сама альтернатива отделена от ценностного условия («избегать ошибки и бедствия»), поэтому основание аргумента состоит именно в обращении к вероятности, а не к ценности.

\* \* \*

Как видно из примеров, аргументы к реальности, как и все риторические аргументы, во-первых, являются диалектическими, т. е. предполагают нахождение топа, на котором основывается большая посылка; во-вторых, принятие этой посылки как истинной или правильной представляет собой предварительное соглашение о ценности. В приведенном выше диалоге прот. Валентина Свенцицкого на вопрос Духовника: «Допустим, ты видишь собственными глазами зеленое дерево. Тебе докажут путем логических доводов, что никакого дерева на самом деле нет. Скажешь ли ты тогда: „Неправда, оно есть“?» Неизвестный отвечает: «Скажу»<sup>2</sup>. Такой ответ предполагает независимость мысли и интеллектуальную честность, которые чаще

<sup>1</sup> Паскаль Б. Мысли. М., 1994. С. 131–132.

<sup>2</sup> Валентин Свенцицкий. Там же. С. 10.

встречаются в философских сочинениях, чем в реальной жизни. Личный опыт может быть сильнее логики, что неудивительно, личный опыт может быть сильнее всеобщего здравого смысла, что бывает реже. Однако авторитетное мнение, как правило, для нас сильнее и личного опыта, и здравого смысла, и логического доказательства.

Что же касается фактов или логической формы, к которым обращена апелляция, они представлены в меньших посылках аргументации и связывают топ с положением аргумента и в этом смысле являются вспомогательными инструментами риторической аргументации.

Аргументация к реальности используется в основном в статусах установления и определения и является единственным видом риторической аргументации, выводы которой рассматриваются с точки зрения истинности. Именно поэтому она представляется основой риторической аргументации как в содержательном, так и в этическом плане.

В содержательном плане обсуждение и установление истинности или хотя бы правдоподобности суждений и определение вероятности грядущих событий в совещательной аргументации является основой продуктивности решений. Ценность всей последующей аргументации в статусах определения и оценки всецело зависит от надежности представления и анализа фактических данных. И несмотря на то что риторическая аргументация во всех своих формах — как диалектическая, дидактическая, полемическая (эристическая) — не может рассматриваться в качестве надежного средства нахождения истины, она остается основным инструментом познания в практической жизни. Именно на основе риторической аргументации мы принимаем реальные решения не только практического, но и мировоззренческого характера.

Научный инструментарий познания, который также далеко не всегда, даже если это формальная математическая демонстрация, можно признать совершенным, неприменим к проблемам жизненной реальности. Использование выводов научного знания в технической, социальной практике и в мировоззренческих вопросах обязательно требует риторической аргументации, не говоря уже о том, что в составе самих научных произведений, естественно-научных в той же мере, что и в гуманитарных, риторическая аргументация занимает, очевидно, значительно большее место, чем это представляется самим естествоиспытателям.

Не менее значима этическая сторона проблемы. Именно в аргументации статуса установления тщательность и добросовестность аргументов представляются особенно необходимыми. Юридическое доказательство и истина исторического факта лежат в основе культуры общественных отношений. И там, где установление факта зависит от цели определения и оценки, как это систематически происходит в современном политическом дискурсе, манипуляция данными приводит к компрометации реальности, которая даже еще более опасна, чем компрометация поведенческих норм.

## Аргументы к авторитету

Аргументы, основанные на апелляции к внешней для отправителя и получателя высказывания инстанции, которая рассматривается как достоверный источник знания или нормы, будем называть аргументами к авторитету.

Аргументы к авторитету являются самым распространенным классом риторических аргументов и предстают как наиболее убедительные. При этом качество обсуждения и уровень проблем, разрешимых в ходе риторического дискурса, зависят от состава и иерархии инстанций, принимаемых в ходе аргументации. Классы топов определяются степенью авторитетности инстанции, от которой они исходят, поэтому при ограничении состава и принимаемых свойств инстанций снижаются и уровень обсуждения, и содержание решений. Действительно, такие инстанции — источники топов, как общественное мнение, действующее законодательство, либерально-гуманистическая политическая идеология с приматом индивидуалистических интересов над интересами общества, очевидно, не допускают или по крайней мере затрудняют использование топики духовной морали, необходимой при обсуждении и решении вопросов, связанных с фундаментальными культурными конфликтами.

Ю. В. Рождественский рассматривает систему авторитетных инстанций как источников общих мест исходя из культурно-исторической схемы развития словесности и связывает топы с определенными классами текстов как родами словесности. При этом система общих мест нарастает и видоизменяется с развитием новых фактур речи<sup>1</sup> и определяется культурными навыками частной аудитории:

<sup>1</sup> См.: *Рождественский Ю. В.* Теория риторики. С. 331–333; 404–440.

«Общие места зависят от аудитории, ее широты и узости, от интересов аудитории и от того, какой пафос свойственен речи, которая охватывает аудиторию. Общие места для данного вида словесности не могут складываться стихийно. Они складываются не путем механического соединения смыслов разных речей, выделения в них общего и отбрасывания различного. Общие места есть результат общественного договора. Некоторые тексты, как, например, известные тезисы Лютера, выдвигаются когда-то и кем-то, к этим тезисам примыкают люди в своем сознании и объединяются вокруг этих тезисов. Общие места есть тексты, смысл которых служит объединению <...> других текстов с разной композицией»<sup>1</sup>.

Не отрицая правомерности подхода Ю. В. Рождественского к топике, следует отметить, что он может привести к известному релятивизму в трактовке системы топов: топы в таком случае должны рассматриваться в отношении к культуре частной аудитории, которая существует в определенное историческое время и в определенном культурном пространстве. И даже если допустить, что общие места, свойственные определенному историческому разряду произведений слова, сохраняются с изменением состава словесности, приходится признать, что иерархия общих мест исторически меняет свое строение: общие места, занимавшие на прежних этапах истории культуры высшие места в иерархии ценностей, уступают эти высшие места другим, новым классам общих мест и отходят на низшие или маргинальные позиции. С другой стороны, современный риторический дискурс быстро меняет жанровый состав риторической словесности: появляются новые и отходят на задний план прежние источники топов, современные риторические формы утрачивают и внутреннее жанровое единство, и классические способы обоснования положений.

Однако система общих мест и инстанций, от которых они исходят, имеет особую внутреннюю форму, которая обусловлена потенциальными возможностями аргументации в риторическом дискурсе, и поэтому должна содержать определенные константы, независимые от господствующего мировоззрения времени. Факты показывают, что искусственное устранение некоторых значимых инстанций аргументов к авторитету и основанных на них других типов аксиологических аргументов приводит к разрушению всей системы общих мест и к ограничению возможностей эпидейктической аргументации.

<sup>1</sup> Рождественский Ю. В. Теория риторики. С. 405.

## Аргументы к безличному авторитету

Безличная инстанция представляет собой некий неопределенный источник суждения, например, «народная мудрость», «всеобщее мнение», «наука», «интересы государства», «мировое сообщество», «демократическая общественность» или даже «существует мнение», формулировка позиции которого иногда представляет собой фигуру заимословия (вымышленной прямой речи от некоего лица, например народа), для того и существующую пословицу, притчу, максимум, целую речь. Рассмотрим пример.

[4.6.] «Самая лучшая философия есть та, которая основывает обязанности человека на его счастье. Она скажет нам, что мы должны любить пользу отечества, ибо с нею неразрывно связана наша собственная; что его просвещение окружает нас самих многими удовольствиями в жизни; что его тишина и добродетели служат щитом семейственных наслаждений; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человеку называться сыном презренного отца, то не менее оскорбительно и гражданину называться сыном презренного отечества. Таким образом, любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие — гордость народную, которая служит опорой патриотизма. Так, греки и римляне считали себя первыми народами, а всех других — варварами; так, англичане, которые в новейшие времена более других славятся патриотизмом, более других о себе мечтают»<sup>1</sup>.

Гедонистическая этика Просвещения предстает здесь в качестве такого непререкаемого авторитета, позиция которого персонифицируется глаголом «скажет». При этом столь же обобщено и инклюзивно значение слова «нам»: всем «нам» — и ритору, и аудитории. Здесь мы имеем дело с утверждением общего мнения о «лучшей философии», концепты которой включены в словесный ряд аргумента: «польза», «просвещение», «удовольствия», «тишина», «добродетели», «семейственные наслаждения», «собственное благо», «народная гордость», «патриотизм». Поэтому весь аргумент предстает как обращенный к универсальной аудитории и основан на топе обратимости: «гражданин» должен заботиться об отечестве, если отечество заботится о «гражданине» в определенном названными концептами смысле — доставляя ему «счастье».

Из примера [4.6] видно, что безличная инстанция предполагает специальную интерпретацию, часто в виде словесного ряда,

<sup>1</sup> Карамзин Н. М. О любви к отечеству и народной гордости // Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964. С. 282.

компоненты которого представляются привлекательными, поэтому аргументы к безличной инстанции близки аргументам к аудитории — в данном случае к прагматическому аргументу — и представляются в качестве универсальных. Они весьма распространены в современной аргументации: такие концепты, как «мировое сообщество», «цивилизованные страны», «демократия» и пр., в современном употреблении равнозначны карамзинской «лучшей философии»: «мировое сообщество» также «говорит» то, что хочет сказать ритор, и в той же мере является его вымыслом. В современном политическом дискурсе существует целая система мифических безличных инстанций — политических концептов-имен, к которым апеллирует аргументация и через которые обосновывается и утверждается политическая, этическая и правовая топика.

Аргумент к безличному авторитету далеко не всегда содержит прямое указание на авторитетный источник посылки. Как правило, информацию о характере инстанции можно найти только в содержании посылки, которое может достаточно ясно указывать на него.

[4.7.] «Эгоцентризм заслуживает осуждения не только с точки зрения одной европейской романо-германской культуры, но и с точки зрения всякой культуры, ибо это есть начало антисоциальное, разрушающее всякое культурное общение между людьми. Поэтому если среди неромано-германского народа имеются шовинисты, проповедующие, что их народ — народ избранный, что его культуре все прочие народы должны подчиняться, то с такими шовинистами следует бороться всем их единоплеменникам. Но как быть, если в таком народе появляются люди, которые будут проповедовать господство в мире не своего народа, а какого-нибудь другого, иностранного народа, своим же соплеменникам будут предлагать во всем ассимилироваться с этим „мировым народом“. Ведь в такой проповеди никакого эгоцентризма не будет, — наоборот, будет высший эксцентризм. Следовательно, осудить ее совершенно так же, как осуждается шовинизм, невозможно. Но, с другой стороны, разве сущность учения не важнее личности проповедника? Если же господство народа А над народом В проповедовал представитель народа А, это было бы шовинизмом, проявлением эгоцентрической психологии, и такая проповедь должна была бы встретить законный отпор как среди В, так и среди А. Но неужели все дело совершенно изменится, лишь только к голосу представителя народа А присоединится представитель народа В? Конечно нет; шовинизм останется шовинизмом. Главным действующим лицом во всем этом предполагаемом эпизоде является, конечно, представитель народа А. Его устами говорит воля к порабощению, истинный смысл шовинистических теорий. Наоборот, голос представителя народа В, может быть, и громче, но по существу менее значителен. Представитель В лишь поверил аргументу представителя

А, уверовал в силу народа А, дал увлечь себя, а может быть, и просто был подкуплен. Представитель А ратует за себя, представитель В — за другого: устами В, в сущности, говорит А, и поэтому мы всегда вправе рассматривать такую проповедь как тот же замаскированный шовинизм»<sup>1</sup>.

В примере [4.7] из статьи Н. С. Трубецкого такой посылкой является высказывание: «Но, с другой стороны, разве сущность учения не важнее личности проповедника?» — которое содержит основной топ всего рассуждения. Этот топ особенно значим для христианской культуры и на самом деле исходит от вполне определенного авторитета, который, однако, не указывается автором, но подразумевается: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду» (Мф. 12, 33).

## Аргументы к личному авторитету

Личная инстанция предстает в виде конкретного индивидуального или коллективного, но обязательно обозначенного именем собственным автора суждения, которое содержит топ или описание действия определенного лица, которое рассматривается как образец. Суждение имеет определенную формулировку — изречение, возможности интерпретации которого ограничены конкретным замыслом и контекстом, или притчу, т. е. описание образцового поступка (модель) или отрицательного, неправильного поступка (антимодель) с соответствующим комментарием. В каждом варианте аргумента к личному авторитету используются особые приемы верификации или компрометации данных представляемых как позиция авторитетной инстанции.

В аргументах к личному авторитету отношение позиции ратора к источнику может быть различным. Простейшей формой построения является подтверждение авторитетным источником позиции ратора, как в следующем примере.

[4.8.] «Итак, миллионный убыток в прошедшем угрожает в будущем не только миллионными потерями, но, по заключению ревизии, и ликвидацией. Как ни печальны эти последствия, грозящие Москве еще невиданным крахом, но можно сказать, что они почти ничтожны

<sup>1</sup> Трубецкой Н. С. Европа и человечество. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 62–63.

сравнительно с общественным злом, причиненным заправилами Кредитного общества.

Они извратили выборное начало; они создали пародию самоуправления. Системою долголетнего хищения они развили опасную спекуляцию и самое низкопробное маклачество. Зрелищем безнаказанного прибыльного обмана они развращали массы. Говоря словами достойнейшего гражданина Москвы Митрофана Павловича Щепкина, это была „гибель общественного доверия и общественного достояния”<sup>1</sup>.

В примере [4.8], который представляет собой одну из посылок аргумента, примечательна широкая амплификация авторитетного высказывания, которая не следует непосредственно ни из высказываний Щепкина, ни из заключения ревизии: суждение авторитета оказывается общей оценкой последствий деяний подсудимых и подтверждением мысли адвоката и обращено как к составу суда, так в основном и к общественности — так называемый эффект двойной аудитории.

Более сложной формой интерпретации авторитетного высказывания являются аналогия и построение модели. В примере [4.9] представлены обе эти операции.

[4.9.] «Перехожу ко второму пункту обвинения, к форме, приписываемой г. Нотовичу клеветы, к вопросу о том, возможна ли клевета в такой именно форме.

Эта форма — сравнение, сопоставление двух близких по своему прошлому банков. <...> Если вопрос об уголовном тождестве обоих банков будет отвергнут, то с тем вместе будет разрешен вопрос, все еще количественный, о полной доказанности или неполной тех признаков, которые были выставлены в „Новостях” как черты сходства между обоими банками.

Окружной суд держался того начала, что если указано, положим, десять признаков сходства и из них подтвердилось семь-восемь, а без подтверждения остались два или три, то подсудимый признан будет, все-таки, клеветником и как таковой будет наказан. Чтобы установить полную несостоятельность такого взгляда, я позволю себе преподнести Палате не решение, а приговор уголовного Кассационного департамента, постановленный им в качестве апелляционной инстанции по делу Куликова 20-го февраля 1890 года. Конечно, этот приговор не решение; только решения публикуются для руководства судам при однообразном применении законов. Но я полагаю, что никто не станет оспаривать высокой авторитетности приговоров Сената. Крестьянин Куликов был бухгалтером в Новоузенской земской управе; он донес

<sup>1</sup> Урусов А. И. Речь по делу Московского кредитного общества. С. 372–373.

губернатору и сообщил прокурору о совершившихся в управе злоупотреблениях, да и напечатал статейку в „Саратовском листке” 1887 года, № 182, в которой содержались следующие слова: „Все сделанное мною заявление (губернатору) подтвердилось и с поразительной ясностью обнаружено хищение земских денег”. При следствии по обвинению Куликова по 1039 ст. Уложения о наказаниях далеко не все обвинения подтвердились выдержками из печатных журналов земских собраний и волостных правлений. Саратовская палата осудила Куликова; он апеллировал в Сенат и Сенат его оправдал по следующим соображениям: „Одно наименование действий членов земской управы систематическим хищением земских денег, хотя и есть выражение неуместное, но еще не служит для применения к Куликову 1039 ст. Уложения, так как характеристика не содержит в себе прямого указания на совершение членами управы каких-либо преступных действий, а может быть относима и к беспорядочному и невыгодному для земцев ведению земских дел”. Что же касается того обстоятельства, что не все злоупотребления, которые заявлены Куликовым, подтвердились, то на этот счет Правительствующий Сенат говорит: „Документальные данные в пользу Куликова, содержащиеся в подробном его показании при предварительном следствии, а равно приложенные по делу выдержки из журналов земских собраний и удостоверения земских старшин содержат в себе некоторое подтверждение указаний обвиняемого на непроизводительность трат земских денег и на известные неправильности в их расходовании”. На этом основании Сенат оправдал Куликова.

В этом решении Сенат установил и распределение *oneris probandi*. Если А обвиняет Б в нехороших деяниях и Б ищет за клевету, то А обязан доказать справедливость хотя бы некоторых нехороших фактов, которые он возводит на Б. Но если Б желает, чтобы А был наказан, то он должен быть сам чист, потому что если он даже немножко замаран, то уже не вправе претендовать за клевету»<sup>1</sup>.

Основной посылкой аргумента является решение Кассационного департамента Сената, которое представляется как авторитетное, причем характер авторитета специально оговаривается защитником. Само по себе авторитетное решение нужно для установления аналогии двух подобных деяний и судебного решения, выступающего как норма с искомым судебным решением; этим принципом несимметричности, по мысли защитника, должен руководствоваться суд (они формулируются в последнем предложении примера). Так защитник стремится построить в сравнительном аргументе пропорцию на основе топа справедливости: отношение к подобным деяниям, со-

<sup>1</sup> Спасович В. Д. Речь по делу Нотовича // Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах. Т. VI. М., 1902. С. 211–213.

вершенным подобными лицами в подобных обстоятельствах, должно быть одинаковым. Предмет обсуждения в таком случае может состоять в степени подобия.

Поэтому особенно интересным в примере представляется толкование посылки — высказывания, исходящего от личного авторитета. Адвокат строит общую модель решения, которая и выступает как интерпретация частного решения Сената. Действительно, человека справедливо назвать подлецом, если он совершил поступок А, или поступок В, или поступок С, которые подходят под такую квалификацию. При этом если он не совершал, допустим, поступка С, то все равно квалификация останется справедливой: этическое суждение построено на дизъюнкции, поскольку оно носит качественный характер. С юридической точки зрения квалификация вины принципиально предполагает конъюнкцию деяний: мера наказания соответствует составу деяний (т. е. и А, и В, и С). Иными словами, если А утверждает, что В имеет некий нравственный изъян, то даже если только некоторые из фактов, приводимых А, истинны, суждение А не является клеветой; но если А обвиняет В в уголовном преступлении, обвинение окажется клеветой, даже если только некоторые из сообщенных фактов оказываются ложными, поскольку каждое из таких деяний усилило бы наказание, с чем и связан вывод о том, что *onus probandi* должен быть перенесен на обвинение.

Аргументы к личному авторитету — самый распространенный вид риторических аргументов. Они встречаются практически в любом риторическом произведении, в особенности в судебной ораторике и в журналистике. Свидетельские показания, отсылки к документам, изложение фактов по источникам, интервью как жанр риторической прозы представляют собой аргументы к авторитету. В каждом из таких разрядов включение в посылки авторитетного высказывания и утверждение значимости авторитетной инстанции достигается особой техникой.

В аргументах к авторитету может быть использован ряд различных инстанций, в особенности если каждая отдельная инстанция представляется недостаточно убедительной, а сам аргумент строится как разделительное умозаключение.

[4.10.] «Попытаемся же, с другой стороны, уяснить себе вопрос: что такое наказание? Какие цели преследует оно? Первое — удовлетворить общественному негодованию против преступника. Но разве здесь можно говорить о нем? Припомните слова Ивана Киселева: „Когда народ узнал о событии, он хлынул не в дом, где лежала покойная, а к дому, где был обвиняемый, и, окружив его, все плакали навзрыд”. Второе — под-

вергнуть преступника мукам. Но разве он мало их вынес за годы своей жизни с покойной, да и теперь, когда события разбили его семейную, личную, общественную жизнь? И третье – осуждают, чтобы оградить общество от злого человека. Таков ли он? Вглядитесь со вниманием – похож ли он на злодея? События еще не делают человека таковым. Есть незабвенные слова, сказанные знаменитым ученым Фейербахом: „На убийство в состоянии душевного возбуждения способны и благороднейшие характеры”. А о Киселеве все говорят: „честный”, „трезвый, преданный заботам и трудам человек”. Если такой человек срывается, не хочется верить, что это – неразрешимая вина его...»<sup>1</sup>

Аргумент [4.10] построен по классической, особенно в судебных защитительных речах, схеме условно-категорического умозаключения в отрицающем модусе, но как эпихейрема: посылки аргумента являются выводами из энтимем – умозаключений с опущенными посылками:

$$A \rightarrow B \vee C \vee D; \quad \sim B \wedge \sim C \wedge \sim D; \quad \Rightarrow \sim A.$$

Каждая посылка получает обоснование, но при этом посылки расположены в так называемой гомерической последовательности – в начале и в конце стоят более сильные посылки, в середине стоит слабая посылка («подвергнуть преступника мукам») с сомнительным обоснованием. Первая сильная посылка получает обоснование от авторитета – свидетельских показаний. Последняя завершающая посылка получает обоснование аргументом к аудитории и двойное обоснование аргументом к авторитету: к «незабвенным» словам Фейербаха и к всеобщему, по утверждению защитника, мнению, но это «всеобщее мнение» представлено как мнение свидетелей, которое, однако, предстает в виде фигуры заимословия, т. е. искусственного цитирования: взятые в кавычки слова принадлежат адвокату, а не свидетелям.

В аргументе представлена двойная иерархия инстанций. Апелляция к Фейербаху усиливается апелляцией к свидетелям или общему мнению о подсудимом, а последняя – в свою очередь аргументом к аудитории, выраженным безличной формой глагола «не хочется верить», использование которой в данном контексте означает стремление отождествить оратора с аудиторией. Но эта апелляция по смыслу относится и к первой посылке об «общественном негодовании» и тем самым создает единство всего образа предмета, отраженного в аргументе.

<sup>1</sup> Шубинский Н. П. Защитительная речь по делу Киселева // Там же. С. 407.

## Аргументы к аудитории

Аргументы, послышки которых основаны на апелляции к представлениям аудитории о ее пользе, долге, необходимости или к ее самосознанию, будем называть аргументами к аудитории. Аргументы к аудитории могут быть подразделены на два разряда: к цели и к человеку, последние часто обозначают по-латыни — *ad hominem*. Различие этих разрядов аргументов состоит в том, что если в аргументах к цели утверждение послышки содержит утверждение об основаниях принимаемого решения, которые рассматриваются как совпадающие точки зрения отправителя речи-ритора и аудитории, то аргумент к человеку, как правило, полемический и содержит в послышках утверждения о несовпадающих позициях ритора с одной стороны и оппонента или аудитории — с другой.

### Аргумент к человеку

Аргумент к человеку включает в состав посылок высказывания или изображение позиций оппонента, которые представляются противоречивыми, несовместимыми или отрицательно свидетельствующими о самом источнике высказывания; и в таком случае аудитории приходится делать выбор между приемлемыми и неприемлемыми высказываниями или фактами. Но послышка апеллирует к аудитории, которая и предстает как инстанция суждения о несовместимости слов или поступков.

[4.11.] «По твоим словам, те из иконоборцев, что понаглее и позловреднее, полагая мудростью хитроумие, задают вопрос: которая из икон Христа истинная — та, что у римлян, или которую пишут индийцы, или греки, или египтяне — ведь они непохожи друг на друга, и какую бы ни объявили истинной, ясно, что остальные будут отвергнуты. Но это их недоумение, о прекрасное изваяние Православия, можно многими способами отразить и обличить как исполненное великого безумия и злочестия.

Во-первых, можно сказать им, что они сразу же тем самым, с помощью чего решили бороться против иконотворения, даже против воли засвидетельствовали его существование и поклонение [иконам] по всему миру, где есть христианский род. Так что они скорее говорят в пользу того, что пытаются опровергнуть и уловляются собственными доводами.

Во-вторых, что они, говоря такие вещи, незаметно для самих себя становятся в один ряд с язычниками — ведь сказанное о честных иконах

можно равным образом применить и к другим нашим таинствам. Ведь можно было бы сказать: какие евангельские слова вы называете богодухновенными, и вообще, которое Евангелие? Ведь римское пишется буквами одного облика и вида, индийское — другого, еврейское — третьего, а эфиопское — четвертого, и они не только пишутся несходным обликом и видом буквами, но и произносятся с разнородным и весьма непохожим звучанием и значением слов. Итак, пусть покажут (а вернее, почему же вы не говорите?), что никому не подобает повиноваться или приходиться к Евангелию, потому что оно возвещается несходными начертаниями букв и звучанием и значением слов...»<sup>1</sup>

В примере [4.11.] представлены два основных вида аргумента к человеку: первый основан на свидетельстве самих по себе слов оппонента, которые содержат логическое противоречие или (как в примере) несовместимы с его позицией; второй (третий абзац) основан на утверждении, что высказывание оппонента свидетельствует о качествах оппонента, которые несовместимы с его статусом, в данном случае христианина. Первый тип назовем «ad hominem — к несовместимости», а второй — также достаточно распространено «ad personam — к личности».

Аргументы к несовместимости в свою очередь могут использовать семантически несовместимые данные, как в примере [4.11] или логическую несовместимость высказывания — логический парадокс, как в примере [3.1], а в более явном виде в следующем примере, [4.12], непосредственном продолжении слов святителя Филарета.

[4.12.] «Были люди, которые хотели доказать, что истина недоступна познанию человеческому. Но что значит доказать? Значит, истину, скрывающуюся во мраке неизвестности или во мгле сомнений, вывести на свет посредством одной или нескольких истин, ясно познанных и несомненно признанных. Итак, истина существует прежде доказательств, уже присутствует при их рождении и смеется над теми, которые хотят доказать ее отсутствие или несуществование, но для сего призваны ее же призвать на помощь»<sup>2</sup>.

## Аргументы к цели

Аргументы, основанные на апелляции к представлениям аудитории о ее социальном, национальном, культурном, духовно-нравствен-

<sup>1</sup> Фотий, патриарх Константинопольский. Амфилохии / Пер. Д. Афиногенова. Альфа и Омега. 1998, № 4 (18). С. 83.

<sup>2</sup> Филарет, митрополит Московский. Указ. соч.

ном и т. д. статусе, ценностях, интересах, будем называть аргументами к цели. В состав аргументов к цели входят:

- 1) различные виды прагматического аргумента, доводы которого основываются на утверждении пользы или вреда принятого или предполагаемого решения, причем не только для самой аудитории («польза образования сомнительна, а вред очевиден»);
- 2) аргументы долженствования, послышки которых основаны на самосознании аудитории и содержат утверждения о долге в связи с ее статусом («как порядочный человек, вы должны жениться») или функцией;
- 3) аргументы необходимости, послышки которых исходят из утверждения о неизбежности для аудитории в данных условиях предлагаемого решения («вас никто не может заменить на этом посту»), в силу невыносимости сложившегося положения вещей («какое угодно правительство, но только не это»), невозможности принять иное решение и т. п.

## Прагматические аргументы

Прагматические аргументы, рассматриваются в «Риторике» Аристотеля как принадлежащие совещательной аргументации, более того, как составляющие ее основное содержание<sup>1</sup>. Однако апелляции к пользе или вреду могут относиться и к прошедшему времени, т. е. к судительной, или к настоящему, т. е. к показательной аргументации; вместе с тем совещательная аргументация нередко содержит апелляции к долгу, необходимости, правовым или иным нормам, понятию справедливости и т. п.

Категория *полезное-вредное* как основа прагматического аргумента обширна и разнообразна: полезным аудитория может считать материальную выгоду, здоровье, безопасность, счастье, но также спасение души, мудрость, физическое и нравственное страдание («ум скорбящего не тот, что был до скорби: изменяет душу страдание» — Софокл), поэтому прагматические аргументы и включаются в состав аргументов к аудитории. Образ аудитории, ее ценность даже в собственных глазах определяются тем, каково содержание убедительного для нее прагматического аргумента. Поэтому именно прагматический аргумент, как никакой другой, формирует в риторической прозе образ аудитории. Этот образ аудитории становится в свою очередь инстанцией, к которой обращается ритор. Так, в «Дневнике писателя»

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1358b. С. 24–25.

за апрель 1877 г. Ф. М. Достоевский в повествовании начала статьи «Война. Мы всех сильнее» предварительно строит оба основных образа — аудитории и оппонента, чтобы затем, используя их, перейти к прагматической аргументации.

[4.13.] «„Война! Объявлена война”. — восклицали у нас две недели назад. „Будет ли война?” — спрашивали тут же другие. „Объявлена, объявлена!” — отвечали им. „Да, объявлена, но будет ли?” — продолжали те спрашивать...

И, право, были такие вопросы, может быть, есть и теперь. И это не от одной только дипломатической проволочки разуверились так люди, тут другое, тут инстинкт. Все чувствуют, что началось что-то окончательное, что наступает какой-то конец чего-то прежнего, долгого, длинного прежнего и делается шаг к чему-то совсем уже новому, к чему-то преломляющему прежнее надвое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шаг этот делает Россия! Вот в этом-то и неверие „премудрых” людей, Инстинктивное предчувствие есть, а неверие продолжается: „Россия! Но как же она может, как она смеет? Готова ли она? Готова ли внутренне, нравственно, не только матерьяльно? Там Европа, легко сказать Европа! А Россия, что такое Россия? И на такой шаг?”

Но народ верит, что он готов на новый, обновляющий и великий шаг. Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе. Когда раздалось царское слово, народ хлынул в церкви, и это по всей земле русской. Когда читали царский манифест, народ крестился, и все поздравляли друг друга с войной. Мы это сами видели своими глазами, слышали, и все это даже здесь, в Петербурге. И опять начались те же дела, те же факты, как и в прошлом году: крестьяне в волостях жертвуют по силе своей деньги, подводы, и вдруг эти тысячи людей, как один человек, восклицают: „Да что жертвы, что подводы, мы все пойдем воевать!” Здесь, в Петербурге, являются жертвователи на раненых и больных воинов, дают суммы по несколько тысяч, а записываются неизвестными. Таких фактов множество, будут десятки тысяч подобных фактов, и никого ими не удивишь. Они означают лишь, что весь народ поднялся за истину, за святое дело, что весь народ поднялся на войну и идет. О, мудрецы эти факты отрицать будут, как и прошлогодние; мудрецы все еще, как и недавно, продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли их голоса. Почему же они смеются, откуда в них столько самоуверенности? А вот потому-то и продолжают они смеяться, что все еще почитают себя силой, той самой силой, без которой ничего не поделаешь. А меж тем сила-то их приходит к концу. Близятся они к страшному краху, и когда разразится над ними крах, пустанутся и они говорить другим языком, но все увидят, что они бормочут

чужие слова и с чужого голоса, и отвернутся от них и обратят упование свое туда, где царь и народ с ним»<sup>1</sup>.

Построение образа аудитории в примере [4.13] следует распространенной модели: образ аудитории сливается, с одной стороны, с представлением об обществе как народе, к которому должен присоединиться читатель; этому обществу-народу-аудитории противостоят «мудрецы», т. е. оппонент. Противопоставление строится в форме фигуры диалогизма, в которой народ-аудитория, автор, царь сопоставлены с «мудрецами», «другими». Народ «как один человек, восклицает» (любимый глагол Достоевского, означающий у него взволнованную речь автора и его единомышленников), а мудрецы «спрашивают», «смеются над народом», «бормочут с чужого голоса»; «весь народ поднялся на войну и идет», а «мудрецы эти факты отрицать будут»; народ «верит, что он готов на новый шаг», мудрецы «самоуверенны»; народ «поднялся за истину, за святое дело», мудрецы «продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли»; народ «хлынул в церкви», а мудрецы же «смеются» над народом, что создает аллюзию новозаветного образа «совопросников века сего» фарисеев и книжников; народ «делает шаг вперед», а мудрецы «близятся к страшному краху». Отбор лексики показывает, что автор конструирует риторические пафосы негодования и гнева, который вызывается «пренебрежением или к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало»<sup>2</sup>.

Сконструировав таким образом единую инстанцию народа-аудитории, Достоевский обращает к ней последующие прагматические аргументы.

[4.14.] «Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь „братьев-славян“, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и которым мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте»<sup>3</sup>.

Основные посылки и вывод умозаключения: «Мы задыхаемся от немощи растления и духовной тесноты» ( $A$  есть  $B$ ); «Война освежит воздух», т. е. «является средством спасения от немощи растления и духовной пустоты» ( $C$  не есть  $B$ ); вывод: «Нам нужна эта война» ( $C$  не есть  $A$ ).

Поскольку меньшая посылка и вывод аргумента являются отрицательными в логическом смысле суждениями («растление и духовная

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Человек есть тайна. М.: Известия, 2003. С. 340–341.

<sup>2</sup> Аристотель. Риторика. 1377b. Т С. 72.

<sup>3</sup> Достоевский Ф. М. Там же. С. 341.

пустота – зло, от которого нужно избавиться»), содержание аргумента раскрывается через противопоставление инертной массы тем, кто обозначается местоимением «мы», кто презирает «лакейство мысли» и верит «в свою собственную и народа своего самостоятельность». Мировоззрение этой инертной массы и выражают «мудрецы», которые «кричат, что за них авторитеты, что за них Европа» и «свистят на несогласных с ними». Из этого противопоставления остро вычленяется фраза, которая и является, по существу, обоснованием меньшей посылки: «Нет, видно, правда, что истина покупается лишь мученичеством» (поскольку война – мученичество).

Итак, прагматический аргумент предполагает разработку образа аудитории, к которой он обращен, т. е. введения в аргумент; при этом если схема аргумента содержит отрицательные суждения, то возрастает значимость разработки образа оппонента, который нужен для противопоставления и контраста с объединенным образом автора и аудитории.

## Аргументы долженствования

Аргументы долженствования, посылки которых апеллируют к понятию долга, а не пользы, в той же мере, что и прагматические аргументы, нуждаются во вводящей конвенциональной части, т. е. в создании образа аудитории. Эта вводная часть аргумента может, как в примере [4.15], включаться непосредственно в его схему, и в таком случае словесный ряд аргумента часто содержит побудительные суждения, что вообще характерно для аргументов долженствования.

[4.15.] «Да, чем проникновеннее вы отнесетесь к прошлому, подготовившему почву для взрыва, тем священнее выполните свой судейский долг. Не механическую только сторону события рассудить вы призваны сюда, не осудить только руки, поднятые в порыве негодования, или лицо, искаженное бессилием противостоять порыву, – а тот процесс медленного набухания горя, гнева и отчаяния в человеческой груди, который привел, наконец, к роковой катастрофе. И тогда, пройдя этот путь познания, вы в силах будете сказать, волен или неволен этот грех человека»<sup>1</sup>.

Назначение аргумента к долженствованию в примере [4.15] в том, что он связывает изложение дела с технической аргументацией – обоснованием положения и тем самым занимает принципиально

<sup>1</sup> Шубинский Н. П. Защитительная речь по делу Киселева. С. 404.

важное место во всей системе аргументации защитника: вывод аргумента несколько раз воспроизводится и усиливается в заключении речи. Схема строится как условно-разделительное умозаключение с весьма неясным выражением логической схемы, которое можно рассматривать как софизм (нарушение правила вывода). С точки зрения апелляции существенно, что изучение «набухания гор в человеческой груди» включается в «проникновенное отношение к прошлому», которое включается в признание невольным «греха человека» (зарезавшего жену, мать троих детей), которое включается в «священное исполнение судейского долга».

Тем самым редукция аргумента к долженствованию включает в концепт долга, к которому и приводится апелляция, достаточно произвольно отобранные значения. Если в примере [4.14] прагматического аргумента использован реалистический пафос и разумное отношение народа к предмету речи противопоставляются «крикам» и «смеху» мудрецов, против которых и возбуждается гнев, то в примере [4.15] использован сентиментальный пафос — жалость к обвиняемому и столь же сентиментальное осуждение жертвы: «Нет ли тут вины других, их порочного отношения к жизни, их беззаботности к тому, что вызвало порыв негодования другого человека?»<sup>1</sup>

Аргументы к долженствованию имеют значительно меньшую убедительную силу, чем прагматические, что объясняется большей сложностью цепочки слов, протянутой от частного случая к общему понятию, с одной стороны, и критическим отношением ко всякому утверждению о долге — с другой.

## Аргументы необходимости

В содержательном смысле аргументы к необходимости являются наиболее сильными из аргументов к цели, поскольку цель представляется как необходимое или неизбежное решение, противоположность которому — столь же неизбежная неудача или катастрофа, которая часто и изображается в посылках аргумента. К совещательным аргументам такого рода прибегают обычно в избирательных кампаниях или при обсуждении целесообразности кардинальных реформ. При этом посылки аргумента к необходимости могут носить технический

---

<sup>1</sup> Шубинский Н. П. Защитительная речь по делу Киселева.

характер и быть близкими по смыслу к посылкам аргументов к реальности: различие состоит в том, что в вершине цепочки апелляций всегда лежит обращение к той или иной ценности. В последующем примере из речи П. А. Столыпина «О морской обороне» видно это обращение к иерархии ценностей.

[4.16.] «Для всех теперь, кажется, стало ясно, что только тот народ имеет право и власть удержать в своих руках море, который может его отстоять. Поэтому все те народы, которые стремились к морю, которые достигали его, неудержимо становились на путь кораблестроения. Для них флот является предметом народной гордости; это было внешнее доказательство того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти. Для этого недостаточно одних крепостей, нельзя одними крепостными сооружениями защитить береговую линию. Для защиты берегов необходимы подвижные, свободно плавающие крепости, необходим линейный флот.

Это поняли все прибрежные народы. Беззащитность на море так же опасна, как и беззащитность на суше. Конечно, можно при благоприятных обстоятельствах некоторое время прожить на суше и без крова, но когда налетает буря, чтобы противостоять ей, нужны и крепкие стены, и прочная крыша. Вот почему дело кораблестроения везде стало национальным делом. Вот почему спуск каждого нового корабля на воду является национальным торжеством, национальным празднеством. Это отдача морю части накопленных на суше народных сил, народной энергии. Вот почему, господа, везде могучие государства строили флоты у себя дома: дома они оберегают постройку флота от всяких случайностей; они дома у себя наращивают будущую мощь народную, будущее ратное могущество.

Эти вот простые соображения привели правительство к выводу, что России нужен флот. А на вопрос, какой России нужен флот, дала ответ та же комиссия государственной обороны, которая выразилась так: России нужен флот дееспособный. Это выражение я понимаю в том смысле, что России необходим такой флот, который в каждую минуту мог бы сразиться с флотом, стоящим на уровне новейших научных требований. Если этого не будет, если флот у России будет другой, то он будет только вреден, так как неминуемо станет добычей нападающих. России нужен флот, который был бы не менее быстроходен и не хуже вооружен, не с более слабой броней, чем флот предполагаемого неприятеля. России нужен могучий линейный флот, который опирался бы на флот миноносный и на флот подводный, так как отбиваться от тех плавучих крепостей, которые называются броненосцами, нельзя одними минными судами»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Столыпин П. А. Речь о морской обороне // Нам нужна великая Россия. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 151–52.

Положение аргумента – России нужен флот, включающий тяжелые боевые корабли – дорогостоящие линкоры и линейные крейсера. Сам по себе аргумент к необходимости (третий абзац примера [4.16]) недостаточен и требует обоснования прагматическими аргументами и аргументом к авторитету (первый и второй абзацы), поскольку аудитории вообще не очевидна необходимость строительства большого флота. Только через апелляцию к национальной идее оказывается возможным обратиться непосредственно к необходимости: в данном случае аудитория при всем разнообразии мировоззрения депутатов в соответствии со своим статусом Государственной Думы обязана принять топ о национальных интересах. Аргумент к необходимости обосновывает положение о том, каким именно должен быть новый дееспособный флот и как его следует строить (конец первого абзаца). Отрицательные послышки, назначение которых и состоит в утверждении невозможности иного решения, являются обязательной составляющей аргументов к необходимости.

<b>Глава 5. Система образов: строение словесного ряда</b> .....	347
Состав образов .....	349
Образ ратора .....	350
Образ аудитории .....	355
Образ оппонента .....	359
Образ предмета речи .....	365
<b>Образное пространство</b> .....	368
Образ инстанции .....	386
Оппозиции образов .....	387
Соотношение компонентов образного пространства .....	390

# Глава 5

## СИСТЕМА ОБРАЗОВ: СТРОЕНИЕ СЛОВЕСНОГО РЯДА

---

---

В риторической прозе стиль играет особую роль. Стилем определяется влияние риторического произведения. Стиль риторической прозы имеет свои особенности и отличается от стиля художественной литературы в первую очередь антиномичностью предпосылок. Требование *оригинальности* как новизны содержания и убедительности выражения противостоит требованию *уместности* как соответствия норме использования речевого приема в стандартной ситуации.

Стилистическое качество риторической прозы определяется соотношением пафоса и этоса: замысел, выбор темы речи, постановка и решение проблемы, выбор и построение словесных ходов аргументации являются органическими составляющими риторического стиля. Мысль воплощается в тексте в своем сложном содержании, в которое входит не только суждение, лежащее в ее основе, но и целый комплекс смыслов, связанных с обоснованием, оценкой, представлением адресату, интенциями говорящего, различного рода суппозициями.

Автор стремится создать и обосновать новые идеи, которые ожидает от него аудитория: новизна, значимость и оригинальность содержания в конечном счете дают право высказываться публично. Обычная критика риторики обращена именно к этой стороне риторического стиля: недостаток оригинальности и значимости содержания, банальность аргументации при использовании стандарт-

ного набора речевых приемов приводят к пресловутой «риторичности».

Аудитория стремится правильно понять автора и ожидает от него точной и ясной формулировки мыслей. Аудитория ораторской речи или читатели публицистического произведения обычно не склонны к словесным изыскам ради красоты речи как таковой — им нужно в первую очередь понять и оценить содержание. Но понятно содержание высказываний, форма которых узнаваема. Поэтому риторическое произведение обычно принадлежит к определенному виду словесности, форма которого соответствует сложившимся нормам. Если автор не соблюдает эти нормы, произведение утрачивает необходимые качества, на основе которых получатель понимает текст определенным образом, соответствующим его мыслительным и речевым навыкам. В этом состоит этос риторического стиля.

Итак, аудитория предъявляет автору этическое требование традиционной уместности, но ожидает от него пафоса — продуктивности идей и оригинальности их выражения. Столкновение этих двух в значительной мере взаимопротиворечащих тенденций становится основой стилистического усилия: стиль, по существу, есть словесная реализация риторического логоса. Логос предстает как набор словесных средств и речевых приемов, как общих для дискурсивной ситуации, так и характерных для данного автора. Эти речевые ресурсы систематизированы в речи автора и выделяют его из среды участников дискурса. Но критерии, по которым оценивают данного автора, — правильность, ясность, чистота, выразительность, сила, элегантность слога и т. п. — остаются эстетическими. Достаточно часто «риторический» стиль осуждается как чрезмерно и безвкусно украшенный различного рода тропами, фигурами, ритмическими конструкциями, «литературный», «монологический», но это осуждение предполагает утверждение чего-то иного, противоположного — лаконичности, точности, ясности, простоты, непритязательности, «разговорности», «диалогичности» и т. п., что в той же мере оказывается эстетической ценностью.

Стиль — обусловленное целесообразным отбором выразительных средств эстетическое качество произведения, которое позволяет понять замысел создателя и определить ценность текста в ряду других подобных.

## Состав образов

Риторическая проза по своему назначению содержит столкновение и состязание точек зрения. Проблема, ради решения которой и создается риторическое произведение, реальна и может быть разрешена различным образом. Поэтому произведение риторической прозы соотносится с конкретными людьми и поступками и хотя бы потенциально предполагает источник иной позиции и, следовательно, критику.

Предмет риторической прозы не только реальные факты и отношения людей, но даже в большей мере высказывания об этих фактах и отношениях. Эти реальные факты, лица и высказывания автор с определенной точки зрения изображает и представляет аудитории, которая обсуждает и оценивает как сами факты и лица, так и высказывания о них и принимает решение.

Искусство прозаического слова состоит в создании *цельной картины* обсуждаемой темы. Цельность такой картины является необходимым условием ее убедительности. Тому, кто принимает решение, предстоит сказать «да» или «нет» о пропозиции ратора, а сами по себе факты и отношения людей запутаны и неоднозначны. Ритор стремится по возможности свести массу полутонов и оттенков реальности к черному и белому, тем самым облегчая решение стоящей перед аудиторией задачи. Недаром платоновский Сократ называл свою диалектику «мейовтикой» — методом повитухи.

Такая картина проблемы представляет собою совокупность сбалансированных словесных образов, охваченную сетью сюжета.

Риторическое произведение содержит:

- 1) образ ратора,
- 2) образ оппонента,
- 3) образ предмета речи,
- 4) образ аудитории и
- 5) образ инстанции аргументации,

которые противопоставляются и могут частично объединяться в ходе развертывания текста или расслаиваться и выделять более дробный и сложный набор образов. Взаимное отношение и столкновение этих образов составляет основу сюжетного конфликта, который создает словесную форму риторического произведения.

Эта словесная форма может быть или не быть художественной в зависимости от представлений общества об уместности художественного изображения реальной действительности в деловой или

философской речи. Для построения системы образов используются различного рода стилистические средства: отбор слов, тропы, синтаксические конструкции, фигуры речи, чередование периодической, т. е. ритмически организованной, и непериодической речи, различные композиционные приемы.

В произведении риторической прозы система образов не обязательно представлена в полном составе. В зависимости от жанра, темы, цели, которую ставит перед собой автор, этических условий и обстоятельств те или иные образы могут быть только намечены или даже вовсе отсутствовать, но образы *ритора, аудитории и предмета* представлены практически в любом произведении. Система образов проявляется тем полнее и отчетливее, чем больше произведение риторической прозы включено в отношения соревнования и полемики и чем сильнее конкретный результат речи зависит от решения аудитории, — такова судебная и политическая ораторская речь, которая недаром считается наиболее трудным видом риторической прозы.

В образной системе риторического произведения могут быть выделены два разряда образов — *ролевые образы* и *нарративные образы*.

**Ролевые образы** — *автора, оппонента* и *аудитории* — предстают как участники обсуждения проблемы. Это отправители и адресаты речи, к ним обращается и с ними полемизирует или соглашается автор.

**Нарративные образы** предстают как лица или события, о которых идет речь.

## Образ ритора

Образ ритора является основным элементом системы. Существует общепринятое в культуре представление об образе ритора как «риторическом идеале», но конкретный образ ритора определяется выраженным в слове замыслом и отношением субъекта речи к проблеме и к другим участникам дискуссии — *дискурсивным контекстом*.

Дискурсивный контекст представляет собой совокупность лиц, организаций, публичных высказываний, образующих речевую ситуацию, в которой происходит публичная речевая деятельность ритора. В отношении к составляющим этой конкретной ситуации складывается образ ритора. В его высказываниях в прямой или косвенной форме фигурируют люди, которых он поддерживает или с которыми полемизирует, и их сообщества; идеи, которые он принимает, отвергает или к которым остается безразличным; сюжеты и лица,

которые он изображает. Поэтому образ ратора как таковой может опознаваться, следовательно, существовать только в отношениях с другими образами.

Этическая основа образа ратора-субъекта — совместимость с общекультурным представлением о риторическом идеале. Оппозиции образов, в особенности оппозиции *автор/оппонент* и *автор/аудитория*, предполагают соотнесение норм риторического идеала с оценкой ратора с позиции общества, что обычно выражается в полемических высказываниях о нем, и с его оценкой с позиции непосредственной аудитории.

От того, как ритор выражает свое отношение к нравственным ценностям, продуктивным для общества в данное время, зависит его оценка аудиторией как частью данного общества *с точки зрения риторического идеала*.

От того, как автор выражает свое отношение к дискурсивному окружению — аудитории и оппоненту, — зависит его оценка непосредственной аудиторией *с точки зрения ораторских нравов*. Эта позиция, естественно, создается воззрениями аудитории и отношением к автору речи и может быть различной в зависимости от конкретной тематики речи. В этой перспективе связи оратора или писателя с аудиторией развертывается конкретная форма ролевого образа автора.

С. А. Андреевский в приводимой ниже защитительной речи строит свой ролевой образ в виде борца за правду. Он же в речи по делу братьев Келеш, где аргументация ведется в статусе установления, а общественное мнение настроено против его подзащитных, предстает в образе объективного исследователя обстоятельств дела. В речи С. А. Андреевского по «делу о брошке» обращает внимание изобилие «риторических украшений» — тропов, фигур, художественных форм повествования и описания, в то время как в речи С. А. Андреевского по делу братьев Келеш и в других произведениях различных авторов, в которых строится ролевой образ ратора — объективного исследователя, эмоционально-художественные средства обычно сводятся к минимуму или вуалируются.

Ролевой образ ратора в его вариантах представлен в различных видах и жанрах риторической прозы, и, естественно, на его стилистическое воплощение влияет как строение образной системы, так и функционально-стилевые нормы философской прозы, публицистики, богословской полемики, судебной или политической речи и т. д.

В книге И. А. Ильина «Взгляд в даль» (1945) образ автора-воспитателя, автора-пророка создает украшенный, даже несколько витиеватый стиль изложения.

[5.1.] «Навстречу духовному обновлению идет современный мир. Но одни, должно быть, еще не видят этого, потому что непомерно велик трагизм эпохи, который поглощает все их силы; другие, возможно, и почувствовали необходимость обновления, но не видят пока надежного пути и не знают, куда податься. Однако обновление неизбежно начнется, начнется как бы само собой и начнется тогда, когда прежние источники исчерпают себя, когда человеческие страдания станут невыносимыми.

Вот почему столь важно для нас предвосхитить ход событий и уразуметь, что делать. Ведь недостойно человека плыть по воле рока: важно предугадать свою судьбу и заняться ее совершенствованием. Каких только испытаний, смут и бед не посылает Всевышний на человека, чтобы тот одумался, пришел в себя, вспомнил о том, что он свободный созидатель, открыл в себе глубинные духовные пласты и уже оттуда, изнутри, начал свое обновление — вольно, дерзновенно и настойчиво.

Поразмыслим прежде всего над тем, что мы утратили. Человечество попыталось создать культуру без *веры*, без *сердца*, без *созерцания* и без *совести*; и вот налицо несостоятельность ее и распад. Люди не захотели больше *веровать*, потому что убедили себя, что *вера* есть нечто „противоразумное“, „ненаучное“ и „реакционное“. Отреклись они и от *сердца*, потому что сердце показалось им помехой для инстинктов, „глупым“, сентиментальным, лишаящим человека деловитости, в то время как „умный“ человек жаждет оставаться эгоистом и „дельцом“. Отринули люди и *созерцание*, потому что их холодный ум отменяет „беспочвенную фантазию“, считая „прозу“ самым важным в жизни. Вытеснили из себя и *совесть*, потому что ее живые увещевания не укладываются в контекст трезвой оборотистости. А за всем этим открывается ложный стыд предстать бедным и незаметным, прослыть ребячливым и смешным — неудовлетворенное честолюбие и страх перед „общественным мнением“.

Это ложный стыд будет преодолен великими страданиями эпохи, ибо страдания есть истинная реальность, есть „бытие“, реальное настолько, что человек забывает о своем желании „казаться“ или „прослыть“. Но это означает, что ему придется еще долго терпеть и, может быть, даже в неизведанных им формах гнета и унижения, и терпеть до тех пор, пока не угаснет в нем все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырвется наружу победоносно исток внутренней реальности и творческой силы. Человек должен снова почувствовать *настоятельную необходимость в подлинной реальности, субстанции бытия и жизни*. Тогда только разыграет в нем душа, тогда только он свободно и решительно предастся сердечному созерцанию и, обретя при этом Бога, примирит-

ся со своей совестью и начнет творить новую культуру — новую веру, новую науку, новое искусство, новое право и новую социальность.

Когда начнется это осмысление и когда наступит этот творческий порыв, предсказать трудно. Но мы должны уже теперь всевозможными способами и со всевозможных точек зрения попытаться установить правильный диагноз современного духовного кризиса и нащупать новые пути обновления.

К этому особенно призвана философия как любовь к мудрости, как созидательная потребность в божественных содержаниях, как воля к очевидности в делах сопредельных и предельных; и философия поступит правильно, если посвятит себя такой задаче»<sup>1</sup>.

Главная трудность эпидейктической риторики состоит в праве на речь: на каком основании автор счел возможным поучать человечество и судить о его нравственном состоянии? Утвердить право на эпидейктическую речь — значит поставить себя в определенное отношение к аудитории, оппоненту и предмету.

Это делается посредством так называемой *контекстной зналаги* местоимений и форм глагола — смещения, совмещения и разведения значений слов, обозначающих участников речи: *мы, вы, они*. Автор начинает с первого лица множественного числа: *поразмыслим, мы*. Это *мы* противопоставляется *человечеству* как безличному обозначению всех, но со значением *они*. Слово *человечество* отделяет автора и аудиторию от всех остальных и открывает возможность противопоставить аудиторию всем остальным *людям*. Это люди, уже *они*, которые не захотели больше «веровать». Стало быть, раньше хотели, но «убедили себя», «отреклись от сердца» и назвали себя *умными*, а тех, кто не отрекся, — *глупыми*: в тексте слово стоит в кавычках, чем подчеркивается, что это именно *их, этих людей*, слово.

Выходит, что *они* считают глупыми *нас с вами*, которые от сердца не отреклись. И *эти люди* «жаждут остаться эгоистами» и «дельцами» опять же в кавычках — это тоже *их* слово. Далее автор характеризует *этих людей*, указывая действительную причину такого *их* мнения о *нас с вами*: они боятся общественного мнения, потому что честолюбивы и трусливы. Итак, *мы*, которых автор приглашает поразмыслить, противопоставим *им*, которые сознательно стали эгоистами и дельцами.

«Пусть гнев, — указывает Аристотель, — будет определен, как соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому, что представляется наказанием за то, что представляется пренебрежением или

<sup>1</sup> Ильин И. А. Взгляд вдаль. Книга размышлений и упований // Собр. соч. Т. 8. М.: Русская книга, 1998. С. 343–344.

к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало»<sup>1</sup>.

Но *всем*, не только *им*, но и *нам*, предстоит преодолеть этот *их* ложный стыд страданиями, и только тогда, когда начнется это осмысление, *они* поймут *нашу* действительную правоту, примирятся Богом и со своей совестью и «*начнут творить действительную культуру*». Но *мы*, которые эту совесть не утратили, *хотя у нас и разные взгляды*, должны совместными усилиями найти эти «пути обновления».

Далее автор деликатно отграничивает себя от аудитории: к этому поиску призвана *философия* — безличная область мысли, задачи которой определяются. Но автор — философ, следовательно, вместе со всей философией поступит правильно, если попытается решить эту задачу. Несколько далее автор указывает на практическую необходимость философского предвидения как педагогическую задачу:

«Философии придется обратиться прежде всего к проблеме воспитания, чтобы указать на его важнейшие, упущенные современной эпохой задачи, а именно: будить духовное начало уже в детском инстинкте, укреплять в человеке собственную предметную силу суждения, волю к духовной цельности»<sup>2</sup>.

Ритор в примере [5.1] предстает как *педагог-воспитатель*: пафос речи направлен к новым поколениям, к освоению ими наследия духовной культуры, на основе которой и возможна созидательная деятельность.

Риторическая техника, которую использует И. А. Ильин, ни в коей мере не является ни новшеством, ни приемом введения в заблуждение — это обычный, известный с незапамятных времен ход мысли (фигура речи), который, правда, применяется с бóльшим или мёньшим успехом в зависимости от одаренности и литературного мастерства писателя.

Соотнесенность аспектов образа ратора и создает этическую основу авторского стиля И. А. Ильина. В риторическом стиле этого типа следует ожидать художественную прозу, приближенную к классической оратории, как у Платона.

<sup>1</sup> Аристотель. Риторика. 1378а, 32–33. С. 72.

<sup>2</sup> Ильин И. А. Взгляд вдаль. С. 344.

## Образ аудитории

Аудитория — источник этоса. Образ аудитории конструируется применительно к конкретному образу ратора и предмету речи, поскольку основная задача здесь состоит в подготовке аудитории к положительной оценке образа ратора и присоединению к аргументации.

Образ аудитории не является изображением данной, реальной совокупности людей, к которым обращается оратор или писатель, а предстает как некое идеальное *мы* или *я* в зависимости от вида речи, которое в силу своих нравственных и интеллектуальных качеств готово принять то правильное решение, которое ритор предлагает как достойное этого *я* или *мы*. Стилистическая же задача ратора и состоит в том, чтобы реальные слушатель или читатель согласились отождествить себя с этим идеальным образом.

Ритор стремится построить такое представление аудитории о ней самой, при котором она признает для себя возможным принять те апелляции к реальности, авторитету или к своим собственным целям и ценностям, к которым прибегает ритор, и готова объединиться с ним в общем «мы». Образ этот создается как выбором регистра речи и соответствующих лексико-стилистических средств, так и особыми *презумпциями*, приемлемыми для того круга людей, к которому относит себя аудитория, оценками, которые она считает правильными. Презумпции обычно выражаются как нечто само собой разумеющееся: «если не допускать сказки», или «такие штуки выкидывает только случай, а не умысел», или «скромного ремесла было мало для предприимчивости».

Аудитория может осознавать себя как универсальную или как частную. Самосознание аудитории как универсальной или частной есть факт ее мировоззрения. Универсальность аудитории означает, что она рассматривает свои ценности и цели как «естественные» или «общечеловеческие». Осознание аудиторией себя в качестве частной означает признание своей особенности в отношении к другим аудиториям как культурно-историческим сообществам, которые имеют равные основания иметь иное мировоззрение и иные ценности и цели, что подразумевает своего рода релятивизм топики.

Для русской аудитории характерно двойственное отношение к универсальности аргументации. Универсальная аргументация и соответственно универсальная аудитория формируются гомилетикой и философской прозой. Частная аудитория формируется в основном

исторической прозой и философией истории. Русская аудитория сложилась гомилетикой и исторической прозой. Гомилетика и историческая проза и формируют самосознание русской аудитории, для которого характерны универсализм духовно-нравственных ценностей в сочетании с частным характером исторического опыта России. Это сочетание духовно-нравственного вероисповедного универсализма и историко-культурного релятивизма создавало и создает напряжения в системе топики. Попыткой преодоления этого напряжения и стал российский марксизм-ленинизм, для которого характерно представление об универсальности и этической целесообразности исторического развития («прыжок из царства необходимости в царство свободы») и подчинение духовно-нравственных ценностей историческим с вытекающим из этого подчинения историческим мессионизмом. Попытка эта оказалась неудачной, так как неизбежно вносила релятивистские представления в духовно-нравственную топику, признание историчности нравственных норм равносильно их отрицанию. Современная российская аудитория, как показывает политическая риторика последних лет, сохраняет это характерное для русской культуры сочетание универсальной и частной топики, впрочем, вполне продуктивное для развития общества при условии, что оно ориентировано на культурный консерватизм — почвенничество.

Образ ратора часто объединяется с образом аудитории в технической аргументации — в обосновании и опровержении. Поскольку риторический аргумент включает в себя положение, схему, топ и редукцию, именно в этих его компонентах проявляется диалогичность монолога, взаимодействие образов. Топ аргумента, по определению, принадлежит аудитории, положение и редукция связывают эти отношения в единый словесный ряд, соотносятся с пафосом и принадлежит ратору, схема относится к логосу и принадлежит ратору и аудитории одновременно. Поэтому словесная ткань аргументации приобретает особо сложный характер и требует тщательного анализа.

Построение образа аудитории связывается с различными инструментами объективизации содержания речи и одновременно субъективизации ее источника, часто в виде эналлаги местоимений.

[5.2.] «Положим, я сижу на берегу большой реки. Я вижу вдали что-то похожее на туман; потом впечатление проясняется, и я отчетливо воспринимаю какой-то дымок. Может быть, это — поднявшееся над рекой облако; может быть, это — дым отдаленной фабричной трубы или идущего вдоль берега паровоза. Но вот дымок, казавшийся сначала

неподвижным, начинает приближаться, следуя извилинам реки; а вместе с тем мое ухо ясно начинает различать усиливающееся по мере приближения шлепанье по воде. И вдруг мне окончательно становится ясным несомненный смысл всего воспринимаемого, смысл, разом превращающий весь хаос моих восприятий в единую целостную картину. Это — пароход идет вниз по течению. Все, что раньше мне представлялось или казалось, — облако, дым фабрики или паровоза — отбрасывается мною как только мое, мнимое, психологическое. Я нашел нечто сверхпсихологическое, что больше всех моих ощущений, переживаний, мыслей, общее искомое моих мыслей, которое ими предполагается и которое поэтому называется „смыслом”. В отличие от всего того мнимого, кажущегося, что я отбросил, это мысленное содержание, сознаваемое мной как смысл, утверждается мной как общеобязательное»<sup>1</sup>.

Кто этот «я»? Это не профессор кн. Евгений Николаевич Трубецкой, рассказывающий читателю, как он однажды принял пароход за паровоз. Это — «я» применяет к себе читатель, а сам по себе пример [5.2] — сложное умозаключение, одной из посылок которого является описание истории с пароходом. За ним следует повествовательная форма, в которой продолжается рассуждение: она нужна для усиления вывода, который, однако, строится, как описание, на основе возвратного глагола «утверждается» в настоящем времени.

В результате складывается образ аудитории — некоего универсального «я», объективно наблюдающего за своими субъективными переживаниями в их отношении к реальности и приходящего в вывод.

Помимо эналлаги важнейшим инструментом создания идентичности автора и аудитории является синтез форм повествования, описания и рассуждения в построении аргумента. И если в примере [5.2] достигнута та степень идентичности автора и аудитории, которая требуется в философской прозе, в отличие от судебной оратории, то в примере [5.3] автор не полностью слит с аудиторией.

[5.3.] «Но вот еще одно очень важное соображение.

Все мы имеем громадное и в то же время несправедливое преимущество перед подсудимыми. Мы смотрим на вещи, имея перед собою уже открытую „книгу судеб”, которая для них оставалась в тайне. Мы знаем превосходно, что крах банка наступил. А они, когда им приходилось действовать, этого и во сне не видели. Не лиши себя жизни Алчевский, помоги ему вовремя министр финансов, — екатеринослав-

<sup>1</sup> Трубецкой Е. Н. Смысл жизни // Трубецкой Е. Н. Избранное. М.: ОИ «КАНОН»; ОИ «Реабилитация», 1997. С. 10.

ской катастрофы не случилось бы. А теперь-то легко давать наставление каждому, как бы следовало ему поступать, а тогда?!

Конечно, Бразоль бы не судился, если бы при первом же нарушении устава ушел. И вот я прошу вас подумать: а что бы произошло, если бы Бразоль ушел?

Во-первых, тотчас бы найден был директор, который беспрекословно повиновался бы Любарскому-Письменному и Макарову, — настоящий *homme de paille*<sup>1</sup>, подставное лицо, с готовым жалованьем и без всякой работы.

Во-вторых, при таком директоре никакого бы удержу биржевой игре не было, а „Успенское”, которое его заставили бы купить, было бы продано во всякую минуту без всякой церемонии еще задолго до побега Макарова и было бы проиграно»<sup>2</sup>.

Слова «все мы» указывают на это объединение риторы и аудитории в универсально-значимом рассуждении, которое приводит к решению, но решение принимает аудитория — коллегия присяжных. К образу аудитории в особенности относятся слова «и вот я прошу вас подумать», «а теперь-то легко давать наставление каждому, как бы следовало ему поступать, а тогда?» Последние также объединяют аудиторию с ритором: они вместе думают и поэтому судят здраво, в отличие от «некоторых недалёковидных людей», которые готовы «давать наставления». На этическую сторону образа указывают слова о «несправедливом преимуществе», последствия которого предстоит исправить. Это указание усиливается вопросами, которые вместе с паузами и ответами создают фигуру сообщения: вопрос от говорящего и ответ от аудитории. Тем самым слова ратора превращаются в слова аудитории, которая проницательно догадывается о том, что было бы, если бы подсудимый вовремя оставил свою должность.

Образ аудитории развивается и формируется на протяжении всего текста, чтобы рекапитуляция и заключение также стали выражением ее собственного решения.

Это соотношение автора и аудитории проявляется в стиле примера [5.3] в сравнении с примером [5.1]. Речь Е. Н. Трубецкого значительно проще речи И. А. Ильина в смысле использования тропов, фигур, синтаксиса, поскольку Е. Н. Трубецкой стремится говорить «словами читателя», используя, однако, ряд специфических для философской речи слов и оборотов.

<sup>1</sup> Франц. «*homme de paille*», букв. «соломенный человек» — человек, который принимает личную ответственность за сомнительную сделку, в которой заинтересованное лицо не хочет или не может непосредственно участвовать.

<sup>2</sup> Андреевский А. С. Избранные труды и речи. С. 194–195.

Эпидейктический образ философа-педагога здесь лишен пророческого элемента, автор стремится растолковать свои мысли максимально просто, ясно и доказательно, что и является средством полного объединения с читательской аудиторией. Если сравнить примеры [5.1]–[5.3] с примером из речи Цицерона [5.6], то можно видеть, что чем более речь приближена к ораторской прозе и, главное, к образу оратора – воспитателя нравов, тем более активно используются средства сведения и разведения образов, инструментарий «украшения» и периодическое построение синтаксических конструкций, заметные даже в переводе. Пафосные типы образов органически требуют украшенной речи.

## Образ оппонента

Образ оппонента также зависит от образов ратора и аудитории, но в своей отрицательной модальности определяется противопоставлением образам ратора и аудитории и общим требованиям этоса.

Образ оппонента в различной степени разработки практически всегда присутствует в риторической прозе, поскольку он должен давать контраст с образами ратора и аудитории и создавать известный смысловой упор, напряжение, необходимое для выражения пафоса и принятия решения. Но самое важное – образ оппонента служит для ограничения пространства выбора решения. В принципе может быть бесконечное число решений проблемы, оппонент же требуется для сведения числа возможных решений к минимуму, желательно к двум.

Поэтому основные задачи построения образа оппонента – изображение его позиции в опровергаемом аспекте часто с редукцией всего содержания точки зрения оппонента к этому опровергаемому аспекту и компрометация оппонента через изображение и опровержение его позиции или через иные обстоятельства деятельности, высказываний, связей оппонента, общественного мнения о нем, так или иначе связанные с опровергаемой позицией.

Так, в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский использует для компрометации оппонента повествование об отдельном эпизоде на похоронах Некрасова, ироническое изображение которого дает основание уличить полемического противника во лжи и высмеять его. При этом косвенно компрометируется и образ самого Некрасова.

[5.4.] «Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был *выше*

Пушкина и Лермонтова и что те были только „байронисты“. Несколько голосов подхватили и крикнули: „Да, выше!“ Я, впрочем, о высоте и сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться. Но вот что вышло потом: в „Биржевых ведомостях“ г-н Скабичевский, в послании своем к молодежи по поводу значения Некрасова, рассказывая, что будто *кто-то* (т. е я), на могиле Некрасова, вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все (т. е вся учащаяся молодежь) *в один голос, хором* прокричали: „Он был выше, выше их“. Смею уверить г-на Скабичевского, что ему не так передали и что мне твердо помнится (надеюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнул всего один голос: „Выше, выше их“, и тут же прибавил, что Пушкин и Лермонтов были „байронисты“, – прибавка, которая гораздо свойственнее и естественнее одному голосу и мнению, чем *всем*, в один и тот же момент, то есть тысячному хору, – так что факт этот свидетельствует, конечно, в пользу моего показания о том, как было это дело»<sup>1</sup>.

Ритор «выразил мысль», «смеет уверить», «показал» — оппонент «крикнул», «рассказал, будто бы», несколько голосов «подхватили и крикнули»; в комическом изображении выдумки оппонента аудитория прокричала «тысячным хором».

Степень компрометации оппонента может быть различной и определяется характером проблемы, замыслом и тактом ратора. В примере [5.5] Н. П. Шубинский строит образ оппонента корректно. В соответствии со сложностью задачи — добиться полного оправдания в статусе оценки по явно очевидному делу — он компрометирует оппонента в меру необходимости и не рискует поплатиться за увлечение полемикой утратой авторитета, что было бы равносильно провалу.

[5.5.1] «Подробности настоящего дела кратки и немногосложны. Они состоят из откровенного рассказа самого обвиняемого и шести свидетельских показаний. И все-таки они с замечательной ясностью и силой рисуют перед нами многолетнюю и глубокую драму человеческой жизни. Я не понимаю только, почему неискренними считает объяснения обвиняемого г. прокурор. Право, я редко встречал такую прямоту, такое мужество в передаче обвиняемым каждого факта, каждого события, какие желал бы знать и установить даже против него суд. Не вижу я и той озлобленности и жестокосердия, какие находит в душевном состоянии его г. обвинитель в роковой для него день 21 июня <...>».

В первом фрагменте примера оппонент представлен с субъективной позиции («я не понимаю»), но вводится его первая характеристи-

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Человек есть тайна. М.: Известия, 2003. С. 391.

ка через противопоставление нейтрального «прокурор» и экспрессивного «обвинитель», причем «прокурор» дается в нейтральном контексте слов «неискренними считает объяснения обвиняемого», а «обвинитель» — в окрашенном: «той озлобленности и жестокосердия, какие находит в душевном состоянии его» в противоположность субъективному, но также более экспрессивному «не вижу». Прокурор предстает как *обвинитель* не в терминологическом, а в обычном смысле. Позиция автора связывается, однако, с объективными показаниями свидетелей и обвиняемого, чем противопоставляется позиции оппонента, которая предстает как только субъективное мнение, а заодно отмечается совпадение объяснения обвиняемого и свидетельских показаний, которые подкрепляют друг друга.

[5.5.2] «Нет, я думаю, тогда произошло раздвоение, в нем померк под давлением роковых событий — горя, отчаяния, стыда, душевных мук — бодрый, мягкий, любящий человек и вырвалась наружу гневливая воля оскорбленного и негодующего мужа...

Отчего случилось это? Здесь я охотно присоединюсь к призыву г. прокурора и прошу изучить прошлое, проследить, как дошел обвиняемый до рокового порыва <...>».

Во втором фрагменте примера, который содержит *фигуру уступления*, автор соглашается с оппонентом в необходимости «проследить прошлое», но дальнейшее изучение прошлого предвосхищается его характеристикой, которая уже здесь противопоставляется оценке, предложенной оппонентом: обвиняемый назван «бодрым, мягким, любящим человеком», а его деяние — «роковым порывом». Эта характеристика противопоставляется характеристике, сделанной оппонентом, слова которого *изображаются* (оратор скорее всего не воспроизводит слова обвинителя, а интерпретирует смысл сказанного оппонентом) в первой фразе: «гневливая воля оскорбленного и негодующего мужа».

[5.5.3] «Г. прокурор говорит: „Еще 8 лет тому назад появилось облачко на горизонте семейной жизни Киселевых — пьянство жены, постепенно перешедшее в тучу, но ‘разразившуюся не благодатным дождем’, а событием, за которое вы нынче судите мужа. Да, я вполне присоединяюсь к образному сравнению г. прокурора, но только прошу вас припомнить, что туча шлет не один только благодатный дождь, но и молнии, которые разрушают все, что встречают на своем огненном пути” <...>».

В третьем фрагменте автор трансформирует аргумент оппонента в контраргумент: он использует слова обвинителя, но делает противоположный вывод, обращая при этом к аудитории — присяжным:

«но только прошу вас припомнить». Это — главная посылка защиты: *поведение пострадавшей является действительной причиной убийства*. Присоединение аудитории в автору означает признание последовательности его аргументации и, следовательно, непоследовательности аргументации оппонента, что усиливается оценкой сравнения, сделанного прокурором, как «образного» и развитием этого образа путем *метонимического приращения* («не один только благодатный дождь, но и молнии, которые разрушают все, что встречают на своем огненном пути»).

[5.5.4] «Не механическую только сторону события рассудить вы призваны сюда, не осудить только руки, поднятые в порыве негодования, или лицо, искаженное бессилием противостоят порыву, — а тот процесс медленного набухания горя, гнева и отчаяния в человеческой груди, который привел, наконец, к роковой катастрофе. И тогда, пройдя этот путь познания, вы в силах будете сказать, волен или неволен этот грех человека <...>».

Четвертый фрагмент особенно интересен. Как ход косвенной компрометации он непосредственно связан с предшествующим. Во вводной части аргумента автор обращается к присяжным, указывая на их нравственный долг и высокое общественное призвание. В основной части строится дилемма «или-или». Первый член дилеммы, выраженный в форме метонимии — «не осудить только руки, поднятые в порыве негодования, или лицо, искаженное бессилием противостоят порыву», — относится к позиции оппонента, изображенной в предшествующих фрагментах, а второй — «а тот процесс медленного набухания горя, гнева и отчаяния в человеческой груди, который привел, наконец, к роковой катастрофе», — к общей позиции автора и аудитории. Этим автор и аудитория противопоставляются оппоненту уже в нравственном плане.

Это противопоставление обостряется значимым словом «бессилие»: оппонент жестоко осуждает «бессильного», «слабого», «неспособного противостоят порыву», а аудитория благородно сопереживает «процессу набухания горя в человеческой груди». Это «бессилие» подсудимого замечательно еще и в том отношении, что оно сочетается с подразумеваемым состоянием «бессилия» аудитории, которая, только «пройдя этот путь», будет «в силах» высказаться о «грехе человека», — присяжным уже приписывается роль исповедника.

Весь этот инструментарий повышения значимости и позитивности аудитории и соответственно автора одновременно означает понижение значимости и позитивности оппонента и как следствие —

углубление единства автора и аудитории, обострение их противопоставления оппоненту. Повышение значимости и положительной оценки образа влечет за собой понижение положительной оценки (не обязательно значимости) противопоставленного ему образа.

[5.5.5] «Есть мудрая пословица: „Муж пьет – полдома горит, жена пьет – весь дом горит”. Здесь было не только употребление покойной вина для веселья или бодрости; нет, это был твердо вкоренившийся порок. „Пила всегда одна, без мужа, до безобразия, до бесчувствия”, как показывают свидетели. Г. прокурор говорит – это была болезнь. Да, но от которой больше всего страдали другие, и болезнь неизлечимая, если не сделает усилий сам больной. Однако же, при муже она умела сдерживать себя: пила, когда оставалась одна. Значит, владеть еще могла собою. Подумайте, что должен был испытывать муж ее? Это, ведь, не работница, не кухарка – ее не сгонишь со двора... Они связаны были вечными узами! <...>»

Пятый фрагмент закрепляет противопоставление оппонента аудитории. Образ оппонента должен быть отрицательно оценен не только с позиции автора, но и с объективной позиции аудитории. Автор объективирует свою позицию используя фигуру, называемую *концессией*. Как бы соглашаясь с обвинителем («Г. прокурор говорит – это была болезнь. Да...»), он продолжает мысль, придавая ей смысл, опровергающий суждение оппонента («...но от которой больше всего страдали другие, и болезнь неизлечимая, если не сделает усилий сам больной»), перенося тем самым груз ответственности за убийство с обвиняемого на жертву, которая могла, но не сделала усилий, чтобы избавиться от порока, что обосновывается аргументом «при муже могла себя сдерживать», следовательно, не хотела избавиться от порока.

Далее – обращение к аудитории («подумайте...»), которое переводит ситуацию из позиции авторского изложения в позицию получателя речи. Присяжный видит себя в своей семейной жизни на месте обвиняемого и размышляет о том, что жена «не кухарка» (здесь примечательны обобщающее второе лицо глагола и фразеологизм, отражающие речь присяжных («не сгонишь со двора»). Бóльшая посылка аргумента, апелляция к авторитету («Они связаны были вечными узами!») утверждает правильность такого взгляда на супружеские отношения.

[5.5.6] «Но вернемтесь еще раз на одну минуту к основному утверждению обвинителя. Он настаивает на умысле на убийство у обвиняемого. Сопоставьте это утверждение с фактами дела. К роковому для него дню он выстраивает большой и ценный дом, отдается всегдашним

заботам жизни, строит лавку и, весь погруженный в деловые заботы, возвращается домой. Где же тут место умыслу? Умысел, если бы он в действительности существовал, нашел бы иные формы покончить с женою. Да и зачем было искать их? Стоило только не побережь ее, чтобы случай явился и сделал то, что сделала его рука. Нет, здесь была нечаянность, роковой момент, затмение человеческой мысли. Я знаю, вам будут говорить: „Да, ведь, не мог же он не знать, ударяя топором, что он лишает жизни”. Это – не признак умысла. Сумасшедший, стреляя в другого, тоже знает, что лишает жизни; животное, ударяя рогами, знает и хочет отнять жизнь. Но их не судят: у них нет рассудка. То же бывает и с человеком. У одних в злые минуты – гнева, злости, ожесточения, у других – в пору горя, скуки, стыда, отчаяния. Последнее и есть признак помрачения ума, бессилия воли, способной удержать порыв, сдержать негодование. По-моему, все эти черты здесь налицо перед вами, и вам надо решать, что здесь – злодеяние или несчастье – и решить, только руководясь одним своим убеждением, ибо только вы несете ответ за свои слова. Закон наделяет вас величайшей властью – определять виновность и невиновность. И нет границы ей, кроме вашей совести. Отпустив его, вы скажете лишь: „Да рассудит их Бог”. Теперь я отдаю вам его судьбу. Да укрепит Господь ваш разум, да смягчит ваши сердца!..»<sup>1</sup>

Шестой фрагмент – рекапитуляция, которая связывает в узел все линии аргументации и образной системы речи и побуждение. Оратор сводит оппозиции «обвинителя», который «настаивает», с «фактами дела» и с аудиторией, которая сопоставляет утверждение обвинителя с фактами. Аудитория рассуждает словами адвоката и приходит к выводу: «Нет, здесь была нечаянность, роковой момент, затмение человеческой мысли». Затем адвокат, уже от своего лица, строит фигуру *предупреждения*, доверительно сообщая аудитории: «Я знаю, вам будут говорить: „Да, ведь, не мог же он не знать, ударяя топором, что он лишает жизни”» и опровергает эти сомнения сравнительным аргументом – не самым сильным с точки зрения логической, но уместным как образ, устойчиво создающий сомнение в вине подсудимого, что искусно связывается с отделением автора от аудитории в побуждении, потому что именно на аудиторию нужно возложить нравственную ответственности за решение. В этой связи «будут говорить» (кто?) приобретает особый смысл: аудитория ставится выше всех – и прокурора, и адвоката, и судьи, – и ее совесть остается наедине с Богом.

<sup>1</sup> Шубинский Н. П. Речь по делу Киселева. С. 402 -408.

Образ оппонента может строиться как дискретно, в отдельном композиционном фрагменте, так и постепенно, таким образом, что фрагменты, непосредственно компрометирующие оппонента, чередуются с фрагментами, в содержательном и стилистическом отношении подготавливающими смысловые узлы, в которых компрометация содержится непосредственно.

В примере [5.5] изображение оппонента разворачивается постепенно на протяжении всего текста речи. При построении образа обычно избегают прямых инвектив и отрицательных характеристик, но :

- во-первых, обозначения оппонента строятся выбором из синонимического ряда слов с нарастающим отрицательным значением или отрицательной коннотацией;
- во-вторых, обозначения оппонента сопровождаются выражениями с отрицательным значением в близком контексте, что создает соответствующие ассоциации;
- в-третьих, критика позиции оппонента связана в контексте с кульминацией этического конфликта, когда аудитория противопоставляется оппоненту в нравственном отношении [5.6];
- в-четвертых, компрометация оппонента связана с компрометацией лиц или обстоятельств, которые он представляет как положительные, и представлением в положительном свете лиц или обстоятельств, которые он представляет как отрицательные;
- в-пятых, компрометация может быть непосредственной [5.4] и косвенной [5.5] в зависимости от этических условий и задачи, которая стоит перед ритором.

## Образ предмета речи

Образ предмета речи оказывается самым сложным и изменчивым в образной системе риторического произведения. Риторическая проза предметна.

Существует определенный изоморфизм семантико-синтаксической организации предложения в виде системы актантов, системы внутренних топов и соответствующих им типов аргументов, семантико-стилистической организации текста в первую очередь в виде нарративных структур, наконец, строения отдельного высказывания с его образной системой.

Однако этот изоморфизм относителен в том смысле, что состав грамматических приемов синтаксической организации текста

принципиально ограничен устройством системы языка, а состав возможных аргументов ограничен так называемыми «логическими» условиями построения как правильных, так и неправильных умозаключений, в которых, однако, должна сохраняться семантическая (топическая) связь между терминами. При этом важно учесть, что логика, причем не только в своих истоках, является системой моделей предложения, снятых с предложений определенной структуры и характеризующихся определенными уровнями абстракции от собственно языковых фактов.

Что же касается более высоких уровней, здесь дело обстоит сложнее. Связность и возможность осмысленного прочтения и истолкования текста, безусловно, обеспечивается базовыми системно-языковыми уровнями его строения. Внутритекстовые связи на уровне дискурса обеспечиваются как формальными и семантическими коннекторами, так и наличием системы концептов, которая организована, как представляется, по сетевому, а не иерархическому принципу. Класс произведений словесности определяется риторико-стилистическими нормами, исходя из которых возможна интерпретация произведения. Что же касается строения конкретного высказывания, то все предшествующие уровни организации его текста служат всего лишь условием самого общего понимания его содержания. Его строение остается реализацией замысла, а понимание — взглядом «изнутри произведения», который в принципе предполагает рассмотрение всей дискурсивной ситуации и раскрывается лишь методами риторического анализа. Но замечательно, что наверху этой пирамиды все равно оказывается конкретное высказывание, потому что система языка и система словесности существуют исключительно для создания и понимания конкретных высказываний.

Образ предмета в развитых риторических формах развертывается в целую подсистему нарративных образов. В эту нарративную систему или образный слой могут включаться изображения проблемы, факта или ситуации, реальных или вымышленных (например, в иносказаниях) действующих лиц, окружения или среды, в которую включен факт. Замысел может потребовать от ратора повышения или понижения значимости изображаемого предмета, что отразится на изображении противопоставляемой ситуации или деятелей, которые, напротив, будут усилены в значимости и в положительной или отрицательной оценке, но уже с иной позиции. Это видно из примера [5.7], где сама по себе кража брошки изображается

как незначительный и, вероятно, даже вымышленный факт, а отношения потерпевшей к обвиняемой, предварительного следствия и свидетелей к закону и ближнему — как нравственная проблема первостепенного значения.

Система нарративных образов может оказаться в известной мере самостоятельной в отношении к системе ролевых образов, но взаимосвязь их требует серьезного внимания при разборе риторического произведения. Обычным средством создания образа факта или проблемы является изложение — **описание** и **повествование**. Но изображение предмета часто слито с представлением других образов в сложные композиционные конструкции, в особенности если ритор готовит аудиторию к нужной ему оценке и исподволь вводит постепенно нарастающие характеристики персонажей или поступков. Нарративные образы могут быть представлены как ролевые, например в форме *заимословия*, как в речи Цицерона против Гая Верреса<sup>1</sup>.

[5.6.] «В самом деле, если отчизна, которая мне дороже жизни, если вся Италия мне скажут: „Марк Туллий, что ты делаешь? Неужели тому, кого ты разоблачил как врага, в ком ты видишь будущего предводителя мятежа, кого, как ты знаешь, как императора ожидают во вражеском лагере — зачинщику злодейства, главарю заговора, вербовщику рабов и граждан губителю ты позволишь удалиться, так что он будет казаться не выпущенным тобой из Рима, в впущенным тобой в Рим? Неужели ты не повелишь заключить его в тюрьму, повлечь на смерть, предать мучительной казни? Что, скажи, останавливает тебя? Уж не заветы ли предков? Но ведь в нашем государстве далеко не редко даже частные лица карали смертью граждан, несших ему погибель. Или существующие законы о казни, касающиеся римских граждан? Но ведь в нашем городе люди, изменившие государству, никогда не сохраняли своих гражданских прав. Или ты боишься ненависти потомков? Поистине прекрасно воздашь ты благодарность римскому народу, который тебя, человека, известного только личными заслугами и не порученного ему предками, так рано вознес по ступеням всех почетных должностей к высшей власти, если ты, боясь ненависти и страшись какой-то опасности, пренебрежешь благополучием своих сограждан. Но если в какой-то мере и следует опасаться ненависти, то разве ненависть за проявленную суровость и мужество страшнее, чем ненависть за слабость и трусость? Когда война начнет опустошать Италию, когда будут рушиться города, пылать дома, что же, тогда, по-твоему, не сожжет тебя пламя ненави-

<sup>1</sup> Заимословием (см. раздел «Риторические фигуры») называется вымышленная речь какого-либо лица или олицетворенного предмета, например, народа, закона, науки: см. [6].

сти?» Отвечу коротко на эти священные слова государства и на мысли людей, разделяющих эти взгляды ...»<sup>1</sup>.

В речи образы развиваются в смысловых взаимоотношениях, причем так, что линии развития образов сходятся в завершении высказывания, где в так называемой рекапитуляции линии развития образов и аргументации в собственном смысле связываются в единый узел выражения пафоса высказывания.

## Образное пространство

В текстах часто трудно выделить чистые композиционные формы повествования, описания, рассуждения, побуждения — они перемежаются и оказываются как бы вставленными одна в другую порой довольно прихотливым образом, поэтому для демонстрации образа предмета требуется заверченный текст.

[5.7.1] «Особый интерес в публике обыкновенно возбуждают такие дела, в которых прокурор и защитник между собой диаметрально расходятся, когда один не сомневается в виновности, а другой не сомневается в невинности подсудимого. Таково именно и настоящее дело. Для меня, например, совершенно ясно, что госпожа М-ва никакой брошки у Елагиной не похищала. А затем, вопрос о том, кто же собственно украл эту брошку, — меня нисколько не интересует. Это вопрос действительно важный. Но только не для меня, а для полиции и для обвинения. Но полиция и обвинение его совсем не выяснили. И вот, я, собственно, защищаю М-ву не столько от обвинения в краже, сколько от подозрения в том, будто ее личность мешала преследующей власти видеть в этом деле иного виновника, кроме нее одной. Нет! На это подозрение мы смело возражаем, что те две улики, которые были сочтены сыскной полицией за неопровержимые доказательства виновности М-вой, совершенно ничтожны для каждого осторожного ума, не ослепленного верой в свою непогрешимость.

Было всего-навсего два обстоятельства: сходство лица и сходство почерка. М-ва походила на даму, продававшую украденную брошку; ее почерк походил на почерк записки, оставленной дамой в магазине. Будем справедливы. Скажем, что для одного подозрения этого, пожалуй, было уже довольно. Но тут же следует запомнить: для подозрения, но уже никак не для скороспелого решения: взять с неповинной женщины деньги для уплаты ювелиру за воров и для признания этого случая

<sup>1</sup> Цицерон. Речи. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 300.

справедливо и бесповоротно разрешенным раз навсегда. Это уже было слишком...

Действительно, до поры до времени все основывалось только на сходстве. Что значит сходство? Я понимаю, что, например, в Петербурге, выходя из концерта во время сильного дождя и не найдя своих калош, можно удовольствоваться подходящими, сходными калошами, которые нам предлагает измученный и затормошившийся швейцар. Но можно ли отдать под суд подходящего виновника вместо настоящего?.. А ведь у полиции была в ту пору только подходящая, но далеко не настоящая виновница кражи!

Остановимся на сходстве личности. Если в ювелирный магазин на Невском проспекте, куда ежедневно входит множество дам, войдет какая-нибудь дама средней комплекции и средних лет, под вуалеткой, и останется в магазине около четверти часа, то возможно ли, чтобы ювелир впоследствии признал такую даму, среди всяких других дам, почти через месяц, безошибочно? Полагаю, что это довольно мудро. Затем, таинственная дама, приходившая к Лутугину, имела, между прочим, две приметы (1) коричневую кофточку, довольно длинную, с широкими рукавами, опушенную мехом или перьями, и (2) акцент, „вроде малороссийского”. Первая примета, т. е. примета по кофточке, пожалуй, гораздо более резкая, чем вторая, потому что кофточка была не ординарная, имеющая свои три отдельные приметы: цвет, фасон и отделку. Но акцент „вроде малороссийского” может обозначать только провинциалку вообще, потому что все уроженки Петербурга отличаются от провинциалок совершенно бесцветным говором. Определить же, из какой именно провинции дама: из Белоруссии, с Литвы, из Малороссии или с Кавказа — в этом вопросе уже не разберешься. Однако же примета по кофточке совсем и окончательно не подошла к М-вой: у нее никогда подобной кофточки не бывало и позаимствовать подобную кофточку ей было не у кого. Что же касается акцента, то ведь к акценту подошла к неизвестной и другая дама из знакомых Елагиной.

Сходство наружности М-вой с незнакомкой опять-таки ничтожно. Ювелиру Лутугину показали деревенскую самодельную, можно сказать, нелепую фотографию госпожи М-вой, в каком-то опухшем виде, фотографию, в которой и близкий человек затруднился бы узнать ее, и Лутугин уже был готов найти сходство. Показали ему М-ву на вечере у Елагиных, без шляпки, — он опять соглашается, что похожа. Почему же и не сказать, что похожа? Ведь это не значит: та самая. И вся эта улика целиком уничтожилась, когда через четыре месяца Лутугину показали совсем другую даму, и он также заявил, что и та дама годится в продавщицы брошки, и что он решительным образом ни ту, ни другую не выбирает...

Таковы данные о сходстве личности.

И кто же бы осмелился сказать, что при таких данных, никакая ошибка в выборе именно госпожи М-вой как виновницы невозможна?

[5.7.2] Еще ничтожнее улика по сходству почерков. В экспертизу сходства почерков я никогда не верил — ни в чистописательную, ни в фотографическую, потому что признание сходства почерков есть решительно дело вкуса. Мне кажется, что почерк похож, а другому — что нет, и мы оба правы. Я иногда получал письма от неизвестных мне людей, которые казались мне написанными моей собственной рукой. Совсем иное дело разница почерков, подделка печати: вот тут, если не чистописание, то, во всяком случае, фотография, могут быть очень полезны, во-первых, потому, что разница, по своей природе, легче поддается определению, нежели сходство; а во-вторых, потому, что при увеличении посредством фотографии, несовпадение, например, снимков печатей — делается настолько очевидным, что спорить о подложности спорного оттиска делается уже невозможным.

Что же мы встречаем здесь? Нашли сходными наклон письма и несколько букв. А между тем если взглянуть на записку попросту, без затей, то выйдет, почерк, решительно неизвестно кому принадлежащий. Ведь возможны два предположения относительно действительной продавщицы брошки: или она писала своим натуральным почерком, в убеждении, что ее никто никогда не найдет — и тогда этот почерк до смешного чужд писанию госпожи М-вой; или же продавщица резко изменила свой почерк — и тогда: первое, к чему прибегла бы всякая женщина, изменяющая свою руку, — она изменила бы обычный наклон букв: пишущая косо начала бы писать стоймя и наоборот; ибо решительно нет другого, более верного приема отделаться от своей руки. Но в таком случае, опять-таки выходит, что, если бы спорную записку писала М-ва, то она могла допустить всякое иное сходство со своей рукой, кроме одного, т. е. общего наклона букв, и потому не могла бы начертать подобной записки своим обычным наклоном письма.

Если же в настоящем деле эксперты вторили обвинению, то произошло это по очень простой причине: они давали свое заключение, вдоволь начитавшись об уликах. Власть подобного чтения на нашу мысль может быть безгранична: благодаря ей весьма легко увидишь то, чего никогда не бывало. В таком случае эксперт попадает в рабство к своему собственному предустановленному взгляду, который затем помыкает им точно так же, как принц Гамлет помыкал министром Полонием. Принц говорит: видишь это облако? Точно верблюд. Министр отвечает: клянусь, совершенный верблюд. — Или хорек! Спина, как у хорька... — Или как у кита? — Совершенный кит!

То же самое и здесь.

А между тем, именно почерк на записке все-таки остается неизвестным.

[5.7.3] Есть еще одно психологическое соображение, окончательно уничтожающее эту экспертизу. Когда госпожа М-ва, неудовлетворенная помилованием сыскной полиции, пожелала сама вновь поднять это дело и явилась к адвокату, то, главным образом, она домогалась, чтобы он

объяснил ей: может ли экспертиза безошибочно и научно определить на суде — ее рукой или чужой написана записка в магазине Лутугина, или же этот вопрос и на суде останется в зависимости от случайного мнения отличающих, которые могут оставить хотя бы тень подозрения на ней, М-вой? Адвокат ответил (господин Брафман свято верует в фотографическую экспертизу), что решение экспертов будет точное и бесспорное. Тогда госпожа М-ва с радостью взялась за дело восстановления своей чести. Было ли бы это возможно, если бы к Лутугинской записке прикасалась ее собственная рука? Нет! Тогда, конечно, она бы поняла опасность; она бы нашла предлог замедлить возбуждение жалобы. Но если, услышав этот ответ, она сразу решилась, то дело ясно: на Лутугинской записке нет ее почерка.

Я знаю такой случай. В одном уездном городе была совершена кража со взломом. Похититель разбил окно и, оцарапавшись, оставил на стекле следы крови. Становой пристав заподозрил в этом преступлении одного воришку, неоднократно уже судившегося за кражи, и еще более убедился в его виновности, когда нашел у него оцарапанные пальцы. Других улик не было, и обвиняемый запирался. Но догадливый полицейский прибег к такой хитрости. Он показал обвиняемому обломки стекла с запекшейся кровью и сказал: „А это что? Видишь эту кровь, — так вот, мы позовем доктора, и он скажет нам: твоя она или чужая”. Тогда обвиняемый упал приставу в ноги и сознался. И хотя здесь мы видим особенную наивность и невежество обвиняемого, но случай этот показывает, как вообще виновные роковым образом суеверно относятся к экспертизе. Для госпожи М-вой вопрос о всемогуществе фотографической экспертизы в распознавании почерка был также темен, как вопрос о всемогуществе врача в распознавании крови на стекле был темен для воришки. Но там угроза экспертизой привела к сознанию, а здесь — к немедленному протесту о невинности.

Итак, сходство лица и почерка принадлежит к самым легковесным и самым несерьезным доказательствам.

[5.7.4] Далее мы имеем уже не улики, а сплетни Елагинской прислуги и рассказы самих Елагиных. Я не могу иначе назвать всех этих показаний. Действительно, какую цену можно придавать рассказам горничной и мамки о том, будто в период от 8 до 16 ноября 1892 года, т. е., как раз когда пропала брошка, М-ва дважды заходила к Елагиным в отсутствие хозяев и в первый раз была одна в спальней, а во второй — расспрашивала кормилицу, „не тужит ли о чем барыня”. Достаточно сказать, что обе эти свидетельницы впервые показывали в конце февраля 1893 года о том, что случилось в ноябре 1892 года, т. е. почти через четыре месяца. Я думаю, что даже через три недели после какого-нибудь дня уже нельзя с уверенностью вспомнить, на той или другой неделе он приходился; а через несколько месяцев это уже положительно невозможно. И если горничная или мамка ошиблась неделей, то все их объяснения никуда не годятся. В этой ошибке (и не на одну, а на целые

две недели) и заключается разгадка этой нелепой путаницы. Госпожа М-ва действительно была у Елагиных в их отсутствие и действительно, узнав о болезни ребенка, расспрашивала кормилицу, тревожится ли барыня, но все это было до кражи брошки. И это всего лучше подтверждается признанием самой Елагиной; Елагина, уличенная М-ми, согласилась, что на несколько дней до М-го обеда, бывшего 16 ноября, она действительно с ними встретилась на Владимирской и упрекала, что они очень давно у нее не были, что было бы совершенно невозможно, если бы в течение недели между 8 и 16 ноября М-ва дважды заходила к Елагиной, о чем прислуга неминуемо должна была ей сообщить.

Вспомните затем рассказы Елагиных насчет прошлого М-вой, т. е. насчет того, будто бы она была вообще небрежна к чужой собственности. Это доказывалось тем, что М-ва якобы присвоила: старую ситцевую юбку Елагиной, настолько дрянную, что в нее заворачивали мясо, платок для покрытия клетки с попугаем, и порванную, никуда не годную соломенную шляпку! Все эти присвоения случились в деревне у матери Елагиной, куда М-ву зазывали самыми нежными письмами даже на следующее лето после таких мнимых присвоений и где действительно М-ва, разъезжая по пыльным дорогам с матерью Елагиной, надевала старую юбку и шляпку. И откуда ей дали при отъезде серый платок для охранения попугая!.. Даже официальный обвинитель не решился пользоваться такими гадкими извращениями прежних добрых отношений между этими людьми для того, чтобы прибавить лишнюю улику против М-вой; эти ссылки Елагиных не попали даже в обвинительный акт. Но госпожа Елагина, посылавшая прежде М-вой влюбленные письма с подписью „Мурочка” — когда дело зашло о ее брошке — всеми этими безобразными обвинениями, как купоросом, облила свою подругу. Вот уж, поистине, дамская дружба!

И однако же госпожа М-ва все-таки никак не годится в похитительницы брошки. Нужно ли напоминать вам, что М-ву в этом деле будто некий ангел-хранитель защищает на протяжении целого 16 ноября (день пропажи брошки), ибо целый сонм свидетелей доказывает, что именно в этот день у М-вой был обед и она с утра до вечера не отлучалась из дому. Даже неразумение между служанкой Лигнугарис и госпожой Баумгартен насчет 11 часов утра этого дня теперь уже устранилось: не могла быть госпожа М-ва в этот день у ювелира Лутугина, никак не могла...

[5.7.5] Но этого мало. Разнообразнейшие свидетели рисуют нам эту женщину в таком свете, что становится совершенно бессмысленным приписывать ей такой поступок, как похищение брошки. Эта женщина совсем не такой „человек” (как выражаются русские интеллигентные люди), чтобы совершить кражу. Не только начальник Санкт-Петербургской сыскальной полиции господин Вошинин, но даже знаменитый парижский Лекок тотчас бы отбросил в сторону все свои остроумные догадки о виновности М-вой, как только бы он узнал все ее прошлое, всю ее натуру.

Есть натуры, к которым никак не применишь обвинение в краже, как нельзя смешать масло с водой, натуры, от которых подобные обвинения отскакивают, как отрицательное электричество от положительного. Такова именно М-ва. Она совсем бескорыстна. Она о деньгах всего меньше думает. У нее есть недополученное наследство, о котором она даже никогда не спрашивается. Жила она всегда по средствам; никаких убыточных вкусов не имеет; сама она весьма часто одолжала Елагиных деньгами, но никогда у них не занимала; ни малейшего повода польститься на брошку у нее не было; кокетство ей совершенно чуждо; ее дети от первого брака устроены прекрасно и не требуют никаких расходов; ее второй муж ей ни в чем не отказывает; обольщать кого-нибудь другого никогда и не помышляла; романов у нее нет, ни на какие приключения она неспособна, никаких сомнительных дел у нее в жизни не бывало. Это натура чистая и милая в самом душевном смысле этого слова. Ради чего же, во имя какой логики мы будем чернить этот чистый образ? Ради великих открытий науки чистописания или еще более великих догадок сыскной полиции?..

Отрезвемся же от этих бумажных привидений! Или еще лучше: вспомним, что мы трактуем здесь как воровку женщину, действительно ни в чем не повинную — и войдем в ее положение, пожалеем ее, защитим ее, отдадим справедливость ее характеру, посетуем о несовершенстве наших следственных порядков...

Преследующая власть потому должна быть осторожной, что всякая власть должна быть благороднее тех, кто ей подвластен. Неосторожные обвинения поощряют низость заурядной публики, которая всегда относится злорадно ко всякой клевете, ко всему, что чернит людей. А что средний человек именно всегда грязно думает о своем ближнем (и в этом его следует исправлять, а не развращать еще больше) — тому мы видим удивительный пример в нашем деле.

[5.7.6] Елагина подружилась с М-вой, будучи почти ребенком. В течение долгих лет между этими женщинами установились настоящие родственные отношения: М-ва, можно сказать, была членом елагинской семьи. Свидания были почти ежедневные; радости и горе — все делилось вместе; вместе пировали на свадьбе, вместе тревожились, когда кто-нибудь был болен, а когда бывали в разлуке, то постоянно обменивались письмами и записками и подписывались уменьшительными прозвищами. И вдруг, когда после пропажи брошки сыщик заявил Елагинной, что подозрение падает на именно М-ву и что для окончательного решения этого вопроса Елагиной нужно будет предательски позвать М-ву к себе на вечер и показать ее, в щелочку, тем лицам, которые будут приведены для подглядывания, то госпожа Елагина на это согласилась и это устроила...

Понимала ли Елагина, что она делала! Ведь Елагина не принадлежит к полиции и должна иметь обыкновенные человеческие чувства к своим друзьям. Для нее М-ва была не простая подсудимая, не безлич-

ный арестант за известным номером, а Ольга Федоровна, теплая душа, всегда дорогая гостья, близкая женщина, одевавшая ее к венцу, нянчившая ее ребенка, жена порядочного человека, мать двоих детей... Неужели Елагина не почувствовала сразу, какая пропасть раскрывается перед ее другом, какое великое несчастье грозит ей? Прежде всего Елагина обязана была не поверить возможности подобного подозрения, потому что ведь от дырявой ситцевой юбки, в которую заворачивали мясо и которая не составляла ровно никакого имущества, сделать громадный скачок к изумрудной брошке и уверовать в корысть Ольги Федоровны Елагина, конечно, не могла. Но затем, если бы молоденькая Елагина, как мудрый старец, и допускала на минуту превратность всех земных привязанностей, то все-таки она должна была стать в тупик перед подобным поступком М-вой! Поступок этот был необъясним; Елагина (если она смутилась и на минуту поверила) должна была, по крайней мере, предположить какую-нибудь катастрофу в делах М-вой, чтобы допустить ее решимость на такое дело. Значит, здесь было замешано горе близких людей. Необходимо было тот час же горой вступить за М-ву перед полицией, защитить ее до полной неприкосновенности, отказаться наотрез от всякого предательства — и затем поспешить к той же М-вой, объяснить, сказать, что, если все это вызвано временной нуждой, то ведь они — свои люди, можно будет сосчитаться, можно будет загладить, а потом, пожалуй, разойтись, но сделать это просто и достойно, хотя бы в благодарность за прежнюю ничем не запятнанную дружбу; потому что благодарность к М-вой за прошлое и чувство привязанности ввиду этого прошлого должны были еще оставаться живыми в сердце Елагинной, если только у нее оставалось сердце.

Вот почему я повторяю, что легкомысленные обвинения безнравственны. К тому же всякий понимает, что не столько полиция и тюрьмы поддерживают общественный порядок, сколько добрые наши чувства друг к другу, терпимость, доверие, участие и человечность.

И вот — обвинение в краже брошки самым нелепым образом ударило в М-ву, которая, как говорится, ни сном ни духом не была в этом виновата. Начальник сыскной полиции был удивлен, что М-ва не только не винулась, но совершенно прямо смотрела ему в глаза. Он даже увидел в этом нахальство; он сказал М-вой: „Да вы бравируете!“ Предоставляю вам судить, кто был в этом случае храбрее: женщина ли, виноватая, как мы с вами, и потому самоуверенная, или ее обличитель, который свои банальные фантазии считал такой истиной, что перед ними должна была застыдиться и сложить голову сама невинность...

Понятно, что супруги М-вы не могли помириться с такого рода прекращением дела в сыскной полиции. Они потребовали всестороннего расследования дела о брошке. Говорят: жена осталась этим довольна, но ее муж, поневоле должен был так поступить, потому что его уволили из полиции, да и впредь бы туда никогда не приняли, так как при нем состоит неразлучно жена, склонная к воровству. Неправда! Более всего

волновалась сама госпожа М-ва, которая даже укоряла мужа за уплату Лутугину и вообще за его податливость. Наконец, в ту пору супруги М-вы не могли даже мечтать, что при новом расследовании откроются сюрпризы, которые покажут во всей его скороспелости и беспочвенности первоначальное решение негласного суда о виновности в краже М-вой.

[5.7.7] Вы слышали и знаете, что нашлась другая личность, в десять раз более подходящая (опять-таки — только подходящая) к роли похитительницы, нежели госпожа М-ва, хотя обвинению и угодно было возложить эту роль все-таки на госпожу М-ву.

Нашлась другая дама, с которой совпадает множество признаков похитительницы, не подходящих к М-вой. А именно: сходство этой дамы с продавщицей брошки точно также признано Лутугиным; акцент у этой дамы, точно, малороссийский; дама эта точно так же принадлежит к знакомым Елагиных, и притом — менее близким, из чего и следует, что подобный поступок мог быть менее для нее мучительным, чем для М-вой. Мало того, открылось, что эта дама нуждалась в деньгах и часто занимала у Елагиных; что из дома, которым заведует муж этой дамы, неизвестно скрылась одна подозрительная жиличка по фамилии Перфильева, т. е. женщина с той самой фамилией, которой расписалась неизвестная продавщица брошки в лавке Лутугина; что у этой дамы была кофточка, сходная с кофточкою продавщицы, и, наконец, что эта дама получала из пакета Руссова облатки в точно такой же коробочке, в какой продавщица брошки принесла поличное в магазин Лутугина, тогда как М-ва ниоткуда и никоим образом не могла добыть подобной коробочки...

Довольно, господа присяжные заседатели! Я вовсе не желаю топтать эту вторую женщину и даже не хочу произносить ее фамилии. Говорят, что ее почерк не похож на расписку, оставленную в магазине Лутугина, или что у нее был болен корью ребенок во время кражи, и она не бывала у Елагиных. На это я возражу — во-первых, что я по принципу не верю в экспертизу почерков и что, тем не менее, вижу у этой дамы почерк резко стоячего типа, так что, изменяя свою руку, она должна была неминуемо перейти к наклонному письму, сразу истребляющему сходство, т. е. именно к тому письму, которым написана расписка, и во-вторых, что, так как эту даму хватились почти через пять месяцев после кражи, то с уверенностью говорить о периоде, когда был болен ее ребенок, уже нельзя. Да я, наконец, и не настаиваю на ее виновности; это вовсе не мое дело. Я никогда бы не хотел повредить ей — и, конечно, не поврежу, но так как она свободна от всякого горя, то я только приветствую в ней модель, на которой я могу вам ясно показать всю ничтожную близорукость улик, навязанных сыскной полицией госпоже М-вой.

Кто же украл брошку? Повторяю: этот вопрос меня несколько не интересуется. Быть может — полотеры; быть может, брошка даже

вовсе не была украдена, и Елагина ее просто потеряла на балу или в извозчичьей карете, потому что, если она не помнит, куда положила брошку — спрятала в ящик или бросила на комод, то почему бы ей кстати уже не забыть и того, нашла ли она на себе брошку вообще по возвращении с бала? Ведь Елагина была уставши; раздевалась, как автомат, и легко могла прозевать исчезновение брошки. А что брошку продавала дама, так это было неизбежно, — кто бы ни нашел, кто бы ни украл ее, — потому что сбывать женскую принадлежность, не возбуждая подозрения, может только женщина.

За участь М-вой я спокоен. Я спокоен уже потому, что у вас постоянно будет двоиться в глазах: „М-ва или другая?“ — и сколько бы вы ни сидели в совещательной комнате, из этого недоумения вы не выйдете. Нельзя же вам, в самом деле, взять две бумажки, написать на них две фамилии, зажмурить глаза, помочить пальцы — и если к пальцу пристанет бумажка с фамилией М-вой, — обвинить М-ву, а если пристанет другая бумажка, — оправдать.

Итак, вы оправдаете М-ву. Но пусть же ваше оправдание сослужит и другую службу. Пускай сыскное отделение хотя немножко отучится от своей прямолинейности, от своей прыти, от этой езды в карьер, потому что, хотя со стороны и красиво смотреть, как ретивый конь стрелой несется от Аничкина моста прямо к Адмиралтейству, но при этом часто бывает, что он давит ни в чем не повинных прохожих. Точно так же в этом деле сыскное отделение придавило и М-ву. Когда вина подсудимого явно доказана, тогда мы готовы отдать его в карающие руки; но когда, как здесь, обвинение основывается на одних предположениях и притом очень шатких, тогда наши лучшие защитники, т. е. судьи, всегда скажут тому, кто посягает на свободу М-вой: руки прочь! Эта женщина неприкосновенна! Такой приговор вы постановите спокойно и достойно, для поддержания веры в чистоту нравов, ибо основное правило, на котором должно утверждаться уголовное правосудие, всегда останется одним и тем же: доверие выше подозрения»<sup>1</sup>.

Как видно из текста, в речи С. А. Андреевского представлены ролевые и нарративные образы. Образы именованы, имена образов частично совпадают, пересекаясь, — частично различаются, частично противопоставляются, так что весь текст представляет собой последовательность именованных и переименованных.

Система **ролевых образов** представлена в [5.7] в полном составе. Это образ оратора — защитника, объективного исследователя, борца за законность и справедливость, интеллигентного, житейски опытного, предусмотрительного и проницательного юриста. Образу

<sup>1</sup> Андреевский С. А. Дело о краже изумрудной брошки // Андреевский С. А. Избр. труды и речи. Тула: Автограф, 2000. С. 211–220.

ритора противостоит образ оппонента, который сочетается с нарративными образами следственных органов и начальника следственного отделения. Отрицательное изображение оппонента начинается противопоставлением обвинения и защиты («неосторожные обвинения поощряют низость заурядной публики») и завершается общим образным **сравнением** — с ретивым конем, который «стрелой несется от Аничкина моста прямо к Адмиралтейству, но при этом часто бывает, что он давит ни в чем не повинных прохожих».

Центральное звено контроверзы — *непредусмотрительность* следствия и обвинения. Объединение образов прокурора (обвинения) и полиции усиливает отрицательную оценку оппонента, поскольку на обвинение переносятся действия предварительного следствия, снижает значимость позиции оппонента и тем самым повышает значение защиты и аудитории. На этом противопоставлении основано и противопоставление юридической и нравственной стороны проблемы: если с компрометацией органов следствия и прокуратуры уменьшается значимость юридической составляющей проблемы, то тем самым повышается значимость ее нравственной составляющей.

Общество представлено коллегией присяжных, к которым, как к выразителям общественной позиции, обращается защитник: «...не столько полиция и тюрьмы поддерживают общественный порядок, сколько добрые наши чувства друг к другу, терпимость, доверие, участие и человечность».

Коллегия присяжных как непосредственная аудитория объединяется с ритором и с обществом и противопоставляется оппоненту. Этим приемом повышения значимости нравственной стороны проблемы понижается значимость ее юридической стороны, что позволяет защитнику утверждать в конце речи: «Ведь Елагина была уставши; раздевалась, как автомат, и легко могла прозевать исчезновение брошки». Эти разговорные «прозевать» вместе с «уставши», «бросила на комод», «почему бы ей кстати уже не забыть» завершают ход компрометации юридической стороны дела и всей аргументации оппонента в статусе установления.

С повышением нравственной значимости дела, естественно, возрастает значимость общества и состава присяжных, которые уполномочены представлять общество и поэтому диктуют нравственные нормы правосудия: «Когда вина подсудимого явно доказана, тогда мы („мы” здесь общество, адвокат и коллегия присяжных. — А. В.) готовы отдать его в карающие руки... Такой приговор вы постановите спокойно и достойно... основное правило, на котором должно

утверждаться уголовное правосудие, всегда останется одним и тем же: доверие выше подозрения».

В противоположность «ретивому коню», «обличителю», который «свои банальные фантазии считал такой истиной, что перед ними должна была застыдиться и сложить голову сама невинность», положительные силы — действительные судьи, объединенные вокруг образа ратора, «спокойно и достойно» примут обоснованное и справедливое решение, утверждающее «веру в чистоту нравов».

В системе ролевых образов строится оппозиция:

обвинение, полицейское дознание vs защитник, присяжные.

Эта оппозиция распространяется на оппозиции нарративных образов, тесно связанных с ролевыми:

полиция, заурядная публика, Елагина, свидетели, безответственность, произвол vs общество, «интеллигентные люди», г-жа М-ва, закон, нравственность.

Получается единая система оппозиций, в которой отрицательные ролевые и нарративные образы объединяются и противостоят положительным ролевым и нарративным образом, а юридическая сторона дела, связанная с отрицательными образами, противостоит нравственной его стороне, связанной с положительными образами.

**Нарративные образы** находятся в столь тесных отношениях с ролевыми, что их часто трудно разделить: связанные в одной фразе смысловые ядра относятся одновременно к ролевому и к нарративному образам, например: «На это подозрение мы смело возражаем, что те две улики, которые были сочтены сыскной полицией за неопровержимые доказательства виновности М-вой, совершенно ничтожны для каждого осторожного ума, не ослепленного верой в свою непогрешимость». В одном предложении сочетаются и сопоставляются речевые характеристики ратора, оппонента, аудитории, причем аудитория объединяется с ратором, а ритор и аудитория противопоставляются оппоненту.

В речи развертываются две линии аргументации. Поскольку проблема представляется защитником как этическая, фактическая сторона дела, с которой в действительности связаны необходимые аргументы защитника, как бы отходит на второй план, и эта доказательная аргументация используется не только для обоснования невинности обвиняемой, но и для демонстрации безнравственности полицейского обвинения и Елагиной. Поэтому посылки аргументации в целом обращены к топике духовной морали.

Оценки вводятся резко, и строится *основное противопоставление* — ратора оппоненту. Остальные, *зависимые противопоставления*:

аудитории – оппоненту, главной проблемы – второстепенной; обвиняемой – потерпевшей, обвиняемой – действительному виновнику – образуют ступенчатую последовательность. Образная система развертывается по ходу текста, связываясь в *композиционные узлы*, в которых образы объединяются в различных комбинациях, и *композиционные разрежения*, в которых образы разводятся. Рассмотрим фрагменты речи, дающие такие соединения и разделения.

1. В первом фрагменте [5.7.1] изображаются ситуация, проблема и основной состав участников.

Проблема предстает во вступлении в отношении к аудитории или обществу в широком смысле. Аудитория в целом обозначается как «публика», а «настоящее дело» – как одно из дел, интерес к которым определяется азартным интересом к соревнованию: «такие дела, в которых прокурор и защитник между собой диаметрально расходятся». Но здесь же в проблеме последовательно выделяются и противопоставляются два аспекта: собственно юридический (кто украл?) и нравственный (на чьей стороне правда?). И через нравственный и фактический аспекты дела вводятся противостоящие образы ратора и оппонента. Ритору-защитнику дело «совершенно ясно» и вопрос: «Кто украл брошку?» – совершенно не интересует его. Но этот вопрос «действительно важен» для оппонента – следствия и обвинения.

Противопоставление слов «интересует меня» и «важен» дает отношение суждений категорического и аподиктического (долженствования) – оппонент *должен* установить факт, но вопрос: «Кто украл брошку?» – «нисколько им не выяснен». На этой основе строится противопоставление этического и фактического юридического – «обвинения в краже» и «подозрения М-вой, будто ее личность мешала преследующей власти видеть в этом деле иного виновника, кроме нее одной». Следовательно, ритор видит возможность назвать иного виновника, которого не может или не желает видеть оппонент.

В этой ситуации двойной проблемы ритор объединяется с аудиторией, но не со всей: «публика» первой фразы противостоит «мы» последней. Эти «мы», «каждый осторожный ум» «смело возражаем» на нежелание «ослепленной верой в свою непогрешимость» преследующей власти видеть иного виновника кражи, кроме обвиняемой, потому что «мы» не принимаем «ничтожные улики за неопровержимые доказательства».

Оппонент, а вместе с ним полиция, а также «иной виновник», потерпевшая противопоставляются ритору и аудитории. Строятся

противопоставления: публика vs аудитория, «мы»; оппонент: преследующая власть, прокурор, полиция vs осторожный ум, мы, аудитория; оппонент vs г-жа М-ва.

Последовательность речи характеризуется параллелизмами: *публика – прокурор и защитник – прокурор (один) и защитник (другой) – защитник – защитник – полиция и обвинение – полиция и обвинение – мы – сыскная полиция – каждый осторожный ум.*

Эти параллелизмы вводятся фигурой разделения (антанаклазы): «Особый интерес в публике обыкновенно возбуждают такие дела, в которых прокурор и защитник между собой диаметрально расходятся, когда один не сомневается в виновности, а другой не сомневается в невинности подсудимого».

2. Во фрагменте [5.7.2] экспертиза *сопоставляется* с оппонентом. Противопоставление оппонента и экспертизы риторично и аудитории готовит сравнение экспертов с шекспировским Полонием. Фрагмент начинается с вывода – общего утвердительного суждения, которое формулируется в юридических выражениях «еще ничтожнее», «улика по сходству почерков» (*ничтожные улики* – термин, *улики по...* – специфический оборот юридической речи), усиливающих впечатление объективности высказывания. Формулировка вывода дает стилистический контраст с резким переходом к речи от первого лица, причем «я» специально выделяется порядком слов как рема: «В экспертизу сходства почерков я никогда не верил – ни в чистописательную, ни в фотографическую...» – фигура присоединения (конкатенация), в которой добавляемый элемент (частное) усиливает весомость основного (общее).

«Я» фрагмента [5.7.1] представляет собой смещение (эналлагу) местоимения: «они», как в примере [5.3], объединяют ратора и аудиторию в восприятии предмета речи. «Я» ратора и аудитории контрастирует с «мне кажется» следующего предложения, где «мне» относится к любому человеку, противопоставлено «другому» и объединяется в «мы оба правы», а далее, в примере, «я» относится уже прямо к А. С. Андреевскому. Завершение фрагмента – стилистически объективированная оценка предшествующего рассуждения с примером, которая, как посылка аргумента, стилистически связана с выводом в начале фрагмента.

Объединение ратора с аудиторией рассуждением и эналлагой местоимений готовит компрометацию экспертизы – сравнение с Полонием и группирует противопоставления образов, связанных с ратором и аудиторией, образам, связанным с оппонентом.

Эксперты вводятся как действующее лицо, связанное с ролевым образом оппонента. Характеристика экспертов подводит к сравнению, которое и выступает в качестве *инструмента компрометации* для ослабления значимости экспертизы. Защитнику нужно скомпрометировать результаты, сам принцип экспертизы и развеять уверенность в ее объективности.

Для компрометации используются снижение регистра речи, разговорные обороты: «вторили обвинению, вдоволь *начитались об уликах*» и восходящей градации: «*увидели* то, чего никогда не бывало, *попали в рабство* к собственному предустановленному взгляду, который *помышляет* ими, как принц Гамлет *помышкал* министром Полонием».

Средствами иронии, снижения регистра речи образ экспертов ставится в один ряд с отрицательными образами оппонента, а впоследствии потерпевшей и свидетелей обвинения.

3. Фрагмент [5.7.3], непосредственно следующий за сравнением экспертизы с Полонием, присоединяет образ подзащитной г-жи М-вой к группе положительных образов, т. е. к образам защитника и аудитории, и соответственно противопоставляет образам, которые компрометируются.

Образ г-жи М-вой утверждается и в плане значимости, и в плане положительной оценки, причем так, что противопоставляемые образы компрометируются в обоих планах. Г-жа М-ва «не удовлетворена помилованием сыскной полиции» и «пожелала сама поднять это дело». Замечательно изображение мотивов нового возбуждения дела подзащитной: может ли экспертиза «безошибочно и научно» решить вопрос о сходстве почерков?

Этим словам противостоит ироническая речевая характеристика мнения «господина Брафмана, *свято верующего* в фотографическую экспертизу». Ирония как риторическая фигура состоит в несоответствии способа обозначения обозначаемому предмету; этими несоответствиями играет защитник, противопоставляя «безошибочно и научно», «точное и бесспорное решение» в словах подзащитной «*святой вере* в фотографическую экспертизу» в характеристике уже не «адвоката», а «господина» Брафмана. Стилистический контраст с фигурой иронии дают последующие характеристики наивности г-жи М-вой и мотивов возобновления дела в высоком речевом регистре: «с радостью взялась за дело восстановления своей чести», непосредственно следующей за «точно и бесспорно».

Вся конструкция завершается фигурой ответственности — вопросом от лица аудитории и ответом от лица говорящего. Эта фигура

оформляет посылку аргумента, как и в предшествующем фрагменте, да и все построение фрагмента воспроизводит конструкцию предшествующего: общее суждение, пример — меньшая посылка, большая посылка, оформленная как риторическая фигура.

4. Следующий смысловой узел [5.7.4] связывает подзащитную М-ву с Елагиной, и эта связь также включается в главное противопоставление ролевых образов — ратора и оппонента. Ему предшествует разбор и характеристика показаний прислуги, которые экспрессивно квалифицируются как «не улики, а *сплетни* елагинской прислуги» и «*россказни* самих Елагиных». Это слово «россказни» повторяется.

Изображение Елагиных, «елагинской прислуги» и всего, что связано с семейством Елагиных («россказни Елагиных»), строится на несоответствии обвинений в адрес М-вой («будто бы *небрежна* к чужой собственности»), их несостоятельности («якобы *присвоила* ситцевую юбку, настолько дрянную, что в нее заворачивали мясо, и порванную, никуда не годную соломенную шляпку» и др.) внешнему выражению отношений Елагиной к М-вой («*завывали* М-ву самыми нежными письмами, посылала М-вой *влюбленные* письма с подписью „Мурочка“»). Несоответствие поступка и слова складывает образ лицемерия, который завершается характеристикой («всеми этими безобразными обвинениями, как купоросом, облила свою подругу»).

Характеристика Елагиной через ее отношение к М-вой связывается с характеристикой оппонента: «...даже официальный обвинитель не решился пользоваться такими гадкими извращениями прежних добрых отношений, чтобы прибавить лишнюю улику против М-вой!». Частица «даже» — ключевое слово всей конструкции, объединяющее оппонента с г-жой Елагиной и обращающее аудиторию к отрицательной оценке оппонента, который, следовательно, готов поддержать всяческую ложь и клевету о г-же М-вой, но лицемерные обвинения Елагиных настолько беспочвенны, что «даже» беспринципный обвинитель не счел возможным их использовать. Если опустить слово «даже», оценка оппонента станет положительной.

Последовательные группировки образов и их совместные характеристики сменяются разрежениями, когда нужно выделить образы, ключевые для аргументации, и дать их оценку, противопоставляя оппоненту и связывая с аудиторией и инстанцией.

5. Кроме начальника сыскной полиции, который сравнивается с литературным персонажем сыщиком Лекоком, действующие лица обозначены словами с общим или абстрактным значением [5.7.5]:

«разнообразнейшие свидетели», «русские интеллигентные люди», «парижский Лекок» — литературный персонаж, «логика», «великие открытия науки чистописания», «еще более великие догадки сыскной полиции» (не «полиция», а «догадки полиции»), даже «Елагины», а не Елагина, наконец, «мы» завершающего предложения фрагмента. Оратору нужно выделить конкретный образ в контрасте с абстракциями, не ослабляя, однако, его противопоставления отрицательным образам. Это достигается косвенными средствами: в начале фрагмента сосредоточены обозначения положительной характеристики М-вой — «разнообразные свидетели», «русские интеллигентные люди», за ними следуют «начальник полиции» и «даже Лекок», «если бы он узнал ее прошлое, ее натуру». В конце фрагмента упоминается Елагина, а затем вводится противопоставление «мы» — автора и аудитории, с одной стороны, и «великой науки чистописания», и «еще более великих догадок сыскной полиции» — с другой.

Повышение нравственной значимости и положительной оценки образа г-жи М-вой влечет за собой понижение значимости и усиление отрицательной оценки образа оппонента и связанных с ним обстоятельств дела и действующих лиц и повышение значимости образов автора, аудитории — коллегии присяжных и авторитетной инстанции, к которой обращены посылки аргументов — это *иная, «нормальная логика, нравственность и правосознание»* в их отношении к проблеме.

6. Фрагмент [5.7.6] — изображение Елагиной — строится на тех же принципах, что и изображение М-вой: Елагина сопоставляется с М-вой в конкретных обстоятельствах.

Действия и личность Елагиной характеризуются посредством отбора слов из синонимического ряда — «лицам, которые будут приведены для подглядывания»: не «людям» или «свидетелям», не «придут», не «для отождествления» или «наблюдения»; «пропажа», а не «кража» брошки; эпитетами — «предательски позвать», «ничем не запятнанная дружба», «громадный скачок к изумрудной брошке»; антитезами: «Ведь Елагина не принадлежит к полиции и должна иметь обыкновенные человеческие чувства к своим друзьям»; сравнениями: «молденькая Елагина, как мудрый старец...»; риторическими вопросами: «Неужели Елагина не почувствовала сразу, какая пропасть раскрывается перед ее другом, какое великое несчастье грозит ей?»; градациями: «Необходимо было тот час же горой вступить за М-ву перед полицией, защитить ее до полной неприкосновенности, отказаться наотрез от всякого предательства»; уступлениями: «...благодарность

к М-вой за прошлое и чувство привязанности ввиду этого прошлого должны были еще оставаться живыми в сердце Елагиной, если только у нее оставалось сердце».

С изображением Елагиной, в ходе которого она противопоставляется М-вой, связана косвенная оценка всех образов отрицательной группы. Здесь используются те же средства, что и в предшествующих фрагментах: «Даже официальный обвинитель не решился пользоваться такими гадкими извращениями прежних добрых отношений между этими людьми» и «Ведь Елагина не принадлежит к полиции и должна иметь обыкновенные человеческие чувства к своим друзьям»<sup>1</sup>. Эти повторы представляют собой сокращенные аргументы, опущенные посылки которых воспринимаются как общеизвестные и сами собой разумеющиеся и поэтому незаметно и сильно действуют на аудиторию. Сам по себе повтор — один из самых распространенных приемов внушения, в особенности если повторяемая мысль подтверждается различными конкретными деталями в разных планах речи.

7. Аналогичным образом строится и заключение повествования: защитник характеризует образ ратора, аудитории и инстанции в общих выражениях и противопоставляет его группе отрицательных образов в целом: «Вот почему я повторяю... и всякий понимает» — объединение ратора с аудиторией и обществом, с «мы», которые в первом фрагменте «смело возражают», и с «каждым осторожным умом». Ратору и аудитории точно так же противопоставляются «легкомысленные обвинения», как в первом фрагменте «ничтожные улики», которые были «сочтены сыскной полицией за неопровержимые доказательства виновности», ослепление «верой в свою непогрешимость» противопоставляются «осторожному уму». И вывод обращается к инстанции, которая характеризуется словами «общественный порядок», «добрые наши чувства друг к другу», «терпимость», «доверие», «участие и человечность».

---

<sup>1</sup> Этот прием должен рассматриваться как косвенное средство компрометации, поскольку суждение «Если Е. не принадлежит к полиции, то она должна иметь обыкновенные человеческие чувства к своим друзьям» не предполагает логически обязательного следствия: «Если Е. принадлежит полиции, то она не должна иметь обыкновенные человеческие чувства к своим друзьям», но на уровне обыденного сознания умозаключение от антетцентра к консеквенту в отрицательном модусе обычно. Это же относится и к частице «даже», которую можно представить как имеющую не выделительное, а ограничительное значение.

Последний фрагмент, функционально значимый для построения образа предмета [5.7.7], является наиболее этически сложным и двусмысленным. Этот фрагмент выделяет образ «неизвестной дамы», действительной продавщицы брошки, который противостоит образу г-жи М-вой в фактическом юридическом плане. Он особенно нужен защитнику, поскольку указание на действительного виновника и противопоставление его мнимому решительно повышает значение всей аргументации. Но фактическое обвинение и компрометация лица, известного по ходу дела, похоже и на клевету в целях выгородить подзащитного. Изображение признаков этой «другой дамы» повторяет разбор улик обвинения против М-вой: внешнее сходство, акцент, характер знакомства с Елагиными, мотивы похищения, денежные отношения с Елагиными, исчезновение возможной продавщицы, одежда, коробочка, почерк, обстоятельства. Эта последовательность дает ясные и определенные указания на конкретное лицо и создает портрет похитительницы.

8. В завершающем фрагменте опровержения, за которым следуют рекапитуляция и побуждение, С. А. Андреевский использует два необходимых приема — уступление и переключение внимания на оппонента, который уже в достаточной мере скомпрометирован.

Поэтому фрагмент начинается обращением: «Вы слышали и знаете...», создающим как бы конфиденциальную близость с аудиторией и одновременно снижающим ответственность говорящего за сообщение, и сразу следует сообщение, сливающееся с обращением: «...что нашлась другая личность, в десять раз более подходящая...». Но здесь приходится сделать обратный ход-уступление: «опять-таки — только подходящая». А затем — резкое переключение внимания на оппонента: «хотя обвинению и угодно было возложить эту роль все-таки на госпожу М-ву». Эти «угодно» и «все-таки» еще до характеристики «другой дамы» как бы оправдывают защитника: виноват оппонент-обвинение, а защитник вынужден изложить факты. Сам портрет дан предельно сжато и последовательно и представлен как цитероновская фигура остановки (абрупции), фраза намеренно резко прерывается новым обращением, на этот раз прямо к присяжным: «Довольно, господа присяжные заседатели!»

И за этой фразой следует блестящий обратный ход: защитник начинает приводить доводы, как бы опровергающие возможное обвинение против «другой дамы», параллельно с доводами, обосновывающими такое обвинение. И вся эта двусмысленная конструкция завершается новым переключением внимания на оппонента и повто-

рением мысли о долге следствия, выраженной в первом фрагменте: «Да я, наконец, и не настаиваю на ее виновности; *это вовсе не мое дело*. Я никогда бы не хотел повредить ей — и, конечно, не поврежу, но так как она свободна от всякого горя, то я только приветствую в ней модель, на которой я могу вам ясно показать всю ничтожную близорукость улик, навязанных сыскной полицией госпоже М-вой». Это переключение внимания на оппонента представляет собой энергичный переход к рекапитуляции: «Кто же украл брошку? Повторяю: этот вопрос меня нисколько не интересует».

**Образ инстанции** занимает особое место в образной системе риторической прозы. В принципе он относится к числу нарративных образов, но стоит особняком, поскольку инстанция остается абстрактной категорией и лишь в отдельных случаях выступает в конкретизированной форме и может выражаться описаниями, фигурами заимословия или цитирования и т. д.

В примере [5.7] инстанция и предстает в обычном, подразумеваемом виде. Оратор применяет все основные виды аргументов — к реальности, авторитету, аудитории.

Аргументы к реальности обращены к универсальному здравому смыслу, с точки зрения которого оценивается правдоподобие обсуждаемых событий и отношений.

Эта универсальность здравого отношения к реальности подчеркивается речевыми формами с обобщенным безличным, неопределенным и пассивным значением: «...*возможно ли*, чтобы ювелир впоследствии признал такую даму, среди всяких других дам, почти через месяц, безошибочно? Полагаю, что *это довольно мудрено*»; «в этом вопросе уже *не разберешься*»; «однако же *примета* по кофточке *совсем и окончательно не подошла* к М-вой»; «*почему же и не сказать*, что похожа? *Ведь это не значит*: та самая»; «*разница*, по своей природе, легче *поддается* определению, нежели сходство»; «*несовпадение*, например, снимков печатей — *делается* настолько очевидным, что *спорить* о подложности спорного оттиска *делается* уже невозможным». Здравый смысл даже противопоставляется суждению специалиста («а между тем *если взглянуть* на записку попросту, без затей, то *выйдет*, по черк, решительно неизвестно кому принадлежащий»), которое, как показано выше, изображается иронически. Фигуры вопросо-ответов, обращений, вводные слова и конструкции служат для объединения этого естественного здравого смысла с образами аудитории и ратора, а противопоставление их позиции экспертов компрометирует

специальное авторитетное мнение вместе с оппонентом и всей группой отрицательных образов.

Но здравый смысл общеобязателен, и его универсализация преобладает над этим разделением: «власть подобного чтения на *нашу* мысль может быть безгранична: благодаря ей весьма легко *увидишь* то, чего никогда *не бывало*»; «*психологическое соображение*, окончательно уничтожающее эту экспертизу». Здесь «наша» и «увидишь» относятся уже к любому, а не только к оратору и аудитории. Здравый смысл предстает как естественное и общеобязательное понимание реальности.

Авторитет также выступает в образе безличной и общеобязательной нравственной и правовой нормы — справедливости, доказательности, права, доверия, чистоты нравов: «будем справедливы»; «для признания этого случая справедливо и бесповоротно разрешенным»; «можно ли отдать под суд подходящего виновника вместо настоящего?»; «доверие выше подозрения».

Но эта норма связывается с составом суда, с общественностью и автором в аргументах к аудитории: «*вы* оправдаете М-ву»; «пусть же ваше оправдание сослужит и *другую службу*» — «для поддержания веры в чистоту нравов»; «когда вина подсудимого явно доказана, тогда мы готовы отдать его в карающие руки»; «наши *лучшие защитники*, то есть *судьи*, всегда скажут тому, кто посягает на свободу М-вой: руки прочь!»; «такой приговор *вы* постановите *спокойно и достойно*».

## Оппозиции образов

Образное пространство риторического произведения строится в системе оппозиций групп или классов образов, в которой выделяются: оппозиции ценности — *значимое/незначимое*; оппозиции модальности — *положительное/отрицательное*; дейктические оппозиции — *мы/вы/они*.

По оппозициям выделяются классы значимых и незначимых положительных образов, значимых и незначимых отрицательных образов, значимых и незначимых нейтральных образов, образов, входящих соответственно в группировки «мы», «вы», «они», причем «они» могут быть значимыми и незначимыми, положительными и отрицательными, а группировки «мы» и «вы» обычно оказываются положительными и значимыми, хотя в риторической прозе можно наблюдать и иные соотношения, например нейтральные «вы» или даже незначимые «мы».

Оппозиции ценности отличаются от оппозиций модальности. Ценность или значимость может быть положительной и отрицательной, причем отрицательные ценности и оценки имеют в риторической прозе не меньшее, а даже большее значение, чем положительные. Приемы создания положительных оценок отличны от приемов создания отрицательных оценок, а те и другие отличны от приемов повышения значимости и от приемов снижения значимости, которые также несимметричны. Обоснование ценности и модальности — различные задачи.

Рассмотрим, как С. А. Андреевский создает нулевую значимость и нейтральную оценку ювелира Лутугина.

В разборе улик по сходству [5.7.1] защитник разделяет образ оппонента с образом Лутугина сравнением полиции со швейцаром в театре. Но характеристика «измученный и затормошившийся» вызывает естественное сочувствие к этому воображаемому швейцару. Далее следует фрагмент, в котором изображается магазин, куда входит «множество дам», среди которых «дама средней комплекции и средних лет, под вуалеткой» — аналогия очевидна. Но эта аналогия нужна для отождествления аудитории с защитником, а Лутугина со швейцаром: в сравнении со швейцаром говорится «предлагает нам», т. е. любому из нас, а во втором — «возможно ли, чтобы ювелир впоследствии признал, — и далее, — полагаю, что это довольно мудрено». Последняя часть фразы адресована непосредственно к присяжным, на что указывает необходимо повышающаяся интонация «полагаю» и неожиданное слово с ироническим оттенком «мудрено». Но это *только подготовка аудитории*. Далее защитник переходит к основному, доказательному сопоставлению — разных фотографий, предъявленных Лутугину для опознания.

Характеристика фотоснимков показательна: фотография М-вой «деревенская самодельная», «нелепая», «в которой и близкий человек затруднился бы узнать ее», сама М-ва «в каком-то опухшем виде». Далее следует несколько отрицательная характеристика — «и Лутугин уже был готов найти сходство». Весьма краткая характеристика опознания М-вой сама по себе неубедительна, но работающая деталь — «без шляпки» — дополняется значимыми словами «*опять соглашается, что похожа*», что также несколько компрометирует Лутугина. И немедленный комментарий снова обращен к присяжным риторическим вопросом и как бы оправдывает Лутугина: «Почему же и не сказать, что похожа? Ведь это не значит: та самая». Краткое завершение сравнения с фотографией «другой дамы» содержит

ключевые для убеждения слова «он решительным образом ни ту, ни другую не выбирает».

С. А. Андреевскому важно не скомпрометировать самого Лутугина, поскольку присяжные должны поставить себя на его место, что предполагает хотя бы нейтральную его оценку. Но защитнику приходится обратить внимание присяжных как на легкомысленную готовность Лутугина признать сходство с М-вой, так и на нужную для защиты его готовность признать сходство посетительницы с «другой дамой», но при этом настоять на факте признания Лутугиным своей неспособности точно идентифицировать ту или другую. Для решения этой нелегкой задачи разведения ценности и модальности и убеждения в нулевой ценности показаний свидетеля, но и для создания этически нейтрального образа Лутугина, в котором, однако, нужно выделить отрицательный момент, связанный с опознанием подзащитной, и положительный момент, связанный с точно таким же опознанием другой фигурантки дела, используется поистине ювелирная словесная техника.

Оппозиции ценности и модальности имеют различную степень интенсивности, в отличие от дискретных дейктических. Функция дейктических оппозиций — установление, разведение и группировка образов, необходимые для построения системы аргументации и композиции, — расположение функционально значимых компонентов риторического произведения. Для риторической прозы (в отличие от поэзии — литературы вымысла) существенна определенность оценок: кто противник, кто союзник, что значимо, что не значимо и т. д. Эта определенность расстановки позиций и ценностей и достигается созданием в образной системе дейктических оппозиций.

Важной особенностью оппозиций является их системность: компрометация образа оппонента автоматически влечет за собой компрометацию связанных с ним образов как снижение ценности или усиление отрицательной оценки и повышение ценности и положительной оценки противопоставленных им положительных образов автора, аудитории и связанных с ними нарративных образов. Но снижение значимости не связано напрямую с оппозицией модальности: значимые образы могут быть отрицательными и положительными, образы, которые компрометируются как значимые, получают в основном отрицательную оценку — это соотношение можно увидеть в [5.7] в пренебрежительном изображении ювелира Лутугина. Однако усиление отрицательной модальности влечет за собой и повышение значимости образа.

Сама по себе оппозитивность как взаимозависимость образов может быть более или менее жесткой: компрометация оппонента обязательно усиливает положительную оценку автора или аудитории, а положительная оценка — нарративного образа, например подзащитного, компрометирует оппонента, пострадавшего или свидетелей обвинения, но в различной мере.

## Соотношение компонентов образного пространства

Стилевые ошибки<sup>1</sup> и упущения в отношении баланса связанности положительных и отрицательных образов проявляются во внезапных и на первый взгляд необоснованных реакциях аудитории. Примеры — знаменитая «Пушкинская речь» Ф. М. Достоевского и «О сопротивлении злу силою» И. А. Ильина. В последнем произведении<sup>2</sup> решительная критика концепции «непротивления злу» Л. Н. Толстого построена в форме этической компрометации оппонента в планах модальности и ценности (названия глав: «О морали бегства», «О сентиментальности и наслаждении», «О нигилизме и жалости», «О мироотвергающей религии»). Оппозитивный положительный образ «сопротивляющейся силы» строится И. А. Ильиным стилистически достаточно корректно, но сама по себе резкая компрометация значимости позиции оппонента автоматически приводит к утверждению значимости и положительного качества позиции автора и самого автора как выразителя пафоса Белого движения.

Из всей критики И. А. Ильина наиболее показательна статья Н. А. Бердяева<sup>3</sup>, в которой за отсутствием сколько-нибудь серьезной аргументации обнаруживаются три особенности, интересные в плане этико-стилистическом:

- 1) обилие крайне экспрессивных эпитетов («кошмарная и мучительная книга», «духовное удушье», «инфернальный нормативизм», «инквизиторское добро» и т. п.);
- 2) утверждение собственного приоритета в критике Л. Н. Толстого в противовес И. А. Ильину, что особенно показательно («В част-

<sup>1</sup> Здесь используется выражение «стилевая ошибка», которая, в отличие от стилистической ошибки, означает неуместное или неточное использование стиливых средств применительно к цели высказывания и требованиям риторического этоса.

<sup>2</sup> Ильин И. А. Собр. соч. Т. 5. М.: Русская книга, 1996. С. 31–220; 289–556.

<sup>3</sup> Бердяев Н. А. Кошмар злого добра. — Ильин И. А. Собр. соч. Т. 5. М.: Русская книга, 1996. С. 378–392.

- ности автор этих строк много критиковал Толстого и пользовался аргументами, которые сейчас воспроизводит И. А. Ильин»<sup>1</sup>);
- 3) компрометация авторского образа И. А. Ильина («Вот как описывает И. Ильин свое высокое самосознание, представляющее ему автономию и отрицающее ее у других...»<sup>2</sup>), обвинения И. А. Ильина в ереси монофизитства и монофелитства, в самых тяжких грехах соблазнения и богоотступничества<sup>3</sup>.

Острая эмоциональная реакция обычно (как, например, в критике «Пушкинской речи» Ф. М. Достоевского) оказывается следствием именно стилевых ошибок **структурного характера**, которые не могут быть опровергнуты, как опровергаются аргументы, и даже с трудом определимы. Впрочем, Н. А. Бердяев пытается дать критику стиля И. А. Ильина<sup>4</sup>.

Утверждение собственного приоритета свидетельствует о раздражении против образа автора, который в действительности *сам по себе* строится И. А. Ильиным достаточно корректно, а компрометация И. А. Ильина как оппонента указывает на косвенный, структурный характер чрезмерного, но ненамеренного превышения значимости и положительной оценки авторского образа в книге «О сопротивлении злу силою».

Риторический стиль состоит в сбалансированном построении образной системы, этос риторического стиля проявляется в мере связанности создаваемых образов.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 380.

<sup>2</sup> Там же. С. 391.

<sup>3</sup> Там же. С. 392.

<sup>4</sup> Там же. С. 390.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

---

---

Европейская духовная культура в самом широком смысле ряда культурных традиций, восходящих к греко-римской Античности, представляется культурой риторической, что отличает ее от иных культурных традиций. Воплощением этой традиции является область словесного творчества, которую можно обозначить термином «риторическая проза». Риторическая проза – произведения различных видов словесности, которые используются для организации жизни общества и могут быть сконструированы рациональными средствами. Но свойства риторической прозы определимы с трудом, а границы исторически подвижны и неотчетливы. Риторическая проза характеризуется предметностью, проблемностью, аргументацией, диалогизмом.

Предметность не сводится ни к «реальности существования» изображаемого лица или события, ни к представлению создателя или получателя высказывания о такой «реальности», чем отличается от мифа в понимании А.Ф. Лосева<sup>1</sup>, но является *условной пресуппозицией*, которая принимается участниками обсуждения. Платон, очевидно, отдавал себе отчет в том, что изображаемый им Сократ не соответствует «действительному» Сократу:

«Раскрывает свои мнения он через четырех лиц: Сократа, Тимея, афинского гостя и элейского гостя. (Гости эти отнюдь не Платон и Парменид, как полагают некоторые, но лица безымянные и вымышленные.) Говоря даже от лица Сократа и Тимея, Платон излагает свои собственные догмы»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ср.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 395–397.

<sup>2</sup> Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986. С. 150–151.

Условие словесной игры имеет значение для принципа предметности. В диалогах Платона Сократ представляется как реальное лицо читателям, которые готовы принять положение: «Если допустить, что Сократ – вымышленное лицо, то ...»; при этом *принимается пресуппозиция реальности Сократа*. В «Войне и мире» Л.Н. Толстого эта условная пресуппозиция имеет обратный характер: «Если допустить, что Кутузов – реальное лицо, то...». Художественный вымысел основан на пресуппозиции вымышленности даже реального лица наряду с явно вымышленными Андреем Болконским или Пьером Безуховым, которая следует из *художественно обобщенного* характера индивидуального образа. Такой индивидуальный образ в риторической прозе не содержит обобщения за исключением иносказания, как в евангельской притче о Самарянине. Но иносказание представляет собой *модель* с определенной функцией поучения или побуждения в выводе умозаключения: «Иди, и ты поступай так же» (Лк 10, 37).

Проблемность риторической прозы является основой содержания риторического произведения, которое представляет собой ответ на вопрос. Этот вопрос исходит от общества и обращен к такому автору, который имеет право на публичное высказывание постольку, поскольку признается правомочным дать компетентный и обоснованный ответ на вопрос данного содержания. Замечательно, что еще античная риторика понимает отношение вопроса и ответа как основу диалога и диалектики:

«Большинство забывают о своем незнании существа каждой вещи: не зная его, они и в начале высказывают несогласные мнения, и в дальнейшем точно так же не могут добиться согласия не с самим собой, ни один с другим. Чтобы и с нами не случилось того же, мы, приступая к платоновским диалогам, рассмотрим, как я сказал, что такое диалог. А он есть не что иное, как состоящая из вопросов и ответов речь о политических и философских предметах, выводящая соответствующие характеры действующих лиц путем отбора слов»<sup>1</sup>.

Тезис риторического высказывания как ответ на вопрос даже не допускает, а предполагает альтернативу в виде множества иных тезисов: риторическая проблема принципиально подлежит обсуждению<sup>2</sup>. Но любой из альтернативных тезисов «не имеет характера необходимости», как и вся человеческая деятельность<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Альбин. Введение к диалогам Платона // Учебники платоновской философии. Томск: «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина» (Москва), «Водолей» (Томск), 1995. С. 7.

<sup>2</sup> Аристотель. Риторика // Античные риторики, 1357а. С. 21.

<sup>3</sup> Там же. С. 22.

Аргументация – система средств убеждения, рационально осознаваемых и признаваемых обществом этически допустимыми. Принцип аргументации вытекает из принципов предметности и проблемности риторической прозы. Тезис, содержащий решение реальной проблемы, которое не является необходимым и единственным, нуждается в обосновании. А средства обоснования тезиса должны быть приемлемыми для тех, к кому он обращен. Поскольку же предложенные тезисы конкурируют, предпочтение какого-либо из них или отвержение всех должно носить рациональный характер. Но обоснование любого тезиса исходит из положений, принимаемых обществом, поэтому за адресатом высказывания остается право оценки и выбора посылок аргументов. Рациональность аргументации требует от автора произведения риторической прозы рационального синтеза в той мере, в какой представляется целесообразным его рациональный анализ. Из этого следуют *рациональные приемы конструирования* произведений как определяющее свойство стиля риторической прозы. Ход создания писателем художественного произведения не нуждается в рациональной рефлексии: читателю достаточно понять текст как результат творческого процесса. Более того, сама возможность такого анализа свидетельствует о «риторичности» художественного произведения. В отличие от поэзии риторическая проза в идее должна быть доступна если и не каждому, то любому образованному члену общества, который тем самым становится потенциальным критиком и потенциальным автором. Следовательно, автор риторического произведения должен следовать в его создании определенному методу, который делает «прозрачным» ход конструирования текста, что вовсе не исключает творческий характер авторства. Отсюда следует норма риторического построения как последовательность операций со словесным материалом: изобретение, расположение, элокуция.

Диалогизм как черта стиля исходит от диалектики как метода мышления. Далек не всякий реальный диалог может быть фиксирован. Риторическая проза обычно предстает наблюдателю в виде произведений литературы. Произведение литературы существует как монолог. Аргументация риторической прозы обращена к получателю, главному действующему лицу в коммуникативном пространстве, принимающему решение о достоинстве аргументации. Поэтому текст делится на дискретные фрагменты. Дискретность текста этичной риторической прозы организует и предсказывает ответные реакции получателя. Каждый отдельный фрагмент письменного текста или ораторской речи представляет собой аналог реплики диалога

и предполагает, по крайней мере, мысленный ответ получателя — согласие или возражение. Но поскольку содержание риторического произведения охватывает сложный комплекс отношений между автором, оппонентом, аудиторией, развертывающихся при обсуждении проблемы, фрагменты-реплики соотносимы не только с конкретным получателем, но со всей ситуацией речи. Произведение риторической прозы содержит явное или неявное столкновение позиций, в котором победа позиции автора в силу принципов предметности, аргументативности и проблемности не всегда оказывается очевидной для аудитории.

Таковы основы стиля риторической прозы. Построение риторического произведения развертывается от разработки замысла к его словесному воплощению, а понимание получателем — от слова к реконструкции замысла. Реконструкция замысла является необходимым условием понимания риторического произведения, поскольку получатель принимает решение и оценивает последствия предложений и, следовательно, критикует их обоснование. Получатель движется от слова к замыслу и поэтому имеет дело в первую очередь с образной системой произведения. Лишь преодолев скрытый за словесной техникой замысел, читатель способен оценить качество умозаключений, обосновывающих предложения автора. Но и умозаключения строятся не очевидным образом: в них нужно обнаружить предпосылки, к которым возводятся положения аргументов и ходы мысли, связывающие положения с посылками, что далеко не просто для читателя, а в особенности для аудитории ораторской речи. Схема риторического аргумента определяется его материей — топами и лексическими значениями терминов умозаключения. Содержание посылок умозаключения (топов) как символических ценностных категорий определяется их иерархическими отношениями и характером инстанций, от которых исходят топы и к которым обращены посылки аргументов. Один и тот же топ может представляться как исходящий от различных инстанций: положение о коловращении Земли может быть обращено к идее реальности или к авторитету науки в зависимости от целей аргументации и мировоззрения аудитории.

Аргумент включен в систему аргументации произведения и дискурса в целом. Поэтому словесный ряд оказывается не только составляющей отдельного аргумента. Словесный ряд охватывает данное высказывание и простирается, по крайней мере, на дискурс проблемы — совокупность высказываний, в которых она обсуждается.

В ходе обсуждения проблемы может складываться свой «язык» с принятыми значениями слов, техническими приемами аргументации, топикой, аллюзиями и т. п. Но словесный ряд аргумента в то же время является инструментом построения образной системы. Так, характеристика подзащитной в речи С. А. Андреевского «О брошке», выступающая в качестве посылки завершающего аргумента защиты, изображения симпатичной и достойной женщины, противостоящего изображению потерпевшей и полицейской власти, включена в контекст обсуждения отношений нравственности и права, характерный для юридического дискурса рубежа XIX–XX веков.

Ключевыми проблемами изучения риторической прозы представляются образная система произведения, строение аргумента — схема, содержание посылок — топика. При этом образная система охватывает все произведение, а словесная техника, реализующая систему образов, создает единство текста, в то время как элементы композиции и аргументы образуют дискретную последовательность составляющих. Современная риторика стоит перед серьезной проблемой осмысления методов исследования риторической прозы, строение и границы которой объективно размыты и неопределенны. Разработанные в последние десятилетия лингвистические методы анализа семантики высказывания и строения текста перспективны для риторики, но лишь постольку, поскольку представляются очевидными характерные для риторической прозы материал и цели исследования. Риторика была и остается филологической теорией методов использования ресурсов языка в целесообразной прозаической речи.

*Научное издание*

**Александр Александрович Волков**

**ТЕОРИЯ РИТОРИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ**

**Научный редактор**

*А.Ю. Овчинников*

**Корректор**

*Н.И. Коновалова*

**Компьютерная верстка**

*М.Ю. Копаницкая*

Подписано в печать 08.06.2009.  
Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офс. № 1.  
Офсетная печать. Гарнитура «Баскервилль».  
Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 23,0.  
Тираж 1000 экз. Изд. № 8854. Заказ №

Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета.  
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.  
*Тел.:* (495) 629-50-91. *Факс:* 697-66-71.  
*Тел.:* 939-33-23 (отдел реализации)  
*E-mail:* secretary-msu-press@yandex.ru

***В Издательстве Московского университета  
работает***

**Ассортиментный кабинет  
вузовской литературы**

Здесь Вы найдете весь спектр учебной литературы для студентов и абитуриентов от Издательства Московского государственного университета и различных факультетов и подразделений МГУ, Издательства СПбГУ, а также других университетских и вузовских издательств. Представлена литература издательств «Высшая школа», «Инфра-М», «Наука», «Аспект Пресс», «Дрофа», «Юридическая литература» и многих других.

***Книги продаются по минимальной розничной цене.***

Москва, ул. Хохлова, 11 (Воробьевы горы, МГУ).

***Тел./Факс: 939-33-23.***

***E-mail: [izd\\_mgu@yandex.ru](mailto:izd_mgu@yandex.ru)***

Сайт Издательства МГУ:

***[www.msu.ru/depts/MSUPubl2005](http://www.msu.ru/depts/MSUPubl2005)***